

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1991

9

1991



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9 (797)

Сентябрь, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Время действия, стихи	3
И НАКЛОНИЛСЯ КРУГОМ САД — Вячеслав Салий, Игорь Тарасевич, Александр Сорокин, Даниил Гориневский, стихи	6
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Счастливая Москва, роман. Публикация М. А. Платоновой. Подготовка текста и комментарий Н. В. Корниенко. Послесловие Сергея Залыгина	9
Н. ПОКРОВСКИЙ — За страницей «Архипелага ГУЛАГ»	77
АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ — Повесть о дубцеских скитах. Предисловие и комментарий Н.Н. Покровского	91
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ — Отгоревать и не проклясть, стихи	104
ТИМУР КИБИРОВ — Сереже Гандлевскому. О некоторых аспектах нынешней социокультурной ситуации, стихотворение	107
АРВО МЕТС — Осколки времени, стихи	110
ВЛАДИМИР МАКАНИН — Сюр в пролетарском районе, рассказы	111
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Я есть. Ты есть. Он есть, рассказ	129
ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ — Капуста	152
А МЫ ВИНОВНЫ БЕЗ ВИНЫ — Русские югославские поэты: Екатерина Таубер, Илья Голенищев-Кутузов, Алексей Дураков, Лидия Алексева. Подготовка текстов и вступительное слово Галины Долматовой	156

ПУБЛИЦИСТИКА

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ. 1986 — 1991. Г. Шапшин. Чернобыльская трагедия; А. Воробьев. Чернобыльская катастрофа пять лет спустя	164
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. ВОСЛЕНСКИЙ — Феодалный социализм. Место номенклатуры в истории	184
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР — Сила и бессилие соблазна 202

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 213

Аида Абуашвили. Странный жанр.

Сергей Костырко. Выжить, чтобы жить.

Игорь Золотусский. Трапеза любви.

Юрий Архипов. По ту сторону явного.

Политика и наука 226

Р. Баландин. Книга тревоги с лукавым подтекстом.

Забывшие книги 229

Л. Пяшева. На заре «социалистических завоеваний».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» ЧИТАЮТ НА РОДИНЕ. Публикацию подготовили В.М. Борисов и Н.Г. Левитская. Примечания Д.Г. Юрасова 233

«КОНВОИР» П.П. ПАРАДИЗОВ 249

Н.Г. МИНАШИНА — На кого же списать миллионы гектаров? 251

КОРОТКО О КНИГАХ:

Майя Кучерская. — I. Лидия Чуковская. Процесс исключения. II. Петро Григоренко. Воспоминания 254

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 256

В С Л Е Д У Ю Щ Е М Н О М Е Р Е :

МАРИЯ АВБАКУМОВА. Балтийские медитации. Стихи.

ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери. Роман. Начало.

ИВАН ТВАРДОВСКИЙ. «У нас нет пленных...». Страницы пережитого.

ОЛЕГ ЖДАН. Впотьмах. Провинциальные рассказы.

И. А. ИЛЬИН. О сопротивлении злу. Вступительная статья и составление Б. Н. Любимова.

А. ГЛАГОЛЕВ. За други своя.

И. СУРАТ. О «Памятнике».

ЕЛЕНА НЕВЗГЛЯДОВА. Несвоевременные мысли о поэзии.

ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ. Представление окончено.

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

*

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

* *
*

Время действия — осень. Москва.
Незапамятная синева
Так и плещется, льется, бледнеет.
Место действия — родина, где
Жизнь кругами бежит по воде
И приплыть никуда не умеет.

Содержание действия — ты.
Покупаешь в киоске цветы,
Хризантемы, а может быть, астры —
Я не вижу, мне трудно дышать.
И погода, России под стать,
Холодна, холодна и прекрасна.

Ждать троллейбуса, злиться, спешить —
Словом, быть, сокрушаться, любить —
Все, что нужно для драмы, в которой
Слезы катятся градом с лица,
Словно в горестном фильме конца
Нашей юности, сладкого вздора

О свободе. Арбатские львы,
Дымный запах опавшей листвы,
Старой лестницы камень подвальный
И цветы на кухонном столе —
Наша жизнь в ненадежном тепле
Хороша, хороша и печальна.

Если можешь — не надо тоски.
Оборви на цветах лепестки,
Наклонись к этой тверди поближе.
Там, вдогонку ночному лучу,
Никогда — я тебе прошепчу, —
Никогда я тебя не увижу.

* *
*

Я уеду, ей-богу, уеду
к морю синему, чистому свету,
буду ветру, как в юности, рад.
Я проснусь и прославлю, уехав,
шум платанов и грецких орехов,
рев прибоя, ночной виноград.

Будет ночь бриллиантовой сажей
покрывать каменные пляжи,
будут пары гулять допоздна.
И подобием Божьего глаза
над тяжелым каскадом Кавказ
подмигнет золотая луна.

Я уеду, конечно, уеду
превращать поражение в победу
и, погибнув, вернуться потом.
От обиды и горечи воя,
пролечу над холодной Москвою,
прокручусь тополиным листом.

Неужели надеяться поздно?
Звезды светятся ровно и розно,
отгорели мои корабли.
Снится мне обнаженное море,
просыпаюсь от счастья и боли —
это пройдено, это — вдали.

Это — в прошлом, а я — в настоящем.
в ледяном одиночестве спящем,
да и море мое далеко.
Словно детство — прохладно и трудно
где-то в будущем светится чудно
голубое его молоко.

И пока я с пером и бумагой —
бродит ветер приبلудной дворнягой
берегами твердеющих рек.
И ползет, и кружит, и взлетает,
и к губам человека взметаает
пресноводный не тающий снег.



Смотри сгущается зима
Неслышно вьется серый снег
Лежит холодная тесьма
По берегам покорных рек

И Гоголь скрюченный в углу
Нагар снимает со свечи
И спички ищет на полу
В неверной ветреной ночи

Потом суставами скрипя
Садится в кресло и опять
Не то чтобы казнит себя
Но начинает смерти ждать

А месяц что огромный шар
Влетает в низкое окно
Чернеет ветками бульвар
И даже Господу темно

Вслепую по ночным камням
Он входит в свой последний сад
Метели не бывает там
Цветет полынь и виноград

Усталый дремлет ученик
И Гоголь дремлет за столом
Горит камин сидит старик
В халате старом голубом

А где же где же место мне
Не за столом и не в саду
Один в метельной тишине
Бульваром спорбленным иду

А вот и белая доска
На старом доме у ворот
Носатый профиль старика
Высокий лоб угрюмый рот

Прощай любимая метель
Арбат в начале ноября
Автомобиль ушел в тоннель
Напрасно фарами горя

В конце тоннеля нежный свет
В кармане детский леденец
И если даже смерти нет
Она приходит наконец

Играют морозные иглы,
деревья скучают в строю.
Глубокая осень наступила
беспечную землю сию.

Автобусов нет — забастовка.
Ругают премьера, как встарь —
а мне и смешно и неловко —
какой же я, право, дикарь.

Права человека в Гаити,
инфляция, женский вопрос...
Нет-нет, говорю, извините,
до этого я не дорос.

Профессор, качнув головою,
сочувственно мне говорит:
“Ну что ты все бредишь Москвою,
зачем же ты судишь, Бахыт,

еще не успев разобраться
в обычаях вольной страны?”
Но что тут поделаешь, братцы,
когда мне и вправду смешны

и добрая речь либерала,
и митинги против ракет?
Хотя здесь забавного мало,
точнее — ни капельки нет.

12 ноября 1982, Монреаль.

Сердце хитрит — ни во что оно толком не верит.
Бьется, болеет, плурует по скользким дорогам,
плачет взахлеб — и отчета не держит ни перед
кем, разве только по смерти пред Господом Богом.

Слушай, шепчу ему, в медленном воздухе этом
я постараюсь напиться пронзительным светом,
камнем и деревом стану, отчаюсь, увяну,
солью аттической сдобрю смердящую рану.

Разве не видишь, не чувствуешь — солнце садится,
в сторону дома летит узкогрудая птица,
разве не слышишь — писец на пергаменте новом
что-то со скрипом выводит пером тростниковым?

Вот и натепилось. Сколько свободы и горя!
Словно скитаний и горечи в Ветхом завете.
Реки торопятся в море, но синему морю
не переполниться — и возвращается ветер,

и возвращается дождь, и военная лютня
все отдаленней играет и все бесприютней,
и фонарей, фонарей бесконечная лента...
Что они, строятся — или прощаются с кем-то?

И НАКЛОНИЛСЯ КРУГОМ САД

*

ВЯЧЕСЛАВ САЛИЙ

Тутанхамон

Украли мумию... Чтоб задержать погоню,
Я лег в витрину, в желтый саркофаг,
И, погружаясь в дымку благовоний,
Следил, как оживает полумрак.

И различал я бормотанье статуй,
Постукиванье глиняных таблиц,
И всхлипыванья женщины крылатой,
И тиканье из каменных яиц.

И трижды за ночь, встав на табуретку
И о стекло расплющивая нос,
Смотрел старик в мою немую клетку
И уходил, не разрешив вопрос.

Был первый день... За ним пошли другие.
И постепенно забывался страх,
И я дремал в спокойной летаргии,
С загадочной улыбкой на губах.

И головы тянулись вереницей,
И среди них, в экскурсии для школ,
Моих детей испуганные лица —
Всего на миг. И этот день прошел.

Лежал я невысокий, коренастый,
В измятых брюках, в сером пиджаке,
Давно не бритый, в галстукe цветастом
И с выколотой птицей на руке.

Мои друзья — в костюмах манекенов —
Давали знаки, что займутся мной,
Но, помощь отклоняя неизменно,
Качал я чуть заметно головой.

Я наслаждался сказочным покоем:
Никто меня в трамваях не толкал,
Никто не звал стремиться за собою,
Никто не торопил, не обгонял.

Затерянный у времени в пучине,
Я был теперь великий фараон
И верил, что хрустальная богиня
Взлетит однажды, легкая, как сон;

И будет сторож чистить мне ботинки
И, с пиджака отряхивая пыль,

Наткнется на звенящие травинки —
Ее волос серебряный ковыль.

ИГОРЬ ТАРАСЕВИЧ

* *
*

Под лопухами, где покуда
репы да сорная трава, —
щебенка, битая посуда
и мокрой дранки кружева.

Но злее, злее год от года
их у вселенской той черты
теснят платочки огородов
и личных грядок лоскуты.

Чуть дождик маленький поплачет,
что джунгли, вымахнет ботва.
Смотри! Все выглядит иначе,
чем нам почудилось сперва.

В разрывах глины, в струпьях мела
земли открытое чело
трубой бетонной, белотелой
наискосок пересекло.

И огородник, вечно мучась
своей заботой, как виной,
с кошелкой, страшной словно участь,
трубу обходит стороной.

Он снова взялся не на шутку
и, заведя дела всерьез,
опять сколачивает будку,
золу привозит и навоз.

Он землю вновь перелопатит
и, задыхаясь тяжело,
репейник выдернет и к стати
подалеке выбросит стекло.

И, ничему не угрожая,
в меже присев на чурбачок,
он выпьет вновь за урожай,
заест горбушкой и — молчок.

АЛЕКСАНДР СОРОКИН

* *
*

Кто ответит, зачем так осмысленно звезд излученье
и готических елей так скорбен темнеющий храм?
Каждый шорох и шум этой ночью имеют значение,
недоступное нам.

Этой ночью в пустынном доме от сомнений не скрыться,
под напевы сверчка сторожа несемейный очаг.
Смерти женственный слепок, последнюю жизни страницу
не представлю никак.

Отойдя от людей, лучше в полной безвестности стану
домогаться у неба, в чем сила и радость мои,
чем в их тесном кругу по какому-то адскому плану
остывать в забытьи.

Странный звук, возникающий как наваждение спросонок,
или даже не звук, а врожденное знание о нем,
не позволит, надеюсь, скатиться к неверью под сорок
и дружить с вороньем.

Я вошел в эту жизнь, как в тяжелую, темную воду,
но бессменный маяк все же светит на том берегу,
если сердцем своим обращаюсь к небесному своду
и уснуть не могу.

ДАНИИЛ ГОРИНЕВСКИЙ

* *
* *

Увидеться возможно и во сне,
Где голоса, округлые, как блюда,
Разбившись, катятся осколками ко мне;
Еще века живут они вовне
Создателей, желая им проснуться.

Мы трудно забывать себя должны:
Душа вернулась с веткою оливы,
А мы уже уснули, и слышны
Нам голоса, и мы заключены
В творения порядок прихотливый.

Серебряною ниткою декад
Мне нужно вышивать тебя все время.
На черной ткани яркие лежат
Огни. И наклонился кругом сад,
И сбросил наземь яблочное бремя.

И ты прошла заросшею тропой —
Рукой подать, так близко не бывает.
Но было так осеннею порой:
Я поднял лист, и пламень золотой
Взлетел окрест и тихо отгорает.



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

*

СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА

Роман

1

Темный человек с горящим факелом бежал по улице в скучную ночь поздней осени. Маленькая девочка увидела его из окна своего дома, проснувшись от скучного сна. Потом она услышала сильный выстрел ружья и бедный грустный крик — наверно убили бежавшего с факелом человека. Вскоре послышались далекие, многие выстрелы и гул народа в ближней тюрьме... Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью. Но до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек — в бледном свете памяти — и снова погибал во тьме прошлого, в сердце выросшего ребенка. Среди голода и сна, в момент любви или какой-нибудь молодой радости — вдруг вдалеке, в глубине тела опять раздавался грустный крик мертвого, и молодая женщина сразу меняла свою жизнь — прерывала танец, если танцевала, сосредоточенней, надежней работала, если трудилась, закрывала лицо руками, если была одна. В ту ненастную ночь поздней осени началась октябрьская революция — в том городе, где жила тогда Москва Ивановна Честнова.

Отец ее скончался от тифа, а голодная осиротевшая девочка вышла из дома и больше назад не вернулась. С уснувшей душой, не помня ни людей, ни пространства, она несколько лет ходила и ела по родине, как в пустоте, пока не очнулась в детском доме и в школе. Она сидела за партой у окна, в городе Москве. На бульваре уже перестали расти деревья, с них без ветра падали листья и покрывали умолкшую землю — на долгий сон грядущий; был конец сентября месяца и тот год, когда кончились все войны и транспорт начал восстанавливаться.

В детском доме девочка Москва Честнова находилась уже два года, здесь же ей дали имя, фамилию и даже отчество, потому что девочка помнила свое имя и раннее детство очень неопределенно. Ей казалось, что отец звал ее Олей, но она в этом не была уверена и молчала, как безымянная, как тот погибший ночной человек. Ей тогда дали имя в честь Москвы, отчество в память Ивана — обыкновенного русского красноармейца, павшего в боях, — и фамилию в знак честности ее сердца, которое еще не успело стать бесчестным, хотя и было долго несчастным.

Ясная и восходящая жизнь Москвы Честновой началась с того осеннего дня, когда она сидела в школе у окна, уже во второй группе, смотрела в смерть листьев на бульваре и с интересом прочитала вывеску противоположного дома: «Рабоче-крестьянская библиотека-читальня имени А.В.Кольцова». Перед последним уроком всем детям дали в первый раз их жизни по белой булке с котлетой и картофелем и рассказали, из чего делаются котлеты — из коров. Заодно велели всем к завтрашнему дню написать сочинение о корове, кто их

видел, а также о своей будущей жизни. Вечером Москва Честнова, наевшись будкой и густой котлетой, писала сочинение за общим столом, когда все подруги ее уже спали и слабо горел маленький электрический свет. «Расказ девочки без отца и матери о своей будущей жизни. — Нас учат теперь уму, а ум в голове; снаружи ничего нет. Надо жить по правде с трудом, я хочу жить будущей жизнью, пускай будет печенье, варенье, конфеты и можно всегда гулять в поле мимо деревьев. А то я жить не буду, если так, мне не хочется от настроения. Мне хочется жить обыкновенно со счастьем. Вдобавок нечего сказать».

Из школы Москва впоследствии сбежала. Ее вернули снова через год и стыдили на общем собрании, что она как дочь революции поступает недисциплинированно и неэтично.

— Я не дочь, я сирота! — ответила тогда Москва и снова стала прилежно учиться, как не бывшая нигде в отсутствии.

Из природы ей нравились больше всего ветер и солнце. Она любила лежать где-нибудь в траве и слушать о том, что шумит ветер в гуще растений, как невидимый, тоскующий человек, и видеть летние облака, плывущие далеко над всеми неизвестными странами и народами; от наблюдения облаков и пространства в груди Москвы начиналось сердцебиение, как будто ее тело было вознесено высоко и там оставлено одно. Потом она ходила по полям, по простой плохой земле и зорко, осторожно всматривалась всюду, еще только осваиваясь жить в мире и радуясь; что ей все здесь подходит — к ее телу, сердцу и свободе.

По окончании девятилетки Москва, как всякий молодой человек, стала бессознательно искать дорогу в свое будущее, в счастливую тесноту людей; ее руки томились по деятельности, чувство искало гордости и героизма, в уме заранее торжествовала еще таинственная, но высокая судьба. Семнадцатилетняя Москва не могла куда-нибудь выйти сама, она ждала приглашения, словно цена в себе дар юности и выросшей силы. Поэтому она стала на время одинокой и странной. Случайный человек познакомился однажды с Москвой и победил ее своим чувством и любезностью, — тогда Москва Честнова вышла за него замуж, навсегда и враз испортил свое тело и молодость. Ее большие руки, годные для смелой деятельности, стали обниматься; сердце, искавшее героизма, стало любить лишь одного хитрого человека, вцепившегося в Москву, как в свое неперемное достояние. Но в одно утро Москва почувствовала такой томящий стыд своей жизни, не сознавая точно, от чего именно, что поцеловала спящего мужа в лоб на прощанье и ушла из комнаты, не взяв с собой ни одного второго платья. До вечера она ходила по бульварам и по берегу Москвы-реки, чувствуя один ветер сентябрьской мелкой непогоды и не думая ничего, как пустая и усталая.

Ночью она хотела залезть на ночлег куда-нибудь в ящик, найти порожнюю пищевую будку Мостропа или еще что-либо, как поступала она прежде в своем бродячем детстве, но заметила, что давно стала большая и не влезет незаметно куда. Она села на скамью в темноте позднего бульвара и задремала, слушая, как бродят вблизи и бормочут воры и бездомовные хулиганы.

В полночь на ту же скамью сел незначительный человек, с тайной и совестливой надеждой, что может быть эта женщина полюбит его внезапно сама, поскольку он не мог по кротости своих сил настойчиво добиваться любви; он в сущности не искал ни красоты лица, ни прелести фигуры — он был согласен на все и на высшую жертву со своей стороны, лишь бы человек ответил ему верным чувством.

— Вам чего? — спросила его проснувшаяся Москва.

— Мне ничего! — ответил этот человек. — Так просто.

— Я спать хочу, и мне негде, — сказала Москва.

Человек сейчас же заявил ей, что у него есть комната, но во избежание подозрений в его намерениях — лучше ей снять номер в гостинице и там проспать в чистой постели, закутавшись в одеяло. Москва согласилась, и они пошли. По дороге Москва велела своему спутнику устроить ее куда-нибудь учиться — с пищей и общежитием.

— А что вы любите больше всего? — спросил он.

— Я люблю ветер в воздухе и еще разное кое-что, — сказала утомленная Москва.

— Значит — школа воздухоплавания, другое вам не годится, — определил сопровождающий Москву человек. — Я постараюсь.

Он нашел ей номер в Мининском Подворье, заплатил вперед за трое суток и дал на продукты тридцать рублей, а сам пошел домой, унося в себе свое утешение.

Через пять дней Москва Честнова посредством его заботы поступила в школу воздухоплавания и переехала в общежитие.

2

В центре столицы, на седьмом этаже жил тридцатилетний человек Виктор Васильевич Божко. Он жил в маленькой комнате, освещаемой одним окном; гул нового мира доносился на высоту такого жилища как симфоническое произведение — ложь низких и ошибочных звуков затухала не выше четвертого этажа. В комнате было бедное суровое убранство, но не от нищеты, а от мечтательности: железная кровать эпидемического образца, с засаленным, насквозь прочеловеченным одеялом, голый стол, годный для большой сосредоточенности, стул из ширпотребного утиля, самодельные полки у стены с лучшими книгами социализма и девятнадцатого века, три портрета над столом — Ленин, Сталин и доктор Заменгоф, изобретатель международного языка эсперанто. Ниже тех портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безмянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но также негры, китайцы и жители всех стран.

До позднего вечера комната эта бывает пуста; уставшие опечаленные звуки постепенно замирают в ней, скучающее вещество потрескивает иногда, свет солнца медленно бредет по полу четырехугольником окна и ступшевывается на стене в ночь. Все кончается, одни предметы томятся в темноте.

Приходит живущий здесь человек и зажигает технический свет электричества. Жилец счастлив и покоен, как обычно, потому что жизнь его не проходит даром; тело его устало за день, глаза побелели, но сердце бьется равномерно и мысль блестит ясно как утром. Сегодня Божко, геометр и городской землеустроитель, закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и районного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцобиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен.

Божко вынул пачку личных писем, получаемых им почти ежедневно в адрес службы, и сосредоточился в них своим размышлением за пустым столом. Ему писали из Мельбурна, Капштадта, из Гонконга, Шанхая, с небольших островов, притаившихся в водяной пустыне Тихого океана, из Мегариды — поселка у подножия греческого Олимпа, из Египта и многочисленных пунктов Европы. Служащие и рабочие, дальние люди, прижатые к земле неподвижной эксплуатацией, научились эсперанто и победили безмолвие между народами; обессиленные трудом, слишком бедные для путешествий, они сообщались друг с другом мыслью.

В числе писем было несколько денежных переводов: негр из Конго перевел 1 франк; сириец из Иерусалима 4 амдоллара, поляк Студзинский каждые три месяца переводил по 10 злотых. Они заранее строили себе рабочую родину, чтобы им было где приютиться на старости лет, чтобы дети их могли в конце концов убежать и спастись в холодной стране, нагретой дружбой и трудом.

Божко аккуратно вносил эти деньги на заем, а облигации отсылал невидимым владельцам с обратной распиской.

Изучив корреспонденцию, Божко писал ответ на каждое письмо, чувствуя свою гордость и преимущество как деятель СССР. Но писал он негордо, а скромно и с участием:

«Дорогой, отдаленный друг. Я получил ваше письмо, у нас здесь делается все более хорошо, общее добро трудящихся ежедневно приумножается, у всемирного пролетариата скопляется громадное наследство в виде социализма. Каждый день растут свежие сады, заселяются новые дома и быстро работают изобретенные машины. Люди также вырастают другие, прекрасные, только я остаюсь прежним, потому что давно родился и не успел еще отвыкнуть от себя. Лет через пять-шесть у нас хлеба и любых культурных удобств образуется громадное количество, и весь Миллиард трудящихся на пяти шестых земли, взяв семью, может приехать к нам жить навски, а капитализм пусть остается пустым,

если там не наступит революция. Обрати внимание на Великий Океан, ты живешь на его берегу, там плывут иногда советские корабли, это — мы. Привет».

Негр Арратау сообщал, что у него умерла жена; тогда Божко отвечал сочувствием, но приходите в отчаяние не советовал — надо сберечь себя для будущего, ибо на земле некому быть кроме нас. А лучше всего — пусть Арратау немедленно приезжает в СССР, здесь он может жить среди товарищей, счастливей чем в семействе.

На утренней заре Божко заснул со сладостью полезного утомления; во сне ему снилось, что он — ребенок, его мать жива, в мире стоит лето, безветрие и выросли великие роши.

По своей службе Божко славился лучшим ударником. Кроме прямой геометрической работы, он был секретарем стенгазеты, организатором ячеек Осоавиахима и Мопра, завхозом огородного хозяйства и за свой счет учил в школе воздухоплавания одну малоизвестную ему девушку, чтобы хоть немного ослабить расходы государства.

Эта девушка раз в месяц заходила к Божко. Он ее угощал конфетами, отдавал ей деньги на пищу и свой пропуск в магазин ширпотреба, и девушка застенчиво уходила. Ей было неполных девятнадцать лет, ее звали Москва Ивановна Честнова; он ее встретил однажды на осеннем бульваре в момент своей стихийной печали и с тех пор не мог забыть.

После ее посещения Божко обычно ложился вниз лицом и тосковал от грусти, хотя причиной его жизни была одна всеобщая радость. Поскучав, он садился писать письма в Индию, на Мадагаскар, в Португалию, созывая людей к участию в социализме, к сочувствию труженикам на всей мучительной земле, и лампа освещала его лысеющую голову, наполненную мечтой и терпением.

Один раз Москва Честнова пришла как обычно и не ушла сразу. Два года знал ее Божко, но стеснялся смотреться близко в ее лицо, не надеясь ни на что.

Москва смеялась, она окончила школу пилотов и принесла угощение за свой счет. Божко стал пить и есть с молодой Москвой, но сердце его билось с ужасом, потому что оно почувствовало давно заключенную в нем любовь.

Когда наступила поздняя ночь, Божко открыл окно в темное пространство, и в комнату прилетели бабочки и комары, но было так тихо всюду, что Божко слышал биение сердца Москвы Ивановны в ее большой груди; это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать течение событий, — даже комары и бабочки, садясь спереди на кофту Москвы, сейчас же улетали прочь, пугаясь гула жизни в ее могущественном и теплом теле. Щеки Москвы, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека.

Божко неотлучно, до нового светлого утра глядел и глядел на Москву, когда девушка уже давно уснула в его комнате, — и сонная, счастливая свежесть, как здоровье, вечер и детство, входили в усталого этого человека.

На другой день Москва пригласила Божко на аэродром — посмотреть работу новых парашютов.

Небольшой аэроплан взял к себе внутрь Москву и полетел высоко в вековое пустынное небо. В зените аэроплан приостановил мотор, наклонился вперед и скинул из-под своего туловища светлый комочек, который без дыхания понесся в бездну. В то же время невысоко над землей медленно летел другой аэроплан и, сбавив работу трех своих моторов, желал посадки. На низкой высоте, над этим трехмоторным парящим самолетом, одинокое воздушное тельце, беззащитно мчавшееся с нарастающим ускорением, распустилось в цветок, надулось воздухом и закачалось. Трехмоторный самолет сразу пустил все свои машины, чтобы уйти от парашюта, но парашют был слишком близок, его могло втянуть под винты в вихревые потоки, и умный пилот снова погасил моторы, давая парашюту свободу ориентации. Тогда парашют опустился на плоскость крыла и свернулся, а через несколько мгновений по накренившемуся крылу медленно и без испуга прошел небольшой человек и скрылся в машине.

Божко знал, что это прилетела из воздуха Москва; вчера он слышал ее равномерное, гулкое сердце, — теперь он стоял и плакал от счастья за все смелое

человечество, жалея, что давал Москве Честновой в течение двух лет сто рублей в месяц, а не по полтораста.

Ночью Божко опять, как обыкновенно, писал письма всему заочному миру, с увлечением описывая тело и сердце нового человека, преодолевающего смертельное пространство высоты.

А на рассвете, заготовив почту человечеству, Божко заплакал; ему жалко стало, что сердце Москвы может летать в воздушной природе, но любить его не может. Он уснул и спал без памяти до вечера, забыв про службу.

Вечером к нему постучался кто-то, и пришла Москва, счастливая по виду, как постоянно, и с прежним громким сердцем. Божко робко, от крайней нужды своего чувства, обнял Москву, а она его стала целовать в ответ. В искудалом горле Божко заклокотала скрытая мучительная сила и он больше не мог опомниться, узнавая единственное счастье теплоты человека на всю жизнь.

3

Каждое утро, просыпаясь, Москва Честнова долго смотрела на солнечный свет в окне и говорила в своем помышлении: «Это будущее время настает», и вставала в счастливой безотчетности, которая зависела, вероятно, не от сознания, а от сердечной силы и здоровья. Затем Москва мылась, удивляясь химии природы, превращающей обыкновенную скудную пищу (каких только нечистот Москва не ела в своей жизни!) в розовую чистоту, в цветущие пространства ее тела. Даже будучи сама собой, Москва Честнова могла глядеть на себя, как на постороннюю, и любоваться своим туловищем во время его мытья. Она знала, конечно, что здесь нет ее заслуг, но здесь есть точная работа прошлых времен и природы, — и позже, жуя завтрак, Москва мечтала что-то о природе — текущей водою, дующей ветром, непрерывно ворочающейся, как в болезненном бреду, своим громадным терпеливым веществом... Природе надо было обязательно сочувствовать — она столько потрудилась для создания человека, — как неимущая женщина, много родившая и теперь уже шатающаяся от усталости...

По окончании школы воздухоплавания Москву назначили младшим инструктором при той же школе. Она теперь обучала группу парашютистов способу равнодушного прыжка из аэроплана и спокойствию характера при опускании в гулком пространстве.

Сама Москва летала, не ощущая в себе никакого особого напряжения или мужества, она лишь точно, как в детстве, считала, где «край», т.е. конец техники и начало катастрофы, и не доводила себя до «края». Но «край» был гораздо дальше, чем думали, и Москва все время отодвигала его.

Однажды она участвовала в испытании новых парашютов, пропитанных таким лаком, который скатывал прочь влагу атмосферы и позволял делать прыжки даже в дождь. Честнову снарядили в два парашюта — другой дали в запас. Ее подняли на две тысячи метров и оттуда попросили броситься на земную поверхность сквозь вечерний туман, развившийся после дождей.

Москва отворила дверь аэроплана и дала свой шаг в пустоту; снизу в нее ударил жесткий вихрь, будто земля была жерлом могучей воздуходувки, в которой воздух прессуется до твердости и встает вверх — прочно, как колонна; Москва почувствовала себя трубой, продуваемой насквозь, и держала все время рот открытым, чтобы успевать выдыхать вырывающийся в нее в упор дикий ветер. Кругом нее было смутно от тумана, земля находилась еще далеко. Москва начала раскачиваться, не видимая никем из-за мглы, одинокая и свободная. Затем она вынула папиросу и спички и хотела зажечь огонь, чтобы закурить, но спичка потухла; тогда Москва скорчилась, чтобы образовать уютное тихое место около своей груди, и сразу взорвала все спички в коробке, — огонь, схваченный вихревою тягой, мгновенно поджег горючий лак, которым были пропитаны шелковые лямки, соединявшие тяжесть человека с оболочкой парашюта; эти лямки сгорели в ничтожное мгновение, успев лишь накалиться и рассыпаться в прах, — куда делась оболочка, Москва не рассмотрела, так как ветер начал сжигать кожу на ее лице вследствие жесткой, все более разгорающейся скорости ее падения вниз.

Она летела с горячими красными щеками и воздух грубо драл ее тело, как будто он был не ветер небесного пространства, а тяжелое мертвое вещество, —

нельзя было представить, чтобы земля была еще тверже и беспощадней. «Вот какой ты, мир, на самом деле! — думала нечаянно Москва Честнова, исчезая сквозь сумрак тумана вниз. — Ты мягкий, только когда тебя не трогаешь!» Она дернула кольцо запасного парашюта, увидела землю аэродрома в сигнальных огнях и закричала от внезапного мучения — раскрывшийся парашют рванул ее тело вверх с такой силой, что Москва почувствовала свои кости, как сплошь заболевшие зубы. Через две минуты она уже сидела на траве, покрытая парашютом, и стала выползать оттуда, вытирая слезы, выбитые ветром.

Первым к Москве Честновой подошел известный летчик Арканов, не погнувшийся за десять лет работы ни одного хвостового крюка, не знавший никогда ни неудачи, ни аварии.

Москва выползла из-под оболочки всесоюзной знаменитостью. Арканов и другой пилот взяли ее под руки и повели в комнату отдыха, приветствуя по пути. На прощанье Арканов сказал Москве: «Нам жалко утратить вас, но кажется мы вас уже потеряли... Вы понятия не имеете о воздухофлоте, Москва Ивановна! Воздухофлот, это скромность, а вы — роскошь! Желая вам всякого счастья!»

Через два дня Москву Честнову освободили на два года от летной работы вследствие того, что атмосфера — это не цирк для пускания фейерверков из парашютов.

Некоторое время о счастливом, молодом мужестве Москвы Честновой писали газеты и журналы; даже за границей полностью сообщили о прыжке с горящим парашютом и напечатали красивую фотографию «воздушной комсомолки», но потом это прекратилось, а Москва вообще не поняла своей славы: что это такое.

Она жила теперь на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна квартиры Честновой выходили поверх окрестных московских крыш, и вдалеке — на ослабевшем, умирающем конце пространства видны были какие-то дремучие леса и загадочные вышки; на заходе солнца там одиноко блестел неизвестный диск, отражая последний свет на облака и на небо, — до этой влекущей страны было километров десять, пятнадцать, но, если выйти из дома на улицу, Москва Честнова не нашла бы туда дороги... Освобожденная из воздухофлота, Москва проводила свои вечера одна, к Божко она больше не ходила, подруг своих не звала. Она ложилась животом на подоконник, волосы ее свисали вниз, и слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда голос целовека из гулкой тесноты бегущих механизмов; подняв голову, Москва видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни... Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, за гулками равномерными ударами паровых копров на Москве-реке, чтоб сваи входили прочно в глубину, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, молотась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплый душ танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятиях людей — во мраке, в одиночестве, лицом к лицу, в чистом чувстве объединенного удвоенного счастья. Москве Честновой не столько хотелось переживать самой эту жизнь, сколько обеспечивать ее — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поделуем, вбывая в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Москва свешивалась из своего окна в вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, ее звали куда-то в общий летний сумрак, обещали показать все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и сливочных тянучек. Москва смеялась им, но молчала и не шла. Позже Москва видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши старых домов: через

чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства. После полуночи почти все видимые окна переставали светиться, — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, — и шепотом, не беспокоя сигналами, проходили поздние автомобили; лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же — выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Москва Честнова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего на полу на своей верхней одежде. Москва подождала, пока проснется ее усталый гость. Он проснулся и сказал, что будет тут жить в углу — больше ему негде. Москва поглядела на этого человека; ему было лет сорок, на лице его лежали окоченелые рубцы миновавших войн и кожа имела бурый, обветренный цвет большого здоровья и доброго сердца, а рыжеватые усы кротко росли над утомленным ртом.

— Я бы не вошел к тебе без спроса, лохматая красавица, — сказал неизвестный гость, — но телу нужно покой давать, а места нету... Я тебя не обижу, считай меня как ничто, вроде лишнего стола. Ты ни звука, ни запаха не услышишь от меня.

Москва спросила его: кто он такой, гость объяснил про себя все подробно, с предъявлением документов.

— Ну а то как же! — произнес вселившийся. — Я человек обыкновенный, у меня все в порядке.

Он оказался весовщиком дровяного склада, родом из Ельца, и Москва Честнова не решилась отдавать коммунизм из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Жилец стал жить, по ночам он вставал и подходил на цыпочках к постели спящей Москвы, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала; по утрам же он никогда не ходил в уборную при квартире, не желая загружать ее своею гадостью и шуметь водой, а отправлялся в публичный клозет на дворе. Через несколько дней жизни в квартире Честновой весовщик уже укреплял каблуки на стоптанных туфлях Москвы, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Москва сначала ругала весовщика за подхалимство, а потом, чтоб изжить такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Вскоре комсомольская организация определила Честнову на временную работу в районный военкомат — для ликвидации упущений в учете.

4

Однажды в коридоре военкомата стоял худой и бледный вневойсковик с книжкой военного учета в руках. Ему казалось, что в райвоенкомате пахло так же, как в местах длительного заключения — безжизненностью томящегося человеческого тела, сознательно ведущего себя скромно и экономично, чтобы не возбуждать внутри себя замирающего влечения к удаленной жизни и не замучиться потом в тщетности, от тоски отчаяния. Равнодушная идеологичность убранства, сделанного по дешевому госбюджету, и незначительность служащих лиц обещали пришедшему человеку бесчувствие, происходящее от бедного или жестокого сердца.

Вневойсковик ожидал служащую у одного окна, пока она дочитывала стихи в книге; вневойсковик полагал, что от стихов каждый человек становится добрее — он сам читал книги до полуночи в молодости своей жизни и после того чувствовал себя грустно и безразлично. Служащая, дочитав стих, начала ставить вневойсковика на переучет, удивляясь тому, что этот человек, по данным учетного бланка, не был ни в белой, ни в красной армии, не проходил всеобщего военного обучения, не являлся никогда на сборно-учебные пункты, не участвовал в территориальных соединениях и в походах Осовавиахима и на три года пропустил срок своей перерегистрации. Неизвестно, каким способом,

в какой тишине данный вневойсковик сумел укрыться от бдительности домоуправлений, со своей военно-учетной книжкой устаревшего образца.

Военнослужащая посмотрела на вневойсковика. Перед нею, за изгородью, отделившейся спокойствие учреждения от людей, стоял посетитель с давно исхудавшим лицом, покрытым морщинами тоскливой жизни и скучными следами слабости и терпения; одежда на вневойсковике была так же изношена, как кожа на его лице, и согревала человека лишь за счет долговечных нечистот, въевшихся в ветхость ткани; он смотрел на служащую с робкой хитростью, не ожидая к себе сочувствия, и часто, опустив глаза, закрывал их ладонями, чтобы видеть тьму, а не жизнь; на одно мгновение он вообразил себе облака на небе — он любил их, потому что они его не касались и он им был чужой.

Поглядев нечаянно в даль военкомата, вневойсковик вздрогнул от удивления: на него смотрели два ясных глаза, обросших сосредоточенными бровями, не угрожая ему ничем. Вневойсковик много раз видел где-то такие глаза, внимательные и чистые, и всегда моргал против этого взгляда. «Это настоящая красная армия! — подумал он с грустным стыдом. — Господи! Почему я зря пропустил всю свою жизнь, ради иждивения самого себя!..» Вневойсковик всегда ожидал от учреждений ужаса, измождения и долготерпеливой тоски, — здесь же он увидел вдалеке человека, сочувственно думающего по поводу него.

«Красная армия» встала с места, — она оказалась женщиной, — и подошла к вневойсковику. Он испугался прелести и силы ее лица, но из сожаления к своему сердцу, которое может напрасно заболеть от любви, отвернулся от этой служащей. Подошедшая Москва Честнова взяла у него учетную книжку и оштрафовала его на пятьдесят рублей за нарушение учетного закона.

— У меня денег нету, — сказал вневойсковик. — Я лучше как-нибудь живьем штраф отплачу.

— Ну как же? — спросила Москва.

— Не знаю, — тихо произнес вневойсковик. — Мне так себе живется.

Честнова взяла его за руку и отвела к своему столу.

— Отчего вам так себе живется? — спросила она. — Вы хотите что-нибудь?

Вневойсковик не мог ответить; он чувствовал, как пахло от этой служащей красноармейской женщины мылом, потом и какою-то милой жизнью, чуждой для его сердца, таящегося в своем одиночестве, в слабом тлеющем тепле. Он согнул голову и заплакал от своего жалкого положения, а Москва Честнова в недоумении отпустила его руку. Вневойсковик постоял немного, а потом обрадовался, что его не задерживают, и скрылся в свое неизвестное жилище, чтобы просуществовать как-нибудь до гроба без учета и опасности.

Но Честнова нашла его адрес в переучетном бланке и через некоторое время пошла в гости к вневойсковику.

Она долго ходила в глуши бауманского района, пока не отыскала один небольшой жакт, в котором находился вневойсковик. Это был дом с неработоспособным правлением и с дефицитным балансом расходов, так что его стены уже несколько лет не окрашивались свежей краской, а нелюдимый, пустой двор, где даже камни истерлись от детских игр, давно требовал к себе надлежащей заботы.

С печалью прошла Москва мимо стен и по смутно освещенным коридорам этого жакта, как будто ее обидели или она была виновата в чужой небрежной и несчастной жизни. Когда Москва Честнова вышла по ту сторону дома, обращенную к длинному сплошному забору, она увидела каменное крыльцо с железным навесом, над которым горел электрический фонарь. Она прислушалась к шуму в окружающем воздухе — за забором сбрасывали тес на землю и слышно, как внизывались лопаты в грунт; у железного навеса стоял непокрытый лысый человек и играл на скрипке мазурку в одиночестве. На каменной плите лежала шляпа музыканта, прожившая все долгие невзгоды на его голове — и некогда она покрывала шевелюру молодости, а теперь собирала деньги для пропитания старости, для поддержания слабого сознания в ветхой голой голове.

Честнова положила в эту шляпу рубль и попросила сыграть ей что-нибудь Бетховена. Не сказав никакого слова, музыкант доиграл мазурку до конца и лишь затем начал Бетховена. Москва стояла против скрипача по-бабьи, расставив ноги и пригорюнившись лицом от тоски, волнующейся вблизи ее сердца. Весь мир вокруг нее стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая темная сила действовала с такой

злостью, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и громила со скоростью вопля какого-то своего холодного, казенного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодику и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста, как непосильный труд из жизненной нужды.

Музыкант глядел на Москву равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью, — как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения, и предпочитал ее всему видимому. Под конец игры из глаз скрипача вышли слезы, — он истомился жить, и, главное, он прожил себя не по музыке, он не нашел своей ранней гибели под стеной несокрушимого врага, а стоит теперь живым и старым бедняком на безлюдном дворе жакта, с изможденным умом, в котором низко стелется последнее воображение о героическом мире. Против него — по ту сторону забора — строили медицинский институт для поисков долговечности и бессмертия, но старый музыкант не мог понять, что эта постройка продолжает музыку Бетховена, а Москва Честнова не знала, что там строится. Всякая музыка, если она была велика и человечна, напоминала Москве о пролетариате, о темном человеке с горящим факелом, бежавшем в ночь революции, и о ней самой, и она слушала ее как речь вождя и собственное слово, которое она всегда подразумевает, но никогда вслух не говорит.

На входной двери висела фанерная доска с надписью: «Правление жакта и домоуправление». Честнова вошла туда, чтобы узнать номер квартиры вневойсковика, — он указал в учетном бланке один номер дома.

До канцелярии жакта шел деревянный коридор, по обе стороны его жили вероятно многодетные семьи — там сейчас с обидой и недовольством кричали дети, деля пищу на ужин между собой. Внутри деревянного коридора стояли жильцы и беседовали на все темы, какие есть на свете, — о продовольствии, ремонте дворовой уборной, о будущей войне, о стратосфере и смерти местной, глухой и безумной прачки. На стенах коридора висели плакаты Мопра, Управления сберкасс, правила ухода за грудным ребенком, человек в виде буквы «Я», сокращенный на одну ногу уличной катастрофой, и прочие картины жизни, пользы и бедствий. Многие люди приходили сюда, в деревянный коридор домоуправления, часов с пяти вечера, сразу после работы, и простаивали на ногах, размышляя и беседуя, вплоть до полуночи, лишь изредка нуждаясь в какой-либо справке домоуправления. Москве Честновой было удивительно узнать это; она не могла понять, почему люди жалались к жакту, к конторе, к справкам, к местным нуждам небольшого счастья, к самоистощению в пустяках, когда в городе были мировые театры, а в жизни еще не были разрешены вечные загадки мучения и даже у наружной двери играл прекрасную музыку скрипач, не вникаемый никем.

Пожилой управдом, работавший в шуме людей — среди дыма и разных вопросов, — дал Честновой точную справку о всем вневойсковике: он жил в коридорной системе второго этажа, в комнате номер 4, пенсионер третьего разряда, общественный актив жакта много раз ходил к нему — уговаривать насчет необходимости своевременного переучета и оформления своего военного положения, но вневойсковик уже несколько лет обещал это сделать, собираясь с завтрашнего утра потратить весь день на формальные нужды, но до сих пор не выполнил своего обещания по бессмысленной причине; с полгода назад сам управдом посетил вневойсковика на этот предмет, увещевал его три часа, сравнивал его состояние с тоскою, скукой и телесной нечистоплотностью, как если бы он не чистил зубы, не мылся и вообще наносил сам себе позор, с целью критики советского человека.

— Не знаю что и делать с ним, — сказал управдом. — Один такой во всем жакте.

— А чем он занимается вообще? — спросила Москва.

— Я же тебе сказал: пенсионер третьей категории, сорок пять рублей получает. Ну, он еще в осодмиле состоит, пойдет постоит на трамвайной остановке, поштрафует публику и опять на квартиру вернется...

Москве стало грустно от жизни такого человека и она сказала:

— Как нехорошо все это!..

Управдом вполне согласился с нею:

— Хорошего в нем негу!.. Летом он часто в парк культуры ходил, но тоже — зря. Ни оркестра не послушает, ни мимо зрелищ не погуляет, а как придет, так сядет около отделения милиции и просидит там целый день — то разговаривает понемногу, то ему поручение какое-нибудь дадут: он сделает пойдет, — любит он административную работу, хороший осодмилец...

— Он женатый? — спросила Москва.

— Нет, он неопределенный... Формально холост, но все ночи проводит молча с женщинами, уж сколько лет подряд. Это его принципиальное дело, жакт тут стоит в стороне... Но вот что — женщины к нему являются некультурные, неинтересные, такая как вы — первая. Не советую: убогий человек...

Москва ушла из правления дома. По-прежнему стоял музыкант у входа, но ничего не играл, а сам что-то слушал молча из ночи. Далекое зарево трепетало над центром города, волнуясь в бегущих тучах, и огромное загроможденное мраком небо открывалось вдруг мгновенным и острым светом, сверкнувшим из-под трамвайного провода. В близком клубе местного транспорта пел хор молодых работниц, увлекая силой вдохновения собственную жизнь в далекие края будущего. Честнова пошла в тот клуб и пела там и танцевала, пока распорядитель, заботясь об отдыхе молодежи, не потушил свет. Тогда Москва уснула где-то за кулисами сцены на фанерной бутафории, обняв по девической привычке временную подругу, такую же усталую и счастливую, какой была сама.

5

Небрежный и нечистоплотный от экономии своего времени, Самбикин чувствовал мировую внешнюю материю как раздражение собственной кожи. Он следил за всемирным течением событий день и ночь, и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества.

По ночам Самбикин долго не мог заснуть от воображения труда на советской земле, освещенного сейчас электричеством. Он видел сооружения, густо оснащенные тесом, где ходили неспящие люди, укрепляя молодые доски из свежего леса, чтобы самим держаться на высоте, где дует ветер и видно, как идет ночь по краю мира в виде остатка вечерней зари. Самбикин сжимал свои руки от нетерпения и радости, а потом вдруг задумывался во мраке, забывая моргать по полчаса. Он знал, что тысячи юношей-инженеров, сдавших свою смену, сейчас тоже не спят, а ворочаются в беспокойстве в общежитиях и в новых домах — по всей равнине страны, а иные, только улегшись на отдых, уже бормочут и постепенно одеваются обратно, чтобы уйти опять на стройку, потому что их ум начала мучить одна забытая днем деталь, грозящая ночной аварией.

Самбикин вставал с кровати, зажигал свет и ходил в волнении, желая предпринять что-либо немедленно. Он включал радио и слышал, что музыка уже не играет, но пространство гудит в своей тревоге, будто безлюдная дорога, по которой хотелось уйти. Тогда Самбикин звонил в институтскую клинику и спрашивал — есть ли сейчас срочные операции, он будет ассистировать. Ему отвечали, что есть: привезли ребенка с опухолью на голове, которая растет с ежесекундной скоростью, и мальчик темнеет сознанием.

Самбикин выбежал на московскую улицу; трамваи уже не ходили, по асфальтовым тротуарам звучно стучали высокие каблук женщины, возвращавшихся домой из театров и лабораторий, или от любимых ими людей. Самбикин, действуя своими длинными ногами, быстро добегал до бауманского района, где строился медицинский экспериментальный институт специального назначения. Институт не был еще окончательно оборудован и сейчас не работали только два отделения — хирургии и травматическое. Двор института был загружен трубами, досками, вагонетками и ящиками с научным инвентарем; забор детского масштаба, отделявший строительство от какого-то жилищного дома, накренился и вовсе поник.

На этом дворе Самбикин услышал вдруг жалкую музыку, тронувшую его сердце не столько мелодией, сколько неясным воспоминанием чего-то прожи-

того, оставленного в забвении. Он заслушался на минуту; музыка играла по ту сторону бедного забора. Самбикин влез на забор и увидел постаревшего лысого скрипача, игравшего в безлюдьи, в два часа ночи. Самбикин прочел вывеску над входной дверью дома, у которого играл музыкант: «Правление жакта и домоуправление». Самбикин достал рубль и хотел дать его музыканту за работу, но скрипач отказался. Он сказал, что сейчас играет для себя, потому что ему тоскливо и он может спать только на утренней заре, а до нее еще далеко...

Около малой операционной залы уже висели два мягких баллона с кислородом и стояла старшая дежурная сестра. В конце коридора, в отдельной комнате-боксе, сплошь застекленной по стороне, обращенной в коридор, большого ребенка готовили к операции — ему быстро брили голову две сестры. За левым ухом у мальчика, заняв полголовы, вырос шар, наполненный горячим бурым гноем и кровью, и этот шар походил на вторую дикую голову ребенка, сосущую его изнемогающую жизнь. Ребенок сидел в кровати и не спал: ему было лет семь. Он смотрел опустевшими, уснувшими глазами и немного поднимал руки в воздух, когда его сердце заходило от боли, мучаясь и не ожидая пощады.

В живом сознании Самбикина с точным ощущением встала болезнь ребенка, и он потерял у себя за ухом, ища шаровидную опухоль, — вторую безумную голову, в которой сжимается смертный гной. Он пошел готовиться к операции.

Переодеваясь и думая, он слышал шум в своем левом ухе, — это гной в голове ребенка химически размывал и разъедал последнюю костяную пластину, защищавшую его мозг; в уме мальчика сейчас уже стелется туманная смерть, жизнь держится еще под защитой костяной пленки, но в ней осталось толщины не более доли миллиметра и слабеющая кость вибрирует под напряжениемгноя.

— Что он видит сейчас в своем сознании? — спрашивал сам у себя Самбикин про больного. — Он видит сны, берегущие его от ужаса... Он видит двух своих матерей, моющих его в ванне, а это две сестры бреют его волосы. И он одного только боится: почему две матери?.. Он видит любимую кошку, которая живет с ним дома в комнате, и эта кошка впилась ему сейчас в голову...

Пришел старый хирург-оператор, которому должен помогать Самбикин. Старик был готов и приглашал своего ассистента. Вести операцию самостоятельно Самбикину еще не давали: ему было двадцать семь лет и хирургический стаж его продолжался всего второй год.

Все звуки в хирургическом институте тщательно уничтожались и сигнализация совершалась цветным светом. В комнате дежурного врача зажглись три лампы разных цветов — и вслед за тем почти бесшумно были совершены несколько действий: по пробковому ковру коридора проехала низкая тележка на резиновых колесах и отвезла больного в операционную залу; электромонтер переключил электрический свет на питание из институтской аккумуляторной батареи, чтобы свет не зависел от случайностей городской сети, и пустил в ход аппарат, нагнетающий озонированный воздух в операционную; дверь операционной залы беззвучно открылась и в лицо больного ребенка подул прохладный и благоуханный ветер из специального прибора — мальчик получил усыпление и улыбнулся, освобожденный от последних следов страдания.

— Мама, я очень сильно заболел, меня сейчас резать будут, но мне ничуть не больно! — сказал он, и стал беспомощным и чуждым самому себе. Жизнь словно отлучилась из него самого и сосредоточилась в отдаленном и грустном воображении снов; он видел предметы, всю сумму своих впечатлений, — эти предметы мчались мимо него и он узнавал их — вот забытый гвоздь, который он держал в руках давно, гвоздь теперь заржавел, стал старый, вот черная маленькая собака, с ней он играл когда-то на дворе — она лежит мертвая в мусоре, с разбитой стеклянной банкой на голове, вот железная крыша на низком сарае, он влезал на нее, чтобы смотреть с высоты, она пустая сейчас и железо скучает по нем, а его долго нет; стоит лето, тень матери лежит на земле, идет милиция, но ее оркестр играет неслышно...

Старый хирург предложил Самбикину вести операцию, а он будет ассистировать.

— Начнем! — сказал старик в светлой глуши залы.

Самбикин взял резкий, блестящий инструмент и вошел им в существо всякого дела — в тело человека. Острая, мгновенная стрела вышла позади глаз из ума мальчика, побежала по его телу — он следил за ней воображением —

и ударила ему в сердце: мальчик вздрогнул, все предметы, знавшие его, заплакали по нем, и сон его воспоминаний исчез. Жизнь сошла еще ниже, она тлела простой, темной теплотой в своем терпеливом ожидании. Самбикин чувствовал руками, как греется все более тело ребенка, и спешил. Он спускал гной из разверстых покровов головы и проникал в кость, — он искал первичные очаги заражения.

— Тише, медленнее! — говорил старый хирург. — Скажите пульс! — обратился он к старшей сестре.

— Аритмия, доктор, — сказала сестра. — Иногда не слышно вовсе.

— Ничего, инерция сердца всегда велика — выправится.

— Держите ему голову! — указал Самбикин сестрам. Он приступил к выборке костных участков, в порах которых таился гной.

Инструмент звенел, как при холодной металлообработке, Самбикин шел в ударах на ощупь — глубже или мельче — на точном чувстве искусства; большие глаза его остекленели без влаги — ему некогда было моргать, — бледные щеки стали смуглыми от силы крови, пришедшей ему на помощь из глубины его сердца. Извлекая костяные секции, Самбикин глядел в них в свете рефлектора, нюхал, сжимал для лучшего ознакомления и передавал старшему хирургу; тот равнодушно бросал их в посуду.

Мозг приближался; выкальывая кости из черепа, Самбикин исследовал их теперь под микроскопом и все еще находил в них гнезда стрептококков. В некоторых местах головы ребенка Самбикин дошел уже до последней костной пластинки, ограждающей мозг, и зачистил ее по поверхности от смертного серого налета. Его руки действовали так, как будто они сами думали и считали каждый допуск движения. По мере удаления стрептококков, их становилось меньше, но Самбикин переходил на сильнейшие микроскопы, которые показывали, что число гноеродных телец, быстро убывая, целиком все же не исчезает. Он вспомнил знаменитое математическое уравнение, выражающее распределение теплоты по пруту бесконечной длины, и прекратил операцию.

— Тампонировать и бинтовать! — приказал он, ибо, чтобы совершенно уничтожить стрептококков, надо было искрошить не только всю голову больного, но и все его тело до ногтей на пальцах ног.

Самбикину было ясно, что разверстое, с тысячами рассеченных сосущих кровеносных сосудов, горячее, беззащитное тело больного жадно вбирало в себя стрептококков отовсюду — из воздуха, а особенно — из инструмента, который стерилизовать начисто невозможно. Нужно было давно перейти на электрическую хирургию — входить в тело и кости чистым и мгновенным, синим пламенем вольтовой дуги — тогда все, что носит смерть, само будет убито и новые стрептококки, проникнув в раны, найдут в них сожженную пустыню, а не питательную среду.

— Кончено! — сказал Самбикин.

Сестры уже перевязывали голову больного. Они повернули его лицом к врачам.

Тепло жизни, пробиваясь изнутри, розовыми полосами шло по бледному лицу ребенка и быстро размывалось прочь; затем оно возникало снова и опять ступеньвалось. Глаза его были почти открыты и высокли настолько, что роговое вещество немного сморщилось от сухости...

— Он мертвый! — сказал старый врач.

— Нет еще, — ответил Самбикин и поцеловал ребенка в увядшие губы. — Он будет жить. Дайте ему немного кислорода. Пить не давать до утра.

По выходе из клиники Самбикин встретил трясущуюся, судорожную женщину — мать ребенка. Ее не пускали по правилам и за поздней ночью. Самбикин поклонился ей и велел пропустить ее к сыну.

Загоралось утро. Самбикин посмотрел через забор на соседний жакт, все пусто было, скрипач ушел спать. Из двери вышел человек скромной наружности со сморщенной, изношенной годами и трудностью женщиной. Спутник ей убедительно признавался в любви; Самбикин нечаянно заслушался его голоса — в этом голосе звучала темная грудная грусть, и это делало его трогательным, хотя человек говорил пошлость и глупость.

— А война будет, ты бросишь меня, — робко возражала женщина.

— Я? Нет, нисколько! Я последняя категория, я вневойсковик, почти ничто... Пойдем за сарай ляжем полежим, душа опять болит.

— Ишь ты в комнате не долбил меня? — счастливо удивилась женщина.

— Маленько — нет, — сказал вневойсковой любовник. — Сердце еще болит, не остыло.

— Ишь, хамлет какой! — улыбнулась женщина. — И здоровья ему не жалко!

Она была горда сейчас, что нравится и увлекает мужчин. Вневойсковик жался от утренней прохлады в своем истертом, усталом пальто и поспешил под руку с женщиной, видимо, желая как можно скорее отделаться от всего...

Самбикин пошел по Москве. Ему странно и даже печально было видеть пустые трамвайные остановки, безлюдные черные номера маршрутов на белых таблицах, — они вместе с трамвайными мачтами, тротуарами и электрическими часами на площади тосковали по многолюдству.

Самбикин задумался, по своему обыкновению, над жизнью вещества — над самим собой; он относился сам к себе как к подопытному животному, как к части мира, доставшейся ему для исследования всего целого и неясного.

Он думал всегда и непрерывно, его душа сейчас же заболела, если Самбикин останавливался мыслить, и он снова работал над воображением мира в голове, ради его преобразования. Ночью ему снились его разрушенные мысли, а он тщетно шевелился в постели, силясь вспомнить их дневной порядок, затем мучился и просыпался, радуясь утреннему свету и восстановленной ясности ума. Его длинное, усохшее тело, доброе и большое, всегда шумно жило и дышало, точно этот человек был алчный — постоянно хотел есть и пить, и громадное лицо имело вид опечаленного животного, только нос его был настолько велик и чужд даже громадному лицу, что сообщал кротость всему выражению характера.

Домой Самбикин пришел уже в светлое время, когда летнее великое утро горело на небе так мощно, что Самбикину казалось — свет гремит. Он позвонил в институт, ему сказали — оперированный ребенок хорошо спит, температура снижается, мать его тоже уснула на другой кровати. Передумав все о сегодняшней операции и все очередные проблемы, Самбикин почувствовал свое тоскующее, опустевшее сердце — ему надо было опять действовать, чтобы приобрести задачу для размышления и утомонить неясный и алчущий, совестливый вопль в душе. Спал он мало, и лучше всего после большой работы, тогда и сны в благодарность оставляли его. Нынче он действовал недостаточно, разум в голове не мог устать и хотел еще работать, отвергая сон. Пометавшись беспомощно по комнате, Самбикин пошел в ванну, разделся там и с удивлением оглядел свое тело юноши, затем пробормотал что-то и залез в холодную воду. Вода умиротворила его, но он тут же понял, насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более, как смутный зародыш и проект чего-то более действительного, и сколько надо еще работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте...

6

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты, музыканты и рабочие новых заводов. Никому не было более двадцати семи лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения.

Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Селин с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой от воображения музыки.

— Пойдем жевнем чего-нибудь! — сказал ей Селин.

— Жевнем, — согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Селин, розовый мощный едок, съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных; она жила для игры, а не для пищеварения.

— Селин, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это может хорошо, но на тебя стыдно смотреть!

Селин ел с негодованием, он жевал как пахал — с настойчивым трудом, с усердием в своих обоих надежных челюстях.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Семен Сарториус, две девушки подруги — обе гидравлики, композитор Левченко, астроном Сиццылин, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор сверхвысотных самолетов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ними опять послышались люди и еще пришли некоторые. Все уже были знакомы между собой — по работе, по встречам и по разным сведениям.

Пока не началось заседание, каждый предался своему удовольствию — кто дружбе, кто пище, кто вопросам на нерешенные задачи, кто музыке и танцам. Кузьмина нашла небольшую комнату с новым роялем и с наслаждением играла там девятую симфонию Бетховена — все части, одна за другой, по памяти. У нее сжималось сердце от глубокой свободы и воодушевленной мысли этой музыки и от эгоистической грусти, что она сама так сочинять не умеет. Электротехник Гунькин слушал Кузьмину и думал о высокой частоте электричества, простреливающей вселенную насквозь, о пустоте высокого грозного мира, всасывающего в себя человеческое сознание... Мульдбауэр видел в музыке изображение дальних легких стран воздуха, где находится черное небо и среди него висит немерцающее солнце с мертвым накалом своего света, где — вдалеке от теплой и смутно-зеленой земли — начинается настоящий серьезный космос: немое пространство, изредка горящее сигналами звезд — о том, что путь давно свободен и открыт... Скорее же покончить с тяжелой возней на земле, и пусть тот же старый Сталин направит скорость и напор человеческой истории за черту тяготения земли — для великого воспитания земли — для великого воспитания разума в мужестве давно предназначенного ему действия.

Немного спустя сюда же пришла Москва Честнова и молча улыбалась от радости видеть своих товарищей и слышать музыку, возбуждающую ее жизнь на исполнение высшей судьбы.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин; он только что был в институтской клинике и сам делал перевязку оперированному им мальчику. Он пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения... Он хотел уже уйти из клуба, чтобы поработать ночью в институте над своим исследованием о смерти, но вдруг увидел проходящую Москву Честнову. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и святящееся воодушевление, скрытые за скромностью и даже робостью лица. Раздался звонок к началу заседания. Все пошли из комнаты, где находился Самбикин, одна Честнова задержалась, укрепляя чулок на ноге. Когда она управилась с чулком, то увидела одного Самбикина, глядевшего на нее. От стеснения и неловкости — жить в одном мире, делать одно дело и не быть знакомыми — она поклонилась ему. Самбикин подошел к ней и они отправились вместе слушать заседание.

Они сели рядом и среди речей, славы и приветствий Самбикин ясно слышал пульсацию сердца в груди Москвы.

Он спросил её шепотом в ухо:

— Отчего у вас сердце так стучит?... Я его слышу!

— Оно летать хочет, и бьется, — с улыбкой прошептала Москва Самбикину. — Я ведь парашютистка!

«Человеческое тело летало в каких-то погибших тысячелетиях назад, — подумал Самбикин. — Грудная клетка человека представляет свернутые крылья».

Он попробовал свою нагретую голову — там тоже что-то билось, желая улететь из темной одинокой тесноты.

После собрания наступило время общего ужина и развлечений. Молодые гости разошлись по многим помещениям, прежде чем сесть к общему столу.

Механик Сарториус пригласил Москву Честнову танцевать и она пошла кружиться с ним, с любопытством разглядывая великое круглое лицо знаменитого изобретателя в области точной индустрии, инженера — расчетчика мирового значения. Сарториус держал Москву крепко, танцевал тяжело и робко

улыбался, выдавая своё сжатое влечение к Москве. Москва же смотрела на него как влюбленная — она быстро предавалась своему чувству и не играла женскую политику равнодушия. Ей нравился этот неинтересный человек, ростом меньше ее, с добрым и угрюмым лицом, который не вытерпел своего сердца и пошел на крайнюю для себя смелость — приблизился к женщине и пригласил ее танцевать. Но вскоре это, наверно, ему наскучило, руки его уже привыкли к теплоте тела Москвы, горячего под легким платьем, и он начал что-то бормотать. Москва же, услышав такое, сразу обиделась:

— Сам меня обнимает, сам со мной танцует, а думает совсем другое! — сказала она.

— Это я так, — ответил Сарториус.

— Сейчас же скажите, что — так! — нахмурилась Москва и перестала танцевать.

Самбикин с ветром пронесся мимо них, — он тоже танцевал, приурочившись к какой-то комсомолке большой миловидности. Москва улыбнулась ему:

— Неужели и вы танцуете? Вот странный какой!

— Надо жить всесторонне! — с хода ответил ей Самбикин.

— А вам охота? — крикнула ему Москва.

— Нет, я притворяюсь! — ответил ей Самбикин. — Это теоретически!

Комсомолка, обидевшись, сейчас же покинула Самбикина, и он засмеялся.

— Ну, говорите скорей! — с надуманной серьезностью обратилась Москва к Сарториусу.

«Неужели она дура? Жалко!» — подумал Сарториус. Здесь к ним подошел метеоролог Вечкин, затем Самбикин, и Сарториус не успел ничего ответить Москве. Встретились они лишь спустя час — за общим ужином.

Большой стол был накрыт для пятидесяти человек. Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей красоты, стояли через каждые полметра и от них исходило посмертное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины-инженеры были одеты в лучший шелк республики — правительство украшало лучших людей. Москва Честнова была в чайном платье, весившем всего три-четыре грамма, и шито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Москвы обозначился волнением ее шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего, грустного Вечкина, пришли в костюмах из тонкого матерьяла, простых и драгоценных; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью к стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Небольшой комсомольский оркестр играл на балконе за открытой дверью маленькие пьесы. Пространный воздух ночи входил через дверь балкона в залу и цветы на длинном столе дышали и сильнее пахли, чувствуя себя живыми в потерянной земле. Древний город шумел и озарялся светом, как новостройка, иногда смех и голос прохожего человека доносился с улицы сюда в клуб, и Честновой Москве хотелось выйти и пригласить ужинать всех: все равно социализм настает! Ей было по временам так хорошо, что она желала покинуть как-нибудь самое себя, свое тело в платье, и стать другим человеком — женой Гунькина, Самбикиным, вневойсковиком, Сарториусом, колхозницей на Украине...

Люстры завода «Электроприбор» бледной и нежной энергией покрывали людей и богатое убранство; легкая предварительная закуска стояла на столе, а осной ужин еще грелся вдалеке в кухонных очагах.

Собравшиеся, которые были красивы от природы или от воодушевления и незаконченной молодости, долго устраивались со своими местами, ища лучшего соседства, но в конце концов желая сесть сразу со всеми вблизи.

И вот когда они уселись, тридцать человек, то их внутренние живые средства, возбужденные друг другом, умножились, и среди них и родился общий гений жизненной искренности и счастливого соревнования в умном дружелюбии. Но остро-настроенный такт взаимных отношений, приобретенный в трудной технической культуре, где победа не дается двусмысленной игрой, — этот такт поведения не допускал ни глупости, ни сентиментальности, ни сомнений. Присутствующие знали или догадывались об угрюмых размерах природы, о протяженности истории, о долготе будущего времени и о действительных

масштабах собственных сил; они были рациональные практики и неподкупны к пустому обольщению.

Более других была нетерпелива и безумна Москва Честнова. Она выпила, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки. Сарториус заметил это и улыбнулся ей своим неточным широким лицом, похожим на сельскую местность. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать крестьянка его выносила в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом.

Самбикин также наблюдал за Честновой и думал над нею: любить ему ее или не надо; в общем она была хороша и ничья, но сколько мысли и чувства надо изгнать из своего тела и сердца, чтобы вместить туда привязанность к этой женщине? И все равно Честнова не будет ему верна, и не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека.

«Нет, я любить ее не буду и не могу! — навсегда решил Самбикин. — Тем более, придется как-то портить ее тело, а мне жалко, лгать день и ночь, что я прекрасный... Не хочу, трудно!» Он забылся в течении своего размышления, утратив в памяти всех присутствующих. Присутствующие же, хотя и сидели за обильным и вкусным столом, но ели мало и понемногу, они жалели дорогую пищу, добытую колхозниками трудом и терпением, в бедствиях борьбы с природой и классовым врагом. Одна Москва Честнова забылась и ела и пила, как хищница. Она говорила разную глупость, разыгрывала Сарториуса и чувствовала стыд, пробирающийся к ней в сердце из ее лгущего, пошлого ума, грустно сознающего свое постыдное пространство. Никто не обидел Честнову и не остановил ее, пока она не избила своею силой и не замолчала сама. Самбикин знал, что глупость — это естественное выражение блуждающего чувства, еще не нашедшего своей цели и страсти, а Сарториус наслаждался Москвой независимо от ее поведения; он уже любил ее как живую истину и сквозь свою радость видел ее неясно и неверно.

Во время шума людей и уже позднего вечера в залу незаметно вошел Виктор Васильевич Божко и сел у стены на диване, не желая быть замеченным. Он увидел красную, веселую Москву Честнову и вздрогнул от боязни ее. К ней подошел какой-то молодой ученый человек и запел над нею:

Ты ходишь пьяная,
Ты вся уж бледная,
Такая милая
Подруга верная...

Москва, услышав это, закрыла лицо руками и неизвестно — заплакала или застыдилась себя. Сарториус в тот момент спорил с Вечкиным и Мульдбауэром; Сарториус доказывал, что после классового человека на земле будет жить проникновенное техническое существо, практически, работой ощущающее весь мир... Древние люди, начавшие историю, тоже были техническими существами; греческие города, порты, лабиринты, даже гора Олимп — были сооружены циклопами, одноглазыми рабочими, у которых древними аристократами было выдвинуто по одному зрачку — в знак того, что это — пролетариат, осужденный строить страны, жилища богов и корабли морей, и что одноглазым нет спасения. Прошло три или четыре тысячи лет, сто поколений, и потомки циклопов вышли из тьмы исторического лабиринта на свет природы, они удержали за собою шестую часть земли, и вся остальная земля живет лишь в ожидании их. Даже бог Зевс, вероятно, был последний циклоп, работавший по насыпке олимпийского холма, живший в хижине наверху и уцелевший в памяти античного аристократического племени; буржуазия тех ветхих времен не была глупой — она переводила умерших великих рабочих в разряд богов, ибо она втайне удивлялась, не в силах понять творчества без наслаждения, что погибшие молчаливо обладали высшей властью — трудоспособностью и душою труда — техникой.

Сарториус встал на ноги и взял чашку с вином. Короткого роста, с обыкновенным согретым жизнью лицом, увлеченный мысленным воображением, он был счастлив и привлекателен. Честнова Москва загляделась на него и решила когда-нибудь поцеловаться с ним. Он произнес среди своих замолкших товарищей:

— Давайте выпьем за безымянных циклопов, за воспоминанье всех погибших наших измученных отцов и за технику — истинную душу человека! .

Все сразу выпили, а музыканты заиграли старую песнь на стихи Языкова:

Там за валом непогоды
Есть блаженная страна,
Где не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Божко сидел покорно и незаметно; он радовался большому числу участников вечера, он знал, что непогода проходит и блаженная страна лежит за окном, освещенная звездами и электричеством. Он скупое, молчаливо любил эту страну и поднимал каждую крошку, падающую из ее добра, чтоб страна уцелела полностью.

Подали обильный ужин. Его бережно начали отведывать, но Семен Сарториус не мог уже ни есть, ни пить ничего. Мученье любви к Честной Москве сразу занялось во всем его теле и сердце, так что он открыл рот и усиленно дышал, как будто ему стало неудобно в груди. Москва издала и загадочно улыбалась ему, ее таинственная жизнь доходила до Сарториуса теплом и тревогой, а зоркие глаза ее глядели на него невнимательно, как на рядовой факт. «Эх, физика сволочь! — понимал Сарториус свое положение. — Ну вот что мне теперь делать, кроме глупости и личного счастья!»

Городская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряжением далеких машин; возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Сарториуса. Он вышел на балкон, поглядел на звезды и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!» Самбикин по-прежнему сидел за столом, не трогая пищи; он был увлечен своим размышлением дальше завтрашнего утра и смутно, как в тумане над морем, разглядывал будущее бессмертие. Он хотел добыть долгу силу жизни или, быть может, ее вечность из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, он снял тонкие срезы с сердца, с мозга и железы половой секреции. Самбикин изучил их под микроскопом и заметил на срезах какие-то ослабевшие следы неизвестного вещества. После, испытывая эти почти погасшие следы на химическую реакцию, на электропроводность, на действие света, он открыл, что неизвестное вещество обладает едкой энергией жизни, но бывает оно только внутри мертвых, в живых его нет, в живых накапливаются пятна смерти — задолго до гибели. Самбикин озадачился тогда на целые годы и сейчас озадаченность его еще не прошла: труп, оказывается, есть резервуар наиболее напорной, резкой жизни, хотя и на краткое время. Исследуя точнее, размышляя почти непрерывно, Самбикин начинал соображать, что в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, ядовитая для смертного гноя, смывающая прах утомления, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности. Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупое и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется по телу, срывает ту печать с запасной, сжатой жизни и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека и оставляет неясные следы на его мертвом сердце... Свежий труп весь пронизан следами тайного замершего вещества и каждая часть мертвеца хранит в себе творящую силу для уцелевших жить. Самбикин предполагал превратить мертвых в силу, питающую долголетие и здоровье живых. Он понимал девственность и могущество той младенческой влаги, которая омывает внутренность человека в момент его последнего дыхания; эта влага, добавленная в живого, но поникшего человека, способна его сделать прямым, твердым и счастливым...

Он стоял долго; все теперь было для него нерешенным и посторонним. Чужие люди ехали на трамвае по улице, и звуки движения и разговорная речь доносились до слуха Сарториуса точно издали; он слушал их без интереса и любопытства, как больной и одинокий. Он захотел сейчас же уйти домой, лечь под одеяло и согреть свою внезапную боль до того, чтоб она отошла к утру, когда снова придется идти [на работу]*.

За его спиной наслаждались его сверстники сознанием своего успеха и будущей технической мечтой. Мульдбауэр говорил о слое атмосферы на высоте

* Слово вычеркнуто в рукописи, но замена не найдена.

где-то между пятьюдесятью и стами километров; там существуют такие электромагнитные, световые и температурные условия, что любой живой организм не устанет и не умрет, но будет способен к вечному существованию среди фиолетового пространства. Это было «Небо» древних людей и счастливая страна будущих: за дальню низко стелющуюся непогоды действительно находится блаженная страна. Мульдбауэр предсказывал близкое завоевание стратосферы и дальнейшее проникновение в синюю высоту мира, где лежит воздушная страна бессмертия; тогда человек будет крылатым, а земля останется в наследство животным и вновь, навсегда зарастет делями своей ветхой девственности. «И животные это предчувствуют! — убежденно говорил Мульдбауэр. — Когда я гляжу им в глаза, мне кажется — они думают: когда же это кончится, когда же вы оставите нас! Животные думают: когда же люди оставят их одних для своей судьбы!»

Сарториус скудно улыбнулся; он хотел бы сейчас остаться в самом низу земли, поместиться хотя бы в пустой могиле и неразлучно с Москвой Честновой прожить жизнь до смерти. Однако ему жалко было оставить без своего ответа эти ночные звезды, с детства глядящие на него, быть безучастным к всеобщей жизни, наполненной трудом и чувством сближения между людьми, он боялся идти по городу безмолвным, склонив голову, с сосредоточенной одинокой мыслью любви и не желал стать равнодушным к своему столу, набитому идеями в чертежах, к своей железной пролежанной койке, к настольной лампе, его терпеливому свидетелю во тьме и тишине рабочих ночей... Сарториус гладил свою грудь под сорочкой и говорил себе: «Уйди, оставь меня опять одного, скверная стихия! Я простой инженер и рационалист, я отвергаю тебя, как женщину и любовь... Лучше я буду преклоняться перед атомной пылью и перед электроном!» Но мир, стелющийся перед его глазами огнем и шумом, уже замирал в своих звуках, заходил за темный порог его сердца и оставлял после себя живым лишь единственное, самое трогательное существо на свете. Неужели он откажется от него, чтобы поклониться атому, пылинке и праху?

Москва Честнова вышла к Сарториусу на балкон. Она ему сказала с улыбкой:

— Почему вы такой печальный... Вы меня любите или нет?

Она дышала на него теплою улыбающегося рта, платье ее шедестело, — скука зла и мужества охватила Сарториуса. Он ответил ей:

— Нет. Я люблюсь другою Москвой — городом.

— Ну тогда ничего, — охотно примирилась Честнова. — Пойдемте ужинать. Там ест больше всех товарищ Селин... Весь объелся, сидит красный, а глаза все время печальные. Не знаете почему?

— Нет, — тихо ответил Сарториус. — Я сам тоже печальный..

Москва пригляделась во тьме к его несоизмеренному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах.

— Лучше не плачьте, — сказала Москва. — Я тоже вас люблю..

— Вы врете, — не поверил Сарториус.

— Нет, правда, — совершенно верно! — воскликнула Честнова. — Пойдемте отсюда поскорей...

Когда они проходили под руку среди торжествующих друзей, Самбкин посмотрел на них своими глазами, забывшими моргать и отвлеченными размышлением в далекую сторону от личного счастья. У выхода перед грудью Москвы очутился Божко и с уважением произнес свою терпеливую просьбу. Честнова настолько обрадовалась ему, что схватила со стола кусок торта и сразу угостила Божко.

Виктор Васильевич служил теперь в тресте весоизмерительной промышленности и был увлечен всецело заботой о гирях и весах. Он попросил Москву Ивановну познакомить его с таким знаменитым инженером, который мог бы изобрести простые и точные весы, чтоб их можно было сделать за дешевую цену для всех колхозов и совхозов и для всей советской торговли. Божко здесь же сообщил, не видя грусти Сарториуса, о великих и незаметных бедствиях народного хозяйства, о дополнительных трудностях социализма в колхозах, о снижении трудодней, о кулацкой политике, развертывающейся на основе неточности гирь, весов и безменов, о массовом, хотя и невольном, обмане рабочего потребителя в кооперации и распределителях... И все это происходит

лишь благодаря ветхости государственного весового парка, устарелой конструкции весов и недостатку металла и дерева для постройки новых весовых машин.

— Вы меня извините, что я пришел сюда невольно, — говорил Божко. — Я понимаю, что я скучный. Здесь говорили, а я слышал, как человек скоро будет летающим и счастливым. Я это буду слушать всегда и с удовольствием, но нам нужно пока немного... Нам нужно хлеб и крупу везать в колхозах с правильностью.

Москва улыбнулась ему с кротостью своего преходящего нрава:

— Вы прекрасный, советский наш человек!.. Сарториус, ступайте завтра же в ихний трест, сделайте им чертеж самых дешевых, самых простых весов — и чтоб правильные были!

Сарториус задумался.

— Это трудно, — сознался он. — Легче усовершенствовать паровоз, чем весы. Весы работают уже тысячи лет... Это все равно, что изобрести новое ведро для воды. Но я приду в ваш трест и помогу вам, если сумею.

Божко дал адрес своего учреждения и ушел со счастьем в свою комнату, где его ожидал обычный труд по всемирной корреспонденции.

7

Они приехали за город почти с последним трамваем и назад не могли возвратиться. Далекое электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю и самый бедный свет доходил до здешней ржаной нивы и лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь.

Честнова Москва сняла туфли и пошла босиком по полевой мякоти. Сарториус со страхом и радостью следил за ней; что бы она ни делала сейчас, все ему приносило в сердце содрогание и он пугался разворачивающейся в нем тревожной и опасной жизни. Он шел за нею, все время нечаянно отставая, и однообразно думал о ней, но с такой трогательностью, что если бы Москва присела мочиться, Сарториус бы заплакал.

Честнова дала ему понести туфли, он незаметно обнюхал их и даже коснулся языком; теперь Москва Честнова и все, что касалось ее, даже самое нечистое, не вызывало в Сарториусе никакой брезгливости, и на отходы из нее он мог бы глядеть с крайним любопытством, потому что отходы тоже недавно составляли часть прекрасного человека.

— Товарищ Сарториус, что же мы теперь будем делать? — спросила Москва. — Ведь ночь еще стоит и скоро ляжет роса...

— Не знаю, — угрюмо ответил Сарториус. — Мне наверно придется любить вас.

— Вот колхоз в лощине спит, — показала Честнова в даль. — Там хлебом сейчас пахнет и ребятишки сопят в овинах. А коровы лежат где-нибудь на выгоне и над ними начинается туман рассвета... Как люблю я все это видеть и жить!

Сарториусу же были теперь безразличны все коровы и сопящие во сне ребятишки. Он даже хотел, чтобы земля стала пустынной и Москва бы не отвлекала никуда своего внимания, а целиком сосредоточилась на нем.

Под утро Москва и Сарториус сели в землемерную яму, обросшую теплым бурьяном, спрятавшимся здесь от культурных полей как кулак на хуторе.

Сарториус взял Честнову за руку; природа, — все, что потоком мысли шло в уме, что гнало сердце вперед и открывалось перед взором, всегда незнакомо и первоначально — заросшей травой, единственными днями жизни, обширным небом, близкими лицами людей, — теперь эта природа сомкнулась для Сарториуса в одно тело и кончилась на границе ее платья, на конце ее босых ног.

Всю свою юность Сарториус провел в изучении физики и механики; он трудился над расчетом бесконечности как тела, пытаясь найти экономический принцип ее действия. Он хотел открыть в самом течении человеческого сознания мысль, работающую в резонанс природе и отражающую поэтому всю ее истину — хотя бы в силу живой случайности, и эту мысль он надеялся закрепить навеки расчетной формулой. Но он сейчас не сознавал никакой мысли, потому что в голову его взорвалось сердце и там билось над глазами. Сарториус погладил руку Москвы, твердую и полную, как резервуар скупого, тесно сдавленного чувства.

— Семен, ну чего же вы хотите от меня? — покорно спросила Честнова, готовая к добру.

— Я хочу жениться на вас, — сказал Сарториус. — Больше я не знаю чего хотеть.

Москва задумалась и съела былинку бурьяна молодым алчным ртом.

— И ведь правда, что больше нечего хотеть, когда любишь. А говорят, что это глупо!

— Пусть говорят, — сумрачно произнес Сарториус. — Они только говорят, а сами наверно не любят... А что же делать, когда я без тебя томлюсь!

— А ты обними меня, и я тебя.

Сарториус обнял ее.

— Ну что, тебе легче стало томиться?

— Нет, так же, — ответил Сарториус.

— Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва.

Когда невинное, ежедневное утро осветило местные колхозы и окрестности громадного города, Честнова и Сарториус еще находились в землемерной яме. Узнав всю Москву полностью, все тепло, преданность и счастье ее тела, Сарториус с удивлением и ужасом почувствовал, что его любовь не утомилась, а возросла, и он в сущности ничего не достиг, а остался по-прежнему несчастным. Значит, этим путем нельзя было добиться человека и действительно разделить с ним жизнь. Тогда как же быть? Сарториус ничего не знал.

Москва Честнова лежала навзничь; небо над нею было сначала водяным, потом стало синим и каменным, затем превратилось в золотистое и мерцающее, как будто прорастающее цветами, — взошло солнце за Уралом и приближалось сюда.

Москва выбралась из ямы, обтянула платье на себе, обулась и пошла в город одна. Сарториусу она сказала, что будет его женою впоследствии: пусть он пока работает в тресте весов и гирь, где служит Божко, она найдет его, когда нужно будет.

Беспомощный и ничтожный вылез вслед за нею Сарториус. Он стоял один на рассвете в пустоте недозревших полей, испачканный и грустный, как уцелевший воин на оконченном побоище.

— Зачем же ты уходишь, Москва? Я ведь люблю тебя еще больше!

Москва обернулась к нему.

— Я тебя не бросаю, Семен! Я же сказала, что вернусь... Я тоже тебя люблю.

— А почему уходишь от меня? Иди сюда снова опять.

Честнова стояла в недоумении шагов за десять.

— Мне жалко, Семен...

— Чего тебе жалко?

— Мне жалко чего-то... Сколько я ни живу, а жизнь со мной никак не сбывается, как я хочу.

Москва нахмурилась и стояла в обиде на границе высокой ржи. Солнце блестело на шелке ее платья и на волосах высыхали последние капли утренней влаги, которую она набрала в бурьяне. Легкий ветер дул с прохладных московецких низин и рожь неясно бормотала опухшими колосьями; свет солнца, как мысль и улыбка, наполнил всю местность, одна лишь Москва была невеселая, и красивое платье и тело ее, сделанные из той же светящейся природы, не соответствовали ее печальному лицу. Сарториус снова привел Москву в укромную траву и не мог понять, отчего им обоим стало так скучно.

— Отстань ты от меня! — отодвинулась вдруг Москва от Сарториуса. — Я все делала, в воздухе летала и с мужьями жила — не ты ведь первый, грустный, милый мой!

Честнова отвернулась и легла вниз лицом. Вид ее большого, непонятого тела, согретою под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека. Еще не дотерпев объятий Сарториуса до конца, Москва обернула к нему лицо и насмешливо улыбнулась, — она обманывала в чем-то своего любимого человека.

Сарториус встал на ноги таким же, как ничего не было. Это озадачило его самого, а плачущее, влекущее чувство его не получило никакого утешения, —

сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима.

— Ты наверно не любишь меня! — сказал он, отгадывая тайну.

— Нет, я люблю, ты мне нравишься, — убеждала Москва. — Мне и самой ведь трудно.

Где-то вдаль уже поехали по земле колхозные телеги, была пора идти в город на работу, рассеиваться и покидать друг друга.

Москва сидела на траве в обиде, а Сарториус примирился со своею любовью к ней; достаточно будет жить с Москвою в браке, любоваться ею, может быть — родить детей, и боль чувства впоследствии утихнет, сердце изотрется и замрет навсегда ради спокойной и плодотворной деятельности ума.

— Я видела в детстве, — сообщила Москва, — как ночью бежал человек по улице с огнем на палке, с факелом. Он бежал к людям в тюрьму поджигать ее...

— Многое было такое, — произнес Сарториус.

— Мне его жалко все время, его убили потом...

— Что ж такого! — удивился Сарториус. — Мертвых много лежит в земле, и наверно никогда не будет такого сердца, которое вспомнит сразу всех мертвых и заплачет о них. Это ни к чему.

Москва затихла на некоторое время; она глядела на все, как больная, померкшими глазами.

— Семен... Знаешь что: ты лучше разлюби меня... Я ведь уж многих любила, а ты — меня первую! Ты — девушка, а я женщина!

Сарториус молчал. Москва обняла его одной рукой.

— Верно, Семен: разлюби! Ты знаешь, сколько я думала и чувствовала? Ужасно! И не вышло ничего.

— Что не вышло? — спросил Сарториус.

— Жизни не вышло. Я боюсь, что она никогда не выйдет и я теперь спешу... Я раз видела одну женщину, она прислонилась лицом к стене и плакала. Она плакала от горя — ей было тридцать четыре года, и она горевала по своему прошлому времени так сильно, что я подумала — она потеряла сто рублей или больше.

— Нет, я люблю тебя, Москва, — угрюмо сказал Сарториус. — Мне с тобой хорошо будет жить!

— А мне с тобой будет нехорошо! — отвергла Москва. — И тебе будет плохо: ну зачем ты врешь, что хорошо!.. Сколько раз я хотела разделить свою жизнь с кем-нибудь, и теперь хочу, — я ничуть не жалела своей жизни и не буду ее жалеть никогда! На что она мне нужна без людей, без всего эсесера? Я комсомолка не оттого, что бедная девочка была...

Честнова говорила с огорчением, с серьезностью, как изжившая опытная старуха, и поблекла от слабости своего сердца, сжавшегося сейчас в ее груди, как в темной безвестности.

— Чтоб ты мне поверил, я тебя поцелую! — Она поцеловала одичавшего от грусти Сарториуса; он лишь следил со страхом, как быстро постарела ее очевидная красота, но это стало еще сильнее для его любви.

— Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то... Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно, что ли, стало или прекрасно! Так себе...

— Так себе, — согласился Семен Сарториус.

— У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом: я думала-думала и увидела, что не может... Любить наверно надо, и я буду, это все равно как есть еду, — но это одна необходимость, а не главная жизнь.

Сарториус обиделся, что его любовь, собранная за всю жизнь, в первый же раз погибла безответно. Но он понимал мучительное размышление Москвы, что самое лучшее чувство состоит в освоении другого человека, в разделении тягости и счастья второй, незнакомой жизни, а любовь в объятиях ничего не давала, кроме детской блаженной радости, и не разрешала задачи влечения людей в тайну взаимного существования.

— Как же нам с тобой быть теперь? — спросил Сарториус.

— Мы будем еще долго, — улыбнулась Москва. — Ты жди меня, ты работай с Божко на фабрике весов и гирь, я приду к тебе снова... А сейчас я уйду.

— Куда? Посиди еще со мной, — попросил Сарториус.

— Нет, надо, — сказала Москва и встала с земли..

Солнце уже уменьшилось на небе и давало сосредоточенный накал. Вблизи гудели паровозы подъездных путей на ближнем строительстве; мелкие аэропланы летели по небу в учебных полетах и пятитонные грузовики везли бревна по грунту, размалывая почву в пыль, — жара и работа с утра распространялись по земле.

Москва попрощалась с Сарториусом, обняв руками его голову. Она была снова счастлива, она хотела уйти в бесчисленную жизнь, давно томящую ее сердце предчувствием неизвестного наслаждения, — в темноту стеснившихся людей, чтобы изжить с ними тайну своего существования.

Она ушла довольная, сдерживая свое удовлетворение; ей захотелось сбросить платье и побежать вперед, будто она была сейчас на берегу южного моря.

Сарториус остался один. Он хотел, чтоб Честнова к нему возвратилась и они бы стали мужем и женой доверчиво и навсегда. Сарториус чувствовал, как в тело его вошли грусть и равнодушие к интересу жизни, — смутные и мучительные силы поднялись внутри его и затмили весь ум, всякое здоровое действие к дальнейшей цели. Но Сарториус согласен был утомить в объятиях Москвы все нежное, странное и человеческое, что появилось в нем, лишь бы не ощущать себя так трудно, и вновь отдаться ясному движению мысли, ежедневному, долгому труду в рядах своих терпеливых товарищей. Он хотел откупиться от всякого нынешнего и будущего содрогания своей жизни посредством простой, любимой жены и решил поэтому дожидаться возвращения Москвы.

8

Учреждение находилось накануне ликвидации. Лишь спустя время Сарториус понял, что предназначенное к ликвидации иногда может оказаться не только наиболее прочным, но даже обреченным на вечное существование. Это учреждение находилось в Старо-Гостином Дворе на антресолях, где некогда хранились товары, боящиеся сырости. Лестница из того учреждения спускалась вниз — в каменную галерею, окружавшую весь старинный торговый двор. На входной двери помещалась железная вывеска: Республиканский трест весов, гирь и мер длины — «Мерило труда».

Управление этой полузабытой и бедной отрасли тяжелой промышленности представляло из себя одну большую сумрачную залу с низким потолком, устроенным в виде подземного свода; при этом потолок у стен опускался настолько низко, что служащие, сидевшие вблизи стен, почти касались его головами. В зале стояло несколько столов и за каждым сидело по одному или по два человека, которые писали, либо считали на счетах. Всех служащих было человек тридцать или не более сорока, однако шумом своей работы, движением, вопросами и восклицаниями они производили впечатление громадного учреждения первостепенной важности.

В тот же день Сарториуса приняли на должность инженера по новым весовым конструкциям и он сел за плоский стол против Виктора Васильевича Божко.

Пошли дни его новой жизни. В несколько ночей Сарториус закончил свой последний проект для института опытного машиностроения, где он работал до того времени, и сосредоточился на самой древней машине в мире — весах. Ничто так мало не изменилось на протяжении последних пяти тысяч лет истории, как весовая машина. Во времена циклопов, в античной Греции и Карфагене, в великой Персии, погибшей под ударами Александра Македонского, — всюду во всех временах и пространствах самой всеобщей и необходимой машиной были весы. Весы столь же стары, как оружие, и может быть они одно и то же с ним, — весы это военный меч, положенный своей серединой на ребро камня — для справедливого разделения добычи между победителями.

Божко, не умевший работать без умственной и сердечной любви к предмету порученного ему труда, широко объяснил Сарториусу решающее значение весов в жизни человечества.

— Еще покойник Димитрий Иванович Менделеев, — говорил он, — выше всего полюбил весы! Он свою периодическую систему элементов — и то меньше любил. Хотя, что ж! Там ведь все дело основано на тех же весах: атомный вес, больше ничто!

Божко знал также, почему весовой прибор есть наиболее незаметный и скудный предмет: потому что человек зорко всматривается лишь в то, что лежит на весах — в колбасу или хлеб, но что под ними — он не замечает; а под хлебом и колбасой находятся весы — инструмент чести и справедливости, простая нищая машина, считающая и берегущая священное добро социализма, измеряющая пищу рабочего и колхозника в меру его творящего труда и хозрасчета.

И с усердием, со скупостью к крошкам хлеба, пропадающим благодаря неточности весов, Сарториус углубился в свои занятия. Внутри его тайно ото всех встретились и сочетались два чувства — любовь к Москве Честновой и ожидание социализма. В его неясном воображении представлялось лето, высокая рожь, голоса миллионов людей, впервые устраивающихся на земле без тяготения нужды и печали, и Москва Честнова, идущая к нему в жены издали, она обошла всю жизнь, пережила ее вместе с несметным числом людей и оставила годы терпения и чувства в темноте минувшей молодости; она возвращалась такой же, только в бедном платье, босая, с отросшими на работе руками, но более веселая и ясная чем была прежде; она нашла теперь удовлетворение для своего блуждающего сердца...

Блуждающее сердце! Оно долго содрогается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя свое тепло на холодных прохладных дорогах.

Согнувшись над столом в учреждении, Сарториус как можно скорее работал над улучшением устройства весов. Управляющий трестом сообщил Сарториусу об опасности весовых бунтов в колхозах, по примеру соляного бунта в старину, ибо недостаток весов означает собой недoves хлеба по трудодням, либо хлеб выдается лишний, тогда получается обман государства. Кроме того, площадка товарных весов, если весы неточные, делается полем для кулацкой политики и классовой борьбы. Гирьевая проблема также чревата грозными событиями — уже во многих пунктах кладут вместо клейменых гирь жуткие пустяки, вроде кирпичей, чугунных болванок, и даже сажают в определенных случаях беременных женщин, уплачивая за прокат их туловища как за трудодень. Все это неминуемо поведет к потере сотен тысяч центнеров зерна.

Горюя по Честновой, боясь жить одному в своей комнате, Сарториус иногда оставался ночевать в учреждении. В десять часов вечера сторож засыпал предварительно на стуле у входа, а затем уходил в фанерный кабинет управляющего и укладывался в мягком кресле. Шло время на больших официальных часах, пустые столы вызывали тоску по служащим, иногда показывались мыши и кроткими глазами глядели на Сарториуса.

Он сидел один над тою же задачей, над которой думал некогда Архимед, а позже Менделеев. Задача ему не давалась, весы и так были хороши, однако нужны были другие и лучшие, чтобы меньше тратить металла на их изготовление. Сарториус покрывал целые полосы бумаги расчетами призм, рычагов, деформационных напряжений, себестоимостью матерьяла и прочими данными. Вдруг слезы самостоятельно выходили из его глаз и текли по лицу, так что Сарториус удивлялся этому явлению; в глубине его тела жило что-то, как отдельное живое, и молча плакало, не интересуясь весовой промышленностью. После полуночи, когда в открытую форточку окна — поверх всего города — доходила волна запаха дальних растений и свежих пространств, Сарториус опускал голову на стол, теряя точность размышления. Так же пахла Честнова когда-то вблизи него, природой и добротой. Он не ревновал ее сейчас: пусть она ест вкусно и помногу, не болеет, радуется, любит прохожих и спит потом где-нибудь в тепле и не помня никакого несчастья.

Раз или два в ночь внезапно раздавался телефонный звонок, и тогда Сарториус поспешно слушал трубку, но его никто не звал, это была ошибка, — человек извинялся и навечно исчезал в безмолвии; из многих друзей никто не знал, куда делся Сарториус, он надолго покинул большую дорогу техники и забыл свою славу механика, которая могла бы стать всемирной.

Однажды к нему домой пришел в гости Самбкин. Хирург сказал Сарториусу, что спинной мозг в человеке обладает некоторой способностью рацио-

нального размышления, так что думать может не только один ум в голове; Самбикин недавно проверил это предположение на одном ребенке, которому он делал вторичную трепанацию головы; ему пришлось удалить*

— Что ж тут такого! — не обрадовался Сарториус.

— Это основная тайна жизни, в особенности тайна всего человека, — задумчиво сказал Самбикин. — Раньше утверждали, что спинной мозг работает только ради сердца и чисто органических функций, а головной мозг — высший координирующий центр... Это неправда: спинной мозг может мыслить, а головной принимает участие в самых простых, инстинктивных процессах...

Самбикин был счастлив от своего открытия. Он еще верил, что можно враз взойти на такую гору, откуда видны будут времена и пространства обычному серому взору человека. Сарториус немного улыбнулся наивности Самбикина: природа, по его расчету, была труднее такой мгновенной победы и в один закон ее заключить нельзя.

— Ну дальше! — спросил Сарториус.

У Самбикина заклокотали внутренности от шума его высших переживаний.

— Дальше вот что... Надо проверить еще тысячу раз в эксперименте. Но вполне может получиться, что тайна жизни состоит в двойственном сознании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли, и одну не можем! У нас ведь два органа на один предмет! Они оба думают навстречу друг другу, хотя и на одну тему... Ты понимаешь, это может явиться основанием действительно научной, диалектической психологии, которой в мире нет. То, что человек способен думать вдвойне по каждому вопросу, сделало его лучшим животным на земле...

— А другие животные? — спросил Сарториус. — У них тоже есть голова и спина.

— Верно. Но здесь разница в пустяке, хотя пустяк этот решил всемирную историю. Надо было привыкнуть координировать, сочетать в один импульс две мысли — одна из них встает из-под самой земли, из недр костей, другая спускается с высоты черепа. Надо, чтоб они встречались всегда в одно мгновение и попадали волна в волну, в резонанс одна другой... А у животных, у них тоже против каждого впечатления встают две мысли, но они идут вразброд и не складываются в один удар. Вот в чем тайна эволюции человека, вот почему он обогнал всех животных! Он взял почти пустяком: два чувства, два темных течения он сумел приучить встречаться и меряться силами... Встречаясь, они превращаются в человеческую мысль. Ясно, что это ничего неощутимо... У животных тоже могут быть такие состояния, но редко и случайно. А человека воспитал случай, он стал двойственным существом... И вот иногда, в болезни, в несчастье, в любви, в ужасном сновидении, вообще — вдалеке от нормы, мы ясно чувствуем, что нас двое: то есть, я один, но во мне есть еще кто-то. Этот кто-то, таинственный «он», часто бормочет, иногда плачет, хочет уйти из тебя куда-то далеко, ему скучно, ему страшно... Мы видим — нас двое, и мы надоели друг другу. Мы чувствуем легкость, свободу, бессмысленный рай животного, когда сознание наше было не двойным, а одиноким. От животных нас отделяет один миг, когда мы теряем двойственность своего сознания, и мы очень часто живем в архейскую эпоху, не понимая такого значения... Но вновь сцепляются наши два сознания, мы опять становимся людьми в объятиях нашей «двусмысленной» мысли, а природа, устроенная по принципу бедного одиночества, скрежещет и свергывается от действия страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произошли в себе самих... Как мне жутко быть одному теперь! Это вечное совокупление двух страстей, согревающих мою голову...

Самбикин, очевидно давно не спавший, не евший, изнемог и сел в отчаянии.

Сарториус угостил его консервами и водкой. Постепенно они оба смирились от усталости и легли спать не раздетые, при горящем электричестве, и сердце и ум продолжали заглушенно шевелиться в них, спеша отработать в свой срок обыкновенные чувства и всемирные задачи.

Уже давно на Спасской башне прозвучала полночь и умолкла музыка интернационала; скоро наступит рассвет, и в предвидении его самые нежные, мало гостящие птицы зашевелились в кустарниках и садоводствах, а затем поднялись и улетели прочь, оставляя страну, где лето уже начало остывать.

Когда взопла заря и пожелтели лампы, длинный Самбикин и небольшой Сарториус по-прежнему спали на одном диване и шумно дышали, как пусто-

* Фраза не закончена.

телые. Стесненная сном забота об окончательном устройстве мира всё же снесла их совесть, и они время от времени бормотали слова, чтобы изгнать из себя беспокойство. Где была, где спала сейчас Москва Честнова, какое лето жизни она искала себе в начале осени, оставив друзей в ожидании?

Под конец сна Сарториус улыбнулся; кроткий характером, он почувствовал, что его мертвого зарыли в землю, в глубокое тепло, а вверху, на дневной поверхности могилы, осталась плакать по нем одна Москва Честнова. Больше никого не было, — он умер безмянннм, как человек, действительно свершивший все свои задачи: республика насыщена весами до затоваривания и составлен весь арифметический расчет будущего исторического времени, дабы судьба стала безопасна и никогда не пришла в упор отчаяния.

Он проснулся довольный, с решимостью сделать и довести до совершенства всю техническую арматуру, автоматически перекачивающую из природы в человеческое тело основную житейскую силу пищи. Но глаза его уже с утра поблекли от воспоминания по Москве и он от страха страдания разбудил Самбкина.

— Самбкин! — спросил Сарториус. — Ты доктор, ты знаешь ведь всю причину жизни... Отчего она так долго длится и чем ее утешить или навсегда обрдовать?

— Сарториус! — шутя ответил Самбкин. — Ты механик, ты знаешь, что такое вакуум...

— Ну, знаю: пустота, куда всасывается что-нибудь...

— Пустота, — сказал Самбкин. — Пойдем со мною, я тебе покажу причину всей жизни.

Они вышли и поехали на трамвае. Сарториус смотрел в окно и встретил около ста тысяч человек, но нигде не заметил лица Москвы Честновой. Она могла даже умереть, ведь время идет и случайности сбываются.

Они приехали в хирургическую клинику Института Экспериментальной Медицины.

— Сегодня я вскрываю четыре трупа, — сообщил Самбкин. — Нас здесь трое работают над одной темой: добыть одно таинственное вещество, следы которого есть в каждом свежем трупе. Это вещество имеет сильнейшую оживляющую силу для живых усталых организмов. Что это такое — неизвестно! Но мы постараемся вникнуть...

Самбкин приготовился как обычно и повел Сарториуса в прозекторское отделение. Это была холодная зала, где четыре мертвых человека лежали в ящиках, имеющих лед между двойными стенками.

Два помощника Самбкина вынули из одного ящика тело молодой женщины и положили перед хирургом на наклонный стол, похожий на увеличенный пульт музыканта. Женщина лежала с ясными открытыми глазами: вещество ее глаз было настолько равнодушно, что могло блестеть и после жизни, если только оно не разлагалось. Сарториусу стало плохо; он решил из института бежать скорее в свой трест, явиться в местком и попросить какой-нибудь товарищеской помощи от ужаса своего тоскующего сердца.

— Хорошо, — сказал готовый к работе Самбкин и дал объяснение Сарториусу. — В момент смерти в теле человека открывается последний шлюз, не выясненный нами. За этим шлюзом, в каком-то темном ущелье организма скупно и верно хранится последний заряд жизни. Ничто, кроме смерти, не открывает этого источника, этого резервуара — он запечатан наглухо до самой гибели... Но я найду эту цистерну бессмертия...

— Ищи, — произнес Сарториус.

Самбкин отрезал женщине левую грудь, затем снял всю решетку грудной клетки и с крайней осторожностью достиг сердца. Вместе с помощниками он выбрал сердце и инструментами бережно положил его в стеклянный цилиндр — для дальнейшего исследования; тот цилиндр взяли и унесли в лабораторию.

— На этом сердце тоже есть следы той неизвестной секреции, о которой я тебе говорил, — сообщил Самбкин своему другу. — Смерть, когда она несется по телу, срывает печать с запасной, сжатой жизни и она раздается внутри человека в последний раз, как безуспешный выстрел, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце... Но это вещество — высшая драгоценность по своей энергии. И странно, самое живое появляется в момент последнего дыхания... Природа хорошо страхует свои мероприятия!

Далее Самбикин начал поворачивать мертвую девушку, точно предьявляя Сарториусу ее упитанность и целомудрие.

— Она хороша, — неопределенно произнес хирург; у него прошла мысль о возможности жениться на этой мертвой — более красивой, верной и одинокой, чем многие живые, и он заботливо обвязал ей бинтом разрушенную грудь. — А сейчас мы увидим общую причину жизни...

Самбикин вскрыл салную оболочку живота и затем повел ножом по ходу кишок, показывая, что в них есть: в них лежала сплошная колонка еще не обработанной пищи, но вскоре пища окончилась и кишки стали пустые. Самбикин медленно миновал участок пустоты и дошел до начавшегося кала, там он остановился вовсе.

— Видишь! — сказал Самбикин, разверзая получше пустой участок между пищей и калом. — Эта пустота в кишках всасывает в себя все человечество и движет всемирную историю. Это душа — нюхай!

Сарториус понюхал.

— Ничего, — сказал он. — Мы эту пустоту наполним, тогда душой станет что-нибудь другое.

— Но что же? — улыбнулся Самбикин.

— Я не знаю что, — ответил Сарториус, чувствуя жалкое унижение. — Сперва надо накормить людей, чтоб их не тянуло в пустоту кишок...

— Не имея души, нельзя ни накормить никого, ни наестся, — со скукой возразил Самбикин. — Ничего нельзя.

Сарториус склонился ко внутренности трупа, где находилась в кишках пустая душа человека. Он потрогал пальцами остатки кала и пищи, тщательно осмотрел тесное, неимущее устройство всего тела и сказал затем:

— Это и есть самая лучшая, обыкновенная душа. Другой нету нигде.

Инженер повернулся к выходу из отделения трупов. Он согнулся и пошел оттуда, чувствуя позади улыбку Самбикина. Он был опечален грустью и бедностью жизни, настолько беспомощной, что она почти непрерывно должна отвлекаться иллюзией от сознания своего истинного положения. Даже Самбикин ищет иллюзий в своих мыслях и открытиях, — он тоже увлечен сложностью и великой сущностью мира в своем воображении. Но Сарториус видел, что мир состоит более всего из обездоленного вещества, любить которое почти нельзя, но понимать нужно.

9

Москве Честновой некуда было деться, когда она решила в жилище свое не возвращаться и Сарториуса больше не любить. Долгие часы она ходила и ездила по городу, к ней никто не прикоснулся и не спросил ни о чем. Всеобщая жизнь неслась вокруг нее таким мелким мусором, что Москве казалось — люди ничем не соединены и недоумение стоит в пространстве между ними.

Под вечер она отправилась в тот жакт, где жил вневойсковик. Скрипач настраивал свою скрипку у входа в домоуправление, по ту сторону забора визжала круглая пила на строительстве медицинского института и жители жакта собирались в коридоре для обычной беседы.

Вневойсковик Комягин лежал на железной койке в своей маленькой комнате. Он τίетно искал в себе какую-нибудь мысль, чувство или настроение и видел, что ничего в нем нет. Стараясь о чем-нибудь подумать, он уже вперед не имел интереса к предмету своего размышления и оставлял поэтому свое желание мыслить. Если же нечаянно появлялась в его сознании какая-либо загадка, он все равно не мог ее решить и она болела в его мозгу до тех пор, пока он ее физически не уничтожал путем, например, усиленной жизни с женщинами и долгого сна. Тогда он пробуждался вновь порожним и спокойным, не помня своего внутреннего бедствия. Иногда в нем начиналось страдание или раздражение, подобно бурьяну в покинутом месте, но Комягин быстро превращал их в пустое равнодушие посредством своих мер.

Но последние годы он уже устал бороться с собой как с человеком и изредка плакал в темноте, накрыв лицо одеялом, не мытым со дня его изготовления.

Однако было давнее время, когда Комягин жил необыкновенно. До сих пор на стенах его комнаты висели незаконченные картины масляной краской, изображающие Рим, пейзажи, различные избушки и рожь над оврагами. Это

начинал когда-то рисовать Комягин, но ни одной картины не управился дорисовать, хотя прошло времени, как он их начал, лет десять или больше; поэтому избышки остались разоренными — без крыш, рожь не доросла до колоса, Рим походил на губернию. Где-то под кроватью, в изжитых вещах валялась тетрадка с начатыми в молодости стихами и целый дневник, также не завершенный ничем, остановленный на полуслове, точно кто-то ударил Комягина и он уронил перо навсегда. Года три назад Комягин захотел составить опись своих вещей и предметов, но список этот также не мог окончить, успев внести туда лишь четыре пункта: себя самого, кровать, одеяло и стул, а остальное ожидало своего учета в каких-то будущих, лучших временах.

Недавно Комягин повсюду искал пуговицу и нашел тетрадь со своими начатыми стихами. Он их писал из сельской жизни и прочел начало одного стиха:

Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села,
Звали молча к ним дороги, уходили на звезду.
И дышала степь в истоме сердцем тихим, телом голым,
Как в испуге на дрожащем, уплывающем мосту...

Конца стихотворения не было; единственный стул не стоял на ножках и нуждался в срочной починке, Комягин принес даже когда-то два гвоздя для этого дела, но к работе все еще не приступил.

Иногда Комягин полагал про себя: через месяц или два я начну новую жизнь — дорисую картины, закончу стихи, обдумаю полностью свое мировоззрение, оформлю документы, поступлю на твердую работу, стану ударником, полюблю женщину-подругу и женюсь... Он надеялся, что через месяц-два в самом времени случится что-то особенное и оно, приостановившись, возьмет его в свое движение, но годы проходили мимо его окна без остановки и без счастливого случая. Тогда он подымался с кровати и уходил, как осодмилец, штрафовать публику в местах ее скопления.

И вот наступил август месяц одного из текущих лет. Шел вечер, распространяя по небу удаляющийся долгий и грустный звук, отчего в каждое открытое сердце проникала тоска и сожаление. В этот вечер Москва Честнова постучала в дверь Комягина. Не вставая с кровати, он сбросил левой рукою запорный крючок и пригласил гостью войти. Она вошла к нему, странная и знакомая, в своем дорогом платье и оглядела эту комнату как свое привычное жилище. Вневойсковик решил сразу сдать: документы у него были в беспорядке и оправдания нет. Но Честнова спросила его лишь, как он живет и не скучно ли ему так быть одному и никому.

— Мне ничего, — сказал Комягин. — Я ведь и не живу, я только замешан в жизни, как-то такое, ввязали меня в это дело... Но ведь зря!

— Что зря? — спросила Москва.

— Неохота мне, — сказал Комягин. — Все время приходится надуваться: то думать, то говорить, то куда-то идти, что-то действовать... Но мне ничего неохота, я все забываю, что живу, а вспомню — начинается жутко...

Москва осталась у него побить, удивляясь обстановке жизни этого давно начатого и неконченного человека. Комягин согрел ей кашу на ужин, потом показал свою любимую картину из неизвестного для Честновой времени. Комягин достал ту картину из своего укромного хлама под кроватью; картина не была вполне дорисована, но мысль на ней изображалась ясно.

— Если б государство не возражало, я бы тоже так жил, — указал Комягин.

На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном, худом крыльце и мочился с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бородке находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились наверно банки с вареньем, пироги и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выражением дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик только что очнулся ото сна, а теперь вышел опроститься и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых,

ободренных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уже скорее прожить жизнь без памяти.

Позже к Комягину пришла его старая, разведенная жена, истертая женщина, измученная с давних пор. Она приходила к Комягину очень редко и видимо еще трогала его чувство воспоминанием прежней привязанности. Комягин устроил угощение своих гостей, но бывшая жена, молча выпив чаю, вскоре собралась уходить, чтобы не мешать мужу оставаться с новой толстой девкой, как она оценила Честнову. Для этой женщины все были толстыми, лишь ею одной никто не интересовался. Однако Комягин вывел Честнову в коридор и попросил ее погулять немного, а потом вернуться, если ей нужно.

— Я ведь томлюсь, когда не поживу с женщиной, — признался Комягин. — Мне некуда деться, интереса все равно нету... Вы же со мной, извините, все равно знакомы не будете.

— Нет, я буду, — сказала Москва, смущенная горем Комягина. — Вы ступайте к ней.

Но Комягин еще постоял с нею в коридоре.

— Вы не обижайтесь...

— Я не обижаюсь, вы мне нравитесь немного, — ответила ему Честнова.

Комягин все же огорчился и наклонил голову.

— Она ведь мне женою была... Она плохо пахла, рожала от меня детей, а дети умерли... Мы вместе с ней спали нечистые. Она мне стала как брат, она теперь худеет и дурнеет, — любовь наша уже превратилась во что-то лучшее — в нашу общую бедность, в наше родство и грусть в объятиях...

— Я это понимаю, — тихо согласилась Москва. — Ты такой маленький гад, который живет в своей земляной дырочке. Я девочкой их видала, когда лежала в поле вниз лицом.

— Это вполне понятно, — охотно согласился Комягин. — Я человек ничто.

Москва нахмурилась: «Ну зачем, зачем он есть на свете? Из-за одного такого все люди кажутся сволочью, и каждый бьет их чем попало насмерть!»

— Я когда-нибудь приду к вам и буду женой, — сказала Москва.

— Я вас буду дожидаться, — согласился Комягин.

Но Москва быстро передумала, как еще не затвердевшее и неверное существо:

— Нет, не ждите, я никогда не приду в этот дом, — ты жалкий мертвец!

Она стала раздраженной и несчастной и прислонилась головой к стене.

В коридоре потух свет из экономии. Комягин ушел в свою комнату и оттуда долго слышались сквозь временную стену звуки измученной любви и дышанье человеческого изнеможения. Москва Честнова прижалась грудью к канализационной холодной трубе, проходящей с верхнего этажа вниз; она присмирела от стыда и страха и ее сердце билось страшнее, чем у Комягина за перегородкой. Но когда она сама делала то же самое, она не знала, что постороннему человеку бывает так же грустно, и неизвестно отчего.

Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус.

Она вышла наружу, была уже ночь. Громадные облака, освещенные лишь собственным слабым светом, прилегали близко к поверхности городских крыш и уносились в тьму полей, в скошенные пространства пустой, оголтелой земли.

Честнова пошла к центру, глядя во все попутные ярко освещенные окна жилищ и останавливаясь у некоторых из них. Там пили чай с семьей или гостями, прелестные девушки играли на роялях, из радиотруб раздавались оперы и танцы, спорили юноши по вопросам арктики и стратосферы, матери купали своих детей, шептались двое-трое контрреволюционеров, поставив на стуле у двери гореть открытый примус, чтоб их слов не расслышали соседи... Москва настолько интересовалась происходящим на свете, что вставала носками туфель на выступы фундамента и засматривалась внутрь квартир, пока ее не осмеивали прохожие.

Она провела несколько часов в таком наблюдении и почти всюду замечала радость или удовольствие, однако ей самой делалось все более печально. Все люди были заняты лишь взаимным эгоизмом с друзьями, любимыми идеями, теплом новых квартир, удобным чувством своего удовлетворения. Москва не знала, к чему ей привязаться, к кому войти, чтобы жить счастливо и обыкновенно. В домах ей не было радости, в тепле печей и в свете настольных абажуров

она не видела покоя. Она любила огонь дров в печах и электричество, но так, как если бы сама была не человеком, а огнем и электричеством — волнением силы, обслуживающей мир и счастье на земле.

Москве уже давно хотелось есть, поэтому она вошла в ночной ресторан. Денег у нее не было никаких, но она села и взяла ужин. Все время оркестр играл какую-то безумную европейскую музыку, содержащую центробежные силы; после танцев под эту музыку хотелось свернуться телом в тепло и лечь надолго в тесный, уединенный гроб. Не обратив на это внимания, Москва приняла участие в танцах среди зала; ее приглашал почти всякий человек из публики, находя в ней что-то утраченное в самом себе. Вскоре иные уже плакали, уткнувшись в платье Москвы, потому что опились вина, другие тут же исповедывались с точными подробностями. Сферический зал ресторана, оглушенный музыкой и воплями людей, наполненный мучительным дымом курения и газом сдавленных страстей, этот зал словно вращался — всякий голос в нем раздавался дважды и страдание повторялось; здесь человек никак не мог вырваться из обычного — из круглого шара своей головы, где катались его мысли по давно проложенным путям, из сумки сердца, где старые чувства бились как пойманные, не впуская ничего нового, не теряя привычного, и краткое забвение в музыке или в любви ко встречной женщине кончалось либо раздражением, либо слезами отчаяния. Чем позже шло время, чем более стужалось веселье, тем быстрее вращался сферический зал ресторана, и многие гости забыли, где дверь, и в испуге кружились на одном месте посреди, предполагая, что они танцуют. Нестарый, долго молчавший человек, с темным светом в глазах, с наслаждением и садизмом угощал Москву, точно он внедрял в нее не сладкое кушанье, а собственное доброе сердце. Но Честнова вспоминала другие вечера, проведенные со своими сверстниками; она видела там за открытыми летними окнами простое поле, открытое в плоскость бесконечности, и в груди ее товарищей не вращалась эта сферическая, вечно повторяющаяся мысль, приходящая к своему отчаянию, — там была стрела действия и надежды, напряженная для безвозвратного движения вдаль, в прямое жесткое пространство.

Ночь склонялась к утру. Где-то спал Комягин с худой женщиной, сидел Сарториус над решением всех проблем, один и тот же такт играл и варьировал оркестр, как будто катая его по внутренней поверхности полого безвыходного шара; собеседник Москвы бормотал вековую мысль о своей любви и печали, об одиночестве и припадал устами к чистой коже у локтя Москвы. Честнова молчала. Тогда ее знакомый, выпив немного вина для паузы, снова говорил ей о своей привязанности, о будущем возможном счастье, если Москва ответит ему так же любовью.

— Бросьте вы буксовать на одном и том же месте, — ответила ему Честнова.
— Если полюбили, то перестаньте...

Собеседник Москвы не согласился:

— Мы рожаемся и умираем на груди женщины, — он слегка улыбнулся,
— так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему кругу счастья...

— А вы живите по прямой линии, без сюжета и круга, — посоветовала Москва; она чуть тронула свои груди указательным пальцем. — Посмотрите, на мне вам трудно будет умереть, я не мягкая...

Сильный добрый свет возник во тьме глаз этого внезапного товарища Честновой; он взгляделся в обе ее груди и сказал:

— Вы правы, дорогая моя. Вы еще очень жесткая, вас наверно не мяли насмерть... У вас даже грудные соски глядят вперед как два пробойных остря... Как это странно и тяжело видеть мне!

Он отвел голову в тоске; ясно было, что его любовь к Москве усиливалась от всякой замеченной новости в ней, даже от цвета чулок. Так же ее любил и Сарториус, вероятно — и Самбикин... Москва равнодушно поглядела на своего приятеля; ей не хотелось встречать в новых лицах тех, кого она оставила раньше. Если перед ней сидит такой же человек, что и Сарториус, то лучше вернуться к первому Сарториусу и не покидать его никогда.

Перед рассветом заиграли самый энергичный фокстрот, который действовал даже на пищеварение. Москва вышла танцевать со своим новым другом; они танцевали почти одни среди зала, опустошенного долгим весельем, как бездвием. Многие посетители уже дремали, некоторые глядели как мертвые, съевшись пищей и мнимыми страстями.

Музыка вращалась быстро, как тоска в костяной и круглой голове, откуда выйти нельзя. Но скрытая энергия мелодии была настолько велика, что обещала когда-нибудь протереть косные кости одиночества или выйти сквозь глаза, хотя бы слезами. Честнова понимала те пустяки, какие она делает сейчас ногами и руками, но ей нравилось многое, даже ненужное.

Наставал рассвет за окном сферического зала ресторана. Снаружи росло дерево; теперь его было видно в свете зари. Ветви дерева росли прямо вверх и в стороны, никуда не закругляясь, не возвращаясь назад, и кончалось дерево резко и сразу, — там, где ему не хватило сил и средств уйти выше. Москва глядела на это дерево и говорила себе: «Это я, как хорошо! Сейчас уйду отсюда навсегда».

Она попрощалась с кавалером, но он загоревал по ней.

— Куда вы? Не надо спешить... Пойдемте отсюда куда-нибудь еще. Ну погодите немного, я расплачусь...

Москва молчала. Он предложил дальнейшее:

— Уйдем отсюда в поле — впереди нас ничего нет в мире, только дует какой-нибудь ветер из тьмы! А во тьме всегда хорошо...

Он напряженно улыбался, скрывая огорчение, считая последние секунды до разлуки.

— Ну нет! — сказала весело Москва. — Ишь вы, дурак какой нашелся... До свидания, благодарю вас.

— Куда вас можно поцеловать — в щеку или в руку?..

— В эти места нельзя, — смеялась Москва. — Можно в губы. Дайте — я сама вас...

Она поцеловала его и ушла. Человек остался расплачиваться без нее, удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется, точно любит, а на самом деле — прощается навечно.

Честнова шла одна на заре по столице. Она шла важно и насмешливо, так что дворники загодя отводили свои поливные рукава и ни одна капля не попала на платье Москвы.

Жизнь ее еще была долга, впереди простиралось почти бессмертие. Ничто не пугало ее сердце и на защите ее молодости и свободы дремали где-то пушки вдаль, как спит гроза зимою в облаках. Москва посмотрела на небо; там видно было, как шел ветер подобно существу и шевелил наверху смутный туман, надышанный ночью человечеством.

На Каланчевской площади за дощатой изгородью шахты сопели компрессоры метрополитена. У рабочего входа висел плакат: «Комсомолец, комсомолка! Иди в шахту метро!..»

Москва Честнова поверила и вошла в ворота; она желала быть везде соучастницей и была полна той неопределенностью жизни, которая настолько же счастлива, как и ее окончательное разрешение.

10

Сарториус решил проблему весов для колхозов. Он выдумал способ взвешивания хлеба на кварцевом камне. Этот камень был невелик, всего в несколько граммов. При сжатии его грузом кварцевый камешек выделял слабое электричество, которое усиливалось радиолампами и двигало, сколько нужно, стрелку циферблата, где отмечался вес. Радио было всюду, и на сыпунктах, и в колхозных жилищах, и в клубах, поэтому весы состояли только из деревянной платформы, кварцевого камешка и циферблата, что было дешевле прежних сотенных весов раза в три и не требовало железа.

Теперь Сарториус переводил весь весовой парк республики на электричество. Он хотел пассивную мировую постоянную — тяготение земли заменить активной постоянной — энергией электрического поля. Это способно было дать весовым механизмам острое чувство точности и делало весовые машины дешевыми.

Лето окончилось, пошли дожди, такие же долгие и скучные, как в раннем детстве при капитализме. Сарториус редко ходил домой; ему там было страшно оставаться со своею тоскою по любимой, пропавшей Москве. Поэтому он с усердием² сосредоточенностью занимался чертежами и его сердце успокаивалось,

сознавая пользу сбережения для государства и колхозников миллионов рублей благодаря техническому улучшению весового парка.

Здесь же, в Старо-Гостином Дворе, в учреждении бедняцкой, полузабытой промышленности, Сарториус нашел не только почет за свой труд, но и человеческое утешение в своей печали.

Виктор Васильевич Божко, бывший председателем месткома весового треста, узнал тайну Сарториуса. Однажды как обычно Сарториус занимался поздним вечером. В тресте остался лишь один бухгалтер, подбивая квартальный баланс, да еще Божко склеивал вдали очередную стенгазету. Сарториус загляделся в окно, там люди целыми толпами ехали в трамваях из театров и гостей, им было весело друг с другом и жизнь их шла надежно к лучшему, лишь техника напрягалась под ними — гнулись рессоры вагонов и утомленно гудели моторы.

Тем более озабоченно склонялся Сарториус над своей работой. Надо было решить не только задачу весов, но и железнодорожный транспорт и прохождение кораблей в Ледовитом океане и попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мученье и гибель. Самбикин ошибался, когда указывал душу мертвого гражданина, помещенную в пустоте кишок между калом и новой пищевой начинкой. Кишки похожи на мозг, их сосущее чувство вполне рационально и поддается удовлетворению. Если бы страсть жизни средоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была так долга и почти бесплодна; всеобщее существование, основанное даже на одном разуме желудка, давно бы стало прекрасным. Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытное, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка, — что не пролезает в сознание и поэтому не могло быть понято никогда прежде: в сознание /разум/* ведь попадает лишь подобное ему, нечто похожее на самую мысль. Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впитаться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...

— Как много надо трудиться нам! — вслух сказал Сарториус. — Не приходи, Москва, мне сейчас некогда...

В полночь Божко скипятил чай электрической грелкой и с почтением начал угощать Сарториуса. Он сердечно уважал молодого, трудолюбивого инженера, который с охотой пришел работать в малозначную, безвестную промышленность, оставив в стороне славу авиации, разложения атома и сверхскоростной езды. Они пили чай и вели беседу об изжитии брака гирь, о двадцать первом правиле проверки весоизмерителей и о прочих подобных, по форме скучных предметах. Но за этим у Божко скрывалась страсть целого сердца, потому что точная гиря влекла за собою долю благоденствия колхозной семьи, помогала расцвету социализма, обнадеживала в конце концов душу всех неимущих земного шара. Гиря, конечно, небольшое дело, но Божко и себя сознавал невеликим, поэтому для счастья его всегда было достаточно материала.

Столица засыпала. Лишь вдалеке где-то стучала машинка в поздней канцелярии и слышалось, как сифонили трубы МОГЭСа, но большинство людей лежали в отдыхе, в объятиях или питались в темноте квартир секретари своих скрытых душ, темными идеями эгоизма и ложного блаженства.

— Поздно, — сказал Сарториус, напившись чаю с Божко. — Все уже спят в Москве, одна только сволочь наверно не спит, вожделеет и томится.

— А, это кто ж такое, Семен Алексеевич? — спросил Божко.

— Те, у которых есть душа.

Божко был готов из любезности к ответу, но промолчал, так как не знал, что сказать.

— А душа есть у всех, — угрюмо произнес Сарториус; он в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди.

— Разве с точностью открыто, что повсеместно есть душа? — спросил Божко.

* Здесь и далее в косые скобки заключен авторский вариант — в случаях, когда выбор не определился.

— Нет, не с точностью, — объяснил Сарториус. — Она еще неизвестна.

Сарториус умолк; его ум напрягнулся в борьбе со своим узким, бедствующим чувством, непрерывно любящим Москву Честнову, и лишь в слабом свете сознания стоял остальной разнообразный мир.

— А нельзя ли поскорей открыть душу, что она такое, — интересовался Божко. — Ведь и вправду: пусть весь свет мы переделаем, и станет хорошо. А сколько нечистот натекло в человечество за тысячи лет зверства, куда-нибудь их надо девать!.. Даже тело наше не такое, как нужно, в нем скверное лежит.

— В нем скверное, — сказал Сарториус.

— Когда я юношей был, — сообщил Божко, — я часто хотел — пусть все люди сразу умрут, а я утром проснусь только один. Но все пусть останется: и пища, и все дома, и еще — одна одинокая красивая девушка, которая тоже не умрет, и мы с ней встретимся неразлучно...

Сарториус с грустью поглядел на него: как мы все похожи, один и тот же гной течет в нашем теле!

— Я тоже думал так, когда любил одну женщину.

— Кого же это, Семен Алексеевич?

— Честнову Москву, — ответил Сарториус.

— А, ее! — бесшумно произнес Божко.

— Вы ее тоже знали?

— Косвенно только, смутно, Семен Алексеевич, я был ни при чем.

— Ничего! — опомнился Сарториус. — Мы теперь вмешаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу.

— Пора бы уж, Семен Алексеевич! — указал Божко. — Надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце. Изуродовала нас история-матушка!

Вскоре Божко улегся спать на столе, приготовив для Сарториуса постель в кресле управляющего. Божко был теперь еще более доволен, поскольку лучшие инженеры озаботились переделкой внутренней души. Он давно втайне боялся за коммунизм: не осквернит ли его остервенелая дрожь /чужеродный дух/, ежеминутно подымающаяся из низов человеческого организма! Ведь древнее, долгое зло глубоко въелось в жизненную плоть, даже само тело наше есть наивно одна сплоченная терпеливая язва или такое жульничество, которое нарочно отделилось от всего мира, чтобы победить его и съесть в одиночку...

Наутро, когда проснулся Божко, он увидел, что Сарториус вовсе не ложился. Он заготовил целую пачку чертежных схем и расчетов для электрического весового парка, но одновременно лицо его имело высохшие следы слез и морщины борьбы с неотвязным отчаянием тоскующего чувства.

В тот же день на вечер Божко созвал президиум месткома, где тактично доложил о личном горе инженера Сарториуса и наметил меры по уменьшению его страдания.

— Мы привыкли вмешиваться только во что-то общее и широкое, — говорил Божко на президиуме, — а надо попробовать помочь также частному и глубокому. Продумайте это, товарищи, по-советски и человечески, — вы помните, как Сталин нес урну с прахом инженера Федосеенко... Хотя горе товарища Сарториуса необыкновенно, благодаря его чувству, но утешить его надо обыкновенной мерой, потому что в жизни, как я заметил, хотя быть может и неверно, самое сильное — это что-нибудь обыкновенное: я ведь так полагаю...

Машинистка Лиза, член месткома, с легковой готовностью полюбила про себя Сарториуса, но потом ей стало стыдно. Она была нежна и нерешительна, ее лицо почти всегда имело розовый цвет от совестливого напряжения с людьми. Девственница, она рано полнела, темные волосы ее росли все более густо и наружность делалась такой привлекательной, что многие обращали внимание и думали о Лизе, как о своем счастье. Один Сарториус замечал ее, как-то косвенно и ничего не предполагал о ней.

Через два дня Божко посоветовал Сарториусу поглядеть на Лизу, — она очень мила и добра, но несчастна от скромности.

В дальнейшем времени, благодаря общему делопроизводству, Сарториус ближе познакомился с Лизой и однажды он в недоумении поглядел ее руку, лежавшую на машинном столике, не зная, что сказать. Лиза не взяла руки и промолчала; был уже вечер, луна быстро, как время, всходила на небо за стенами учреждения, точно отмечая ежеминутную истекающую молодость.

Лиза и Сарториус вышли вместе на улицу, занятую таким тесным движением людей, что казалось здесь же происходило размножение общества. Они поехали в окрестность города на трамвае, там была уже поздняя осень, в кочковатых полях стояла холодная сухость, и некогда росшая рожь, освещенная зарей московского полночного зари, теперь была скошена и место лежало пустынным. В страхе от своего воспоминания Сарториус обнял Лизу, широко оглядывая одинокую тьму ночи; Лиза в ответ прильнула к нему, согреваясь и приобретая его руками, как разумная хозяйка.

С тех пор Сарториус нашел в учреждении утешение своей души и заунывная боль его по Москве Честновой превратилась в грустную память о ней, как о погибшей... За каменные весы он получил много денег, одел на них Лизу в роскошь и некоторое время жил легко и даже весело, предаваясь любви, посещению театров и текущим удовольствиям. Лиза была верна ему и счастлива, лишь одного она боялась — как бы Сарториус не оставил ее; поэтому она подолгу смотрела в его лицо, когда он спал, и думала о том, чтобы как-либо безболезненно и незаметно испортить наружность Сарториуса, хотя он и так был недостаточно красив, — тогда уж его, как уroda, не полюбит другая женщина и он будет жить с нею до самой смерти. Однако Лиза ничего выдумать не умела и не знала, как сделать, чтобы Сарториус для всего мира стал ненавистным, — и когда он улыбался во сне неизвестному легкому сновидению, у Лизы показывались слезы от горя ревности и нарождающейся ярости.

Ум Сарториуса успокоился, в нем опять непроизвольно, как в семеннике, производились мысли и фантазии, и он просыпался, наполненный открытиями и далекими представлениями; он воображал себе бедняцкий южно-советский Китай и шведского ученого Мальмгрена, замерзшего во льду, уже забытого всем светом. И с беспокойством от ответственности своей жизни, со страхом от ее скорости, легкомыслия и мнимой утоленности, Сарториус работал все более поспешно, боясь умереть или снова полюбить Москву Честнову и тогда заму-читься.

Наступила зима. Многие ночи Сарториус просидел в учреждении, в то время как Лиза печатала что-то вдали на машинке. Он спроектировал электрические весы, которые взвешивали звезды на расстоянии, когда они показывались над горизонтом востока, и его за это поцеловал замнаркома тяжелой промышленности; но Сарториус постепенно терял интерес и к весам и к звездам: он чувствовал в себе смутное волнение, не объяснимое его счастливой молодостью, и тайна человеческой жизни была для него неясна; он чувствовал себя так, как будто до него люди не жили и ему предстоит перемучиться всеми мученьями, испытать все сначала, чтобы найти для каждого тела человека еще не существующую, великую жизнь. В тоске и нестерпимости, лишь бы утомиться и переменить мысли, он целовал свою Лизу, и та принимала всерьез его чувство. Но после он долго спал с испытанным сердцем и просыпался в отчаянии. Москва Честнова была права, что любовь это не коммунизм /будущее/ и страсть грустна.

11

Зимой в два часа ночи подъемник 18-й шахты метрополитена сработал по аварийному сигналу — наверх была поднята девушка-шахтер и вызвана карета скорой помощи. У той девушки была размята правая нога в верхней полной части, выше колена.

— Вам очень больно или нет? — наклонился к ней серый от усталости и страха прораб.

— Ну конечно, но только не очень! — здраво ответила шахтерка. — Я еще может быть встану сейчас...

Она действительно встала с носилок, прошла несколько шагов и упала в снег. Из нее вышла кровь; на снегу, освещенном прожектором, кровь казалась желтой, истощенной еще задолго в теле, но лицо упавшей глядело блестящими глазами и губы были красные от здоровья или от высокой температуры.

— Как же это случилось с вами? — допрашивал ее прораб, помогая ей лечь на подстилку.

— Не помню, — ответила раненая, — на меня вагонетки наскочили и зажали в слепой проход... Но вы отойдите теперь, я буду спать, а то боль чувствовать неохота.

Прораб отошел, готовый сам себе оторвать ногу, лишь бы эта девушка уцелела полностью. Приехал автомобиль и увез уснувшую шахтерку в хирургическую клинику.

В экспериментальной клинике находился Самбикин в качестве ночного дежурного врача; срочных больных не привозили, поэтому он сидел наедине с мертвой материей и пытался выбрать из нее то малоизвестное веселое вещество, которое было припасено для долгой, но не случившейся жизни.

Перед Самбикиным лежал на опытном столе некогда оперированный им ребенок. Он долго томился в больнице, однако вчера умер и перед смертью стал на короткое время безумным, потому что в костяных скважинах на его голове, где производилась операция, появился гной и сразу, со скоростью стгорания, отравил его сознание. Сестра рассказывала Самбикину, что маленький больной закрыл на минуту спокойные хорошо наполненные глаза, а открыл их пустыми и скучными, как пробитыми насквозь.

Самбикин в долгом одиночестве гладил голое тело умершего, как самую священную социалистическую собственность, и горе нагревалось в нем, пустынное, не разрешимое никем.

К полночи он раскопал инструментом сердце в груди покойного, затем вынул железу из области горла и стал исследовать эти органы приборами и препаратами, выскивая, где хранится неистраченный заряд живой энергии; Самбикин был убежден, что жизнь есть лишь одна из редких особенностей вечно мертвой материи и эта особенность скрыта в самом прочном составе вещества, поэтому умершим нужно так же мало, чтобы ожить, как мало нужно было, чтобы они скончались. Более того, живое напряжение снedaемого смертью человека настолько велико, что больной бывает сильнее здорового, а мертвый жизнеспособней живущих.

Самбикин решил мертвыми оживлять мертвых, но его позвали к раненой живой.

Шахтерку положили на стол перевязочной и накрыли лицо двойной кисеей — она спала.

Самбикин осмотрел ее ногу; кровь вырывалась с давлением наружу и слегка вспенивалась; кость была раздроблена по всему сечению и внутрь раны вьелись различные нечистоты. Но окружающее целое тело имело нежный смуглый цвет и такую свежую опухшую форму поздней невинности, что шахтерка заслуживала бессмертия; даже сильный запах пота, исходивший из ее кожи, приносил прелесть и возбуждение жизни, напоминая хлеб и обширное пространство травы.

Самбикин распорядился о приготовлении изувеченной к операции на завтрашний день.

Наутро Самбикин увидел на операционном столе Москву Честнову; она была в сознании и поздоровалась с ним, но нога ее стала темной и жилы на ней, переполненные мертвой кровью, набухли, как у склерозной старухи. Москва уже была вымыта и ей сбрили волосы в паху.

— Ну, теперь до свиданья! — сказал Самбикин, растирая свои большие руки.

— До свиданья, — ответила Москва и стала блуждать глазами, потому что сестра дала ей вдохнуть усыпляющее вещество.

Она забылась и пошевелила шелестящими губами в жажде горячего тела.

— Уснула, — сказала сестра, обнажая всю Москву.

Самбикин долго работал над ногой, пока не отделил ее начисто, дабы избавить организм от гангрены. Москва лежала спокойная; неопределенное грустное сновидение плыло в ее сознании, — она бежала по улице, где жили животные и люди, — животные отрывали от нее куски тела и съедали их, люди впивались и задерживали, но она бежала от них далее, вниз, к пустому морю, где кто-то плакал по ней; туловище ее ежеминутно уменьшалось, одежду давно содрали люди, наконец остались торчащие кости, — тогда и эти кости начали обламывать попутные дети, но Москва, чувствуя себя худой и все более уменьшающейся, терпеливо убегала дальше, лишь бы никогда не возвращаться в страшные покинутые места, откуда она убежала, лишь бы уцелеть, хотя бы

в виде ничтожного существа из нескольких сухих костей... Она упала на жесткие камни и все, кто рвал и ел ее в бегстве, навалились на нее тяжестью.

Москва проснулась. Склонившись, ее обнимал Самбикин и пачкал кровью ее груди, шею и живот:

— Пить! — попросила Москва.

В операционной никого не было, своих помощниц-сестер Самбикин давно услал, где-то в далеком углу шипела газовая горелка.

— Я теперь хромая, — сказала Честнова.

— Да, — ответил Самбикин, не оставляя ее. — Но это все равно, я не знаю, что сказать вам...

Он поцеловал ее в рот; изо рта выходил удушающий запах хлороформа, но он мог теперь дышать всем чем попало, что она выдыхала из себя.

— Обождите, я ведь больная, — попросила Москва.

— Извините, — отстранился Самбикин. — Есть вещи, которые уничтожают все, это — вы. Когда я увидел вас, я забыл думать, я думал, что умру...

— Ну ладно, — неясно улыбнулась Москва. — Покажите мне мою ногу.

— Ее нет, я велел отослать ее себе домой.

— Зачем? Я ведь не нога...

— А кто же?

— Я не нога, не грудь, не живот, не глаза, — сама не знаю кто... Унесите меня спать.

На следующий день здоровье Москвы ослабело, начался жар и пошла кровавая моча. Самбикин стучал себя по голове, чтобы опомниться от любви, анализировал свое состояние физиологически и психически, смеялся, усиленно морща лицо, но ничего не мог достигнуть. Суета и напряжение работы оставили его, он ходил, как бездельник, по дальним улицам в одиночестве, занятый скучной неподвижной мыслью любви. Иногда он прислонялся головой к дереву на ночном бульваре, чувствуя нестерпимое горе; редкие слезы опускались по его лицу и он, стыдясь, собирал их языком вокруг рта и проглатывал.

Во вторую ночь Самбикин взял сердце и шейную железу умершего ребенка, приготовил из них таинственную суспензию и впрыснул ее в тело Честновой. Так как он спать теперь почти не мог, то проблуждал по городу до рассвета, а утром встретил в клинике мать покойного мальчика, — она пришла брать своего сына для похорон. Самбикин отправился с нею, помог ей в необходимых хлопотах, а после полудня уже шел рядом с худой, дрожащей женщиной за повозкой, где лежал мальчик с пустой грудью в гробу. Неизвестная, странная жизнь открылась перед ним — жизнь горя и сердца, воспоминаний, нужды в утешении и в привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна.

Москва Честнова поправлялась долго, она пожелтела и руки ее высохли от неподвижности. Но в окне она видела голые худые ветви какого-то дворового больничного дерева; ветви скреблись по оконному стеклу в течении долгих мартовских ночей, они зябли и тосковали, чувствуя срок наступающего тепла. Москва слушала движение влажного ветра и ветвей, постукивала им в ответ пальцем по стеклу и не верила ни во что бедное и несчастное на свете — не может быть! «Я скоро выйду к вам!» — шептала она наружу, прильнув ртом к стеклу.

Однажды в апреле, уже вечером, когда в клинике нужно было спать, Честнова услышала где-то далеко игру на скрипке. Она прислушалась и узнала музыку — это играл скрипач в том недалеком жакте, где жил Комягин. Изменяется время, жизнь и погода, — наступала весна, кооперативный музыкант играл еще лучше, чем прежде: Москва слушала и воображала ночные овраги в полях и птиц, летящих в нужде сквозь холодную тьму вперед.

Днем, как обычно, Москву часто навещали ее подруги по прошлой работе в земле; после операции приходил два раза треугольник шахты метрополитена и приносил ей торты в коробках за счет профсоюза.

«Выздоровлю, пойду замуж за Комягина, — думала Москва по ночам, слушая, как распространяется в огромном воздухе музыка жактовского скрипача. — Я теперь хромая баба!»

Ее выписали в конце апреля. Самбикин принес ей новые прочные костыли — на весь долгий путь остающейся жизни. Но идти Москве было некуда, она

жила до больницы в сорок пятом общежитии метростроя, а теперь то общежитие куда-то перевели, она не знала.

Самбикин, открыв дверь автомобиля, ждал адреса, куда ее везти, но Москва улыбалась и молчала. Тогда Самбикин повез ее к себе.

Через несколько дней, не дожидаясь окончательного заживления раны на ноге Москвы, Самбикин уехал с нею на Кавказ, в дом отдыха на черноморском берегу.

Каждое утро, после завтрака, Самбикин провожал Москву на берег шумного моря и Москва часами сметрела в невозвратное пространство. «Уйду, уйду я куда-нибудь», — шептала она одно и то же. Самбикин молчал близ нее, его внутренности болели, точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая мысль любви к обедневшему, безногому телу Москвы. Самбикин стыдился такой своей жалкой жизни; в мертвые послеобеденные часы он уходил в горную рошу и там бормотал, ломал сучья, пел, умолял всю природу отвязаться от него и дать наконец покой и работоспособность, ложился в землю и чувствовал, как все это неинтересно.

Возвращаясь к вечеру, Самбикин зачастую не мог даже добраться до Честновой, настолько она была окружена вниманием, заботой и навязчивостью полнеющих на отдыхе мужчин. Уродство Москвы теперь было мало заметно, — ей привезли протез из Туапсе и она ходила без костылей, с одной тростью, на которой все, кому Москва нравилась, уже успели вырезать свои имена и даты и нарисовать символы безумных страстей. Разглядывая свою трость, Москва понимала, что надо удавиться, если бы рисунки были искренними: знакомые люди рисовали в сущности только одно: как бы они хотели рожать от нее детей.

Один раз Москве захотелось винограда, но весной он не вырастает. Самбикин обходил колхозные окрестности, однако всюду виноград уже давно был превращен в вино. Москва сильно опечалилась — после потери ноги и болезни у нее появилась разная блажь, в виде нетерпенья по поводу какого-нибудь пустяка. Она, например, каждый день мыла себе голову, потому что все время чувствовала в волосах грязь и даже плакала от огорчения, что грязь никак не проходит. Когда Москва, как обычно, мыла однажды вечером голову над чашкой в саду, к изгороди подошел пожилой горец и стал молча смотреть.

— Дедушка, принеси мне винограду! — попросила его Москва. — Или у вас нет его?

— Нету, — ответил горный человек. — Откуда он теперь!

— Ну тогда не гляди на меня, — сказала Честнова. — Неужели у вас ни одной ягодки нету, ты же видишь — я хромая...

Горец ушел без ответа, а наутро Москва увидела его снова. Он дождался, когда Москва вышла на крыльцо дома, и подарил ей новую корзину, где под свежими листьями лежал бережно отобранный виноград, весом более пуда. После корзины горец подал Москве маленькую вещь — цветную тряпочку; Москва развернула ее и увидела там человеческий ноготь с большого пальца. Она не понимала.

— Возьми, русская дочка, — объяснил ей старый крестьянин. — Мне шестьдесят лет, поэтому я дарю тебе свой ноготь. Если б мне стало сорок, я бы принес тебе свой палец, а если б тридцать, я тоже отнял бы себе ту ногу, которой и у тебя нету.

Москва нахмурилась, чтоб спокойно сдержать свою радость, а потом повернулась, чтобы убежать, и упала, ударившись в камень порога неживым деревом ноги.

Горец не хотел знать про человека все, а только лучшее, поэтому он сейчас же ушел в свое жилище и больше не был никогда.

Прошло время отдыха и лечения, Москва оправилась окончательно и освоила деревянную ногу, как живую. По-прежнему каждый день ее провожал Самбикин на берег моря и оставлял одну.

Движение воды в пространстве напоминало Москве Честновой про большую часть ее жизни, о том, что мир действительно бесконечен и концы его не сойдутся нигде, — человек безвозвратен.

Ко дню обратного отъезда Самбикина к Москве уже превратилась для него в такую умственную загадку, что Самбикин всецело принялся за ее решение и забыл в своем сердце страдальческое чувство.

12

Сарториус потерял славу всесоюзного инженера; он целиком сосредоточился в делах малоизвестного учреждения и его постепенно упустили из виду бывшие товарищи и знаменитые институты. Он все реже и реже ходил ночевать домой, оставляя на отдых в том же учреждении, поэтому его по праву жительства выписали однажды из домовой книги, а вещи сдали в камеру при отделении милиции. Сарториус, поглощенный своей молчаливой жизнью, взял вещи из камеры и свалил их в том углу, где обычно дремал трестовский сторож — в борьбе с возможным грабежом имущества. С тех пор учреждение окончательно стало для Сарториуса семейством, убежищем и новым миром: там он жил с верной девушкой Лизой, имел широкую дружбу с сослуживцами, и местком — во главе с Божко — оберегал его от всякого горя и несчастья.

Днем Сарториус был почти всегда счастлив и удовлетворен текущей работой, но по ночам, когда он лежал навзничь на папках старых дел, внутри его рождалась тоска, она вырастала из-под его нагрудных костей как дерево поднималось к потолочному своду Старо-Гостиного Двора и шевелилось там черными листьями. Так как Сарториус почти не умел мечтать, он мог лишь мучиться и наблюдать — что это такое.

Ум его все более беднел, спина слабела от занятий, но Сарториус терпеливо выносил самого себя; лишь изредка у него болело сердце — настойчиво и долго, в далекой глубине тела, раздаваясь там, как темный вопиющий голос. Тогда Сарториус уходил за шкаф с давними делами и стоял в промежутке инвентаря некоторое время, пока не проходила в одиночестве и однообразии эта болящая скука чувства.

По ночам Сарториус спал мало. Он ходил в гости в семью машинистки Лизы, пил чай с нею и с ее небольшою матерью-старушкой, которая любила говорить о современной литературе, а особенно о путях развития изобразительных искусств, — и кротко улыбался от отчаяния. Иногда сюда же приходил и Виктор Васильевич Божко: когда-то, ранее Сарториуса, Лиза намечалась для Божко в качестве невесты, но увлекшись делами учреждения, житейской атмосферой со всеми сослуживцами, Божко не видел пока острой надобности уединяться квартирным браком и даже склонил Лизу на утешение Сарториуса. Польза и счастье сослуживца затмили для Божко стихию сердечных страстей, а очагом, согревающим его личную душу, ему служил трест весов и гирь. Теперь, заставая Сарториуса и Лизу у общей старушки, Виктор Васильевич прилагал свое усердие к тому, чтобы они обручились; его прельщало, что молодые люди и полюбя друг друга останутся в том же учреждении и профсоюзе и не выйдут из небольшой, но тесной системы весовой промышленности.

Если же Сарториус не посещал Лизу, он ходил много верст по городу, подолгу наблюдал, как вешают хлеб и овощ в магазинах на электрических весах его конструкции, и вздыхал от теснящегося в нем, заунывного процесса неизменного существования. Затем, когда ночные пустые трамваи поспешно мчались в последние рейсы, Сарториус подолгу всматривался в чуждые непонятные лица редких пассажиров. Он ожидал увидеть где-нибудь Москву Честнову, ее милые волосы, свисающие вниз через раскрытое трамвайное окно, когда ее голова лежит на подоконнике и спит на ветру движения.

Он любил ее постоянно; ее голос звучал для него всегда в ближайшем воздухе — стоило ему вспомнить любое слово Москвы и сейчас же он видел в своем воспоминании знакомый рот, верные нахмуренные глаза и теплоту ее кротких уст. Иногда она снилась Сарториусу, жалкая или уже усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением. Сарториус просыпался в горе и в жестокости и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении, чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль. Обычно же Сарториус снов не видел, не обладая способностью к пустому переживанию.

Почти одинаково, лишь с небольшими изменениями, прошло время в течении многих месяцев. Женщины давно оделись в теплые шапки, открылись катки, деревья на бульварах уснули, храня снег на ветвях до весны, электрические станции работали все более напряженно, освещая растущую тьму, — Москвы Честновой нигде не было: ни в натуре, ни по справкам в адресном столе.

Среди одного зимнего дня Сарториус посетил доктора Самбикина. Тот вернулся с ночной работы в клинике и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме.

Странно, что оба товарища встретились после разлуки без радости, хотя Самбикин, как обычно, увидел в посещении Сарториуса многозначительное явление. Он даже озадачился.

Затем выяснилось, что Самбикин любил Москву бессмысленно и сознательно отошел от нее, чтобы решить в стороне всю проблему любви в целом, потому что это слишком серьезная задача, — бросаться же с головой в неизвестное дело недопустимо. И только после достижения ясности своего чувственного вопроса Самбикин думает встретиться с Москвой, дабы прожить с ней остаток времени до смертного сожжения.

— Она теперь хромая, — сказал еще Самбикин, — и живет в комнате члена осодмила товарища Комягина. Фамилия ее тоже стала не Честнова.

— Зачем же ты бросил ее хромую и одну? — спросил Сарториус. — Ты ведь любил ее.

Самбикин чрезвычайно удивился:

— Странно, если я буду любить одну женщину в мире, когда их существует целый миллиард, а среди них есть наверняка еще более высшая прелесть. Это надо сначала точно выяснить, здесь явное недоразумение человеческого сердца — больше ничего.

Сарториус, узнав адрес Москвы, оставил Самбикина одного. Доктор не проводил Сарториуса до двери и сидел по-прежнему в полной задумчивости по поводу всех важнейших задач человечества, желая всемирной ясности и договоренности по всем пунктам счастья и страдания.

Вечером Семен Сарториус вошел во двор жакта в бауманском районе, где жил Комягин. Институт Экспериментальной Медицины был достроен за забором дома и освещен чистым огнем электричества. У входа в домоуправление сидел старый нищий с лысой головой, а шапка его лежала на земле пустотою вверх и поперек нее находился смычок от скрипки. Сарториус положил в шапку немного денег и спросил у бедняка: почему у него лежит смычок.

— Это мой знак, — сказал старый человек. — Я ведь собираю не милостыню, а пенсию: я всю жизнь с упоением играл в Москве, меня слышали здесь все поколения населения с удовольствием — пусть дадут на харчи, пока смерти еще не время!

— А вы бы играли на скрипке — к чему побираться! — посоветовал Сарториус.

— Не могу, — отказался старик. — У меня руки трепещут от волнения слабости. А это для искусства не годится — я халтурщиком быть не могу. Нищим — могу.

В длинном коридоре старого дома пахло еще долголетними остатками йодоформа и хлорной извести; здесь вероятно когда-то в гражданскую войну был госпиталь и лежали красноармейцы, — теперь живут жильцы.

Сарториус подошел к двери Комягина; за дверью слышался тихий голос Москвы Честновой; должно быть она лежала в постели и говорила с мужем-сожителем.

— Ты помнишь, я тебе рассказывала, как я в детстве видела темного человека с горящим факелом — он бежал ночью по улице, а была темная осень и такое низкое небо, что некуда... дышать...

— Помню, — сказал мужской голос. — Я же тебе давал указания, как я бежал тогда на врагов: это был я.

— Тот был старый, — грустно сомневалась Москва.

— Пускай старый. Когда человек живет в виде маленькой девчонки, ей шестнадцатилетний кажется пожилым стариком.

— Это верно, — произнесла Москва; ее голос был немного лукав, немного печален, точно она была сорокалетней женщиной 19 века и дело шло в большой квартире. — Ты теперь сгорел и обуглился.

— Вполне правильно, Муся, — сказал Комягин; он ее звал сокращенно. — Я исчезаю, я старая песня, мой маршрут кончается, я скоро свалюсь в овраг личной смерти...

Муся промолчала, потом сказала:

— И птица, какая пела твою песню, давно улетела в теплые края. Ты какой-то весь жалкий человек, как бывший мужик!

— Истерся весь, — ответил Комягин. — Все понятно. Теперь ничего не люблю, кроме порядочка в нашей республике.

Муся кротко засмеялась, как она умела.

— Ты рядовой запаса второго разряда! Как я тебя встретила такого среди огромного количества?

Он объяснил:

— А мир ведь не очень велик, я два раза специально вдумывался в это. Когда на глобус глядишь или на карту, кажется — много, а так — не очень, и все ведь учтено и записано: можно в полчаса глазами пробежать весь регистр населения и территории — с именем, отчеством, фамилией и основными данными характеристики!

В коридоре потух свет благодаря наступлению какого-то максимального времени ночи и экономическому надзору уполномоченного по энергии. Сарториус прислонился головой к холодной канализационной трубе, которую когда-то обнимала Москва, и слышал в ней с перерывами потоки нечистот верхних этажей.

— И даже хорошо, что вся земля мала: на ней можно смиренно жить! — говорил Комягин.

Муся-Москва молчала. Наконец стукнула ее деревянная нога. Сарториус понял, что она села.

— Комягин, неужели ты был большевиком? — спросила она.

— Ну зачем, — не был нет никогда!

— А почему тогда ты с факелом бежал в семнадцатом году, когда я еще только росла?

— Нужно было, — сказал Комягин. — В то время не было же ведь ни милиции, ни осодмила — тем более. Жителям приходилось самообороняться от всех врагов.

— А где мы жили и ты, — там были почти нищие и одни голодающие... У моего отца имущество стоило рубля три, и то его надо было сорвать с тела и вырвать из пуза, — чего вы сторожили, дураки, зачем ты с факелом бежал?

— Инспектором самоохранны был, бежал — посты проверял... Когда всего мало, то значит бедность, а ее надо охранять тем более, это самое драгоценное: деревянная ложка делается серебряной! Вот тебе что!

— А стрельнул кто и в тюрьме крик голосов начался?.. Ты мне не ври!

— Чего врать! Правда — хуже. Стрельнул одинокий /тайный/ хулиган, а в тюрьме митинг был, там кормили хорошо и никто на волю не уходил — приходилось с боем выдвирать на свободу. Я тоже щи там ел у надзирателя по знакомству.

Москва долго снимала одежду, сопела и шевелила деревянной ногой, — она наверно укладывалась до утра.

Сарториус ждал в страхе дальнейшего конца. По коридору изредка ходили жильцы в общую уборную, но к чужому человеку в темноте они не присматривались, как привычные ко многим и всяким непонятым явлениям.

— Ты слепой в крапиве, — сказала Москва за дверь. — Не ложись со мной, гадость такая!

— Скрипишь, деревянная нога! — терпеливо указал ей Комягин. — Ты жизни нашей сугубой не знаешь...

— Нет, я знаю. Убить тебя надо, вот в чем жизнь.

— Погоди, я ни одного дела еще не доделал, важнейших мыслей не подумал...

— Ну когда ж ты успеешь это, ведь ты стареешь... На что ты надеешься?

Комягин скромно сообщил, что он надеется выиграть по займу несколько тысяч рублей и тогда одумается от мыслей и закончит все начатые дела.

— Но ведь это может нескоро будет! — печально говорила Москва.

— Если даже за час до смерти, и мне достаточно! — определил Комягин. — Все равно, хоть и не выиграю, хоть и не сделаю свою жизнь нормальной, все равно — я решил — как почувствую естественную погибель, так примусь за все дела и тогда все закончу и соображу — в какие-нибудь одни сутки, мне больше не надо. Даже в час можно справиться со всеми житейскими задачами!.. В жизни ничего особенного нету — я специально думал о ней и правильно это

заметил. Ведь это только так кажется, что нужно жить лет сто и едва лишь тебе хватит такого времени на все задачи! Отнюдь неверно! Можно прожить попусту лет сорок, а потом сразу как приняться за час до гроба, так все исполнить в порядочке, зачем родился!..

Они больше не говорили. Комягин, судя по звукам, улегся на полу и долго вздыхал от огорчения, что время идет, а дела его стоят. Сарториус стоял в унынии, не имея никакого решения. Он слышал, как кто-то запер наружную выходную дверь и ушел спать в свою комнату последним человеком. Но Сарториус не боялся пробыть всю ночь во тьме коридора; он ждал — не умрет ли вскоре Комягин, чтобы самому войти в комнату и остаться там с Москвой. Он не спал в ожидании, наблюдая в темной тишине, как постепенно следует время ночи, полное событий. За третьей дверью, считая от канализационной трубы, начались закономерные звуки совокулления; настенный бачок пустой уборной сипел воздухом, то сильнее, то слабее, знаменуя работу могучего водопровода; вдалеке, в конце коридора, одинокий жилец принимался несколько раз кричать в ужасе сновидения, но утешить его было некому и он успокаивался самостоятельно; в комнате против двери Комягина кто-то, специально проснувшись, молился богу шепотом: «Помяни меня, господи, во царствии твоём, я ведь тоже тебя поминаю, — дай мне что-нибудь фактическое: пожалуйста прошу!» В других номерах коридора также происходили свои события — мелкие, но непрерывные и необходимые, так что ночь была загружена жизнью и действием равносильно дню. Сарториус слушал и понимал, насколько он беден, обладая лишь единственным, замкнутым со всех сторон туловищем: Москва и Комягин спали за дверью; укрошено билось их сердце и по коридору слышалось всеобщее мирное дыхание, точно в груди каждого была одна доброта.

Сарториус томился. Он осторожно постучал в дверь, чтобы кто-нибудь проснулся и что-нибудь произошло. Чуткая Москва заворочалась и позвала Комягина. Тот отозвался в раздражении: что ей надо ночь, когда и днем от него пользы нет.

— Проверь свои облигации, — сказала Москва. — Зажги свет.

— А что? — испугался Комягин.

— Может быть выиграл... Если выиграл, начнешь жить по правилу, если нет — ляжешь и умрешь. Ты один такой в Советском Союзе, как тебе не стыдно?

Комягин с напряжением собирал ослабевшие мысли в своей голове.

— Что мне такое Советский Союз — Советский Союз! Про него все теперь бормочут, а я живу в нем как в теплоте за пазухой...

— Хватит тебе жить, умри по-геройски, — как ехидна, настойчиво предлагала Москва.

Комягин размышлял: ничего особенного, в самом деле, не будет, если даже умереть, — уже тысячи миллиардов душ вытерпели смерть и жаловаться никто не вернулся. Но жизнь его видимо еще сковывала своими костями, заросшим мясом и сетями жил, — слишком надежна и привычна была механическая прочность собственного существа. Он полез на коленях в свои незавершенные архивы и стал листовать облигации, а Москва ему читала перечень выигравших серий по сборнику Наркомфина. Выигрыш нашелся в сумме десяти рублей, но так как у Комягина была лишь четверть этой удачной облигации, то чистого дохода ему причиталось два с половиной рубля: жизнь лишь незначительно усугублялась, а итоги ее опять свести было нельзя безубыточно.

— Ну что теперь будешь? — спросила Москва.

— Умру, — согласился Комягин. — Жить не приходится. Отнеси завтра в отделение милиции книжку штрафных квитанций — тебе рублей пять процентов очистится: станешь кормиться после меня.

Он лег затем на что-то и умолк.

Вскоре Москва снова прошептала вопрос:

— Ну как, Комягин? — Она его звала по одной фамилии, как чужого. — Ты опять спишь, а потом проснешься?

— Едва ли, — ответил Комягин, — я сейчас задумался... Что если б я в осодмиле лет десять еще поработал — я бы так научился в народ дисциплину наводить, мог потом Чингиз-ханом быть!

— Кончай свой разговор! — рассердилась Москва. — Авантюрист! Время себе у государства ворует!

— Нет, — отказался Комягин и нежно произнес: — Мусь, поласкай меня, я тогда скорей исчахну, к утру ангелом буду — умру.

— Я тебя вот поласкаю! — грозно отозвалась Москва. — Я тебя сейчас деревянной ногой растопчу, если ты не издохнешь!

— Ну конечно, конечно! Говорят, перед смертью надо всю жизнь припомнить — ты не ругайся, я ее вспомню срочно.

Наступило молчание, пока в уме Комягина очередью проходили долгие годы его существования.

— Вспомнил? — поторопила вскоре Москва.

— Нечего вспоминать, — сказал Комягин. — Одни времена года помню: осень, зиму, весну, лето, а потом опять осень, зиму... В одиннадцатом и двадцать первом году лето было жаркое, а зима голая, без снега, в шестнадцатом — наоборот — дожди залили, в семнадцатом осень была долгая, сухая и удобная для революции... Как сейчас помню!

— Но ты же много любил женщин, Комягин, это наверно твое счастье было.

— Какое тебе счастье в человеке вроде меня! Не счастье, а бедность одного вождения! Любовь ведь горькая нужда, более ничего.

— Ты ведь не очень глуп, Комягин!

— По-среднему, — согласился Комягин.

— Ну довольно, — сказала Москва ясным голосом.

— Довольно, — так же сказал Комягин.

Они снова умолкли, уже надолго. Сарториус равнодушно ожидал за дверью жилища, пока Комягин погибнет, чтобы войти в комнату. Он чувствовал, как у него начинают болеть глаза от тьмы и долгого мучения сердца.

Наконец Комягин попросил, чтобы Муся укрыла ему голову одеялом потуже и обвязала пониже то одеяло бечевою, чтоб оно не сползло. Москва сошла с кровати деревянной ногой и укутала Комягина как нужно, затем улеглась обратно со вздохами.

Ночь длилась как стоячая. Сарториус сел на пол в усталости: еще никто не проснулся в коридоре, утро еще находилось где-нибудь над зеркалом Тихого океана. Но все звуки прекратились, события, видимо, углубились в середину тел спящих, зато одни маятники часов-ходиков стучали по комнатам во всеуслышание, точно шел завод важнейшего производства. И действительно, дело маятников было важнейшее: они сгоняли накапливающееся время, чтобы тяжелые и счастливые чувства проходили без задержки сквозь человека, не останавливаясь и не губя его окончательно.

В комнате Комягина маятник не постукивал; оттуда слышалось одно чистое, ровное дыхание уснувшей Москвы; другого дыхания слышно не было — Сарториус не мог его уловить. Подождав еще немного, он постучал в дверь.

— Кто там? — сразу спросила Москва.

— Я, — сказал Сарториус.

Не вставая, Честнова скинула дверной крючок пальцем целой ноги.

Сарториус вошел. В комнате горел свет, не потушенный со времени проверки облигаций. На полу, на постилке лежал Комягин с головою, наглухо завернутой в толстое одеяло; кругом груди одеяло держалось тонкой впивающейся веревкой. Москва была одна на кровати, покрытая простыней; она улыбнулась Сарториусу и стала с ним беседовать. Потом Сарториус спросил ее:

— Как ты сюда попала, в чужую комнату, и зачем?

Москва ответила, что ей некуда было деться. Самбикин сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой, и беспрерывно молчал. Ей и самой стало совестно жить среди прежних друзей, в общем убранном городе, будучи хромой, худой и душевной психичкой, поэтому она решила укрыться у своего бедного знакомого, чтобы переждать время и снова повеселеть.

Она сидела на кровати, Сарториус находился рядом с ней. Вскоре она опустила свое побледневшее лицо, ее большие темные волосы укрыли ее щеки и она заплакала в чаще своих кос. Сарториус начал успокаивать ее посредством объятий, но ей это было все равно; она стыдилась и глубоко прятала деревянную ногу под юбку.

— Он спит? — спросил Сарториус про Комягина.

— Не знаю, — сказала Москва. — Может быть умер, — он сам хотел. Попробуй его ноги.

Сарториус попробовал концы ног Комягина, они были одеты, как в галстуки, в остатки носков — целы были только верхние части, а подошвы и пальцы обнажились наголо. Пальцы ног и пятки оказались холодными до самых костей и все тело лежало в беспомощном положении.

— Наверно умер, — сказал Сарториус.

— Пора ему, — тихо произнесла Москва.

Сарториус молча обрадовался, что никого нет живого в помещении, кроме него с прежней, любимой Москвой, еще более милой и сердечной для него, что счастье и слава ее временно остановились, оттого перед нею все опять лишь впереди, и у него не было никакого сожаления к Комягину. Ночь шла давно, оба они утомились и легли рядом лежать на постели.

Комягин был неподвижен на далеком полу; чтобы не запачкать постилки, ему Москва еще с вечера наложила на пол старые «Известия» 1927 года и теперь свет освещал сообщения о минувших событиях. Сарториус обнял Москву и ему стало хорошо.

Часа через два по коридору пошли ходить люди, готовясь к службе и работе. Сарториус очнулся и сел на кровати; Москва спала рядом и лицо ее было во сне смиренное и доброе, как хлеб, — не совсем похожее на обычное. Комягин лежал в прежнем виде, электричество горело ярко и освещало всю комнату, где все требовало переделки или окончания. Сарториус понял, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда некуда деться в лучшую, высшую участь. Он потушил свет и лег, чтобы опомниться от наступившего состояния. Слабый свет, точно лунный, начал распространяться по стене над дверью, проникая через окно с утреннего неба, и когда он озарил всю комнату, в ней стало еще более тесно и грустно, чем ночью при огне.

Сарториус подошел к окну; за ним был виден зимний дымный город; очередной рассвет пробирался по обвисшему животу равнодушной тучи, из которой нельзя ждать ни ветра, ни грозы. Но миллионы людей уже зашевелились на улицах, неся в себе разнообразную жизнь; они шли среди серого света трудиться в мастерские, задумываться в конторах и в чертежных бюро, — их было много, а Сарториус сидел один, неразлучно с собою никогда. Душа и мысль его, заодно с однообразным телом, были устроены до смерти одинаково.

Мертвец Комягин лежал свидетелем вновь сбывшейся любви Сарториуса /случившихся комнатных событий/, но не двигался и не завидовал; Москва спала в отчуждении, повернувшись к стене прелестным лицом.

Сарториус испугался, что ему изо всего мира досталась лишь одна теплая капля, хранящая в груди, а остального он не почувствует и скоро ляжет в угол, подобно Комягину. Сердце его стало как темное, но он утешил его обыкновенным понятием, пришедшим ему в ум, что нужно исследовать весь объем текущей жизни посредством превращения себя в прочих людей. Сарториус погладил свое тело по сторонам, обрекая его перемучиться на другое существование, которое запрещено законом природы и привычкой человека к самому себе. Он был исследователем и не берег себя для тайного счастья, а сопротивление своей личности предполагал уничтожить событиями и обстоятельствами, чтобы по очереди могли в него войти неизвестные чувства других людей. Раз появился жить, нельзя упустить этой возможности, необходимо вникнуть во все посторонние души — иначе ведь некуда деться; с самим собою жить нечем, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба /можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма/.

Сарториус прислонился лицом к оконному стеклу, наблюдая любимый город, каждую минуту растущий в будущее время, взволнованный работой, отрекающийся от себя, бредущий вперед с неузнаваемым и молодым лицом.

— Что я один?! Стану как город Москва.

Комягин пошевелился на полу и вздохнул своим же надышанным воздухом.

— Муся! — позвал он в неуверенности. — Я застыл здесь внизу: можно я к тебе лягу?

Москва открыла один глаз и сказала:

— Ну ложись!

Комягин начал освобождаться от удушающего его одеяла, а Сарториус ушел за дверь и в город без прощанья.

13

Он стал как неживой некоторое время. К машинистке Лизе он ходить перестал, потому что она твердо вышла замуж за Виктора Васильевича Божко, а трест весов и гирь был обращен к своей ликвидации и весь опустошен от служащих. Одна только курьерша жила в безлюдном, охладелом помещении учреждения — у нее родился ребенок и она кормила и содержала его на мягкой пачке устарелых дел.

Сарториус дважды посетил свою старую службу, посидел за голым столом, попробовал набросать проект взвешивания чего-то невесомого и не почувствовал никакого ощущения, ни печали, ни удовольствия. Все кончилось — служебное семейство, отводившее душу людям, было распущено, общий чайник больше не согревался к двенадцати часам и стаканы стояли в шкафу пустыми, постепенно заселяемые мелочью каких-то бумажных бледных насекомых. Ребенок курьерши то плакал, то утешался, часы-ходики шли над ним вперед и мать его ласкала с обычной материнской любовью. Она со страхом ждала въезда в помещение нового учреждения, потому что ей негде было жить, но то новое учреждение накануне своего переезда тоже было ликвидировано, так что площадь зачислили в резерв жилфонда и впоследствии заселили семейными жильцами.

Сарториус стал видеть все более плохо, его глаза слепли. Он пролежал в своей комнате целый месяц, прежде чем начал опять понемногу смотреть наболевшим зрением. Курьерша из бывшего треста приходила к нему через день, приносила пищу и вела хозяйство.

Два раза его посетил Самбкин вместе с глазным врачом, и они вынесли свое медицинское заключение, что глаза имеют причину заболевания отдаленные недра тела, возможно — сердце. Вообще, сказал Самбкин, конституция Сарториуса находится в процессе неопределенного /разрушения/ превращения, и сам озадачился этой мыслью на многие дни.

Наконец Сарториус вышел из дома. Его обрадовало многолюдство на улице; энергия мчавшихся машин зародила в его сердце воодушевление, непрерывное солнце светило на открытые волосы прохожих женщин и в свежие древесные листья деревьев, вымокшие во влаге своего рождения.

Опять наступила весна; время все более удаляло жизнь Сарториуса. Он часто моргал от ослепления светом и наталкивался на людей. Ему было хорошо, что их так много, что, следовательно, ему существовать необязательно — есть кому и без него сделать все необходимое и достойное.

Одно тяжелое и темное чувство владело им. Он нес свое тело как мертвый вес, — надоевшее, грустное, пережитое до бедного конца. Сарториус вглядывался во многие встречные лица; его томила, как бледное наслаждение, чужая жизнь, скрытая в неизвестной душе. Он сторонился и тосковал.

Десять тысяч народа приблизительно находилось в движении на Каланчевской площади. Сарториус с удивлением остановился около таможи в удивлении, точно никогда не видел такого зрелища.

«Сейчас скроюсь и пропаду среди всех!» — неопределенно и легко думал он о своем намерении.

К нему подошел какой-то туманный человек, которого нельзя запомнить и забыть.

— Товарищ, вы не знаете, где здесь начинается Доминиковский переулок? Может, знаете случайно, я тоже знал, но потерял нить.

— Знаю, — сказал Сарториус, — он вон где! — И показал направление, вспоминая этот знакомый голос и не помня такого лица.

— А не знаете, есть там производство гробов, или уже оно куда-нибудь переведено в связи со строительством и реорганизацией? — продолжал узнавать прохожий.

— Неизвестно... Кажется что-то есть, гробы и венки, — объяснял Сарториус.

— А транспорт?

— Наверно есть.

— Должно быть автомобили с тихим ходом.

— Возможно. Едут на первой скорости и везут покойника.

— Ну да, — согласно произнес тот человек, не понимая первой скорости.

Они замолчали. Прохожий со страстью поглядел на людей, цепляющихся

в трамвай на ходу, и даже сделал по направлению к ним одно неопределенное движение ярости.

— Я вас знаю, — сказал Сарториус, — я помню ваш голос.

— Вполне вероятно, — равнодушно сознался человек. — Мне многих приходилось штрафовать за нарушения, и при этом кричишь, как понятно.

— Может быть я вспомню: как вас зовут?

— Имя — ничто, — сказал прохожий. — Важен точный адрес и фамилия, и то мало: надо предъявить документ.

Он вынул паспорт, и Сарториус прочел в нем фамилию: Комягин, пенсионер, и адрес. Человек ему был неизвестен.

— Мы с вами чужие, — произнес Комягин, видя разочарование Сарториуса. — Вам показалось только. Это часто что-то кажется серьезное, а потом — ничего. Ну, вы стойте здесь, я пойду узнаю про гроб.

— У вас жена умерла? — спросил Сарториус.

— Жива. Она сама ушла. Гроб я гадаю для себя.

— Но зачем?

— Как зачем? — необходимо. Я хочу узнать весь маршрут покойника: где брать разрешение для открытия могилы, какие нужны факты и документы, как заказывается гроб, потом транспорт, погребение и чем завершается в итоге баланс жизни: где и по какой формальности производится окончательное исключение человека из состава граждан. Мне хочется заранее пройти по всему маршруту — от жизни до полного забвения, до бесследной ликвидации любого существа. Говорят, что этот маршрут труден по форме. И верно, дорогой товарищ: умирать не надо, граждане нужны... А вы видите, что делается на площади: граждане мечутся, нормально ходить не приучаются. Сколько раз в свою бытность товарищ Луначарский проповедовал ритмическое движение масс, а теперь приходится их штрафовать. Празника жизни! Да здравствует героическая милиция республики!..

Комягин ушел на Доминиковский переулок. Кроме Сарториуса, его заслушались еще четверо посторонних и один бродячий ребенок. Этот ребенок, лет двенадцати, пошел скорой походкой вслед за Комягиным и заявил ему созревшим голосом:

— Гражданин, ты все равно умирать идешь, отдай мне домашние вещи — я им ножки приделаю.

— Ладно, — сказал Комягин. — Пойдем со мною, ты унаследуешь мою утварь, а свою часть жизни я возьму с собою дальше. Прощай моя жизнь — ты прошла в организационных наслаждениях.

— Ты добрый, что умираешь, — благодушно произнес разумный ребенок. — А мне для карьеры средства нужны...

Душа Сарториуса испытывала страсть любопытства. Он стоял с сознанием неизбежной бедности отдельного человеческого сердца; давно удивленный зрелищем живых и разнообразных людей, он хотел жить жизнью чужой и себе не присущей.

Возвращаться ему было необязательно — жилище его пусто, трест ликвидирован, родные сослуживцы поступили в обжитые места других учреждений, Москва Честнова пропадала где-то в пространстве этого города и человечества, — от этих обстоятельств Сарториусу становилось веселее. Основная обязанность жизни — забота о личной судьбе, ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела — исчезла, быть непрерывным, одинаковым человеком он не мог, в нем наступала тоска.

Сарториус сделал движение рукой — по универсальной теории мира выходило, что он совершил электромагнитное колебание, которое взволнует даже самую дальнюю звезду. Он улыбнулся над таким жалобным и бедным представлением о великом свете. Нет, мир лучше и таинственней: ни движение руки, ни работа человеческого сердца не беспокоят звезд, иначе все давно бы распалось от содрогания этих пустяков.

Сарториус пошел сквозь встречный народ по площади, увидел одну работницу метростроя в рабочих штанах — такую же по фигуре, как Москва Честнова, и глаза его заболели от воспоминанья любви; жить нельзя неизменным чувством. Он попробовал уговорить метростроевку на предварительную дружбу, но она засмеялась и поспешила от него, грязная и красивая.

Сарториус вытер свои слепнувшие глаза, потом хотел уговорить свое сердце,

заболевшее по Москве и по всем прочим существам, но увидел, что размышление его не действует. Но от неуважения к себе страдание его было нетрудным.

Бродя по городу далее, он часто замечал счастливые, печальные или загадочные лица, и выбирал, кем ему стать. Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в чужой голове, шагал несвоей походкой и жадно радовался пустым и готовым сердцем. Молодость туловища превращалась в вождение ума Сарториуса; улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Сарториус поехал на Крестовский рынок, чтобы купить нужное для своего будущего существования. Он сильно заботился о своей новой жизни.

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно прицелились к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми; в толпе торговали еще и такими вещами, которые потеряли свой смысл жизни, — вроде капотов с каких-то чрезвычайных женщин, поповских ряс, украшенных чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентльменов, брелоков на брюшную цепочку и прочего, — но шли среди человечества как символы жесткого качественного расчета. Кроме того, много продавалось носильных вещей недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкого детского белья, заготовленного для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погрешкой.

В специальном ряду продавались оригинальные портреты в красках, художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами уездных городов; каждый из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью. Позади фигур иногда виднелась церковь в ландшафте /природе/ и росли дубы счастливого лета, всегда минувшего.

Сарториус долго стоял перед этими портретами прошлых людей. Теперь их намагниченными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое краткое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело купца 2-й гильдии города Зарайска, Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было... Помяни мя господи во царствии твоём» — «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой... Нам плакать и страдать, а ей на господа взирать...»

Вместо бога, сейчас вспомнил умерших Сарториус и содрогнулся от ужаса жить среди них, — в том времени, когда не сводили лесов, убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и плакал по вечерам при керосиновой лампе или в святящий полдень лета — в обширной, шумящей природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука. Она не Москва Честнова, она Ксения Иннокентьевна Смирнова, ее больше нет и не будет.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, вилки, части от какой-то балюстрады, гирию в двенадцать пудов, сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, сальниками, согретыми в чугунах под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось и более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они

хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калошу и убегали в дёбри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

Среди рынка возвышалось несколько деревянных будок для милиционеров. Милиционеры смотрели оттуда вниз, в это мелкое море бушующего ограниченного империализма, где трудящихся заменили, но были трущися.

Дешевая пища с заметным шумом переваривалась в людях, поэтому каждый себя чувствовал с тягостью, точно был сложным предприятием, и нечистый воздух восходил отсюда вверх, как дым над Донбассом.

В глубине базара часто раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался на помощь, и вблизи бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в мочевую лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего лица, заливаемого кровью с висков, — он спешно съедал сухую похищенную булку, мучаясь сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, зато часто наедаясь.

Пожилой мужчина демобилизованного вида стоял на одном месте неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — сказал после некоторой бдительности наблюдения Сарториуса тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей первая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка.

Тот же торговец предложил Сарториусу и паспорт, если он требуется, но Сарториус приобрел себе паспорт позже — у человека, продававшего червей для рыбной ловли. В паспорте был записан уроженец города Нового Оскола Иван Степанович Груняхин, 31 года, работник прилавка, командир взвода в запасе. Сарториус заплатил за документ всего шестьдесят пять рублей и вдобавок отдал свой паспорт двадцатисемилетнего человека, с высшим образованием, известного в широких кругах своей специальностью.

С базара Груняхин не знал куда идти. Он доехал до большой площади и сел на железную перекладину лестницы, ведущей в будку регулирования уличного движения. Светофоры меняли свой свет, неслись люди в машинах, грузовики везли балки и бревна, милиционер двигал контакт и напрягал внимание, — многие неизвестные люди стояли по сторонам бегущего движения и забывали свою одинокую жизнь в наблюдении чужой. Груняхину казалось, что глаза его больше не болят и Москва Честнова не потребует ему никогда, ибо много хороших женщин ходило здесь через дорогу, но сердце его ни к кому не лежало.

К вечеру он поступил в орс одного незначительного завода в Сокольниках, делавшего какое-то подсобное оборудование, и новому работнику дали место в общежитии, поскольку человек не имел ничего, кроме своего небольшого одетого тела с круглым и по виду неумным лицом наверху.

Через несколько дней Груняхин уже вошел в страсть своей работы: он ведал заготовкой порций хлеба к обеду, нормировкой овощей в котел и рассчитывал мясо, чтобы каждому досталось по справедливому куску. Ему нравилось кормить людей; он работал с честью и усердием, кухонные весы его блестяли чистотой и точностью, как дизель.

По вечерам, томимый одиночеством и свободой, Груняхин скитался по бульварам до последних трамваев. Когда же наступал второй час ночи и вагоны на большой скорости спешили в парк, Иван Груняхин садился в их пустынные

помещения и оглядывал их с интересом, точно тысячи людей, бывшие здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустых местах. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела здесь одна и дергала бечеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут.

Став вторым человеком своей жизни, Груняхин подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато она начинала чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Груняхина и он ее обнял на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура!».

С тех пор он изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами, — иногда удачно, но чаще всего нет. Однако его все более занимала не такая частная, текущая бесследно любовь, а неизвестный человек Груняхин, судьба которого поглощала его.

Работая далее в орсе, он постепенно увлекся своим трудом и окружением и начал даже упиваться жизнью. Он приобрел себе шкаф, наполнил его книгами и стал изучать мировую философию, наслаждаясь всеобщей мыслью и тем, что добро в мире неизбежно, даже скрыться от него никому нельзя. Законы золотого правила механики и золотого сечения по большому кругу действовали всюду и постоянно. Выходило, что благодаря лишь действию одной природы маленькая работа всегда даст большие успехи и каждому достанется кусок из золотого сечения — самый громадный и сытный. Следовательно, не столько труд, но ухищрение, уместность и душа, готовая на упоение счастьем, определяли судьбу человека. Еще Архимед и александриец Герон ликовали по поводу золотых правил науки, которые обещали широкое блаженство человечеству: ведь одним граммом на неравноплечном рычаге можно поднять тонну, даже целый земной шар, как рассчитывал Архимед. Луначарский же предполагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым.

Утешенный чтением, Иван Груняхин работал хорошо на производстве. В течение одного месяца он, по указанию начальника орса, целиком изменил унылое убранство столовой на роскошное и влекущее. Груняхин заключил на год договор с трестом зеленого строительства, а также с Мосмебелью и другими организациями. Он поставил сменные горшки с цветами и постелил ковровые дорожки; затем усилил циркуляцию воздуха и сам починил электромотор для второго, испорченного вентилятора, с трудом вспомнив электротехнику и более не интересуясь ею. На стенах столовой и сборного цеха Груняхин повесил крупные картины с изображением эпизодов древнеисторической жизни: падение Трои, поход аргонавтов, смерть Александра Македонского, — и директор завода похвалил его за вкус.

— Нам нужно, чтоб было загадочно и хорошо, как будто несбыточно, — сказал директор Груняхину. — Но все это пустяки по сравнению с нашей реальностью! Однако — пусть висит: история раньше была бедна и спрашивать с нее много нечего.

Под влиянием общего приличия и благополучия Груняхин застыдился и начал приобретать в свое личное пользование нижнее белье, ботинки, фрукты и стал уже мечтать о любящей, единой жене. Иногда он вспоминал о прошлом бедном тресте весов и гирь, когда он еще был Сарториусом, — там было грустно и тепло от своего сердца и жены не требовалось; но теперь, став другим человеком, Груняхину нужно было хотя бы искусственное согревание семьей и женщиной.

В цехе новых конструкций работал старшим монтером Константин Арабов, человек лет тридцати, член общества Динамо, превосходный собою, знавший наизусть Пушкина. Его встречал несколько раз дежурный инженер Иван Степанович Груняхин, но не обращал внимания, — как часто бывает, что люди, участь которых войдет в ваше сердце, долго живут незаметно... Арабов увлекся одной бригадиршей, французской комсомолкой Катей Бессонэ-Фавор, забавной и разумной девушкой, и ушел с нею жить в любви навсегда, оставив жену с двумя сыновьями — одному было одиннадцать лет, а другому восемь. Жена Арабова, еще молодая, но грустная, приходила некоторое время на завод к концу работы, чтобы поглядеть на своего мужа, от которого ее сердце, должно быть,

не могло сразу отвыкнуть. Потом она перестала ходить; чувство ее любви пришло в изнеможение и прекратилось. Вскоре Грунякин узнал от Кати Бессонэ, что одиннадцатилетний сын Арабова застрелился из оружия соседа по квартире и оставил записку как большой человек. Катя, горюя, говорила в слезах, что где-то в комнате засучал и самостоятельно умер ребенок — в то время, когда она упивалась счастьем с его отцом. Грунякин вздрогнул от испуга и удивления перед такой смертью, точно слабый вопль раздался перед ним среди всеобщего молчания. Он пожалел, что не знал раньше того ребенка, упустив из виду это существо.

Катя Бессонэ, мучимая своим сознанием, отвергла от себя Арабова, который хотел успокоить свое отчаяние в еще более страстной любви с нею, как это обычно бывает. Но и одинокой она быть не могла, поэтому Бессонэ пошла в кино с Грунякиным, а оттуда они вместе направились к бывшей жене Арабова. Катя знала, что похороны умершего состоялись сегодня утром, и хотела помочь матери в ее вечной разлуке с самым верным для нее маленьким человеком.

Жена Арабова встретила их равнодушно. Она была чисто и хорошо одета, точно убрана к скромному торжеству, спокойна и не плакала. Катю Бессонэ она конечно знала, а Грунякина только видела однажды на заводе, и не понимала, зачем он здесь.

Катя обняла ее сама первая, а жена Арабова стояла с опущенными руками и ничем ей не ответила, ей было теперь все равно, что с нею случается. Она механически завела примус и скипятила чай чужим для нее гостям. Грунякину понравилась эта женщина, с лицом некрасивым и нелепым до жалости; нос ее был велик и тонок, губы серые и глаза бесцветные, умолкшие от одинокого труда по домашнему хозяйству; тело ее, несмотря на небольшие годы, уже засушилось и напоминало фигуру мужчины, а опавшие груди висели точно без дела.

Напившись чаю, гости собрались уходить. Свидание не привело к утешению, и у самой Кати Бессонэ осталось внутри раздражение от бессилия своего слишком чувствующего, но бездеятельного сердца. Но при выходе хозяйка внезапно обернулась в пустоту своей комнаты. Грунякин внезапно оглянулся туда же, и ему показалось, что все предметы стали вдруг подобными, искажениями какого-то знакомого, общего человека, может быть — его самого, все они, значит, обратили свое внимание на присутствующих людей и угрюмо усмехнулись на всех своим неясным лицом и положением. Бывшая жена Арабова наверно увидела то же самое, потому что она вдруг заплакала от своего вечного горя и отвернулась от стыда перед посторонними. Она инстинктивно знала, что помощи от других быть не может и лучше спрятаться одной.

Огорчившись такой жизнью, Грунякин вышел на улицу с Бессонэ-Фавор и сказал ей:

— Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила объегорить целую природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами, или из вас — как это сказать? — кое-что, какое-то бесслатное золото... Он его ведь получил немного...

— Немного — да, — согласилась Бессонэ.

— Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка...

Катя Бессонэ нахмурилась в недоумении.

— Не живите никогда по золотому правилу, — сказал ей еще Грунякин. — Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет. Ну до свидания, вон ваш автобус идет.

— Подождите, — попросила Катя Бессонэ.

— Нет, мне некогда, — ответил Грунякин. — Мне неинтересно, я не люблю, когда упиваются сами собой, а потом не знают, куда деваться, и ходят со мной. Надо жить аккуратно.

Бессонэ-Фавор неожиданно засмеялась.

— Ну, идите, идите, — сказала она. — Чего вы от меня требуете, как будто я сама себя делала. Я не нарочно такая, я нечаянно. Ну я больше не буду, вы простите...

Грунякин возвратился в комнату жены Арабова. Она встретила его с прежним равнодушием, а он, перейдя порог, предложил ей выйти за него замуж,

— больше предлагать было нечего. Женщина побледнела, словно в ней сразу собралась болезнь, и не ответила. Иван Степанович остался сидеть в комнате, пока не наступила поздняя ночь и движение на улице прекратилось. Тогда он поневоле заснул, а жена Арабова постелила ему место на коротком диване и велела лечь как следует.

Утром, как обычно, Груняхин пошел на работу, но вечером возвратился. Матрена Филипповна Чебуркова (фамилию мужа Арабова она перестала носить после его измены) не привечала нового человека и не выгоняла его. Он ей дал деньги — положил их на стол, она же автоматически скипятила ему чай и согрела что-то поесть из остатков своей еды. Через несколько дней вечером пришел дворник и велел Матрене Филипповне прописывать нового жильца — пусть что хочет делает: прогоняет его или выходит за него замуж, а так жить никто не позволит. Дворник был из некогда раскулаченных и поэтому держался за закон со всей точностью: он сам испытал и пережил государственную силу.

— Ты гляди, гражданка Чебуркова, как бы тебе не проштрафиться: казна убытка не любит.

— Ну уж ладно... Раньше небось не штрафовали, а как стала безмужняя, ослабшая...

— А ты прописывай его, — указал дворник на Груняхина, — не теряй женскую норму, а то и площадь упустишь и сама будешь как Пышка в кино, только худощавая.

— Завтра пропишешь, успеешь, — сказала Матрена Филипповна. — Теперь бабы думают не сразу.

— Видать! — произнес дворник и ушел. — Прежде, было, совсем не думали, а жили без глупости, как умные, — сказал он за дверь.

Через два дня Груняхин прописался временным жильцом, но Чебуркова велела ему переписаться на постоянную жизнь.

— Кто поверит, чтоб в одной комнате с кухней мужик с бабой врозь жили! — раздражительно заявила она. — А я тебе не девка, я женщина, — вот завтрашний день в загс со мной пойдешь, не живая буду! А то ступай, откуда пришел!

Все прошло формально и скоро, и жизнь Груняхина смирилась в чужой комнате. Он работал, Матрена Филипповна хозяйствовала, выражала разное недовольство и редко вспоминала сына, — скорее всего лишь затем, чтобы после слез наступило то облегчение, которое равно наслаждению сердца; другое счастье она испытывать не могла или ей не встречалось случая. Втайне для нее самой смерть сына стала постепенно причиной тихого счастья ее жизни — после кратких слез, в медленных подробных воспоминаниях; и она призывала Ивана Степановича участвовать в ее бедном чувстве, где однако было согревающее тепло темного упоения собственной скорбью и все терпение ее души. В такое время она всегда становилась более доброй и кроткой, чем требовал ее характер. Груняхин даже любил, когда Матрена Филипповна вдруг начинала плакать о своем погибшем ребенке, — тогда и Ивану Степановичу перепадала от жены какая-нибудь нежность или льгота.

Обыкновенно же Чебуркова ходить мужу никуда не позволяла, кроме работы, и следила по часам — вовремя ли он возвращается, а в собрания она не верила и начинала плакать и браниться, что второй муж тоже подлец и изменяет ей. Если муж все же запаздывал, Матрена Филипповна, отворив ему дверь, начинала его бить любым предметом — старым валенком, вешалкой вместе с одеждой, самоварной трубой от бывшего когда-то самовара, башмаком со своей ноги и другой внезапной вещью, — лишь бы изжить собственное раздраженье и несчастье. В эти минуты Иван Степанович с удивлением смотрел на Матрену Филипповну, а она жалостно плакала, — оттого, что одно горе ее превратилось в другое, но не исчезло совсем. Груняхин, видевший уже многую жизнь, особо не мучился от такого обращения.

Второй сын Матрены Филипповны глядел на ссору матери с новым отцом равнодушно, так как мать всегда одолевала отца. Но когда Иван Степанович схватил однажды руки жены, потому что она стала драть ногтями его горло, то мальчик сделал предупреждение:

— Товарищ Груняхин, не бей маму! А то я тебе живот шилом проткну, сукин сын!.. Не твой дом — и ты не задавайся!

Груняхин сразу опомнился: он забылся лишь нечаянно, и то от сильной

боли. Перед ним в жарком поту отчаяния, в усталости, с усердием всего своего сердца волновалась Матрена Филипповна, — она защищала мужа от разврата и обесценивала его семейную верность. Иван Степанович слушал, терпел и учился.

По ночам он думал рядом с женой, что все это так и быть должно, иначе его жадное, легкое сердце быстро износилось и погибло бы в бесплодной привязанности к разным женщинам и друзьям, в опасной готовности броситься в гуцу всей роскоши, какая происходит на земле.

Утром второй сын Матрены Филипповны — тоже Семен, как раньше назывался Груняхин, — сказал Ивану Степановичу:

— Что ж ты спишь с моей матерью? Ты думаешь, мне приятно глядеть на вас? Приятно или нет?

Груняхин оробел от вопроса. Жены не было, она ушла на базар за пищей. Наступал выходной день, когда люди живут домашними чувствами, общими размышлениями и водят детей в кино. Иван Степанович тоже пошел в кино с Семеном поглядеть советскую комедию. Семен остался доволен, хотя картину покритиковал — для него были мелки такие проблемы, он сам пережил больше. Дома Матрена Филипповна сидела перед портретом прошлого мужа и плакала о нем, а когда увидела Ивана Степановича, то застыдилась и перестала; большей любви Груняхину было не надо, стеснение Матрены Филипповны он понял, как высшую нежность и кроткое доверие к нему. Своего мучения от этой женщины он не считал, потому что человек еще не научился мужеству непрерывного счастья — только учится.

Ночью, когда жена и сын уснули, Иван Степанович стоял над лицом Матрены Филипповны и наблюдал, как она вся беспомощна, как жалобно было сжато ее лицо в тоскливой усталости и глаза были закрыты как добрые, точно в ней, когда она лежала без сознания, покоился древний ангел. Если бы все человечество лежало спящим, то по лицу его нельзя было бы узнать его настоящего характера и можно было бы обмануться.

«...НА КРАЮ СОБСТВЕННОГО БЕЗМОЛВИЯ»

Роман Андрея Платонова «Счастливая Москва» восстановлен по рукописи, хранящейся в его домашнем архиве. Роман написан карандашом, на серой бумаге, на листах, вырванных из школьных тетрадей и амбарных книг (чаще всего на обеих сторонах), на свободных страницах рукописей его ранних стихов...

1

Почти все записные книжки А.Платонова 1932—1936 годов сохранили записи, относящиеся к роману «Счастливая Москва». В первых набросках к комедии «14 Красных избушек» (это 1932 год) уже угадываются некоторые мотивы романа. Комедия должна была называться «О Хозе и Суените. О их любви»¹, но замыслу этому не суждено было осуществиться. Комедия из московской жизни, где действуют советские инженеры и буржуазные спецы, а также новая Босталоева — Суенита, в процессе работы превратится в трагедию из народной жизни, где в бреду ударничества и голода совершается акт самозаклания во имя грядущего счастья детей и где «Бога нет даже в воспоминании». Чем настойчивее требовал Платонов: «Голод развить всюду»², тем саркастичней прорисовывались в первом, многократно переписываемом акте пьесы советские писатели: «рыцарь молчания», «великодержавный» романист Уборняк, советский Мордовцев Жовов и автор «рассказов из турецкой жизни» Фушенко. Этих героев, в которых легко угадываются реальные фигуры литературной жизни 30-х годов — попутчики Б.Пильняк, А.Толстой, П.Павленко, объединяет, по мысли Платонова, ответственность за поддержку «реконструкции мира» и «смены культурной эпохи»³. В ходе работы над пьесой «14 Красных избушек» созрел замысел романа «Счастливая Москва».

«Есть такая версия. — записывает Платонов осенью 1932 года. — Новый мир реально существует, поскольку есть поколение искренне думающих и действующих

¹ ЦГАЛИ, ф.2124, оп.1, ед.хр.90, л.204.

² Там же, л.172. Запись Платонова на полях рукописи, четвертый акт пьесы.

³ Полонский В., «Концы и начала» («Новый мир», 1931, № 1, стр. 128—134).

в плане ортодоксии, в плане оживленного «плаката», — но он локален, этот мир, он местный, как географическая страна наряду с другими странами, другими мирами. Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет, и быть не может.

Но живые люди, составляющие этот новый, принципиально новый и серьезный мир, уже есть и надо работать среди них и для них»⁴.

Реальность этого «нового мира» подтверждала и советская литература. В 1932 году Л.Леонов, писатель обостренного исторического чувства, отмечал в статье «Ворота новой эры открыты»: «...новый человек твердо пришел в мир... Позади его детство, проведенное в коготном сумраке домен, в темных и дымных цехах, в черных глубинах шахт. Впереди — хаотическая и прекрасная планета. Она нравится ему, она станет его родиной в космосе; он будет жить на ней, перестраивать ее по своей воле и потребностям, и уже никто не помешает ему в этом»⁵.

Это поколение по-своему предвидел А.Луначарский, автор известной книги «Религия и социализм» (1908), достаточно популярной в кругу пролетарских писателей. В 1919 году Луначарский отметит, что идеи социализма как «последней религии», религии «последней надежды», будут играть «немаловажную роль, когда от разрушения мы перейдем к строительству, когда начнем закладывать первый этаж пролетарской культуры»⁶. В те годы в далеком Воронеже Платонов отзовется на идеи «великого переворота». В статье «Луначарский» он обозначит своеобразную троицу «пролетарской культуры»: «дух революции», «революционер-артист» Троцкий, «русский ясновидящий мужик» Ленин и Луначарский — «поэт революции» (он же и философ, прозревший в «зверском» существе человека «могучего бога» и нашедший «оправдание труда во всей исторической жизни человека», и историк, увидевший «тигль мудрости господ и торжество засмеявшихся рабов», а главное — «вождь» молодого поколения в его борьбе за господство новой культуры — «ясного солнца нашего существа — сознания над страстью...»⁷).

К началу 30-х годов Платонов вернет свой «билет на вход» в царство пролетарской гармонии: в «Сокровенном человеке» — «красному Георгию», «речистому герою» Троцкому, в «Чевенгуре» — «ясновидящему мужику, сумевшему просто и прямо дойти до сердца другого человека», Ленину. Жесткий полемический выпад Платонова в статье «Пушкин — наш товарищ» против трактовки Луначарским «Медного всадника», безусловно, не локален. «...суждение Луначарского объясняет его собственное мировоззрение, но не Пушкина», — писал Платонов. Развернувшаяся в 30-е годы культурная революция начала выстраивать «первый этаж пролетарской культуры». Идеям Луначарского о воспитании нового человека, смыслом жизни которого становится стремление «принести себя в жертву общим задачам, умереть за эти задачи»⁸, соответствовала и его эстетическая программа, утверждающая «высокое право прогрессивной общественности» отвергнуть «частные претензии» пушкинского вечного Евгения. Поколение, которому Луначарский объявил о конце пушкинской, толстовской и чеховской темы и о бедном Евгении как символе «анархического индивидуализма», это поколение для Платонова — дети «Чевенгура» и «Котлована». Новое поколение уже не мучит рефлексия их отцов, и истерзанный материнский лик мира не терзает их души. Для Платонова же бедный Евгений — «великий этический образ».

И в замысле нового платоновского романа о «живых людях» первого социалистического поколения — «работать среди них и для них» — уже ощутимо тяготение к жанру, который позволит увидеть новый мир сквозь призму «всемирного», «универсально-исторического», позволит проложить путь из настоящего в вечность. Не случайно он задумал именно роман.

Мысли о романе, о форме романа, пожалуй, самые частые в записных книжках писателя начала 30-х годов. Записи свидетельствуют о том, что в эти годы Платонов напряженно работает над неизвестным нам романом о Стратилате. Многообразны наброски сюжета, уточняются позиции автора и героя («Автор — одно, герои — другое», «Мое молодое (смешное по форме) — остается главным по содержанию навсегда, надолго»), развенчивается постепенно конфликт новаторов и консерваторов как основа производственного романа: «История будет не та, что ожидают и делают».

Эта оценка Платонова важна, если учесть, что в эти годы в романах о «втором дне творения» с какой-то страстной последовательностью уничтожался «круг традиционных тем». Как утверждал в 1932 году автор романа «Время, вперед!», «новое общество не может существовать на старых морально-этических основах»⁹. Одним из свидетельств «смены культурной эпохи» стал роман. По меткому замечанию критика А.Лежнева, в романах 30-х годов практически распался, «потерял свой смысл» любовный треугольник русского классического романа, где «Она» является основным звеном:

⁴ Архив М.А.Платоновой. Записные книжки.

⁵ «Писатели XVII партсъезду». М. 1932, стр. 132.

⁶ Луначарский А. Великий переворот. Пбг. 1919, стр. 44.

⁷ Платонов А., «Луначарский» («Красная деревня», 22 марта 1919 года).

⁸ Луначарский А. Воспитание нового человека. Л. 1928, стр. 38.

⁹ Катаев В., «Рапорт семнадцатому» («Писатели XVII партсъезду», стр. 107).

«...нет и самого треугольника, так как нет трех сторон, которые были бы в одинаковой степени важны и необходимы... это роман не треугольника, а „пары сил“, противоположных по знаку и заставляющих вращать „колесо“ произведения»¹⁰.

Интересны первые наброски Платонова к «Счастливой Москве». Сохранились четыре варианта экспозиции романа. В первом наброске Москва Января — инженер-механик в «числе других способных механиков» — испытывает шариковые подшипники в Институте Высоких Скоростей. Этот сюжет обрывается прямо на полуфразе, и делается попытка прописать предысторию героини, выросшей без матери, с отцом-механиком, философом бездомья, который и дает девочке имя в честь Москвы — «города чудного», «очага центрального», «очага родины».

В следующем наброске Москва — круглая сирота, «не помнящая родства», инженер-техник — отправляется на работу в провинцию по маршруту, уже пройденному героем повести «Ювенильное море». В записной книжке 1933 года появляются чертежи раскрывающегося парашюта, этого знака молодости и победности эпохи 30-х годов. Здесь же о своей героине Платонов пишет:

Она, Москва, жила независимо, не обращая внимания на течение, на службу, на судьбу, на преследования мира, на всю чепуху, на все, как некое растение, живое внутренним теплом — под ветром, бурей, дождем и снегом. Оно — отделилось ради соединения с будущим.

А чуть ниже в записях — полемика с утверждавшимся тогда в литературе новым героем:

И счастливую душу, железную душу... надо разоблачить, — и в ничтожестве есть душа — мертвых нет нигде.

В противоположность этому жестко рациональному типу Москва подвижна и непредсказуема:

Композиция Москвы — то счастливая душа, то несчастная, то яркая, то печальная, но везде, в каждом человеке есть свой греющий очажок, иначе он, чел<овек>, не прожил бы и минуты.

В этих первых записях к роману по-разному варьируется и тема памяти:

Для Москвы И каждый день лишь для того и повторяется, чтобы люди вспомнили забытое, необходимое, а люди думают, что это лишь время идет.

Инстинкт «человечности и пр.» крайне непрочен, он исторически приобретен, он может быстро заместиться «основным» инстинктом животного эгоизма.

Платонов убирает эти рассуждения, как убирал их в «Котловане». См., например, сокращенное: «В уме же Вощева происходили лишь воспоминания, ничего не известного-не зарождалось в нем, и Вощев понял, что смысл жизни надо не выдумать, а вспомнить»¹¹. Герои нового поколения не оставят, как Саша Дванов, палочку на могиле своих родителей, их сиротство всеобъемлюще. Титанизм, жизнеотрицание, фантастичность этих новых пассонариев еще более иллюзорны и разрушительны, чем в «Чевенгуре». Москва — символ этой культуры пустот и химер, символ мира без истории, и в то же время эта героиня становится единственным истинным центром романа — не только советской Джокондой, но и советской Лолитой.

Первые шесть глав, очевидно, были написаны Платоновым в 1933 году. Далее работа над романом прерывается. Платонов отодвигает срок представления романа в издательство «Художественная литература» сначала на январь, а затем на октябрь 1934 года¹². Вторую главу романа под названием «Любовь к дальнему» Платонов публикует в 1934 году как самостоятельный рассказ. В справке для группкома московского товарищества писателей от 3 января 1934 года Платонов отмечает, что заканчивает роман «Счастливая Москва»¹³. Возможно, работа над романом была отложена в связи с поездкой Платонова в Туркмению в марте 1934 года вместе с писательской группой¹⁴. Для Платонова это был прорыв изоляции после тотальной критики 1931 — 1932 годов, которая была вызвана публикацией «Впрок». Не будем также забывать, что в это время Платонов работает старшим инженером-конструктором в Республиканском тресте по производству и ремонту мер и весов («Росметровес») и достаточно много и плодотворно изобретает: «полуметро» (это радикальное

¹⁰ Лежнев А. Об искусстве. М. 1936, стр. 130 — 132.

¹¹ ИРЛИ, ф.780, ед.хр.7, л.18(10).

¹² ЦГАЛИ, ф.613, оп.1, ед.хр.410, л.113, 117, 118.

¹³ Там же, ф.1651, оп.1, ед.хр.1.

¹⁴ «Писатели едут в Туркменистан» («Литературная газета», 24 марта 1934 года).

улучшение трамвайного сообщения в Москве), паровую турбину внутреннего паробразования для отопления нефтью, термоэлектрическую пилу, тормозное устройство для паровоза, разные типы конвейерных весов. Этим его изобретения не исчерпываются. Туркмения соединяется в художественном мире Платонова с большими вопросами «Счастливой Москвы». Из написанных первых глав романа выйдет в путь герой повести «Джан» Назар Чагатаев: с «горы своего ума», из мира «отца Сталина» он спустится на «адово дно Сары-Камыша», где находится забытые всем миром его мать и народ джан, единственное богатство которых — душа.

Наброски к рассказу «Такыр» и повести «Джан» говорят о том, что главная героиня романа продолжает занимать воображение Платонова:

Сама Москва и есть девочка из «народонаселения», одинокая, пробродившая бездомный свет. («Народонаселение» — это набросок 1934 года к роману «Отец-мать» — о детстве сирот. В 1936 году под этим названием будет написан сценарий.)

Для Москвы: — Она совсем плоха, но героически меняет себя и все (ибо откуда же хорошее, высшее, как не из дела, не из напряжения себя, не из мученичества), а Сартор<иус> ищет какого-то пассивного настоящего, кем-то (кем же?) созданного счастья, вообще «истины».

В записных книжках этого времени резко обнажаются Платоновым и тупики технократической культуры. Инженеру Сарториусу Платонов отдаст многие реалии своей работы в «Росметровесе». «Узник» — это новое обозначение подобного героя — приходит к Платонову в Туркмении. Сарториус — «это Новый Мировой тип! Новое состояние жизни» и одновременно он — «узник» парадоксального мира, его иллюзий и идей:

Общее и важнейшее то (для Узника), что каждый живет не своей душой, а чужой, воображением (один — Лермонтов, другой — Петр I, третий — Бог, 4 — etc.). Души нет «ни у кого». Кроме Москвы.

Для Москвы. Сарт<ориус>: «Нельзя быть одним и тем же человеком, слишком горе большое настает, слишком и т.д.».

Неподвижным быть нельзя, но и двигаться нестерпимо. Плач о камне. Вечный покой: это старое, давно не растущее дерево над каменной плитой могилы, это уезд, потерявший все.

Кто остановился, тот узник самого себя.

В восточных записях Платонова иронично и в то же время поразительно сочувственно зазвучит тема современной Москвы и ее героев, заложников жесткой системы дедуктивно-прагматического мышления, выросших вне мира «животных и растений»:

Человечество — без облагораживания его животными и растениями — погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве.

В сущности — все «социально-сознательное» стремится лишь к одному — сесть в поезд и уехать в Москву. Кочевые туркмены не знают «Москвы» в этом духе.

Первый раз растение производится из семени отца-матери, второй раз оно производится из почвы, состоящей из праха отца-матери. Прах отца-матери — непрерывное основание жизни сына. Мы поднимаемся на прахе своих отцов.

В туркменских записях Платонов набрасывает и два возможных финала романа «Счастливая Москва». Первый — своеобразный сколок с финальной сцены самоубийства Шаши Дванова, однако акцент ставится несколько иной:

Конец — или близь того «Узника»: он, узник, казнит самого себя, — самоубийство или — лучше — вроде, но не с<амоубийст>во с медленным страдальческим концом, себя казнит, как сволочь, стервеца, разоблачившего будто бы человечество, — уничтожение гниды земного шара.

Второй финал — встреча слепого Сарториуса и Москвы, «многодетной, но непобедимой».

Туркмения 1934 — 1935 годов даст «Такыр», «Джан», «О первой социалистической трагедии», «Образ будущего человека», сценарий «Карагез». Но только рассказ «Такыр» увидит свет при жизни

Платонова. Борьба за издание «Джан» окажется безрезультатной. Вызовет резкое неприятие у «руководителей» литературы статья «О первой социалистической трагедии»¹⁵

Отвечая в апреле 1936 года на анкету журнала «Советское студенчество» «Почему вы не пишете о вузовцах», Платонов среди своих «сочинений» о «молодых рабочих людях, получающих или только что получивших высшее образование», назовет опять роман «Счастливая Москва», отметив, что произведение «еще не закончено»¹⁶. Сюжетные линии романа мелькают и в записных книжках Платонова января и марта 1936 года, посвященных поездкам писателя к орденосцам железной дороги, ставшим прототипами героев рассказов «Бессмертие» и «Среди животных и растений» (в январе 1936 года Платонов был включен в авторский коллектив по созданию книги о героях «железнодорожной державы»). В этих записях определяются новые сюжетные линии романа, финал по-своему уплывал от Платонова, автора не только открытых, но и достаточно жестких финалов:

М.б. Сарториус (лат.) в конце превращается в тип, в характер самой Москвы и овладевает ее душой бесплатно, без усилий, которые затретила Москва на свое великое образование. В конце должно остаться великое напряжение, сюжетный потенциал — столь же резкий, как и в начале романа. Сюжет не должен проходить в конце, кончатся.

О любви изобретательной, ежедневной, ловкой, «обманывающей», «чарующей», нечеловечески терпеливой, искусной, победившей и утолившей даже равнодушную жену.

Еще раз и еще раз!..

Счастливая Москва.

Был на войне империалистической и гражданской — и вернулся точно таким же, каким ушел, — война как пустяки личной биографии.

Для Счастливой Москвы —

«Как хорошо, что я был в ссылке, в тюрьме — и не мешал происхождению, воспитанию и росту прекрасной юности другого поколения».

Женщины как воздух, они окружают нас, они делают, что делают, выполняя волю пославших их, — они невинны, и нечего ими заниматься.

2

Нити судьбы «Счастливой Москвы» теряются во второй половине 1936 года. Известно только, что в начале года Платонов заключил договор на роман уже с издательством «Советский писатель»¹⁷ Однако в 1937 году вместо планируемого романа здесь выйдет книга рассказов «Река Потудань». Полифоническая и одновременно жесткая поэтика «Счастливой Москвы» породит особый платоновский рассказ 1936 года, где как бы просветляются и проясняются многие мотивы романа о поколении «нового мира» — его муках, тупиках и прозрениях. Зазвучит по-особому тема дома-очага, «матери-отца» в рассказах «Семен», «Глиняный дом в уездном саду». У гроба умершей матери прозревает в «Третьем сыне» один из трех ее сыновей, все они — генерация нового поколения. Не раз всплывут мотивы московского романа в рассказе «Среди животных и растений»: для семьи, живущей на далеком полуострове России, Москва представляется миром роскошной, красивой жизни высших людей, писателей, композиторов и «злodeек»-«парашютисток». Московские мотивы рассказа вызовут резкую критику на обсуждении рассказа Платонова в Союзе писателей в июле 1936 года... Хранит память о некоторых сюжетных узлах «Счастливой Москвы» и рассказ конца 30-х годов «Московская скрипка» («Скрипка»). Но это уже самостоятельная страница в литературной биографии Платонова.

В начале 1937 года Платонов приступает к работе над романом «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 году». 14 октября 1937 года на заседании секретариата СП состоится обсуждение вопроса о второй командировке Платонова «по маршруту Радищева»¹⁸. Роман планировался в журнале «Знамя», затем Платонов заключает договор с издательством «Советский писатель» об издании в 1938 году романа «Путешествие из Ленинграда в Москву» — «Повторение поездки Радищева в обратном направлении и описание этой поездки»¹⁹. 1937 год закончится разыгравшейся вакханалией уничтожительной критики книги «Река Потудань». Год 1938 откроет свою, самостоятельную и трагическую страницу в биографии Платонова: за месяц до планируемой сдачи романа

¹⁵ См.: Аннинский Л., «Откровение и сокровенное» («Литературное обозрение», 1989, № 9, стр. 13 — 14; «Новый мир», 1991, № 1, стр. 147 — 149).

¹⁶ «Советское студенчество», 1936, № 5.

¹⁷ ЦГАЛИ, ф.1234, оп.2, ед.хр.13, л.9.

¹⁸ Там же, ф.631, оп.15, ед.хр.161, л.24 — 25.

¹⁹ Там же, ед.хр.315, л.60.

будет арестован его единственный сын, пятнадцатилетний школьник... В этом водовороте теряются следы «Счастливой Москвы».

Можно предположить, что роман «Счастливая Москва» должен был стать в платоновском «Путешествии» первой — московской — частью. Это подтверждает и папка, в которой хранится рукопись романа «Счастливая Москва». На первой странице романа Платонов зачеркивает его название и вписывает: сначала — «Человек», затем — «Путешествие из Ленинграда» в М«оскву». Перед первой главой рукой Платонова написано: «2 эпиграфа из Радищева». Один эпиграф выписан Платоновым, он в той же папке. В этом хрестоматийном тексте Радищева автор «Счастливой Москвы», думается, вычитывал и дальние истоки жизнеотрицания своих героев:

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала... Уже ли, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блуждающего невинно сокрыла истину навеки? Уже ли сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой встrepетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло».

Судьба второй части «Путешествия» неизвестна. Можно только реконструировать (по записным книжкам и тетрадям) «маршруты» Платонова от Москвы до Ленинграда. Можно также предположить, что по этим маршрутам писатель мог отправить героя «Счастливой Москвы» Сарториуса, открывающего для себя «темную стену» между социальным идеалом времени и жизнью. «Чрезвычайно важно, — записал Платонов в 1942 году в Уфе. — *Путешествие*: Надо идти именно туда, в сверхконкретность, в низкую действительность, откуда все стремятся уйти».

3

Во многих местах рукопись испещрена вопросами, особенно там, где писатель шел по лезвию эстетического риска. Возможно, что сам Платонов со свойственной ему требовательностью к слову что-то бы и сократил: об этом имеются его записи на полях рукописи. Рукопись сохранила и многообразие вариантов авторской стилиевой правки: обычно в рукописи Платонова варианты (а их может быть и два и три) вписываются сверху, а на полях ставится вопрос как знак того, что необходимо вернуться к этим абзацам и строкам. Часть этой правки выверена по авторизованной машинописи сохранившихся пяти глав романа²⁰. Другая часть правки идентифицирована с учетом авторской правки в других его рукописях. В то же время в публикуемом тексте «Счастливой Москвы» мы сочли необходимым сохранить разные варианты. Правленая рукопись романа и записные книжки к нему дают редкую возможность проследить работу писателя, войти в его художественную лабораторию.

ВАРИАНТЫ НАЧАЛА РОМАНА

I

Биение ее сердца происходило настолько ровно, упруго и верно, что, если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать течение событий; щеки ее, не вытерпя давления сердца, надолго, на всю жизнь приобрели цвет темной утомленной крови, глаза ее блестели ясностью счастья, волосы выгорели от зноя над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек заводится внутри человека.

Она шла по тропинке около Ленинградского шоссе. Как обычно, в воздухе летали самолеты, причем идущая девушка рассмотрела среди них несколько новых конструкций и спокойно обрадовалась, не увеличив своего сердцебиения. Она понимала смысл в механизмах, потому что год назад стала инженером-механиком и теперь гул машин в пространстве отдавался в ее теле ощущением сочувствия.

Через полчаса она явилась в Институт Высоких Скоростей. Ее вызвали в числе других способных механиков на испытание воздушно-электрического подшипника, который назначается для несения службы по высшим скоростям, невыносимым даже для самых совершенных типов шариковых подшипников.

В экспериментальном зале Института сидели молодые и старые советские инженеры, с лицами, на которых запечатлелся великий технологический опыт социализма: ранние сухие морщины от температуры вольтовых дуг, жмущийся бледный взор против пустынных ветров Азии, широкие кости терпения, доверчивые глаза, привыкшие к радости успеха, молодые волосы, седеющие в утомленной мысли, в напряжении действующего сознания перед задачами трудного и жесткого природного вещества.

²⁰ Там же, ф.2124, сп.1, ед.хр.82.

Старший конструктор Афраев стоял у экспериментального стола и делал свое сообщение. В то же время он тербил в ключья какие-то мелкие бумажки, растирал сор в карманах, рвал зубами собственные ногти, потрошил подшивку пиджака, — последние годы инженер Афраев жил психически; он построил много деталей нового мира, но сам постепенно расстроился. Глаза его то моргали очень часто, то вовсе нет, и тогда видно было, что в них стоит тяжелый серый сон.

— Для чего нам нужна высокая скорость? — сказал Афраев и быстро почесал себя по глотке, как кролика. — А вот для чего! Скорость, товарищи, есть синтетическое выражение качества, зрелости, могущества, экономичности всей современной техники... Скорость движения самолета, автомобиля, плуга, боевого снаряжения, резца, всякого прибора пролагает дорогу к техническому завоеванию мира. Кто овладеет высшей скоростью, тот вполне способен по-новому организовать мир, тот способен будет обороняться от нападения всего, допустим, единого старого старого света... Но где ключ, где решающая деталь высоких скоростей?.. — В новом подшипнике, товарищи!..

Афраев замер, спеша оторвать себе пуговицу. В залу вошли англичане, немцы, французы и итальянцы, приглашенные видеть эксперимент с подшипником «С-1», который завтра же пойдет на оборудование автомобилей.

Афраев начал психовать до отказа: он сдувал пыль с приборов на столе, но не веря все же в их чистоту, стал их облизывать языком, сгибаясь и тоскуя от невроза. Тогда к нему вышла на помощь та женщина, которая пришла с Ленинградского шоссе.

— Сравним, товарищи, шариковый подшипник и воздушно-электрический С-1, — объявил Афраев. — Действуйте, товарищи Явная!

Инженер Явная включила в обороты шариковый подшипник; его вращение нужно было постепенно довести до 20 тысяч в минуту. Сорок инженеров начали сдерживать шум и дыхание своего тела, чтобы точнее слышать гул механизма.

Большой, публичный циферблат тахометра показывал 10 тысяч оборотов и стрелка прибора пошла дальше; другие циферблаты фиксировали расход энергии, смазки, развивающиеся центробежные усилия и величину трения.

На восемнадцатой тысяче оборотов из подшипника вышло пламя и стало гореть спокойным синим кольцом вокруг вращения шейки подшипника.

— Масло перегрелось и выделяет газ, — определил Афраев. — А газ сгорает себе в воздухе... Ну что ж — пусть горит!

Металл механизма ревел в своем мучении, сопротивляясь скручивающей его остревелой скорости и уже погибая.

— Обороты! — счастливо кричал Афраев, забывая заниматься нервным психозом.

Явная со спокойным наслаждением дала 19-ую тысячу. Тогда подшипник начал петь более родственным человеку тонким голосом, из механизма, как едкая горячая вьюга, вышел туманный прах металла — микроскопические стружки, снесенные силою скорости с рабочей поверхности трения. Облако обволокло весь подшипник, как странная бледная туманность, вышедшая из темноты тесного вещества, вместо небес.

Механизм умолкал, он истлевал в газ, в неясность исходящей теплоты.

— Стоп! — определил Афраев. — Деятнадцать тысяч! Включи, Москва Ивановна, наш воздушно-электрический!

Москва Ивановна (Фраза не закончена. — Н.К.)

Этот набросок характерен для Платонова начала 30-х годов. В его поэтике как бы воскрешается пафос героев раннего Платонова, «сокрушителей адава дна», ученых и инженеров, что с люциферовой страстью ломают течение самих природных законов, стремясь придать им ритм «невозможного». В 30-е годы такое миропонимание получает поддержку. Лозунгом становятся слова Сталина: «Техника в период реконструкции решает все». «Пора покончить, — писал Сталин, — с гнилой установкой невмешательства в производство. Пора усвоить другую, новую, соответствующую нынешнему периоду установку: вмешиваться во все... Нам осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему» (Сталин И. Собрание сочинений, т. 13, стр. 410).

К эстетике и философии «темпов» и их последствий для человека и природы Платонов постоянно возвращался в записных книжках 1931 — 1932 годов:

Вот человек: Такая спешка, такие темпы, такое движение строительства, радости, что человек мечется по коридору своей жизни, ничего не сознавая, живя

в о л п а м я т и, трогая работу, не свершая ее, отмахиваясь от людей, от ума — мчит-ся, мчится, мчится, пропадая где-то пропадом, бесполезный, счастливый, удивительный.

Диалектика устройства природы — это не вечное состояние. Наше состояние: электрон, совпадающий с минимумом пространства, долго пребывая в таком состоянии, «в конце концов» «проест» свое отношение к пространству и вступит в синтез, в качественно другую диалектику. Это будет «конец света», физической эпохи.

О мире, забронированном от действительности своим восторгом, своим самодовольством, своим превосходством, — навсегда; только действительность, приобретающая скорость «л», способная войти в этот блаженный мир. Мир социализма — уединенный мир.

Когда в труд вкладывается вся душа (и душа, тогда уже дело пропащее!) — суть в том, чтобы трудиться, не затрачивая последних внутренностей, — это и есть — в о с т а т к е — «душа» (рассуждение) разных чертей).

И новые силы, новые кадры могут погибнуть, не дождавшись еще, не достроив социализма, но их «кусочки», их горе, их поток чувства войдут в мир будущего. Прелестные молодые лица большевиков, — вы еще не победите; победят ваши младенцы. Революция раскатится далее вас! Привет верующим и умирающим в перенапряжении.

В мае 1934 года Платонов отметил в записной книжке:

Что такое Тамерлан?

Пустыня.

Земля не велика и не обильна — и это жалкое приспособление мы называем культурой!

В конце 1934 года Платонов напишет статью «О первой социалистической трагедии», в центре которой — «сюжет современной исторической трагедии» о человеке, природе и технике.

II

Ей было девятнадцать лет, ее звали Москва, отец ее был Иван, по фамилии Явный. Теперь, когда она выросла и стала большая и хорошая, у нее допытывались все малознакомые люди — почему она Москва Ивановна и еще Явная. Но она не знала, она думала — это нормально, просто так себе, тем более, что у нее была подруга по имени Недооценка и ровесник Кадр.

— Папа, ну почему я Москва? — спрашивала она у отца.

— Город чудный! — объяснял отец, [Москва — очаг центральный, очаг родины.]*

В начале империалистической войны у московского кузнеца Ивана Афраева, жившего на Ярославском шоссе, родилась дочь от прохожей женщины. Прохожая женщина утомилась от жизни и вскоре умерла, а дочь осталась при родном отце.

Афраев повесил люльку рядом с мехом, раздувающим горн, и для экономии сил качал обе принадлежности одной веревкой. Кузница у Афраева была не своя, а хозяйская, у хозяина же было еще пять кузниц на различных шоссежных и грунтовых въездах в Москву. Обыкновенно Афраев чинил тарантайки приказчиков, фаятоны бушующих по окрестностям купцов, телеги овощных кулаков и ковал их лошадей, отпуская вслед отъезжающим одинаковые проклятия, вследствие грустной скуки и нужды своей жизни.

Чем далее шли года времени, тем больше удивлялся Афраев на свою дочь: она была миловидна настолько, что даже дворянские кормленые дети оказывались против нее лишь подкидывающими. Афраев вначале не понимал, почему от него, пожилого хулиганского человека, рождаются такие дети — давно бы надо заняться ему размножением своего поколения, — но потом решил, что крепка рабочая порода: так и быть должно по природе и справедливости.

По мере возраста и военно-исторических событий жизнь внутри Афраева подверглась как бы сжужению, превращаясь в ярость круглые сутки. Он расточил по дешевке имущество кузницы цыганам, завернул дочь в одежду и ушел заниматься продажей своих рабочих рук на короткие сроки: надолго он нигде не оставался, боясь приобрести привычку к угнетению или нечаянную сердечную увязку с имущими людьми.

* Текст, заключенный в квадратные скобки, вычеркнут Платоновым в процессе работы.

Перед Февральской революцией он был арестован за свой необыкновенный вид наружности, похожий на германского шпиона и дезертира. Из тюрьмы он (Фраза не закончена. — Н.К.)

III

Летом 1933 года на Ярославском вокзале из поезда дальнего следования вышел человек в возрасте

Эта незаконченная фраза с точным указанием времени начала романа по-своему трансформируется в первые строки рассказа «Мусорный ветер»: «Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался сияющий день 16 июля 1933 года». Рассказ «Мусорный ветер» был написан в период работы Платонова над первыми главами романа и в контексте творчества Платонова 1933 — 1934 годов является своеобразным социокультурным двойником лирической и технократической идей «Счастливой Москвы».

IV

Биение ее сердца происходило настолько ровно, упруго и верно, что если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, оно могло бы регулировать течение событий; щеки ее, терпя давление сердца, надолго, на всю жизнь приобрели загорелый цвет, глаза блестели ясностью счастья, волосы выгорели, выцвели от зноя и ветра над головой и тело опухло в поздней юности, находясь уже накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека.

Ей было неполных девятнадцать лет, ее звали Москва Ивановна Честнова; имя ей дали лишь на пятом году жизни — в детском доме сирот, не помнящих родства. Она ехала на поезде в дальнюю лесную область, чтобы работать там техником на постройке дорожных мостов. Поезд шел быстро, минуя пруды [новые постройки в полосе отчуждения], северные деревянные колхозы, застланные ранним дымом печей, тесовые строительства, — мимо сосен, напряженных и высоких в своем одиночестве.

Москва глядела в окно от любопытства, стараясь реже моргать. Она видела неподвижное белое облако: смирившийся нежный вихрь замер на обрыве облака и освещался наивным солнечным светом в синей и небесной чистоте. Сонная свежесть, как здоровье, ветер и детство, была запечатлена в том облаке, оставившемся в тихую, грядущую ночь над советским пространством. Москва почувствовала тоску в своем теле — ей захотелось окунуться в то облако, внутрь его прохладного забвения, чтобы каждая жила ее надулась жизнью и она вся стала потерянной и безымянной.

Наутро Москва приехала на станцию своего назначения. Берегущее чувство охватило ее, когда она увидела безлюдье, лесную просеку в далекую гуцу деревень, тесовое общежитие рабочих и всю бедность местных условий. Она была жадна к социализму, она ощущала в себе скопление встающих сил при одном виде неуспроенного, скучного мира, она знала вперед, что тут должно находиться вместо всеобщей скудности и бесполезных грандиозных пустыков.

Москву встретил дорожный прораб Афраев, инженер по путям сообщения, лет тридцати с лишним. Не скрывая своего интереса к явившейся ему юности, Афраев с тщательностью оглядел все лицо и туловище Москвы. Москва тоже посмотрела на Афраева и увидела у него давно любимое лицо, до сих пор лишь неявно воображаемое: ранние сухие морщины от высокой температуры печей, жмурящийся бледный взор — против пустынных ветров Азии и снежной поземки тундры, широкие кости терпения, доверчивые глаза, привыкшие к радости успеха, молодые волосы, седеющие в утомленной мысли, в напряжении действующего сознания — перед задачами трудного и жесткого природного вещества. Весь великий технологический опыт социализма, как глубокое переживание, остался в лице и теле Афраева.

Простая сердцем Москва не знала теперь, как ей отмучиться от своего чувства, и заплакала, оставшись одна.

Поздно ночью, когда Афраев возвратился в общежитие от своих забот, Москва увидела его снова. Они пошли вдвоем по лесной просеке и глядели, как лунный свет освещал белые берега неподвижных ночных облаков. Афраев взял Москву за руку, никого не было в ближайшем пространстве, издали слышалось, как храпели ударники в глубоком сне.

— Москва Ивановна! — сказал Афраев, и в его исхудалом горле заклокотала скрытая, мучительная сила.

Равномерное, могущественное сердце Москвы стало биться с такими гулкими звуками, что все комары и бабочки, сидевшие спереди на ее коффе, улетели прочь. «Вот он материализм!» — ни к чему подумала Москва Честнова.

НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕНТЫ РОМАНА, СОКРАЩЕННЫЕ ИЛИ ЗАНОВО ПЕРЕПИСАННЫЕ ПЛАТОНОВЫМ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ*

Стр. 10. Тему сочинения для девочки Москвы Платонов обрабатывал долго и тщательно. Первоначальный текст сочинения:

Рассказ девочки без отца и матери о корове. Коров бывает мало, их ведь едят. У коровы по четырем углам стоят ноги. Из коров делают котлеты, всем дают по одной, а картофель растет отдельно. Корова сама дает молоко, другие животные стараются, не могут. Жалко, что не могут, лучше бы могли. Девчонки наелись котлет, сами лежат спят и пахнут. Мне скучно.

Впервые эти мотивы появляются в записной книжке Платонова 1932 года в «Рассказе девочки о корове». Возможно, такая тема для девочки, выросшей вне дома и природы, не устраивала писателя, и он возвращается к этой странице рукописи и на отдельном листе с пометкой «Вставка» пишет новый текст, меняя и саму тему сочинения, делая ее более современной. Позже, в записных книжках 1934 — 1936 годов, Платонов постоянно возвращался к теме «животных и растений». Возможно, эти записи являются своеобразным мостиком от «Счастливой Москвы» к замыслу новой книги о «жизни живых организмов», над которой Платонов работал в конце 30-х годов:

Животн<ые> и раст<ения> всегда наши современники, и дело совсем не в атавизме, а в дружбе, в санитарии души.

О животных тоже надо писать: у них много свободы воли, независимого ума.

О животных, о животных — целый мир свободы и счастья втуне лежит.

Великая проблема воробья. Семееен, свободен,дохнет в неволе, а летает по одному аршину. А нужна почти бесконечность.

Вовсе не природа, а люди виноваты в гибели прежних цивилизаций.

Поиск писателя, связанный с сочинением, которое пишет девочка Москва, отзовется в конце 30-х годов в рассказе «Корова» (первое название «Добрая корова»): на дальнем полустанке мальчик Вася посвящает сочинение на тему «Как я буду жить и работать, чтобы принести пользу родине» — «доброте» коровы. Рассказ «Корова» был включен Платоновым в книгу «Течение времени», которая должна была выйти в 1941 году в издательстве «Советский писатель» вместо «Путешествия из Ленинграда в Москву» (см.: «Русская литература», 1990, № 3, стр. 181). При жизни Платонова эта книга рассказов не выйдет. В 1945 году писатель включает рассказ «Корова» в книгу «Вся жизнь». Примечательно, что именно сопряжение любви к дальнему и ближнему в сочинении ребенка вызовет возмущение рецензента Юрия Либединского: «Следует спросить автора, зачем понадобилось ему приплести юридские рассуждения о коровьей доброте к такому серьезному чувству, как любовь к родине» (ЦГАЛИ, ф.619, оп.1, ед.хр.1483, л.25). Тема сочинения исчезнет и из большинства посмертных изданий рассказа «Корова».

Стр. 18. «...и ум его жил в страхе своей ответственности за всю безумную судьбу вещества». Этим словам предшествовало в рукописи следующее:

...и ум его жил с напряжением электричества, работающего на коротком замыкании. Ритм жизни, обусловленный течением человеческого сердца, был предметом науки Самбикина. Он вникал с острой бдительностью сознания и тревогой сердца во все факты современной творческой истории социализма, он был постоянно счастлив от великих задач, стоявших как горы на горизонте будущего, потому что участвовал в общем наступлении на них.

Ср. с этой поэзией «второго рождения» состояние автора «Счастливой Москвы», которое сохранила его записная книжка 1936 года:

Трагедия отторгости, трагедия «отставленного», ненужного, когда строится блестящий мир, трагедия «пенсионера» — великая мука!

Стр. 19. В рукописи описание операционной («Все звуки в хирургическом институте тщательно уничтожались...») помечалось вопросом и записью на полях: «Сократить». Это сомнение Платонова, может быть, станет яснее, если вспомнить, как он оценит в 1940 году антураж подобного описания у Паустовского. Это «оргия гуманизма», напишет Платонов, комментируя рассказ Паустовского «Доблесть». В рассказе описывается ситуация, когда во имя спасения ребенка, получившего сотрясение мозга, в городе уничтожается туман, выключаются громкоговорятели, организуются отряды пионеров для поддержания тишины, изобретается установка, выключающая все шумы... и ребенок выздоравливает. «Дело не в том, — делает вывод Платонов, — что в наших условиях такая вещь — немыслимое дело. Подобные факты много раз имели место в нашей действительности. Но писать об этих фактах следует со спокойным, глубоко дышащим сердцем, а не с подпрыгивающим восторгом, и чернилами, а не слезами энтузиазма».

Стр. 21. Вычеркивается недописанный последний абзац пятой главы:

Он уговорил свой ум додумать это дело днем, он обещал себе вскоре же заняться проработкой всего свернутого, томящегося в костях человека и забота

Незаконченный абзац превращает точку в конце главы в многоточие, знаменующее незавершенный поток сознания героя.

Стр. 21. После слов «а Кузьмина взяла себе только два пирожных» первоначально следовало:

Селин глядел на нее с негодованьем, удивлялся: он жевал как пахал, — с настойчивостью труда, но легко, <нрзб> мечтающий, но не жующий, создал всемирную конструкцию воздушно-электрического подшипника.

В работе над девятой главой Платонов вернется к этим страницам рукописи, записав сверху листа:

Там, где бал: это было поколение, мало знавшее в младенчестве хлеб.

Селину Платонов отдал и собственную работу 1931 — 1932 годов над усовершенствованием подшипника.

Стр. 22. После фразы «Селин ел с негодованием...» в авторедактуре 1934 года опускается страница, развивающая тему изобретательства (она отойдет к Сарториусу):

Он и работал с той же прочностью и верностью, не только решая проблемы, но и разрушая их, но побеждал не прямою силой своего таланта познания, а косвенно — благодаря заблуждению. Год назад, работая над проблемой создания легкого электромотора с пустотелым безобмоточным якорем, он получил воздушно-электрический подшипник мирового значения, работающий без смазки, с почти неощутимым трением железа о воздух, — и сам впоследствии рассмеялся такому боковому результату своего труда. Легкий электромотор у него тоже получился, но его значение было обыкновенным.

К философии изобретательства Платонов постоянно возвращается в записных книжках 30-х годов:

Причинность есть, но она настолько сложного происхождения, настолько не дифференцирована от множества варьирующих ее, равновеликих ей обстоятельств, что причинность равна случайности, — не только в смысле гносеологическом, но и в смысле эффективности, практики.

Иван Трудолобивый. Ученый, который радуется, что его истина прежняя разрушена новой — и жизнь его состоит в череде душевных потрясений. Он идет на них с готовностью, хотя это и боязно.

Это чепуха, что машина дает «сама по себе» прибавочную, «ниоткуда» производительность. Это поверхностно. Машина дает этот фокус, но само введение техники, технологии вводит великие осложнения в жизнь людей, и это осложнение есть форма косвенной, но жестокой эксплуатации людей...

К теме изобретательства Платонов не раз обращался в статьях 30-х годов. В 1937 году он работал над книгой о русском авиаконструкторе Николае Жуковском, книга должна была выйти в 1938 году в издательстве «Молодая гвардия» (ЦГАЛИ, ф.2124, оп.1, ед.хр.25, л.23 — 24). Судьба этой книги неизвестна.

Стр. 24. *«Она вышла, никого не ожидая, стакан вина и покраснела от радости и непривычки».* Первоначальный вариант:

...стакан вина и сердце ее сразу потерялось /как бы затмилось/ в груди — всегда твердо осязаемое ею. Она поднялась со стула, грустная и не похожая на свое обыкновение.

Все ее товарищи закричали, приветствуя ее, а Москва не знала, зачем она встала. С ней случился тот прилив жизни, когда ей становилось нестерпимо быть до смерти лишь самой собой, непрерывно помнить себя и регулировать свое существование, заботиться о наслаждении и достоинстве, гордиться и согреваться в конце концов лишь одним своим сердцем, а миллиарды людей живут для нее неощутимо, почти неизвестно и тесно населенный, густо надышанный мир стоит, разделенный на умирающие части <нрзб> и томительная сила давила ее сердце с тяжестью скорби и отчаяния.

Ср. со своеобразным автокомментарием 1933 года к этому фрагменту первоначального и канонического текста:

Счастьливая> М<осква>. И пьянство ведь основано на перемене ощущения своей души.

Важнейшее. ...Не только чужой душой, но и свою душу, хотя и приобретенную извне, «воровством», — свою душу испускать в других без остатка, — это тоже прекрасно, жизненно, закономерно, — столь же, сколь и первое.

Стр. 25. После предложения *«Он скуп, молчаливо любил эту страну...»* вычеркивается:

Он слушал далее, как говорили и были веселы люди за столом, но сам был довольнее всех, поскольку общая мысль не отходила от забот об участи всех людей. Дело, по которому Божко послали сюда, он откладывал на дальнейшее, когда присутствующие устанут от своей радости.

Стр. 26. После фразы *«Москва пригляделась во тьме к его несоразмерному лицу, по нему шли слезы при открытых глазах»* первоначально следовало:

Честнова поняла его тоску и согласилась ее утешить:

— Ну что ж, тогда пойдемте отсюда куда-нибудь в поле, будем говорить что-нибудь, вам станет лучше.

«Как она здраво и хладнокровно рассуждает! — безмолвно удивился Сарториус. — Вот ведь стерва».

Стр. 29. После слов *«сердце болело по Москве столь же тщетно, словно она умерла или была недостижима»* сокращается:

...и верная близость ее не помогла любви Сарториуса стать смирной и счастливой.

Стр. 30. После предложения *«На входной двери помещалась железная вывеска...»* сокращено:

Леонид (Семен. — Н.К.) Сарториус с неопределенной робостью вошел в весовой трест, точно предчувствуя здесь свою долгую судьбу. Однако сердце его было равнодушно, чувство тоски по Москве Честновой покрыло его холодом терпения и оно было готово на любое несчастье.

Стр. 30. После слов *«они производили впечатление громадного учреждения первостепенной важности»* сокращено:

Вдруг Сарториус услышал мучительный и грозный голос невидимого человека, приносящего какую-то конкретную речь. Сарториус огляделся по зале и заметил в одном конце ее проем, заделанный фанерной перегородкой, и в той перегородке была дверь с надписью: «Управляющий». Невдалеке от кабинета управляющего сидел Божко и радостно поглядывал на прибывшего инженера. Затем Божко осторожно подошел к Сарториусу и сказал ему:

— Пойдем к нашему орущему?

— А кто такой орущий? — спросил Сарториус.

— Это наш управляющий. Он человек добрый, но у него есть лишний темперамент, он не знает куда его девать и шумит от беспокойства и ответственности.

Управляющий оказался пожилым уже человеком, он имел седую голову и угрюмую доброту лица, покрытого морщинами раздражения на непорядки порученного ему дела. Управляющий развернул перед Сарториусом страшную картину недостатков весов в республике.

Автобиографическая для Платонова тема «Росметровеса» постоянно присутствует в его записных книжках 1931 — 1935 годов вместе с расчетами конвейерных и циферблатных весов:

«Весоизмеритель — мерило труда!»

К.Тарасов

Вглядеться в технологич<еский> процесс — страсть.

В тресте, в центре мира, были все худые, хотели есть по 2 обеда, но нельзя было.

Тарасов — родоначальник треста. Курьерша родила ребенка — сын треста — он лежал на столе курьерши, на разносных книжках, и плакал. Ребенок — внук Тарасова.

...Форт центра мира (ребенок на бумагах).

Мотив «борьбы двух систем несоизмерительной промышленности» присутствовал в первоначальном замысле «14 Красных избушек» и, очевидно, вошел в повесть 1934 года «Инженеры» (текст в доступных нам архивах пока не обнаружен).

Стр. 32. После фразы «Самбикин, очевидно давно не ставший, не евший, изнемог и сел в отчаянии» сокращается недописанный абзац:

Мне бабка говорила, — продолжал он, — у каждого есть ангел-хранитель. А внук ее открыл, что этот ангел — зверь, сознание из костного мозга.

Сарториус сказал ему: «Может быть, не спин<ной>»

В рукописи слово «отчаяние» подчеркнуто Платоновым, помечено вопросом и записью на полях: «др. слово?» Ср. с логикой «рациональных практиков» романа запись Платонова 1932 года:

Человек существо двойное — вот основа его психологии, двойное не в смысле двурушника, а м. б. скорее анг<ела>-хран<ителя>».

Стр. 33. После фразы «Он проснулся довольный, с решимостью сделать и довести до совершенства всю техническую арматуру...» тщательно прописывалась сцена пробуждения героя:

— Вставай! — разбудил он Самбикина. — Не теряй времени пока живешь.

Самбикин немедленно проснулся и оба они сразу вникли в свои обязанности, связанные с обеспечением всеобщего благополучия, поэтому томительное чувство долга и ответственности прекратилось в них. Подобно червю, перерабатывающему сквозь свое тело жесткий мертвый грунт в живую мякоть, с той же терпеливой страстью он вникнул в темную даль нерешенного мира. Самбикину представилось соображение, что можно надолго продлить жизнь.

— Самбикин! — позвал Сарториус. — Вставай скорее! Нам надо спешить с тобой трудиться...

— Встаю, — враз отозвался Самбикин. — Надо спешить! Мне снилось всю ночь темное тело на небе, оно летело.

Стр. 34. Страницы, связанные с вневойсковиком, наименее правленные в рукописи «Счастливой Москвы». Вневойсковик входит в роман в некоем завершённом виде и становится одним из важных зеркал эпической и лирической темы романа. Примечательно, что Комягину Платонов отдал и стихи из своей книги «Голубая глубина» (1922). У этого героя, превозмогшего цели, избавившегося от высоких стремлений, была своя предыстория, прежде чем он появился на страницах романа. В 1931 — 1932 годах Платонов работал над самостоятельным произведением под названием «Вневойсковик». Контуры этого героя, которые можно восстановить по записным книжкам писателя, воссоздают тип человека, прошедшего яростные битвы гражданской войны и обольщение собственными идеями спасения мира, — это своеобразный двойник Двановых из «Чевенгура» и Умрищева из «Ювенильного моря»:

Страд<ание> души от неизвестности... Удивительно, что люди жались к жакету, к конторе, к справкам, хотя в городе были мировые театры, а в мире вечные вопросы мучения.

Вневойсковик из страха перед жизнью, из одиночества, из боязни наказания, из ужаса... стал работать усердно... Его случайно поставил начальник в образец, вокруг вневойсковика создали кампанию — объявили ударником, так пошло.

Человек, отклоняющий от себя все опасности и погибающий, ищущий средостения среди ада и огня борьбы.

Величайшая страсть заключается в стремлении к покою и вечности, к стабильности — у победившего класса. Посмотри провинцию.

для «Вневойсковика». Он-то и был занят всю жизнь истощающей действительной классовой борьбой.

Человек, не верящий ни во что, никак, пустой, — исполняющий поэтому наилучшим образом любое высшее предназначение: такой тип только и нужен.

Для вневойсковика: Он (в-к) не знал, что говорить с людьми, и только, одержимый привычной человечностью сочувствия и тоски, тихо спрашивал: «Ну как поживаете» и т.д.

В революцию выигрывает «боковая сила», т.к. главные уничтожают друг друга, а боковая остается при здравье и забывает все. Сообщение мыслящего мещанина.

«Вневойсковик». Именно довольство мелочью, нуждой, чепуховыми целями есть смысл жизни великого человека. А «абсолютная истина» — обжорство буржуа... Вопрос замнем(труднейший).

Только деклассированные, выродившиеся из своего класса «ублюдки» истории и делали прежде революции (бурж<уазные> и феодал<альные>). Да здравствуют безымянные «ублюдки» и всякие «отбросы» человечества..

Примечательно, что в записях, посвященных вневойсковнику, возникает и один из ключевых мотивов романа — «Темная личность с горящим факелом».

Стр.39. Словам «...и попытаться определить внутренний механический закон человека, от которого бывает счастье, мученье и гибель» предшествовало несколько вариантов, последовательно разрабатывающих конкретную программу нового человековедения:

...попытаться сосчитать вперед всемирную судьбу людей, чтобы одних сберечь от ошибок и гибели, а другим ускорить катастрофу. Для математического расчета судьбы и составления проекта будущего времени Сарториус собрал уже все главные элементы, кроме одного: чем двигается человек из <нрзб> арифметически сосчитать течение природы во времени...

Ср. с этим новым вариантом хлебниковских «Досок Судьбы» записи Платонова 1934 года в черновых набросках к роману:

Природа, она мила и дорога тем, что наши первородные силы действуют там и до сих пор действуют в чистоте, «наружи», близко к нашему пониманию, тогда как в людях это братское родство действия, душевной аналогичности скрыто, завуалировано тысячью условностей, искажениями социальной жизни, общественным коэффициентом.

Человек — «надстроечное» существо в природе, творит не он, а «базисные» силы. У него фатум — ограниченный (в абсолютном смысле), в относительном он сделает много.

Стр. 39. Словам «А душа есть у всех...» в рукописи предшествовала тщательная работа над нюансами диалога Сарториуса и Божко:

— Душу надо разрушить, — вот что, — утрировано произнес Сарториус. — Она работает против людей, против природы, она наша разлучница, из-за нее не удастся ничего...

— Да как же так? — удивился Божко. — А что такое душа, она разве есть?

— Есть, — подтвердил Сарториус, — она действует, она дышит и шевелится, она мучит меня, она бессмысленна и сильнее всех...

Сарториус в усталости положил голову на стол, ему было скучно и ненавистно, ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди. Везде есть проклятая душа.

Автокомментарием к этому вопросу, роковому для умствующих героев Платонова, могут служить его записи 1936 года:

Безразлично: люди должны проявлять свою жизнь, наслаждаться, стремиться, — при всех обстоятельствах во все времена, будь то рабство, будь средние века, будь будущее. Нельзя согнуться всем, присмиреть, нет — это немногие. Количество радости, оптимизма приблизительно одинаково, и оно, это количество, способно проявляться почти в любых формах, — в самой даже жалкой форме. Жизнь никто не может, не хочет откладывать до лучших времен, он совершает ее немедленно, в любых условиях.

Человек это капля родительского блаженства, и он должен быть радостью.

Стр. 39. После фразы «ночь шла утомительно, как однообразный стук сердца в несчастной груди» сокращается недописанный абзац:

Он ясно сознавал, что он грустно любит лишь Честнову и ему не нужен более никто на свете. Это было удивительно и позорно, потому что в уме Сарториуса слабым светом стоял многочисленный мир, наполненный воздухом свободы, дружескими лицами, изобретениями и

Ср. с записью Платонова 1936 года:

Многообразие мира, о прелесть и несчастье!

Стр. 40. « — Мы теперь вмещаемся внутрь человека, мы найдем его бедную, страшную душу». Этим словам предшествовало:

...Мы найдем, мы исследуем точно, отчего мы такие худые, темные и остервенелые.

Стр. 40. После слов «она очень мила и добра, но несчастна от скромности» вычеркивается следующее:

...и еще, может быть, от таинственной гордости. Сарториус послушался, он стал иногда глядеть в дальний угол, где работала Лиза; ей было скучно стучать буквы и цифры, поэтому она воображала каждую букву равной по полезности ржаному зерну, и это сознание придавало ей прилежность в работе.

Может быть, сокращение этого фрагмента связано с тем, что образ Лизы, предшественницы героинь «Фро» и «Реки Потудань», дальше в рукописи почти эмблематично выключался из той атмосферы выдумывания, в которой живут центральные персонажи романа («Однако Лиза ничего выдумать не могла...»). Тема творческого, самосозидающего «выдумывания», что всегда сопровождала платоновского философа-мастера, делателя ненужных предметов, обретает напряженную полифоничность в его записных книжках 1932 — 1936 годов. Здесь, пожалуй, впервые обнажен диалог писателя с одной из сильных тенденций советской прозы 20 — 30-х годов — разоблачением «героя», претендующего на «самость», одинокость и внутреннюю свободу существования:

Чем живет человек: он что-нибудь думает, т.е. имеет таинную идею, иногда не согласную ни с чем официальным.

Чтобы жить в действительности и терпеть ее, нужно все время представлять в голове что-нибудь выдуманное и недействительное.

Тайна Сарториуса есть тайна всего исторического человеческого об-ва: жить самому по себе внутри нечем, живи другим человеком, а тот тобой живет, и пошло, и пошло, и так вместе целые миллионы.

Жить внутри разом нечем, отсюда и все технические игрушки, все «творчество».

Примечательно, что на последней странице рукописи романа Платонов запишет:

Начало романа: Жить нельзя собою в тюрьме, можно — воображением другой жизни.

Стр. 46. После слов «и сидел неподвижно, следя за течением очередной загадки в своем уме» первоначально следовал диалог Самбикина и Сарториуса:

Странно, что оба товарища встретились после разлуки без радости. Сарториус спросил Самбикина — видел или нет он Москву Честнову.

Самбикин ответил, как было между ними с Честновой, и сказал еще:

— Над Москвой Ивановной надо как-нибудь подумать! Да вот все времени нету, приходится откладывать важнейшие проблемы на конец жизни — суета заедает...

— Какие проблемы? — спросил Сарториус.

— Разные, — объяснил Самбикин. — Ну что такое любовь: верно это или неправильно? Я хотел жениться на Москве Ивановне, а потом подумал и вижу — нет: прочтешь про трансфинитные числа — одна схоластика <нрзб> он их хотел решить по очереди все, чтобы в жизни стало ясно.

Стр. 50. «Сарториус обнял Москву и ему стало хорошо». Первоначально после слова «хорошо» следовало продолжение:

...хотя он понимал, что любовь происходит от не изжитой еще всемирной бедности общества, когда как-то некуда деться в лучшую, высшую участь.

К этой глубинной романной коллизии восходит финал «Реки Потудань»: «Однако Никита не узнал от своей близкой любви с Любой более высшей радости, чем знал ее обыкновенно, — он почувствовал лишь, что сердце его теперь господствует во всем его теле и делится своей кровью с бедным, но необходимым наслаждением».

Стр. 53. «Он думал о мыслях в чужой голове, шагал несвоей походкой и жадно радовался пустым и готовым сердцем». В предшествующем варианте — своеобразный комментарий:

...и жадно радовался пустым сердцем, готовым на страстное постороннее чувство, недоступное прежде, потому что кровь в жилах билась лишь одним тактом и этот порядок поддерживался сознанием, выгодой, личным убожеством и привычкой.

Стр. 57. После слов «особо не мучился от такого обращения» в рукописи сокращено своеобразное «поучение» Сарториуса:

...он говорил жене:

— Лучше ты превратись в кого-нибудь другого, или стань собакой, зверем, чем попало — все равно ведь будешь жить, если самой собой ты быть не можешь и злишься!

На этой же странице рукописи Платонов еще раз возвращается к этому всплеску «гордости мысли» героя, продумывая ее истоки:

...теперь все для него происходило как нарочно, он забылся от злости лишь нечаянно, потому что теперь он не будучи сам собой <нрзб> что своя жизнь теперь для него была лишь посторонним явлением, почти не чувствующей боли и огорчения.

Последние страницы «Счастливой Москвы» совпадают по времени с работой над рассказом «Среди животных и растений» («Жизнь в семействе»), где характер Чебурковой получит полное развитие в двух женских образах — матери и жены «героя». В записной книжке Платонова 1936 года сохранился авторский комментарий к этой новой героине в творчестве Платонова второй половины 30-х годов. Кажется, что в новую реальность 30-х годов возвращается реальность «Ямской слободы» и первой части «Чевенгура»:

Злоба у старухи от дикой нужды. Она так и следит, чтобы никто ничего не съел и не выпил: ведь жить ей приходится за 3 р. в день на шестерых. Вот где злоба, а чуть «мороз нужды» слабеет, — и старуха улыбается, она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя: все поедят, попьют, износят — и тогда все семейство помрет от нужды, бедствия.

Стр. 58. После слов «в опасной готовности броситься в гущу всей роскоши, какая происходит на земле» в рукописи сокращена страница, посвященная философии «жизни в семействе»:

А здесь, в тишине семейства, чувство утомляется прежде, чем оно вырастет в опасность, и глаза глядят померкшими, не замечая цвета лиц других людей и воздуха

на небе. Иван Михайлович (Степанович. — *Н.К.*) часто пробовал ребра и тело лежащей рядом жены, — какая тайна заключается в ней? Она спала, вдали на диване сопел ее уцелевший ребенок, за стеной в другой квартире кто-то кашлял и бормотал непонятное. Грунякин ложился вниз лицом и сжимал глаза, все еще болевшие немного; он вспомнил Москву Честнову, спящую неизвестно где. Пусть она спит отдельно и далеко, но жизнь должна быть [исследована и решена] испытана и пережита вся.

Стр. 58. После слов «Своего мучения от этой женщины он не считал...» сокращено:

Он относился к себе как к мертвой матери, которой не жалко и ее можно сменить на другое вещество. Он удивлялся характеру некоего Грунякина и, вынося его судьбу, сам по себе жил втайне и вдалеке, плача, улыбаясь, но не действуя.

Безответственность, даже безмолвие героя в финале завершаемого романа находит параллель в творчестве Платонова 30-х годов. Первоначально в пьесе «14 Красных избушек» музыка Баха по замыслу писателя призвана была выразить трагическую атмосферу действия:

Действующий временами ветер относит звуки вдаль, к невидимому морю, и музыка пропадает; затем издали музыка возвращается снова. Одновременно шумит в темноте Каспийское море, и ветер, так же, как и в музыку, вносит неравномерность и тревогу в доносящееся морское волнение. Это общее созвучие сцены не должно заглушать действующих лиц и вместе с тем оно должно быть так организовано, чтобы служить ритмом к развитию действия (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 90, л. 107).

Все эти мотивы так и остались в черновиках. Примечательно, что в 1932 году писатель сократит и пространные размышления рационалиста-скептика Хоза о бессилии музыки выразить смысл мира: «...она звучит, но без слов и предмета, она не говорит имени своего счастливого жизненного вещества, потому что его нет» (там же, л. 103). Один из этих музыкальных мотивов всплывает в четвертой главе «Счастливой Москвы». В «14 Красных избушках» на правах полноправного действующего лица Платонов вводил также интерпретатора классической музыки:

Радио. ...Радиостанция имени Сталина. Продолжаем наш концерт. Сейчас симфонический оркестр исполнит сюиту Баха... В этой сюите знаменитый композитор вызывает к судьбе, к темной силе будущего времени. Он страстно тоскует среди буржуазной ограниченности и верит в слабеющем сознании, что сила судьбы и закон бесконечного мира стоят за него.

Но по следам истории шествовал пролетариат. Он взял судьбу в свои тяжелые руки и обратил ее против капитализма. И вся буржуазия мира должна будет лечь в ближайшее же время в давно готовые гробы, и место погребения будет забыто навсегда светлыми поколениями (там же, л. 107).

В записной книжке 1936 года — год, когда в «Правде» была опубликована знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», — Платонов пишет:

Музыка — окончательно запрещенная литература, когда она (замолчала? замычала? — *нрзб*), — и из этого, из окончательного запрещения, — явилось самостоятельное искусство.

В это же время в рассказе «Среди животных и растений» герой ощущает, что ни музыка, ни чтение не открывает ему «светлой перспективы». Тем более, что в красных уголках, где он любил слушать музыку, звучит «новый репертуар, кроме сумбура, осужденного в газетах» (цит. по рукописи и авторизованной машинописи рассказа. — ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 53, л. 44). В эти же месяцы 1936 года Платонов сделает запись к рассказу «Тверской бульвар» (первое название «Путешествия воробья»):

Рассказ «Тверской бульвар» — о воробье, унесенном ветром в рай и возвратившемся оттуда.

В окончательном варианте этого нового путешествия («Любовь к родине, или Путешествие воробья») музыка уже задыхается, ибо бессильна выразить боль человеческого одиночества на родной земле, единственной для человека. В машинопись рассказа Платонов впишет новый финал:

...положил скрипку на место и заплакал, потому что не все может выразить музыка и последним средством жизни и страдания остается сам бедный человек.

Все, что существует, существует в том или ином состоянии, присущем тому или иному времени. Тем более — все живое.

Состояние и возраст — это процесс взаимодействия организма (предмета) с окружающим миром, который, весь в целом, тоже находится в некоем состоянии. Наконец, это еще и те внутренние самоощущения, без которых нет и ощущений внешних, попросту нет ничего живого.

Способность человека передать словом свои собственные ощущения, собственное ощущение мира прежде всего, очень ограничена, способность эта присуща лишь немногим писателям, в том числе и Платонову. Он знает, что самоощущение то и дело приводит человека к его уходу из этого мира (как это было в «Очарованном человеке» да и в других рассказах), к противопоставлению себя всему на свете, знает, что это достаточно известная литературная ситуация, но герой Платонова блуждает в мире еще больше, еще трагичнее, потому что он не один, а вместе с той частью мира, которая блуждает и заблуждается вместе с ним. Герой Платонова вписан в эту достаточно весомую часть человечества, она — в него, и тем большая опасность возникает для мира в целом.

В «Счастливой Москве» девочка, девушка, женщина по имени Москва тоже включена в мир людей, подобных ей самой, людей «не от мира сего», неестественный и непривычный, а придуманный социалистическим способом мышления. Вот и мужчины, с которыми Москва встречается, все с той же социалистической и социальной колодки: и эсперантист Божко, и вневойсковик Комягин (по временам, когда есть нечего, содействующий милиции), и хирург Самбикин, ищущий душу человека в кишечном тракте, и механик Сарториус, изобретающий весы, — все они из той же «чокнутой» части мира, что и сама Москва, и вот уже «чокнутость» и даже парадоксальность мира в целом представляет для нас не меньший, если не больший интерес и не меньшее значение, чем литературные персонажи сами по себе, и вполне возможно, что Платонов — предвестник и предтеча многих и многих талантов будущего, которые станут изображать не только мир в людях, как это было до сих пор, но и людей в мире, с его собственными качествами, в его собственном состоянии. В мире искусственном — или даже ими же самими, этими персонажами, замешанном и созданном.

А почему бы, в самом деле, не видеть литературу и в такой вот последовательности: Достоевский — Платонов — Оруэлл?

Сколь это ни странным может показаться, но ведь и Экзюпери, поклонник творчества Платонова, больше или меньше, но воспринял метод Платонова: его «Маленький принц» — тоже чувствительное мира, задействованное, правда, на другую, с противоположным платоновскому знаком, программу. Материал — разный, знаки — разные, а метод — тот же. Принц — существо фантастическое, а это сразу же развязывает руки писателю, это безошибочный сказочный ход, потому что всегда безошибочна сказка; задача Платонова и труднее и опаснее — ему предстояло найти оптимальное, соответствующее и его собственному и нашему мышлению соотношение между людьми реальными и ирреальными, между реальным и ирреальным обществом, между совершенно реальной обстановкой с ее убогими жилищами, конторами, барахолками и той высокой идейностью, которая, на это убожество опираясь, производит характеры, целую их группу, может быть — целое поколение, в центре которого оказалась Москва Честнова.

Честнова — потому что она ведь безусловно честна перед этим ирреальным обществом. Она участвует и в создании картины этого общества, рожденного той мятущейся историей, которая, не успев миновать и пережить все последствия первой мировой войны, уже стояла на пороге второй, для которой социализм мог представиться панaceей. В создании этой картины «советской действительности» Платонов был не одинок — с разным успехом, но в этом же направлении действовали не только Булгаков, но и Замятин, Бабель, Пильняк, Леонов.

И далее, далее... В двадцатом веке и не могла не появиться антиутопическая литература. Средние века дали нам пример религиозной утопии, двадцатый век — утопии социальной. И тогда и теперь литература создала свое собственное «анти». Солженицын создавал это «анти» как практик, как историк и реалист, Платонов — как теоретик-философ.

Если литература пусть частично, но все-таки исполняет роль «науки о жизни», тогда Платонов исполнил роль выдающегося ученого в этой области. Он тот, чье «учение» не только не терзает, но и приобретает по мере течения времени, временем подтверждается. Время им все еще серьезно болеет, этим учением. В своих поисках, в социальных и художественных решениях он неповторим, он нашел тот, по всей вероятности, единственный стиль, который соответствовал состоянию мира, оказавшегося в поле его зрения, определил он и это поле и приобрел то доверие читателя, которое позволяет литератору преодолеть все опасности литературицины в пользу собственной оригинальности.

Платонову, его творческому «я», удалось доказать правомерность его собственного столь же истинного, сколь оригинального восприятия мира, в котором ни религия, ни социальные идеи, ни эгоизм, ни альтруизм не играют первой, изначальной роли, — роль эта принадлежит, по

Платонову, самому явлению жизни, природе этого всеобъемлющего явления, которую каждая эпоха испытывает на прочность все новыми и новыми, только ей присущими средствами.

Диапазон писателя здесь велик, он простирается от уюта, камерности и человечности таких рассказов, как «Фро» и «Иванов», до бесчеловечности, нелепости и глобальности «Котлована», «Чевенгура», а теперь еще и «Счастливой Москвы», где люди даже и страдание принимают за нечто нормальное, не ищут другой судьбы, потому что уже обладают самой высокой — выше некуда — идеей. Они не карьеристы, не эгоисты, они честны и даже счастливы нелепейшим счастьем. И до чего же актуален для нас Платонов и сегодня, если мы все еще копаем «котлованы» по всей стране, если готовим специалистов не по обогащению, а по разорению собственной страны, если, растаскивая и разворовывая наши материальные (и духовные) богатства, приглашаем зарубежных экономистов, чтобы они наладили нам нашу экономику!

Впрочем, не будем больше об этом. Будем — о литературе как таковой, о ее фактах.

Сама история публикаций Платонова в течение многих десятилетий — это горький, поучительный и нелепый опыт нашей нелепой действительности.

Очевидно, исключительное значение имеют и комментарии Н.В.Корниенко. Нам так мало известны записные книжки Платонова, ход его творческой мысли и поиска, но здесь этот ход, эта последовательность — вот он, становится явственным, живым, сегодняшним, а тем самым явственнее звучит и «Счастливая Москва», вместе с нею и сам автор. Еще находка, еще — богатство!

Но вот и заключительный (по-видимому) факт этой истории: сегодня мир увидит еще одно произведение удивительного писателя. Не говорю, что самого гениального, но самого удивительного — должно быть, так и есть. Может быть, «Счастливая Москва» и не совсем закончена, но и несмотря на это она есть. Есть навсегда, и редакция приносит свою искреннюю благодарность Марии Андреевне Платоновой, дочери писателя. Только благодаря ее усилиям, которые, мы полагаем, еще не заканчиваются, но будут продолжены в дальнейшем сотрудничестве с нами, оказалась возможной эта публикация.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН.

Н. ПОКРОВСКИЙ

*

ЗА СТРАНИЦЕЙ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ»

Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться!!

Староверы! — вечно гонимые, вечно ссыльные, — вот кто на три столетия раньше разгадал заклуютую суть Начальства! В 1950 году летел самолет над просторами Подкаменной Тунгуски. А после войны летная школа сильно усовершеншилась, и доглядел старательный летчик, что двадцать лет до него не видели: обиталище какое-то неизвестное в тайге. Засек. Доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет, и через полгода добрались туда. Оказалось, это — ... старообрядцы. Когда началась великая желанная Чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу, всей деревней. И жили, не высовываясь, лишь старосту одного отпускали... за солью, рыболовной и охотничьей металлической снастью да железками к инструменту, остальное делали сами все, а вместо денег, должно быть, снаряжался староста шкурками. Управясь с делами, он, как следимый преступник, изникал с базара оглядливо. И так выиграли... староверы двадцать лет жизни! — двадцать лет свободной человеческой жизни между зверей вместо двадцати лет колхозного уныния. Все они были в домотканой одежде, в самодельных брюках, и выделялись могучностью.

Так вот этих гнусных дезертиров с колхозного фронта всех теперь арестовали и вклеили им статью... ну как бы вы думали, какую?.. Связь с мировой буржуазией? Вредительство? Нет, 58-10, антисоветскую агитацию (!!?) и 58-11, организацию. (Многие из них попали потом в джезказганскую группу Степлага, откуда и известно.)

А в 1946 году еще других староверов, из какого-то забытого глухого монастыря выбитых штурмом нашими доблестными войсками (уже с минометами, уже с опытом Отечественной войны), сплавлили на плотках по Енисею. Неукротимые пленники — те же при Сталине великом, что и при Петре великом! — прыгали с плотов в енисейскую воду, и автоматчики наши достреливали их там.

А.И. Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ»
(«Новый мир», 1989, № 11, стр. 153 — 154).

Эту историю я услышал впервые уже не в лагере, а вскоре после выхода на волю, в Москве, куда я не вполне еще легально приехал из Суздаля к жене и сыну. Некий охотовед, бывший свидетелем описанным Солженицыным событиям, рассказал мне ее, узнав, что я собираюсь ехать к старообрядцам Сибири. В его рассказе прозвучал с иронией и бредовый слух, распространявшийся властями и не раз потом встречавшийся мне в начальственных рассуждениях, устных и даже печатных, будто сибирские пустынноики — это сбжавшие в тайгу колчаковцы.

Действительность оказалась куда сложнее, и корни ее уходили в прошлое не на десятки, а на сотни лет. Кое-что начало открываться здесь в первой же моей экспедиции к сибирским кержакам в 1966 году. Кстати говоря, тогда же мне с женой посчастливилось услышать рассказ одного из тех, кого избежала ранней весной 1951 года автоматная пуля в холодной енисейской воде. Но сейчас речь не о наших полевых дневниках как источнике сведений о преследованиях

сибирских кержаков властями нынешнего века. Есть источник куда более важный и вполне традиционный для древней русской культуры.

Разгромленные Берией в 1951 году скиты частично возродились уже через несколько лет в ином месте, а точнее — в нескольких местах. Постепенно там восстановилась книжность — обычный атрибут пустынножительства. И, как повелось издревле, вскоре стали не только хранить книги, но и переписывать. В Пушкинском Доме после первых экспедиций я рассказал о современных сибирских скрипториях (рассказ этот был вскоре напечатан в Ленинграде и Оксфорде). Местные сочинения XVIII — XIX веков, переписывавшиеся в них, надолго попали в центр внимания новосибирских и затем свердловских историков раскола. Но лишь совсем недавно новосибирский археограф Н. Д. Зольникова и я получили довольно представительный массив источников, говорящих о сохранении литературной традиции в среде сибирских пустынножителей до наших дней — о создании ими новых и продолжении прежних сочинений. Кое-что из старообрядческих сочинений XX века попадалось археографам и раньше — в Новосибирске и Москве есть, например, три списка бегунского стиха о мученической смерти группы монахов от рук «бериевских палачей» (так в тексте. — Н. П.). Экспедиции Пушкинского Дома приобрели не так давно «Житие» одного из старообрядцев, пострадавшего от сталинских репрессий. Но совсем недавно еще один из арестованных на Енисее в 1951 году показал мне историческое сочинение пустынников, где описаны события с XVII века почти до наших дней. Наряду с лагерными преданиями, изложенными Александром Исаевичем, мы имеем теперь повествование самих жертв событий 1951 года, составленное в 1958 году в традициях древнерусской литературы о мученичестве отцов и пустынников.

Но прежде чем переходить к этому повествованию, надобно сказать, что мы имеем здесь дело не с несколькими разрозненными плодами творчества отдельных писателей-самоучек из народа, а с образцами многовековой традиции демократической книжности. Эта «литература низов» нечасто пересекалась с «литературой верхов», но само существование последней было невозможно без народной культуры, этики, мировоззрения. Об одном из таких пересечений мне уже приходилось писать — в связи с ярким крестьянским сочинением второй половины XIX века «Повестью дивной», где поднималась поистине толстовская тема преступности смертной казни путем наказания шпицрутенами. Конечно же, Л. Н. Толстой, создавая знаменитый свой рассказ «После бала» с яркой картиной такой казни, не подозревал о существовании тайной народной повести о том же. Подобно этому и А. И. Солженицын, описывая на основании лагерных преданий разгром енисейских старообрядческих поселений, не мог знать, что уже в 1958 году событие это было подробно изложено в обширной рукописи, созданной в древних традициях житийного жанра. Жанр этот пользовался особой популярностью у староверов, подчас соединявших его с автобиографическим повествованием. Черты этой аввакумовской традиции заметны и в сочинении 1958 года, хотя, как справедливо отметил известный ленинградский филолог Л. А. Дмитриев после нашего рассказа об этом памятнике, он напоминает по языку и писательским приемам самые древние жития святых Русского Севера.

Связи с литературой Севера, Поморья очень характерны и для «официальной» сибирской литературы XVII века, и для народных сочинений востока России в последующие века. Когда я ранней весной прошлого года впервые взял в руки манускрипт с житийным рассказом о разгроме 1951 года, для меня замкнулся какой-то круг собственной моей жизни: четверть века назад новосибирские археографы начали изучение сибирской народной книжности нескольких прошлых столетий, века нынешнего, и мне в первой же экспедиции удалось увидеть в горах южной Сибири не только действующий скрипторий (мастерскую по изготовлению рукописных книг), но и сами памятники литературы крестьян Урала и Сибири. Литературы, о которой мы ранее, в общем-то, и не подозревали. С небольшой книги в восьмью долю листа, переписанною рукой главы скита и главного умельца скриптория о. Палладия, началось наше знакомство с сочинениями, авторами, приемами и жанрами народной литературы Урала и Сибири XVIII — XX веков. И вот теперь оказалось, что все это имеет отношение к историко-житийному повествованию, включившему в себя и рассказ о событиях 1951 года.

Итак, я держу сейчас в руках современный манускрипт в четвертую долю листа на 324 страницах (162 листах). Дело происходит в хранилище древних книг Сибирской Академии наук, у полок, тесно заставленных старинными фолиантами XV и последующих веков, среди коих год от года все больше бесценных свидетельств народной книжности, литературы рядом с многотомными справочниками по водяным знакам, по древнерусской текстологии, палеографии. Вот стоят, например, три толстенных тома, составленных в конце XIX — начале XX века по единому плану в зауральских крестьянских семьях Силиных и Макаровых, огромная тематическая энциклопедия популярных в крестьянской среде текстов, созданных человечеством за три с лишним тысячелетия, от Моисея и царя Давида до Аввакума и современных народных книжников. Когда мы с женой впервые увидели эти тома у стариков, перебравшихся из опустевшего деревенского центра двухсотлетней книжной культуры в панельный дом нефтяного сибирского города, нас поразила масштабность этого крестьянского труда, благополучно совершенного по велению собственной души, без чьей-либо помощи или «идеологического руководства». Ведь в каждом из этих томов — от полутора до трех тысяч страниц; был еще четвертый том, недавно исчезнувший (в районе побывало несколько аферистов, охотившихся за стариной якобы по поручению не существующих старообрядческих общин), дошла лишь часть оглавления этого тома с общей нумерацией страниц более 7600. И свод этот был повторно переписан Варсонофием Макаровым со значительными вариантами еще раз или даже два раза! Одно лишь описание дошедших трех томов, изданное опытными археографами Л.В.Титовой, Т.В.Панич, О.К.Беляевой, занимает более 110 страниц современного типографского набора.

Это лишь частный штрих, свидетельствующий о толще того крестьянского культурного слоя, с которым мы впервые столкнулись в Сибири в 1966 году, когда о. Палладий протянул мне ту маленькую книжицу. Дело было на небольшой зеленой поляне перед его крохотной кельей, поставленной впритык к огромному гранитному краю, близ потайного хода в горы (предосторожность отнюдь не лишняя — пустытника несколько раз арестовывали, побывал он перед войной и на той дальневосточной пересылке, где кончились дни Осипа Эмильевича Мандельштама; но Палладию удавались смелые побегі — однажды в монашеском своем одеянии он прошел тайными горными тропами: более тысячи километров). Под спокойный, мелодичный шум горного ручья, где в специально отгороженном садке плескались пойманные скитниками хариусы, я читал по этой книге для обитателей скита сочинение о преследованиях старообрядцев светскими и церковными властями Российской империи. Сочинение это принадлежало к неизвестному дотоле жанру — «Родословию» целого старообрядческого согласия, главной его целью было показать преемственность истинной веры в сменявших друг друга пустынножительных общинах часовенных, уходящих все дальше в глубь лесов от гонений и насилий. То первое «Родословие» было составлено о. Нифонтом по поручению Екатеринбургского собора 1887 года и содержало рассказ о местных делах с петровских времен, используя сочинения тогда еще неведомых науке народных писателей XVIII века — холопа Максима, крестьянина Мирона Галанина, заводского жителя Тимофея Заверткина и других. Позднее мои свердловские коллеги и ученики, возглавляемые энергичным археографом Рудольфом Германовичем Пихоей, найдут еще несколько таких родословий. Кроме другого родословия часовенных, созданного в 1871 году о. Валентином, станут известны родословия поморского, федосеевского, филипповского согласий старообрядцев. Но во всех них описание событий не шло далее конца XIX века.

И вот сейчас, спустя четверть века наших поисков, в моем доме на Золотодолинской появился после длиннейшего пути из восточносибирских лесов невысокий седобородый старик, уже года два приглядывавшийся ко мне, проверяя рассказы общих таежных знакомых о таком странном явлении, как наша археографическая лаборатория. Первое появление Афанасия Герасимова было в тягчайшее для меня время, когда от глупой врачебной ошибки нашей академической медицины мучительно умирала моя жена, умевшая радушно и тактично принимать таежных посланцев. Она успела познакомиться со стариком, посетовала даже, что не в силах должным образом встретить его сейчас. Позднее я читал привезенные стариком эсхатологические и полемические его

сочинения, а теперь вот получил от него на время обширное произведение, объединявшее труд многих поколений народных книжников. В предисловии к этой рукописи говорилось, что она была создана «в лето 7471» (1962/1963 г. по нашему летосчислению), но рассказ в ней был продолжен красивым полууставным почерком моего гостя до событий начала 1980-х годов.

Протограф этой книги должен был сгореть в разгроме 1951 года. Но рукопись на сей раз не сгорела. Содержавшиеся несколько дней под караулом в сарае скита пустынники ухитрились, несмотря на охрану, закопать тонкую книжицу в землю. Они не смогли, хоть и пытались, спасти толстые фолианты Священного писания, творения отцов Церкви. Книги эти вместе с иконами были свалены для сожжения в соседнем помещении. Они спасали свою историю. Когда горели все постройки скита, огонь был так силен, что слегка опалил и листы закопанной в сарае рукописи. Через несколько лет ее откопали и бережно переписали, восстановив утраченное и дополнив затем рассказом о последних событиях.

Родословие о Нифонта наряду с другими источниками широко использовалось в этом сочинении, но само оно было создано в традициях другого, очень древнего жанра — патерикового. Одно из самоназваний произведения такое: «История о отцах и пустынножителех, в последнее гонительное время подвижавшихся в северных краях Руския земли, в пределах Уральской и Сибирской пустыни». Название это заставляет вспомнить и о литературных традициях XVIII века знаменитой Выгорецкой киновии поморского согласия Семена и Андрея Денисовых, и о патериках раннего христианства и Древней Руси.

Патерик рассказывает о жизни монахов какой-либо знаменитой обители, группы скитов одной местности в течение ряда лет, причем житию каждого чернеца обычно посвящается отдельная глава. Пустынники, авторы сегодняшнего урало-сибирского сочинения, стремятся следовать законам этого жанра, они не скрывают, а, наоборот, подчеркивают, что хотят подражать древним патерикам, с почтением цитируют два из них — «Лимонарь» («Синайский патерик») и «Азбучный патерик». Изложенные в этих книгах жития древних подвижников, случаи из их жизни веками служили высоким целям этического воспитания русского читателя. Они же давали запоминающиеся примеры жизни в согласии и мире с окружающей природой, подчас суровой; безмолвный, гармоничный храм природы — другая, наряду с Библией, книга божественного откровения, намек на непознаваемые высшие цели бытия.

Сибирские авторы нового патерика свободно и привычно живут и пишут в традициях этого жанра и этого мировоззрения. В сочинении 58 глав, и в подавляющем большинстве каждая из них рассказывает о каком-то одном пустынножителе или об одной связанной с ним истории (есть, правда, исключения, но такое случалось и в древних патериках). Речь идет, естественно, о старообрядцах Урала и Сибири, и детальное повествование поэтому начинается с тех знаменитых борцов XVII века за старую веру, от коих ведут свой корень большинство последующих старообрядческих согласий. На первых страницах «Истории о отцах и пустынножителех...» мы находим имена Аввакума, дьякона Федора, Епифания, Лазаря, Дионисия и других; но повествование это краткое, несколько больше внимания уделяется лишь основателю часовенного согласия керженскому иноку Софоню, разгрому Керженца при Петре I, казни тамошнего дьякона Александра.

Но со времени массового бегства в 1720-е годы сторонников Софония с Волги на Урал повествование становится гораздо более детальным, появляются первые точные датировки событий. С 1724 по 1821 год можно составить почти непрерывную цепь основных дат, отражающих этапы жизни и миграции главного пустынножительного центра часовенных, где развернется деятельность будущих знаменитых руководителей этого центра отцов Дионисия, Иова, Максима (холопа «из нагайских татар»). На могилы пустынножителей собирались на уральских Веселых горах многотысячные толпы паломников, в нашем патерике рассказывается, как сокрушали власти этот обычай в 1920-е годы и как он опять и опять возрождался потом вплоть до 1955 года.

Вот лишь некоторые звенья той цепи событий в жизни общины, которые отражены на страницах патерика, — приводим их для характеристики глубины народного исторического сознания востока России. XVII век — проповедь Аввакума, первые самосожжения на виду карательных команд. 1724 — 1725 годы — о. Никифор постриг о. Иова. 1729 год — о. Иов постриг о. Максима,

ставшего после смерти в 1751 году своего учителя во главе общины. 1765 год — тайная поездка о.Максима в Москву, где ему как-то удалось ознакомиться с церковными документами и источниками по вопросам, волновавшим общину. 1775 год — собор на Нижнетагильском заводе с обсуждением этих вопросов, отношения к таинству священства. 27 мая 1783 года — кончина о.Максима и разделение общины на четыре части, во главе одной из них стал схимоинок Власий Тянигин, из заводских жителей. Ему наследовал о. Никодим, умерший 12 мая 1843 года и оставивший после себя схимоинок Лаврентий. 13 августа 1867 года Лаврентию наследовал будущий автор «Родословия» инок Нифонт. После смерти о.Нифонта 26 января 1890 года во главе общины остались его ученики о.Савва и о.Силуян. В 1892 году они решили, что скрываться и дальше на укромных лесных заимках уральских староверов становится опасно, и перевели обитель в более глухие места, на реку Чулым «в томских пределах».

В 1917 году, когда наступило «смятение» (по терминологии патерика), о.Савва перенес основную часть скитов в Колыванскую тайгу, а о.Силуян с несколькими монахами уехал на Дальний Восток, «на открытое море». В 1924 — 1925 годах о.Савва стал составлять продолжение главного исторического труда своего учителя — патерик приводит длинные выдержки из «Родословия о. Саввы»; это и все последующие продолжения «Родословия о.Нифонта» были ранее нам неизвестны. Перед смертью (18 декабря 1927 года) он поручил руководство общины отцам Симеону и Мине. В 1932 году в Колыванскую тайгу пришло известие о разгроме властями обителей на Дальнем Востоке, а еще через несколько лет колыванские скитники поняли, что и им с неизбежностью надо, пока не поздно, опять сниматься с нелегко освоенных мест и снова отправляться подальше от торжествующих слуг Антихриста.

21 мая 1936 года на разведку был отправлен мужественный и опытный землепроходец о. Антоний, выведавший и дальние укромные места в бассейне Енисея, и тайные пути к ним в обход опасных населенных пунктов. Десятки пустынноиков, отцов и матушек, вместе с их верными крестьянскими почитателями из мирян переселились несколькими группами, разбив весь путь на три — четыре отрезка. Забирали все «божество» (иконы, книги, лестовки, поручи, ризы), минимум продовольствия и семян, рыболовную снасть, гнали через тайгу скот. Строили в промежуточных пунктах тайные укрытия в лесу. Великий переход этот в пару с лишним тысяч верст начался в 1937 году и завершился весной 1940 года. Расселились группами маленьких скитов и крестьянских заимок близ небольших речек по обеим сторонам Енисея. Там «пожиша в тишине и безмолвии... пребыша мирно до наступления весны 7459 г.» 23 марта 1951 года военная экспедиция карателей захватила и разгромила первый скит, затем та же участь постигла другие, после следствия с пытками и суда арестованные в мае 1952 года были разосланы по лагерям. 5 августа 1953 года в лагере скончался о. Симеон.

Но в декабре 1954 года все выжившие были освобождены, постепенно они восстановили на ином месте свою общину, во главе которой долгие годы находился о. Антоний, умерший 13 марта 1977 года. Возродилась книгописная традиция. Несколько человек описали свои мучения. О.Антоний в 1964 — 1965 годах поведал о тяготах переселения из Колыванской тайги, а в 1967 — 1968 годах написал автобиографическое сочинение. В патерике есть рассказы и о пустынноиках последних лет, быть может, повествование будет продолжено.

На страницах патерика пустынножители нашего века постоянно ссылаются на авторитетные примеры из жизни и трудов иноков прошлых веков, особенно своего часовенного согласия. Возникает удивительное, невероятное для сегодняшнего времени яркое ощущение живой связи с людьми «века осьмнадцатого», других столетий. Можно выслушать их советы, нравственные поучения, оценить не только их высказывания, но и поведение в трудные минуты, верность древнейшим святоотеческим правилам. Автор патерика десятки раз во время рассказа о событиях XX века возвращается к случаям из жизни «древних отцов» Урала (и наоборот, в главах об уральских пустынноиках XVIII — XIX веков повествуется и об их посмертных чудесах, относящихся и к XX веку).

Важный вопрос: каковы источники знаний народных историкографов о столь далеком прошлом? В основе нашего патерика, постоянно переплетаясь, лежат источники и письменные и устные. Базу первых составляют, естественно, книги Священного писания и Священного предания, основной текст начинается со

слов Евангелия от Матфея, толкования Иоанна Златоуста. Из творений святоотеческой традиции значительное место отводится авторитетнейшим в монастырской жизни этическим нормам, запечатленным в трудах аввы Дорофея, Ефрема Сирина, нашего русского пустынножителя Нила Сорского.

И рядом — обширные цитаты из сочинений местных крестьянских писателей XVIII — XIX веков. Наряду с «Родословием о. Нифонта» постоянно используются четыре или пять родословий, составленных его преемниками. Создатель патерика имел в своем распоряжении и богатый эпистолярный архив — десятки посланий уральских и сибирских пустынников. Характерно, что подобный «архивный» период современные исследователи истории народной книжности обнаруживают в начальную пору деятельности многих старообрядческих центров. Н.Ю. Бубнов, например, изучает это явление применительно к московскому и другим центрам XVII века. Урало-сибирский патерик пестрит указаниями на подобные свои источники: «с письма матушки Фаины», «от послания матушки Македонии», «ученик о. Саввы Александр повествует сице», «дожде рукопись о. Антония», «прощальное письмо о. Симеона», «с рукописи о. Макария Уральского», «с рукописи о. Тарасия Мурзина», «дожде матушка Енафия», «послание к матушке Тавифе», «с рукописи матушки Фаины». Целый пласт когда-то тщательно хранимых памятников народной письменности. И, увы, неизвестно, что из них избежало костров карателей.

Автор патерика проявляет достаточную широту взглядов и не чурается использовать нужные ему сведения «внешних» авторов — от Мельникова-Печерского и уральских краеведов начала нынешнего века до моего «Путешествия за редкими книгами» (М. 1984, 1988). Непривычные для пустынножителей словоупотребления таких книг разъяснены в примечаниях. Вместе с тем обильно используется устная историческая традиция: постоянны отсылки к устным рассказам пустынников и крестьян-мирян. Зачастую буквально на наших глазах совершается превращение устного текста в письменное произведение о подвижнике — совсем как в древних житиях Русского Севера. Иногда устный рассказ передается несколькими поколениями, прежде чем попасть в одну из глав патерика. Так, рассказ об умершем в 1830 году иноке Павле (глава 12) был сообщен о. Валентином о. Нифонту, тот передал его о. Савве, последний — о. Симеону, который и «поведа его нам», как пишет автор патерика.

Содержание 58 глав этого сочинения вполне традиционно — рассказы о подвижнической жизни пустынников, о чудесах и видениях, о мученичестве за веру. Могилы первых иноков этой общины, находящиеся близ Нижнего Тагила, на Веселых горах, славились исцелением бесноватых, собирали многотысячные толпы паломников.

Исцелений и исполненных предсказаний на страницах урало-сибирского патерика немало. Зачастую в чудесах проглядывают черты крестьянского быта. Вот, например, чудо, о коем поведал некий крестьянин, «деда Иларион Иванович»: «Была у меня кадь меду и оказалась закрыта неплотно и по грехом пали в мед две мыши. Аз, рече, лопатую почерпнул их со всем с медом и бросил. А из кади верхний слой собрал в корыто». Затем по его просьбе пришел соседний пустынножитель и «исправил мед в каде и в корыте» при помощи освященной богоявленской воды. Но деда Иларион, не поверив до конца в это исправление, сказал: «Я не буду сам-то ясти из корыта-то, но и челам скормлю». Однако пчелы — дивное дело — «не прикоснулись меда». Через несколько дней пустыжник объяснил крестьянину, что все дело в его «маловерии... я ведь одинаково как в кади, так и в корыте исправил». Тогда Иларион «взем лжицу, ознаменовался крестным знамением; с верою хлебнул из корыта и поставил пчелам. И абие нападоша и изъядше вся». В рассказе этом ярко проявились характерные черты народного православия в сочетании с крестьянским прагматизмом.

Тот же крестьянин поведал о другом, куда более важном для него чуде. Во время первой мировой войны он попал в германский плен, хотел бежать от охранявших пленных жандармов, затем из поезда, «но несть мочно, понеже бодро блюдут». Тогда он стал молиться святителю Николе об избавлении из плена. «И ста поезд, и нас погнал конвой. И со мною, рече, нечто случися, нападе на меня обморок, и повалихся, испстухих из ряду, и навалихся на стену, они же мимо идоша. Аз же в себя пришед, обретохся един стою, и устремихся бежати под вагоны. И слышу оных кричащих: „Потеряли, потеряли единого“. И тако избавлен бых святителем Николю, приидох к своим».

Но воспоминания о германском плене — далеко не самое страшное в нашем памятнике. Пустынножители, веками привыкшие уходить все дальше в горные и таежные дебри от «зверонравных антихристовых властей», столкнулись в последние десятилетия с гонениями невиданной силы. И тема эта звучит в патерике все сильнее, особенно с 1930-х годов. Тема гонителей и мучеников. Вот, например, рассказ об о. Лаврентии из сыльвенских крестьян («с рукописи матушки Акинфы»). Долгое время он не хотел оставлять своих духовных детей на Урале, все задерживая свое неизбежное путешествие на восток. Лишь когда в 7440 году (1931/1932) «стало смятение велие на всех живущих, и тогда он поехал искать места под Кузнецком, и оттуда на Абакан. И тут присмотрели место, перевезли багаж, но жить не пришлось, ибо узнали власти и взяли его под стражу». В заточении «очень его мучили», всячески издевались над верой арестованного пустынножителя. «Ему давали в руки Евангелие и говорили: Брось его на пол и топчи! Он этого не делал, они сами бросят и начнут его бить, сколько хотят, на допросах, и опять отнесут в камеру тюремную. Когда ему говорили на допросах, что отрекися Евангелия, он им говорил, что благодарю Бога, сподобившаго мя за Его пострадати. Питаться не стал, говорят, сорок дней не вкушал пищи».

Мы можем это, переведа на язык современности, назвать политической голодовкой против издевательств над заключенным. И немалая доля истины в такой характеристике есть, но дело тут глубже. В часовенном согласии старообрядчества старались строго соблюдать древние церковные правила, запрещавшие смешиваться с неверными в пище, питье, посуде — употреблять приготовленную иноверными еду, участвовать в совместных с ними трапезах и т. д. Катаклизмы нашего века, резко усилившие у часовенных ощущение приблизившегося вплотную конца света, остро поставили вопрос о душепагубности любой пищи, хоть как-то связанной с антихристовым богоборным государством и его слугами (в постановлениях послевоенных соборов эти последние получили очень точное наименование — «кадровые»: «если кто поест у кадровых или в гости к ним побывает... — 300 поклонов» епитимьи). Получать пищу из рук тюремщиков — кормиться от Антихриста. Конечно, в реальной жизни столь строгое непринятие даже лагерной пайки от безбожной власти случалось сравнительно редко; после XX съезда КПСС Ангарский собор 17 декабря 1957 года принял и формальное решение, слегка смягчавшее для заключенных последствия за нарушение подобных запретов. Но все же непринятие в тюрьме пищи о. Лаврентием — явление более глубокое, чем протест против поведения следователей.

О конце этой истории патерик повествует скупо: «Потом его отпустили на квартиру, тут он и преставился 6 июля, а память ему 16 июля. Был мужественный и крепок телом».

Трагическое завершение при почти идиллическом скитском начале имеет и еще одна из глав патерика: «О отце Георгии и матушке Павлине, с рукописи и от сказания о. Антония». В Колыванской тайге о. Георгий был келарем (экономом) обители и отличался исключительным трудолюбием. Автор его жития вспоминает о тех недолгих временах сытости с некоторой ностальгией по хорошо освоенному поселению на плодородной земле, которое пришлось покинуть, снова оставив зарастать лесом участки тайги, раскорчеванной за годы изнурительной работы, переселяясь в суровые, бесплодные края. Для всего образа мыслей крестьян-пустынножителей очень характерно, что весь рассказ пронизан и народной трудовой этикой, и христианскими идеями смиренного, но непреклонного непринятия мира зла. Соединение того и другого — в популярнейших у старообрядцев заветах раннехристианского социализма, от афористичной формулы апостола Павла «кто не работает — тот не ест» до нравоучительных напоминаний инокам аввы Дорофея и Ефрема Сирина о том, что монашеские общины обязаны кормиться плодами рук своих.

О. Георгий показан в патерике как образец смирения (он говорил даже, что недостойн христианского погребения) и как неутомимый работник, добровольно выполнявший работу за двоих. Именно потому святой дух благословил его труды и им сопутствовал успех: «А хлеб пек зело хороший, корки никогда толстой не было, и сырого тоже не было. И всю пищу приготовлял вкусно для питания братии. И был добр огородник, вся овощь у него росла хорошо, ботун во все лето не приедали, даже и ко старицам носили и на зиму насаливали. Лук у него

рос крупный и капуста тоже росла, хороши вилки и крупны, словом что умел ходить за огородом».

Но эта радостная для рачительного крестьянина картина вскоре сменяется страшными описаниями голода. Во время переселения из Кольванской тайги маленькая группа старцев, стариц и мирян вынуждена была после труднейшего зимнего пути почти в тысячу верст укрыться в тайном убежище вдали от жилья. Продовольствия у них было мало, но уговорились, что вскоре за ними зайдет о. Антоний и направит их в другую промежуточную базу. Однако случилось так, что о. Антонию самому пришлось с трудом уходить от выслеживавших его властей, осторожности ради скрываться и от некоего «охотоведа, сажившего ондатров и соболей». Тем временем продукты в землянке о. Георгия кончались. Еще перед тем «б месяцев ели мало хлеба с торфом». Теперь «60 дней жили без хлеба, из торфа с ягодами пекли лепешки и солону горячую воду пили». Была, правда, очень рискованная возможность: выйти за хлебом «в мир», где их, как оказалось, уже разыскивали. Но и не зная об этом, «о. Георгий говорил, что я хлеба ради не поеду в мир, лучше с голоду умереть, как пишет священноиннок Дорофей в 10-м слове. Часто просил он нас прочитать это слово (писала позднее об этих страшных днях матушка Акинфа. — Н.П.), сам не умел, был неграмотен».

Вот уже три столетия в национальной нашей культуре чтится подвиг высокообразованной аристократки Феодосьи Прокофьевны Морозовой, принявшей голодную смерть, но не изменившей своим убеждениям. Подвиг о. Георгия затерялся в кровавом месиве наших десятилетий. Мы сумели сегодня прочесть лишь первые листы огромного фолианта — мартиролога XX столетия.

Умерший 30 марта 1939 года о. Георгий был отпет остальными обитателями землянки, но похоронить его у них уже не хватило сил. Долгое время в соответствии с собственным предсказанием он был просто «загребен снегом», пока во время одной из последующих рискованных экспедиций о. Антония тот, сделав изрядный крюк, не похоронил о. Георгия по полному иноческому чину...

Второй умерла матушка Павлина. Удивительно ее предсмертное предсказание. Она пообещала оставшимся, что они еще «хлеба белаго поедят», но потом настанет, к несчастью, «перелом в жизни». Патерик поведаёт, как на новом месте, освоенном изнурительным трудом, сбудутся эти слова. Многолетний трудный путь на новое место описан в патерике со слов нескольких участников переселения. Есть здесь и пространный рассказ самого о. Антония. Когда я читал эти страницы, я поймал себя на мысли, что при всем своеобразии этого тайного перемещения большой общины, уходившей от коллективизации, есть здесь и традиционная для истории Руси и Сибири тема. Тема вольнонародной крестьянской колонизации, побега от крепостничества, тема народного освоения севера и востока страны. Веками эта тема была связана и с голодовками, и с нелегкими путешествиями, и с упорным трудом земледельца. И это постоянное стремление в необжитые места! Вспомнилась знаменитая довоенная работа А.П. Окладникова: исследование поселения землепроходцев на острове Фаддея, обитатели которого умерли в XVII веке от голода.

Но вернемся к рассказу о. Антония. Он подробно повествует о своих путешествиях 1936 — 1940 годов: о скрытном передвижении за тысячи верст небольшого разведывательного отряда землепроходцев, о выборе места для поселения и о поэтапном перемещении туда нескольких десятков пустынников, а также связанных с ними общей целью крестьянских семей. (Подобные семейные заимки, недоступные взору начальства, нередко появлялись близ скитов как в XVIII, так и в XX веке. Свердловские археографы нашли послание 1926 года о конце света; оно было отправлено крестьянской семьей, переселившейся вместе с о. Саввой в Кольванскую тайгу, многочисленной родне, оставшейся на Урале.) Зимой 1935/1936 года по разведанному пути с о. Антонием отправились крестьянин Кирилл Яковлевич и шестеро старцев и стариц. «Повезли книги, иконы и прочий багаж. Дорога была опасная, много было страха у путешествующих, но десница Божия покрывала их. Опасные места ехали по ночам». Власть что-то узнала о них, их разыскивал некий «председатель». Близ заимки Козловой, где еще жили единоличники, дорога раздваивалась. Старцы знали, что «председатель» поехал по какому-то из двух путей, но не знали по какому. «Отец Антоний ехал впереди и, не доезжая до своротка, он заповедает коню: если нет на Козловской председателя, дабы своротил на

Козловскую, а если он там, то прямо иди на Бьюркову». Конь свернул на Козловскую, а «председатель» в тот день оказался на Бьюрковой. Переоночевали спокойно, за следующий день ушли далеко от опасных мест, крадучись пересекли проезжую дорогу. На следующей ночевке их настигла.

Но даже в те страшные времена бюрократическая разобщенность разных частей механизма подавления давала иногда надежду на спасение. Пустынников догнал вооруженный отряд, имевший свою четкую задачу: изловить хозяина прикрывшей их избушки, некоего Нестора. «Сей Нестор сбежал из тюрьмы, скрывался. При путешественниках пришел, поужинал и скрылся. Ночью приехал начальник Анковады (!) и с ним еще двое искать Нестора. О.Антоний еще не спал, пошел наружу и точию спустился с крыльца, подскочил к нему начальник, ударяет пальцем в грудь и вопрошает его: Слушай, хозяин, а хозяин где? О.Антоний думает: если скажу, что был хозяин дома, то буду Июда предатель. А если скажу — не был, то ведь нас 8 человек и могут иные сказать, что был дома, и тогда начальник может даже меня забрать. И, наконец, заключил в уме не быть предателем, ответил ему резко: Не видал никакого хозяина». Остальные не сговариваясь показали то же. Отряд НКВД тут же уехал.

Дальнейшее изложение изобилует описаниями труднейших переходов. «Обратно пошли с Михайлова дня двое, о.Антоний и о.Виталий на лыжах, у них не хватило хлеба на 4 дня, шли голодом, да еще был тогда мороз»; с трудом дошли до деревеньки, «жители дали им ведро муки и с ним дошли до места». «А с 6 декабря, с Николы... братья все пошли на лыжах с нартами... оставили одного о.Максима. Подъему не было, дни коротки, ночи морозны и без хлеба, точию на одной заварушке жиденькой, одну кружку на человека, а когда и на пятерых 4. Дошли с Божией помощью благополучно до о.Симеона и пояснили о местах все». «А весной паки пешком отправились» дальше, «да еще со скотом. И помыслили, затолико дальное расстояние, около 200 верст сколько было трудностей и опасностей: реки, рема¹, непроходимыя галей и ломашники, и с котомками, да и на коровах тоже котомки. И вся сия минули за отеческия молитвы с Божиею помощью благополучно, а попечение все и руководство опять же на о.Антонии».

На новом месте тоже сначала голод и тяжкий труд. «Тут хлеб стряпали напополам с гнилушкой, даже так случалось, что на один ковш муки гнилушки клади от трех ковшей и до пяти и квашню никогда не солили. И о вариве тоже скудно было, также и о одежде и обуви. А работа была тяжелая: раскарчевка пашен и постройка келий». Автор нашего столетия рисует традиционные картины русской земледельческой колонизации от Белого моря до Тихого океана, от Киевской Руси до наших дней.

Тяжелые путешествия по делам общины не раз выпадали на долю о.Антония и позднее. Однажды он вместе с тем же Кириллом Яковлевичем сплавливал на лодке по Енисею немалый груз, «около 60 пудов. На Енисее объезжали некий остров, и когда выехали на средину Енисея, поднялся сильный ветер и волны, и уже постигла темная ночь, волны стали заплескивать в лодку». Буря на Енисее! Хотя и сам я плывал по нему немало, в памяти тут же встает намертво зазубренное еще на студенческой скамье — сравнение, которое так любил вставлять в свои речи Иосиф Виссарионович: гребцы, застигнутые на Енисее бурей, могут опустить в отчаянии руки, и тогда они наверняка погибли, но могут смело вступить в схватку со стихией, выгрести, победить. О.Антоний не опустил руки. Но дальнейший рассказ патерика выдержан в духе этого жанра — это рассказ о чуде: «И по смотрению Божию у о.Антония обрелись в кармане несколько гвоздиков, и ими приколотили брезент к лодке, и тогда не стали волны заплескивать в лодку. И в такой опасности сохранил Господь от потопления за отеческия молитвы».

Дальнейшее плавание по притокам тоже далось нелегко: «...воды мелко, лодка засекает, ветер, дождь, снег, холод. Река замерзает, пошла шуга и река стала. А проехали только около половины. Склали багаж, сделали лыжи и нарты. С 11 октября пошли на лыжах, снегу мало, трава, чаща, воза большия. Шли 17 дней, погода не равна: то снег, то холод, то слякоть, оттепель». Однако

¹ Р е м а — пойменный кустарник.

смелый землепроходец о. Антоний все преодолел. Рассказ о его подвигах завершается свидетельством одного из «самовидцев»: «Мужествен был он духом, но и телом крепок бе, когда ему куда-либо нужно ийти, сго ничего не держало, ни дождь, ни снег, ни распута, ни мороз».

Более десятка лет на новом месте пустынники и крестьяне «пожиша в тишине и безмолвии». Но повествование наше уже подходит к своей кульминации — к рассказу о страшном разгроме поселений в 1951 году. Событиям этим посвящена особая повесть, составляющая 38 главу патерика. В конце повести автор поместил традиционную просьбу извинить его «за все грубые ошибки, недоразумения и забвения». В конце он указал дату завершения своего труда и по традиции древнерусских книжников тайнописью («цифровой литореей») начертал свое имя: «Написася сие дополнение к кнize Родословной в 7466 (1958) году, закончена 1 марта. Написано многогрешным и недостойным имени и звания, слагаемо численностию является десятичное число и пятичное и сотое с седмидесятим и пятьдесятое последи». Имя расшифровывается Иерон. Грамотный крестьянин Иерон Алексеевич, укрывавшийся от колхозов недалеко от пустынников, был свидетелем и жертвой погрома.

Иерон рассказывает, что беглецы «пребыша мирно до наступления весны 7459 (1951) года, до опустошения и раззорения и обителей сожжения безбожными суровыми безчеловечными властями. Аще и прежде сего с воздуха многое время назираху, а в сие время по земли шествующе, явишася послании отряд безбожных варвар, со оружием и палицами, аки на разбойников, жаждуще во един бы час пожрети и истребити всех, но не имеху на се позволения и невозможно было им всех скоро яти, яко разсеяни бяху, жилищам сокровенным по разным местам укрывающися, и стези не имуще к жительству своему, яко мнозех без вожатых невозможно бе обрести».

Иерон рассказывает, как недалеко от первого женского скита каратели смогли захватить несколько крестьян и «плениюще сих емляху с собою в путь... всех пленных впрягаху аки скота, хотяща и не хотяща, нудяху шествовати с ними... везуще с собою оружие и продукты питания». Автор удивляется, как быстро шел на лыжах этот вооруженный отряд:

«Сии вельми спешно идуще, в малые дни великое расстояние пути проидоша, не чужаху усталости, Богу в мале попустившу пострадати, а врагу сих вооружившу с великим тишанием и скоростью текуще на раззорение стада Христова словесных овец».

В ночь на 23 марта 7459 года в среду 4-я недели святого и великаго поста неожиданно явися христианоненавистный полк безбожных варвар к... смиренным старицам, многим уже почивающим, яко ночь бе. Сии варвари по указанию своего предводителя во вся проходы раступишася и окружиша, но никто же бе сопротивляяся или бежа куда, но вси смиренно пребываху во ужасе от незапнаго нашествия дикообразных во множестве варвар, не смеюще рещи какова либо слова... По первому требованию от старших отряда было дать им пищи, накормить всех пришедших близ 40-ти человек. Сие сотвориша смиреннии старцы, всех накормиша и напоиша. А место для отдыха они зверонравнии богохульницы избраша часовню, где по прибытии сразу же сия красоту обнажиша, святая книги и иконы, попираху и сожигаху, аще и не вси первее, но егда по отезде вся сожгоша, келии и книги и иконы разве аще негде божием благоволением остаха или сокровени быша негде. Зде явная мерзость запустения творящася от них на месте святе, скверными своими руками всю святыню истребляюще, богохульными словесы и скверными не излаголанными сквернословии насмехающася и табачным дымом всюду обдыхающе».

Вокруг захваченных избушек поставили круглосуточную стражу и поместили здесь главный штаб отряда. Уже на следующий день туда насильно доставили старец соседнего скита матушки Флины, а скит со всеми книгами и иконами сожгли.

По-прежнему трудно было с проводниками. Иерон Алексеевич, несколько раз возвращаясь к этой теме, рассказывает, какими побоями и пытками заставляли пленных показывать путь. Многие захваченные крестьяне и не знали тайных дорожек к скитам, но «обретеса таковой человек, глагола им: „Аще и вем ко старцем путь, но не поведу вас, да не буду предателем церкви Христове“. В таком исповедании гнаху его пред собою биюще без милости палицами применяющася».

Так прошел день пути, ночевали все прямо в тайге, на снегу. Невольные проводники пытались увести отряд карателей подальше от главного скита о.Симеона. Пленный и шедший вместе с этим отрядом Иерон рассказывает, что, к великому озлоблению начальников отряда, скит Сергия в тот день так и не нашли. Но «во утрии 27 марта в понедельник 5 неделю поста, аще и не хотяще, обретшися близ стариц Валентины, направления пути ко старцем изменъше, сих миновахом, а ко старицам Валентине внезапно заидохом. Зде звероуравный отряд безбожных варвар много лютости показа, озлобленный неудачным походом к старцем, многих стариц напугаша, порядка свои поставиша, много наругавшися над святынею, красбту церковную обнажиша».

Поставив стражу в ските для охраны захваченных стариц, отряд наутро отправился на дальнейшие поиски скита о.Сергия. Иерон рассказывает, как всех их нещадно избивали, требуя показать дорогу, как «вышепомянутый исповедник, пребывая непоколебим во своем исповедании, глаголаше: «Не иду предавать церковь Христову с вами», они ж бияху его палицами без милости, яро взирающе и кричаще убити глаголюще и всех нас, яко не ведем их». Кстати говоря, этим «неведомым исповедником» мог быть и сам автор рассказа, повествовавший о себе в третьем лице; законами древнерусской литературы такое вполне допускалось.

Иерон сообщает далее, что захваченные крестьяне снова и снова пытались увести отряд в ложном направлении, что между ними и конвоем, постоянно избивавшим проводников, все время разгорались споры, идти на юг или на север. Но в конце концов «Богу попустившу», и каратели увидели постройки скита. (Мне вспомнились удивительно близкие рассказы о захвате старообрядческих скитов в первой половине XVIII века.)

Иерон продолжает: «Егда ж видеша обитания старцев безбожнии, тогда аки зверие дивии устремишася на них, един другаго погоняюще, со оружием на безоружных смиренных старцев насочиша, ничто же таково чающих».

Карателям были известны имена руководителей общины, в том числе отцов Симеона и Антония. Но в лицо они никого не знали. Они стали требовать, чтобы пленные старцы назвали свои имена, но те по многовековой традиции отказывались это сделать. В конце концов, чтобы прекратить истязания всех захваченных, о.Антоний назвалса сам. Симеон же находился тогда в отдельном тайнике, вырытом в земле и замаскированном так, что его невозможно было обнаружить даже вблизи. Но «обретеса таков человек, страха ради приведе их к дверем келии». Симеон тоже был захвачен и «1-го апреля в субботу акафистову в вечернее время» был под конвоем доставлен в основную обитель. Затем всех захваченных отправили в главную резиденцию отряда. Все постройки скита Сергия, где было «древних святых книг и икон великое множество», сожгли, как и другие скиты. Лишь «напрестольное Евангелие древней крупной печати и бисерные ризы со святых икон содраша, с собою взяша». Было захвачено большое количество хлеба и другого продовольствия. Раньше оно находилось во многих небольших тайниках. Но как раз накануне, прослышав о военной экспедиции, старцы и миряне свезли все продукты в одно место, чтобы разделить их между собой и бежать в разные стороны. Опоздали с этим побегом буквально на несколько часов, ведь нельзя было просто бросить книги и иконы. Да и хотели последний раз отслужить по этим книгам воскресную службу.

Так продолжали захватывать один скит за другим, каждый раз предавая огню «келии и всю святыню, книги, иконы». Подчас сжигали даже продукты. Не обошлось и без мародерства в скитах и крестьянских избах. Иерон вспоминает, что «многое безчинные воины женское праздничное одеяние емляху». Весь скот был пригнан вместе с монахами в главную квартиру отряда. С таким трудом возникшее в суровых, безлюдных местах земледельческое поселение на глазах навсегда исчезало с лица нашей земли.

Конечно же, читая этот рассказ поистине народного писателя-агиографа, видевшего все события своими глазами и в прямом смысле слова ощутившего их своею кожей, я не мог не думать, что повествование его отражает и общие судьбы русского крестьянства нашего века-волкодава. Что все частные трагедии были производными от генеральной линии, продиктованной из Кремля, со Старой площади, с Лубянки. И что каждый раз «на местах» были свои конкретные исполнители. Автор нашей повести вспомнил о них сразу же после

рассказа о мародерстве. «Главари безбожного отряда были по фамии Щербин и Валов и обыскатель народа и вещей лютый безбожный тиран Софронов и словоиспытатель Соколов».

Арестованных крестьян, включая автора повести, погнали к реке строить плоты. Уже после этого в главной квартире отряда вывели от кого-то, что остался неразгромленным скит матери Тавифы. Тотчас на поиск этого скита был послан отряд солдат во главе с «предводителем Софроновым и Нечаевым». Со слов очевидцев Иерон рассказывает, как опять начали истязать старцев, чтобы они показали путь к скиту. И на этот раз особенно отличался «зверонравный безбожный тиран Софронов». Многие старцы знали путь, но молчали, «не хотяще быти предателями». «О.Израиль дерзновенно изрече: Аз вем сих стариц, но не иду предати стадо Христово. Сей зверонравный (Софронов. — Н.П.) в ярости бияше первое толстыми палками, потом тонкими прутьями бияше без милости, потом вервию оцепив за тайныя уды влечаше без милости, дабы вел ко старцам... и прочия многа истязания и томления новым исповедником содела, богохульная наругания и срамословия воздух оскверни скверноглаголением». Один из старцев, которого пытали меньше других, все же показал путь. Скит был разгромлен в страстную среду, 12 апреля, а на Пасху все его обитатели были доставлены в главную квартиру отряда. Иерон Алексеевич особо подчеркивает, что и на Пасху конвой заставлял их делать плоты.

И все же два скита тогда удалось утаить от карателей. Уцелели «отец Тимофей и брат Макарий, а из стариц мать Анатолия с пятию послушницами, божиим изволением покрываеми ошашая, в некоей сокровенной келие близ старицы Валентины пребывающих».

О пути арестованных на плотах, о следствии и суде Иерон сообщает крайне скупо. Он не упоминает даже о пытках на следствии, о чем мне во время наших экспедиций рассказывали другие арестованные.

5 мая 1951 года 19 мужчин и 41 женщина, захваченные карателями, были вывезены на плотах «в народное место». По дороге с плотов удалось бежать двум мужчинам (о чем я знал раньше) и четырем женщинам. И еще шестерых конвой не довез до места; о судьбе их повесть умалчивает, быть может, это те, кого пуля настигла в воде; о том, что стреляли в плывущих, я сам слышал не раз, однако определенного вывода делать не берусь. Позднее доарестовали еще 14 человек крестьян («три семьи и одиночки»), затем еще трех. Позднее 27 человек, включая 8 старцев и 12 стариц, «были под строгой стражей отправлены в Красноярскую внутреннюю режимную тюрьму, за которыми более имелось подозрение от властей, яко предводящих людьми и для них неблагонадежными. Зде начались допросы и расследование от рождения и до сего времени, кто каков и откуда бысть и что имя ему и чесо ради последова на пустынное житие».

Следствие длилось немногим более года. За это время изловили и доставили в Красноярск еще шестерых крестьян. По сведениям Иерона, по делу проходило 33 человека, осужденных «неправедным судом, всех к лишению свободы и на работы сроком на 25 лет, инии же на 15 и на 10 осуждени быша. И потом вси быша отправлены по лагерям на работы, нецыи и в дальния края, кого куда по имени властели определиша. Отец Симеон, отец Антоний и Александр, и еще нецыи из старцев и мирян и мнози из стариц были отправлены в Иркутскую область».

Вслед за повестью о разгроме скитов в патерике помещено несколько свидетельств очевидцев о дальнейшей судьбе и кончине о.Симеона. Его увезли на Тайшетскую пересылку, затем в лагерь на реке Чуне. Здесь он перестал принимать казенную пищу, лишь изредка варил себе кашу, когда удавалось достать крупу. Затем он вообще перестал принимать «варево» и скончался в лагере 5 августа 1953 года: «...изнеможе телом и впаде в недуг, объят его опухоль, и памалу предаде дух свой Господеви и прият могила неизвесная для нас многострадальное тело его в недра своя». Позднее в заключении в Коми АССР скончалась и мать Маргарита.

Уцелевшие от разгрома монахи и несколько крестьян в первое время прятались на прежних местах, «одержими боязнию, бегающе аки елени». Затем маленькая эта община под управлением о.Тимофея и матери Анатолии, «ради опасности от воздушных назирателей» стала постепенно перебираться в другие места.

В декабре 1954 года все оставшиеся в живых арестованные по этому делу были отпущены с полной реабилитацией, после чего общину возглавил о.Антоний.

Помещенные в патерике тексты очень интересны для лингвиста: древнерусский язык соседствует в них с местным говором, уральскими и сибирскими диалектизмами. На этом фоне выделяются редкие вкрапления советского бюрократического новояза и лагерного жаргона. Освобождение с реабилитацией описано, однако, без употребления новых слов: «... отпущены быша на свободу восвоися, кто куда изволит — поехать невозбранно, и вины не имущи на себе никоеяже, и аки никогда же осуждены быша именоватися». Скончавшиеся же «почиша о Господе в заключении и в злострадании душа своя предавше, яко мученицы венцем победным от Бога венчани будут в день праведнаго Суда Божия».

А вот лагерные реалии. Об одном из лагерных чудес повествует мать Акинфа. Часовенные пустынножители в принципе не принимали технических новшеств, особенно же радиовещания, которое было источником антихристовых идей. Но в заточении подчас возникали трудные ситуации: «Еще когда мы были в лагере, в заключении, во время шмона, когда у нас в бараках производили обыск, всех нас выгоняли в клуб. Тамо было радио, баян, потифон и кино. И вот бывало, когда прочитаю молитву «Да воскреснет Бог» или подойду к радиу, ознаменую его крестом, и оно зашшипит, как змея, и заглохнет».

Говоря о событиях после освобождения арестованных, Иерон Алексеевич не скрывает печального для него факта, что далеко не все вернулись в общину, воссозданную на новом месте: «...мнози нецыи изволиша пространное житие и широким путем поидоша, ведущим на погубление». Но все же в заключительной части повести Иерона звучит понятная гордость тем, что гонители так и не смогли восторжествовать над свободной совестью верных. Эти последние «божиим смотрением и строением еще остаются и пребывают, согласно святаго писания, не имут бо скончатиа грады Израилевы до втораго пришествия Христова». Так заканчивает Иерон свое повествование.

Пора и мне закончить этот рассказ свой о событиях, о коих вкратце поведал Александр Исаевич Солженицын. К тому же впереди неотложное дело: когда я писал эти заключительные строки, в руки мои ненадолго попал второй том Урало-Сибирского патерика. Книга, оформленная подобно первому тому, в четверку, на 138 листах — 276 страницах; переплет матерчатый, корешок кожаный, одна металлическая застежка. Надо копировать.

PS. Не могу удержаться и приведу без комментариев лишь один рассказ из этого второго тома — о захваченной во время разгрома 1951 года матери Маргарите.

«А во время разорения в 7459-м году их вывезли с прочими из пустыни и осудили в трудовые лагеря. Мать Маргариту с иными увезли на север за Уральские хребты, на окраину Европы (в Коми АССР, Кожвинского р-н). И там она находилась в одном месте с матерью Трифеной и матерью Тарсилью, Сия мать Тарсила повествует о ней сице:

Там, в женском лагере, в четвертом отделении, где мы находились, было около 3000 человек, люди были разных вер. Тут мать Маргарита трудилась на общих работах. В праздники не работала, аще и принуждаема бе, и наказуема тюремным заключением. Воздержался от всяких плотских удовольствий, в баню мыться не хождаше. Вареву суп не вкушаше, зане с мясом бе, а принимаше хлеб точию, да кашу и малую часть рыбы, иноческий чин всегда имущи на себе.

И по некоем времени впаде в болезнь, боляше 12 дней, воспаление легких. Великое старание имяху врачи о ея исцелении, но ничто же успеха.

Она всегда собиралась домой и говорила определенно, что мы скоро все домой поедем, нас всех отпустят. Во время болезни все слышалось ей пение отцов и матерей.

Преставилась в вечную жизнь месяца марта 21, в лето 7462 (1954), на субботу ночью. Память ей 19 июля. Лице ее было светлое, и когда средили ее в чин (одели в монашеское одеяние. — Н. П.), тогда весело ослаблится, и тако лежаше в веселом виде. Даже сама начальница лагеря сказала: „Весело пошла, видно, заработала“. Подобно сему и старейшая врачей докторица рекла: „Я еще не видала таких покойников“. Когда она была вынесена в больничной коллидор,

где лежала полторы сутки, тогда тут множество людей к ней ходили и молились всяк по-своему, кто как мог, и целовали ея. Я им возбраняла это делать, потому что дни с нами веры не одной, а они отвечали, что она ведь от сего не погрешит.

Зделали ей крест по прошению нашему, но неправильно, и мы попросили их поправить его по-христиански, и они поправили, и покрасили его, также и гроб красили желтой краской. А потом в воскресенье утром, когда повезли ее из больницы в саях, тогда многочисленный народ за ней пошел толпой до вахты, и тут так же люди у нее толпились, как и в больнице. И потом уже под вечер положили ее на машину, и народу столько сяло провожать ее, сколько могло вместиться. И тако увезоша ю на кладбище и погребоша и поставиша на могиле ея крест.

Воистину достойно удивления! Как прославляет Бог прославляющих его, яко прослави рабу свою, вдохнув такое благорасположенное чювство народу, еже почитити кончину ея. Сколько было тут умерших, и люди никого так не провожали, ни к кому не собирались и такой почести не приносили, но смотрели на них с отвращением, как на чюжих, странных и иноверных. Также и власти никого из них не почитали, кресты им делать не разрешали, но презирали их как осужденных. А здесь было наоборот, сердечною любовию как магнитом всех привлекало к ней. Также и власти почитили ее, разрешили зделать крест и окрасить, и говорили о ней достойныя памяти слова, и позволили народу проводить ее на машине вопреки лагерному закону, по которому заключенные не имеют право выходить за вахту, только лишь на работу под стражей по назначению начальства.

В подтверждение сказаннаго приведем преподобнаго Феодора Студита, том 2, стран. 463, письмо 20, писано в 818 году к Ипатию о преподобном Иякове исповеднике... „Если, как ты прибавил, было многочисленно собрание при его погребении, и притом людей знатных обоего пола, то и это служит подтверждением сказаннаго, ибо не было бы такого собрания к человеку незнатному по плоти, если бы не было указания Божияго“».

АФАНАСИЙ ГЕРАСИМОВ

*

ПОВЕСТЬ О ДУБЧЕСКИХ СКИТАХ

Народную литературу мы обычно принимаем во внимание только как устное творчество, фольклор; литературоведы изучают воздействие этого творчества на «высокую» литературу. Расширение известного нам корпуса письменных литературных сочинений, вышедших из народной среды и лишь частично соотносимых с фольклором, требует более широкой постановки проблемы. Бесценные возможности для такого расширения представляет крестьянская старообрядческая литература. Она давно уже находится в поле зрения историков и литературоведов, и внимание к ней значительно усилилось в последнее время. Каждый новый год археографической работы в этой удивительной среде приносит нам все новые и новые замечательные произведения, принадлежащие перу простых русских крестьян, охотников, рыбаков, землепроходцев, начиная по крайней мере с петровских времен.

В конце XVII — начале XVIII века интенсивно шел процесс перехода многовековой древнерусской литературы в важнейший феномен нашей современной культуры — русскую литературу нового времени. Одним из гигантов, воплощавших в своем творчестве этот переход, был протопоп Авакум Петров. Творчество его, проникнутое страстной привязанностью к древнерусской традиции, означало одновременно и неслыханные новации. Среди них одна из главных — использование жанра авторского, автобиографического повествования, гордо и уверенно создаваемого в канонах древнего агиографического жанра. Ни нравственно-этические, ни художественно-литературные заветы огненального протопопа не были замечены профессиональной литературой верхов вплоть до XIX века. Но в многочисленных писаниях русских старообрядцев, все шире распространяющихся в народной среде, творчество и жизнь Авакума стали достойным образцом для подражания. В первой половине XVIII века в поморской Выговской пустыни возникла школа литераторов, историков, источниковедов, в недрах которой было написано немало выдающихся сочинений, ставших вскоре известными каждому образованному старообрядцу. Все это литературное наследие интенсивно изучается в наши дни советскими и зарубежными исследователями. На международном симпозиуме по старообрядчеству, который состоялся в Новосибирске осенью 1990 года, одно заседание было целиком посвящено творчеству Авакума, а другое — Выговской литературно-исторической школе. Но все же объем сделанного пока слишком мал. Проблема изучения и освоения корней нашей национальной культуры много глубже, сложнее и значительней. Все еще нет полного собрания сочинений протопопа Авакума Петрова. Лишь совсем недавно мы начали осознавать важность выявления и изучения произведений крестьянской старообрядческой литературы Урала и Сибири. Свердловские и новосибирские археографические экспедиции каждый год приносят нам новые памятники этой литературы. И вслед за именами народных писателей XVIII — XIX веков нам сейчас становятся известны крестьянские сочинения бурного и трагического XX века. За все три века существования этой литературы на востоке страны жизнь давала крестьянским писателям немало материала, заставлявшего вспомнить о традициях древнейшего жанра христианской литературы — мартиролога, повествования о мучениках за веру. Здесь вспоминались заветы и первых писателей-старообрядцев, и выговских авторов, рассказ о мученичестве других сочетался с автобиографическими текстами. Несколько лет назад мне довелось вести в научный оборот обширную «Повесть дивную», рукопись которой была привезена из Красноярского края экспедицией Е.И. Дергачевой-Скот и В.Н. Алексеева. Это было житие, записанное со слов его главного героя — оренбургского казака Владимира Трегубова, прогнанного сквозь строй в годы Крымской войны за отказ служить императору-Антихристу, а затем основавшего пустынножительную общину на Алтае. Несколько ярких сочинений крестьянских историографов было обнаружено свердловскими экспедициями Р.Г. Пихои, Л.С. Соболевой, А.Т. Шашкова, В.И. Байдина, А.Г. Мосина. В самые последние годы новосибирский археограф Н.Д. Зольникова и я получили доступ к сочинениям енисейских крестьянских писателей нашего века.

В этом же номере журнала (стр. 77) я рассказываю о литературном творчестве пустынножителей известной монашеской общины старообрядцев часовенного согласия, переместившей-

ся от преследования властей с Урала в Западную Сибирь и затем на Енисей. Они создали огромное историческое сочинение о пустынножителях своей общины с петровских времен до наших дней, своеобразный Урало-Сибирский патерик. В него была включена и повесть крестьянина Иерона Алексеевича Потанина о разгроме этой общины карательной экспедицией НКВД в 1951 году. Несколько небольших разделов в этом патерике — по благословению скитских старцев — написал другой сибирский крестьянин — Афанасий Герасимов, обладающий несомненным литературным талантом. Он автор интересных литературно-полюемических сочинений, разрабатывающих прежде всего традиционную для старообрядчества тему Антихриста и апокалипсических предсказаний о конце света.

Афанасий Герасимов родился в 1916 году в алтайской крестьянской семье, которая с 1929 года вынуждена была несколько раз тайно переселяться, спасаясь от ужасов коллективизации, особенно кровавых в этом регионе. С 1947 года Афанасий Герасимов провел несколько лет в упомянутой скитской общине; в 1951-м он был захвачен вместе с другими монахами и крестьянами, но ему удался смелый побег. По нашей просьбе Афанасий Герасимов составил автобиографическую повесть об этих событиях. Сейчас он продолжает вести традиционную жизнь сибирского крестьянина, земледельца, промысловика. Читателю, возможно, будет интересно сопоставить повесть Афанасия Герасимова с двумя другими рассказами о тех же событиях, принадлежащих перу А.И.Солженицына и Иерона Алексеевича Потанина. Рассказ Иерона несколько ближе к древнерусским образцам по лексике и стилю. Афанасий Герасимов также вполне владеет этими традиционными приемами, о чем свидетельствует не только издаваемая его повесть, но и принадлежащие ему тексты, органически вошедшие в Урало-Сибирский патерик. Однако самобытное литературное дарование Афанасия Герасимова придает его рассказу неповторимое личное авторское звучание.

В соответствии с правилами издания древнерусских текстов я не подвергал никакой правке автограф Афанасия Герасимова, лишь привел в соответствие с современными правилами раздельное или слитное написание слов, некоторые знаки препинания и заглавные буквы.

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ,
член-корреспондент АН СССР,
профессор.

Новосибирск.

В 1947 году я пожелал в Дупческий скит под управление отца Симеона, у меня врожденное было желание, чтоб сколь возможно больше прочитать книг церковного содержания. В свободные часы читал днями и вечерами; я всегда уходил последний с читального стола. Старцы заметили мое страстное увлечение к чтению, стали мне претендовать, и отец Симеон, узнав, стал говорить: Ты, Афанасий, братию обидишь, один вечеруешь, братский труд лучину жгешь (освещались березовой лучиной). Я говорю: Отче, я сам буду для себя лучину готовить. Он говорит: Да, наверно, ночное правило не молишься. Я говорю: Отмаливаю как положено. Отец Симеон следил за нравственностью каждого и не любил, если кто якается и хвастает, делал замечание и предлагал скромность и смирение. Предлагал книги читать посматривая, если две-три беседные или исторические, то потом детельные и нравственные. Он говорил: Беседные и исторические книги высят и гордят человека, что для нас опасно и вредно, а детельные книги смиряют, вразумляют и вопче душевную красоту предают.

Мои родители были от общества духовно понимающих о пророках и об Антихристе^{1*}, и я был такой же по наследству. Но когда познакомился с отцом Симеоном, он мне раскрыл все эти тайники, плутовство и лукавство, с тех пор я стал чувственно понимающий о временах. И теперь мне кажется, что я как будто родился и жил в подполье, а он меня вывел на электрический свет. Как я увидел его глубокое знание и начитанность, полностью отдался ему в научение, стал изучать Апокалипсис и библейское пророчество, а он охотно занимался со мной, смотря на мое кипячее желание. За четыре года при его коленях я успел схватить самое важное и нужное для меня. Я был рад до глубины души, что он так ясно мне раскрыл пророчество о последних временах, о чем я позднее написал об'яснении на Апокалипсис², посчитал необходимо

* Здесь и далее комментарии и сноски Н. Н. Покровского. (Прим. ред.)

нужным вынести на свет отеческое знание как дражайшее достояние, чтоб не уподобиться лукавому рабу, закопавшему талант в землю. А теперь пушай читают, у кого вера есть к писанию.

В 1949 году самолет часто летал над скитом и бывало садился на озеро километров около 30, он завозил Новосибирскую экспедицию. В осеннее время двое к нам пришли, продневали и ушли. А потом пришли вторые двое, у нас расположились с приборами; они измеряли давление воздуха на возвышенных горах, они нам так говорили. Ночевали у нас 4 ночи, проверяли приборы утром, а потом я проводил их на Тогульчес, кил. 30. Там к ним прилетал самолет, бросал им продукты и обувь.

В этот год у нас в скиту иконы стали извещать, стали почикивать, пощелкивать. У старцев на сердце стало волнение, говорят, что-то иконы извещают. Сперва было реже, а потом чем далее, стало повторяться чаще, каждый день пять-шесть раз шолкнут иконы, особенно древние. Таких извещений в благополучное время не бывает. А на что подумать, чего бояться, чего опасаться? Неизвестно. Бывает извещение к пожару и к переселению или еще к каким грустным случаям.

А из миру доносились разговоры, от ближайших жителей, говорят: Начальство говорили, что надо проверить Дупчес, надо Дупчес просеять. И еще разные подобные намеки давали. Это было год, два и три, но все, казалось, проходило, но если чему быть, то близилось и наступило.

Дня за два до погрома я стал вечернее правило молиться, и резко в уме вообразилось, что от меня Господь лице отвратил. Я залился слезами и пошел к старцу Иосифу, объяснил ему подробно, и он сколь смог поутешал меня, говоря: Это все бесишко шутит, надо стоять и противиться ему, а Господь от любова грешника не отвращается. Я ушел в свою келью и стал продолжать свое моление, во уме немножко облегчело, моление окончил, и больше не случилось такого впечатления.

На третий день после Благовещения Пресвятые Богородицы, 28 марта, часа в 4 дня я вышел из келии на улицу. Послышался крик, я глянул вправо и вижу толпу бежащих людей, похожее на татарский набег, с оружием в руках и с криком; друг друга переганяют, один другога подгоняют и от радости вскрикивают. У меня мгновенно мысли блеснули, что это солдатский отряд, идут на расхищение скита. Я вернулся обратно шагов 7, зашел в моленну, а там сидели трое: отец Антоний и еще двое, я, сдерживая себя от паники, как на лице, так и на словах, говорю им спокойно: Старцы, не пугайтесь, что я хочу сказать вам? Они глянули на меня и говорят: А что такое? Я говорю: Властели бегут сюда. Они спросили, далеко, нет? Я говорю: С галеи* выбегают на гриву. Это было метров 400. А сам я пошел в келарню, только через сени, и сяд возле стола. И трое старцы, скватив шубы, кинулись за мной. Из келарни был ход в кладову, а оттуда ход в картовну яму, и еще была лазея в другую картовну яму, и трое старцы улезли туда.

Я смотрю, мимо окон замелькали бежащие люди, и потом открылась дверь и показалась стволу винтовки, а за ней голова Бакулина, ярцевскаго милиционера. Я был первый от двери, подскочил он ко мне, говорит: Сколько вас здесь? Я кивнул головой на стариков и говорю: А вот все здесь. Со мной еще сидели два старика, Иларион и Иларий. Я не хотел выдавать точный счет, потому что старцы спрятались. Бакулин хлестанул меня кожанной рукавицей по лицу и говорит: Искать их надо, они распрятались. Я думаю, вот мне первое поздравление.

И пошли лазить по всем канурам; кого захватят, гонют к нам в келарню. Когда все пролазили и больше нет людей, пересчитали нас несколько раз, не хватает троих до сщоту, все же кто-то точный счет сказал. Забегали раз и два в кладову и в погреб, но лазею не замечали, потому что там темновато, а они ходили с жучками, жижикали, а потом зажгли свечи и опять пошли. Стало нам слышно, как подземный крик: Вылазь! Вот вывели и тех троих. Все сидим, в уме молитву творим. Дед Иларий кадушечку делал, говорит ему солдат: Брось, деда, делать, все одно все спорит. Деда говорит: А чо, зжигать что ли будут? Ответил солдат: Конечно. Из моленной иконы, книги и всю святыню вынесли,

* Г а л е я — открытое болото, как это дальше объясняет автор (см. стр. 97).

в сени кучей свалили, натаскали сена, соломы вместо постели и расположились начевать и проживать. И стала мерзость запустения на месте святе.

К келарне был пристроен трехстен, даже больше келарни, из него были двери на улицу и в келарню. Нас всех согнали в него, 13 человек наших и 7 человек, захваченных с ближайших хуторов. В келарню двери забили досками, а к улешным поставили караул день и ночь. Имена и фамилии всех переписали, и нужных им людей не оказалось, им нужно было отца Симеона, отца Антония и Александра. Отец Симеон и Александр здесь не попали, они были в другом скиту, а отец Антоний сказался Афанасием, тем именем, которое было до накрытия.

После этого начались допросы, говорят: Где у вас эти три человека, ищю у вас есть где-то скит? Допрашивал Костя Сафронов³, начальник отряда, во отдельной келье. Сперва вызвал Харина Онисима, точно не помню, сколько ударов он принял, но он выстоял, не сказал. После него вызвали меня. Я вошел, смотрю — Сафронов сидит за столом, в руках крутит пистолет, протирая его платочком. Этим он давал мне знак почувствовать страх, а я смотрел на пистолет, как на хлебальную ложку.

Начальник первый задал вопрос: Вот вы здесь живете, работаете на них на старших, сколько они платят вам за месяц? Я отвечаю: Нисколько нам не платят, и ни в чем мы не нуждаемся, нас кормят, одевают, а на работу они сами передом идут, а мы только позади. Он говорит: А что вас понудило сюда придти? Я говорю: Просто свое откровенное сердечное желание. Он говорит: Да, удивительно, работаете, валохаєте на них — и бесплатно. Я говорю: Мы живем не для наживы, и не для сей жизни, а для будущей, поскольку человек двусложный. Он подхватил и говорит: От души и тела. Говорю: Да. Он говорит: Вот тебе статья гласит 15 лет тюремного заключения; если расскажешь всю правду, что я буду спрашивать, тогда отпустим тебя на свободу. Скажи, где еще у вас скит, в котором живут отец Симеон, отец Антоний и Александр? Я, не желая быть предателем, говорю: Нет у нас другова скита, а эти старики уже покойные второй год. Он говорит: Врешь, гляди мне в глаза, говори правду, где ваши главари. Я немного поглядел ему в глаза и опять свел, говорю: Раз сказал, и могу повторить только это же. Он крикнул: Гляди в глаза! Я говорю: Четыре года учился, чтоб безстыдно не смотреть человеку в глаза, а ты одночасно хотишь научить, чтоб смотрел безстыдно тебе в глаза. Он крикнул: Снимаю рубашку! Я снял. Говорит: Говори правду! Я молчал. Он взял метровый бадог, уже приготовлен был заранее, говорит: Нагнись! Я нагнулся. Он ударил раза три. Разогнись! Я разогнул. Говорит: Будешь говорить правду или нет? Я промолчал. Говорит: Нагнись! Я опять нагнулся. И еще удара три добавил, хорошо было чувствительно, но не до крови. Я только думал: А как же мученики раньше терпели, их били до крови. И опять говорит: Разогнись! Я разогнул.

Он увидел — ремень висит на стене, и говорит: Возми в руки ремень, продень конец в пряжку. Я продел, и получилась петля. Он говорит: Одень петлю на шею! Я тут сглуповал, взял сам одел. Он взял за конец, подвел меня к стене, а сверху была толстая деревянная спица. Он перекинул конец и стал меня подвешивать, дыхание стало спирать. Я выдымаюсь на дыбы, и он тоже подтегает покрепче. Когда дыхание стало останавливаться, тогда он отслабил и говорит: А что же ты давишься? Я ответил: Я ведь не сам давяюсь; сколько раньше римские мучители наших христиан перевешали и перерубили! Он снял петлю с шеи и хлестанул меня ремнем и говорит: Ищю что знаешь! И сказал: Одевайся! Я оделся, и он проводил меня глазами до места.

А когда еще отряд не успел придти к нам, от нас ушел отец Даниил на Дупчес напрямую к ближним жителям, кил. 35. Они ему сказали: что в вашу сторону ушел суровый отряд, и нашего хозяина забрали с собой. Он тем же следом вернулся обратно, хотел опередить и опасность известить. А отряд когда окружили нас, заметили, что свежая лыжняца уходная. Два солдата кинулись догонять, и повстричались с ним, забрали его, привели в отряд. Начальство обступили его, стали спрашивать: Ты отец Антоний? Он говорит: Нет, отец Антоний здесь у вас. Они говорят: А кто он какой? Он говорит: А который с завязанным глазом, это отец Антоний. Начальник сам пришел в наш стан, крикнул: Отец Антоний, завязанный глаз, выходи! Увел его в отряд. А там опять стали спрашивать, где отец Симеон. Отец Антоний показал на отца Даниила и

говорит: Вот это и есть отец Симеон. Начальство сперва не доверялись, а хорошо знали, что Лаптев Кирил родной брат отцу Симеону. А Лаптев Кирил уже забратый здесь в стану. Они вызвали Кирила в отряд, поставили рядом с отцом Даниилом, как коня с быком, и сличали, похожи, нет друг на друга. И заключили, что похожи. И пока что пытки кончились.

Начальство похвастали: Мы имеем право двух-трех расстрелять из вас. Отец Антоний им ответил: Нас это не устраивает, двух-трех, нам хочется, чтоб вы всех нас постреляли здесь. Вам же будет лучше, без канители, патронов наверно у вас для нас хватит. Они говорят: Нет, отец, нам нельзя этого делать. Говорит отец: Если вы нас считаете какими-то преступниками и если говорите, есть у вас права расстреливать, то уложите нас всех здесь, нам не хочется покидать пустыню*. Они говорят: Мы уже раз сказали, что нам этого делать нельзя, это просто у нас так сказалось, будьте спокойны.

Сколько было в скиту овец, баранов для шерсти, все начальство поели, а также было христорадное масло скоромное, тоже все поели, а у нас тогда был пост великий. Остались только крупный скот.

Престарелых старичков угнали вперед. Я не был в этой путевке, как они бедны восмидесятилетние прошли этот волок 40 кил. до женского скита на Тогульчес, мне неизвесно. А там заперли их в тесный курятник.

Там был старший лейтенант Соколов, лукавый, издевательный. Он начал стариков молотить. Перваго взял деда Илария, пытал, говорил: Говори, где еще у вас есть мужеский скит? Он укрепился, не выдал. Соколов бил его палкой. Дед ревел, но терпением одолел. Отпустил его и взял вообще хриплого старика Германа, крикнул: Говори, где еще у вас есть мужской скит? Старик зачастил: Я не чо не знаю, я не чо не знаю. Соколов ударил его раз или два палкой, старик почувствовал боль и признался, что еще есть скит кил. 12 от этого, в котором жили. Соколов спросил: А кто туда знает дорогу? Дед сказал: Отец Никита и Онисим оттуда пришли.

Соколов все это записал и отправил нарочного солдата. Мы смотрим, мчится солдат употевший, зашел к начальству. И вот из нашего стана вызывают отца Никиту в отряд. Для большого ужасу, обступили его с палками, а его посадили на стул, они ему показались страшнее медведя: с ярыми глазами, с оскаленными зубами, кричали: Собирайсь, веди нас во второй мужской скит 12 километров! Тоже раз или два ударили, он говорит: Мне дорогу не найти.

А потом вызвали Онисима, он уже не стал сопротивляться и доводить до побоев, согласился вести. Пришел в стан, обулся и оделся — и отправились.

Пришли туда вечером, забрали всех, но их было всего только пятеро. Стали переписывать фамилии и имена, тут обнаружили Александр и отец Симеон, что которых они допытывались. Они старца спрашивают: Как ваша фамиль, имя, отчество? Он говорит: В миру я был Лаптев Софрон Яковлевич, а теперь по накрытию черноризец Симеон. Они говорят: Врешь, у нас отец Симеон уже там забраный. Говорит отец: Я ничего не знаю, кто там моим именем сказался. Они открыли глаза во всю ширь и догадались, что это действительно отец Симеон, а тот там лже-Симеон.

Кельи, книги, иконы — все сожгли наотло. Сожигатели ужаснулись и удивились такой массе книг, но по своему озверению ничему цены не предали. Не исчезть, каких только рукописей не было⁴. Но для свиньи и барана это все не ценно, да если и люди подобны им.

Самих старцов пригнали в наш стан. Дня два-три приотдохнули, начальство объявили выход. Приказали сена больше натаскать на поле подальше от пригонов и от стройки, также и одежду, у сена оставили двух быков, в то время был снег еще глубокий, и их было не вывести. А нас выстроили в поход, молодых запретгли в нарты, везли кое-что, а старые так брели, но все были на лыжах.

Кил. 2 отошли, оглянулись — о ужас! Весь скит взялся огнем, дым и пламя летит в облака!⁵ Как было сердцу тяжело, и даже слюна не глоталась. Отошли подальше, и все зрелище скрылось за лесом, а поджигатели догнали нас.

Кил. 15 отошли, захотели обедать. Развели костер, сварили обед. Также и отряд метров за 7 свой развели костер, сидели кучей, не моргая смотрели на нас. Старцы стали молиться за обед, по обычаю, чинно, все дружно крестятся

* Пустынножительский монастырь, скит.

и все дружно низко кланяются. Начальник полка Софронов не вытерпел, как беснующийся закричал: «Не молись арганизовано». Но старцы не обращали внимания на вражий крик: говорили, это не Софронов кричит, а бес в нем. А только думали, что всегда так нужно молиться, чтоб всегда было бесу тошно⁶.

Пособедали и пошли дальше, к вечеру мы пришли в женский скит, и нас к битым старикам загнали в курятник. Лечь было негде, спали сиче, а потом перегнали половину в другую келейку, тогда стало посвободнее.

Так казалось, что вроде все умялось, но кто-то проболтался, что еще есть женский скит из восьми человек. И опять палачь Софронов набрал солдат и нас 8 человек запрет в нарты и пошли. Примерно было сказано место и направление, но точность была неизвестна им, с половины пути опять начались пытки. Софронов напал на Ивана Горбунова, говорит: Поведешь — нет? Он говорит: Убивай — не поведу. Софронов выломил толстый прут и весь изхлестал об иванову голову и нос до крови разбил. Иванов брат Павел, тронутый жалостью за брата, встал с нарты и кинулся к брату, говорит Софронову: Если уж тебе хочется бить, дак бей всех! Софронов обернулся, крикнул: Не волноваться, сядь на место.

И опять шли дальше. Снова приустили и опять все сяди кучей отдохнуть, солдаты созади подальше сидели. Один старец говорит тихим голосом: А что, братцы, сможемся — нет устоять, чтоб не вести к старушкам отряд? А не заметил, что тут же рядом сидел один солдат. Павел видит, что дело опасное, и говорит: А меня хоть убей, если я не знаю пути. Солдат поднялся и ушел к своей дружине, и передал все в точности, как слышал, и показал на того старца.

Софронов скомандовал в поход, мы все поднялись и пошли, а того старца Софронов задержал, а я этого не заметил. Мы пришли на попелище и все сяди. Это был скит матери Валентины, самих их угнали на Тогульчес во едино место, а их кельи все пожгли, недели за две ранее.

Я глянул на гору, откуда шли, и ужаснулся: смотрю, человек совсем голый, только в одних кальционах, голова раскосмачена, тянет нарту, а на нарте сидит Софронов с длинным прутом и хлещет старца по спине. Старец вывез его на гору и потом к нам пошли уже под гору. Я от такого зрелища не могу слухватиться, говорю: А кто это? Братия ответили: Это отец Ефрем. У старца лицо заплаканое, а солдаты глядят и посмеиваются. Немного не доходя до нас, Софронов остановил старца, велел ему одеться; одежда была на нарте у Софронова под задом. И потом Софронов подошел к солдатам, приказал одному, говорит: Иди, возми у них крушку и насыпь ихней соли и налей воды и напой его — головой мотнул в сторону старца. Солдат выполнил приказ. Я со стороны смотрел, и то меня трясло, как это глотать голимую соль, одна треть в крушке было соли. Но потом старец много пил сырой воды; видимо, нутро горело.

И потом вызвал друга старца, Макария, над ним издевался. Разговор было не слышно, отряд от нас сидел метров 30, а только я видел, что крест с него сорвал и несколько раз бадогом ударил.

Здесь я видел на широком пне лежали стекла и горлышки с деревянными пропками, это солдаты расстреляли графины со святой водой.

Софронову было сказано, кто-то дал уже намек примерный, направление и расстояние, и он скомандовал в поход. Отошли километра 4 и остановились ночевать. Мы свой развели костер, и солдаты развели отдельно. Софронов вызвал Горбунова Ивана, которова утром до крови избил, и говорит ему: Ты поведешь — нет нас в скит матери Тавифы? Иван ответил ему: Хоть убей, не поведу. Софронов поставил нарту и запрет в нее старца Макария, с Ивана снял верхнюю одежду, положил в нарту и взял длинный шнур, привязал к нарте, а другой конец привязал Ивану за тайные уды. Сам сяд в нарту и крикнул: Ну, пошол! Старец потянул нарту, а Иван ни с места. Когда шнур натянулся, Иван упал в снег и затормозил, старец подергал нарту, а она зацепила как будто за пень. А солдаты глядят и скалят зубы. Софронову просто хотелось для потехи кино показать: он думал, что Иван вынужден болью, будет ходить за нартой, и хотел вокруг ночлега покататься, чтобы надцадить солдат смехом, но не получилось. Сошол с нарты, раздраженный неудачей, выломил березовы прутья, шнур отвязал от тайнаго места, и хлестал Ивана лежачаго, пока сам не устал, а потом втоптал в снег. А потом нашим братиям сказал: Оболоките его! Они его оболкли и подтащили к костру. Он, мученик, долго тресся у костра, не мог согреться.

Ночь была теплая, начевали хорошо. На другой день Софронов взял двух солдат и нас троих, двух старцов и меня, сделали один заход, окружились — не атакались на скит. Вернулись на стан, отдохнули и опять пошли левее, и сколько старцы не криуляли, а наконец подошли к огороду скита. Софронов был обрадован находкой, обоим старцам руки пожал за предательство, а они обои заплакали, говорят: Мы теперь виновники ихнему бедствию. А он говорит: Ничего, не переживайте, мы подойдем спокойно.

И вот подошли к келье и зашли. Старицы немного орабели, а потом увидели с ними и нас, сильно не стали волноваться. Софронов спросил: Сколько вас сдесь? Они говорят: Шестеро. А с полкилометра еще жило две, мы старались их спасти, но не получилось, они вечером сами пришли и в руки попали. Забрали их, а келью и все достояние их сожгли.

Продневали тут и направились в поход. Одна старушка была старая, не могла итйти, ее на нартах везли. Оставшее все сожгли. Мы книг десяток спрятали в снег. Софронов заметил, что книг было больше, говорит: Куда же книги делись? А мы промолчали. И так отправились в поход.

Я был в нарте впрягон так же, как и прочие. Онисим был вожаком впереди; держали направление на сожженный скит мужской, там дожидали нас два оставленные быка, да мы еще вели две коровы с женского скита. Расстояние было километров около 15. Я заметил, что Онисим вожак ведет вправо. Это нам во вред, только удленнит дорогу. Я крикнул — он от меня был далеко — Брат Онисим! Ты если пойдешь этим направлением, то мы выйдем на рыбальню лыжню у второва ручья. Софронов заметил это дело, Онисима впрег в мою нарту, а меня направил вожаком. Я поставил точное направление, и пошли передом с Марковым солдатом, а за нами весь караван. Дорогой вылетела копалуха, сяла на дерево, Марков выстрелил 5 раз из винтовки и не попал, улетела.

Время близилось к вечеру, подошли к галее (открытое болото), она вся взелась водой, а за ней грива и мужской скит. Воды было сантиметров 15, на расстоянии 600 метров, брели на лыжах, у всех обувь промокла. Вышли на гриву, разложили костры, все просушили и ночевали.

Утром пошли на старческое попелище видаться с быками, нас трое и солдат Савостин, от ночлега было километр. Вещи раскидали, сено и солому зажгли, а быков на поводу повели к ночлегу, и опять выстроились в поход, скота гнали взади. Речки были полные, скота плавили, а нарты перетаскивали. Прошли день, наступил вечер, перешли широкий водянной лог, вышли на гриву, остановились ночевать. Утром разсветало, это уже был Христов день, 16 апреля, праздник радостный, но у всех на сердце была скорбь, чувствовали себя в неволе, под охраной с винтовками и автоматами.

После полдня мы пришли на Тогульчес в главный скит. Здесь начальство приказали делать плоты. наших тружеников выгнали на Пасхе валить сушник и возить на быках к реке. Наплотили плотов, дождали подъема высокой воды, стали грузиться на плоты.

У стариц были старинные шерстянные ткани для праздничных чинов* и старинные дорогие полушалки. Это все ушло в солдатские рюкзаки. Из скитского материя нашли широченных штанов и ходили хлупали в них, как мохноногие петухи. В огчем, над ними не было кантроля, кто сколь смог, наталкивали в свои кули, что нравилось, у всех была одна мысль, что все одно же сторит.

Изгнанником скитяном объявили — много не брать, на себя одеть новую одежду, и еще в запас две сменных одежды. Каждая из стариц ложила в свою котомку какую-нибудь книжицу, акафист или канонничек, или ищо что-то малое для утешения, также каждая ложила малую икону с собой. Начальство приказали котомки носить на берег, но на плоты не грузиться. Когда старицы вышли с котомками на берег, тогда Софронов подошел с солдатами, перетрес все старческие котомки, иконы и книжицы швырял в воду, лестовицы** стариц рвал. Я сам видел: у старицы Ермионии он выдернул лестовицу, приступил ногой и растянул, бросил. Как только у стариц стерпело сердце и не залилось кровью, во всех грудях дыhalось тяжело.

* Для праздничных монашеских одеяний.

** Лестовицы, лестовки — старообрядческие четки.

По виду они похожи на людей, но по нравственности были как настоящие дьявола, страшно святыню ненавидели.

Здесь изгнанников и солдатов разделили на две партии. Которые способные в поход человек 30, были отправлены напрямую на Дупчес, и скота увели туда же: там тоже были настроены большие плоты. Дорогой у них скрылись два человека, расстояние было 15 километров. Они длинной цепью пошли на гору, а мы, оставаясь на месте, провожали их только умиленными глазами, чувствовалось, что их больше не видеть никогда. Так же все кельи, все старческие труды охватило пламя, а нам объявили посадку на тогульческие плоты.

На самый первый плот посадили отца Симеона, отца Антония и Лаптева Кирила, с ними саял начальник капитан Щербин, повешали большое колоколо. Мы плыли двое на плоту с солдатом Казаковым. Он меня звал все «дражайший друг Афанасий». Я в то время был еще молодой, шустрый, в делах сообразительный. А все же меня ожидало заключение на 15 лет.

Проплыли километров 30, пристали к берегу, кидали мне причалы, я подтягал плоты и привязывал. Только и слышалось: Афанасий, лови, Афанасий, тяни, а я успевал, управлялся с командой.

И вот радист оплошал. Плот еще не примкнул к берегу, а он поспешил выскочить на берег и просчитался, оборвался в воду. Я его схватил за руку и выдернул, как кота, даже и тяжести не почувствовал. А с него вода бежала, как с коня, вылезшего из воды. Весь народ обратили взор и внимание на него. Кто хохотал, кто ахал, а кто шутейные слова говорил. А для меня это благословенный случай. Чистый берег был неширок, примерно метров 6 — 7. Я зашел за первые елки, а тут и лес стоял стеной, это все помогало моему риску. Берег к соныцу, снегу не было, в лесу метров 6 — 7 была грядка снегу, а далее косогор весь был голый, покрытый лесом, и он меня взял в свои объятия. Через мало минут я был на верху горы с километр, только тогда похватился отряд, что Афанасий исчез: ухали, кричали во весь дух: Афанасий! Афанасий! А до меня только чуть доносилось, как волчей вой. Тогда только я свободна вздохнул и сказал: Слава Богу, отстали от меня все сквернословные дикобразы.

Далее я уже не видел, что творилось, а только пользовался слухом. Эти плоты, с которых я ушел, через 10 километров вышли в большую реку Дупчес, там причалили к берегу, ждали другие большие плоты, которые должны были спускаться с верхов Дупчеса. Тут одна большая старица скончалась, тут ее и похоронили на берегу. Я позднее видел, что стоял колышек.

Та партия, которая отделилась от нас еще на месте, они пошли напрямую через хребет на Дупчес, со скотом, с нартами, некоторые с котомочками, все на лыжах. Местом снег, а местом голая земля, местность старая гарь, 4 километра, да попелища матери Флены. Тут скрылись двое, муж Дементьян и девушка Ирина. К вечеру партия вышла на Дупчес. Там опять двое старец и старица Александра скрылись. Старица Ермиония тоже пошла, но ее заметили и воротили.

Семью Лаптева Кирила сгрузили на плот с багажом и со скотом, а сам он был на тогульческих плотях, его строго стерегли. А домашность ихнюю всю зажгли. Вечером отчалили, всю ночь плыли; помнится, одиннадцать плотов у них было.

На-одном плоту утром на солнце пригреве стража крепко уснула, а рулевым был Ерон Алексейч⁷, муж разумен, а на заднем руле мать Паольга. Ерон Алексейч подрулил, плот пошел подле берег, он взял только один топор и убежал на берег. Мать Паольга видит, что ей грозит опасность, будут пытать и ругать, зачем не кричала и не разбудила сторожей, она избрала лучшее, сама убежала на берег. Мать Ермиония забрала свою котомку, завалила на спину, тоже ушла на берег. Домника Савишна (познее мать Досифея) не спала, разбудила спящего Ивана Муштинкина, шшепчет ему: Что будем делать? У нас рулевые-то убежали. Он поднял голову, посмотрел — правда, нет никого; встал, натянул фуфайку на плечи и ушел на берег.

Плот шол без управления; было, что ткнется в берег и солдаты всколыхнутся, но были неспросыпны. А когда оне проснулись, плот уже шол серединой, им померещило, что люди в воде перетонули. Один даже крикнул: «вот бляди, в воде перетонули».

О других оне меньше задумывались, но за Ерона Алексеича оне болели, он им был дорог. К его дому подплыли, семья из дому убежали в лес, их уже не искали, а домашность всю сожгли. Лаптевы девушка Кссня и мальчик убежали, скрылись.

Когда плоты соединились дупческие и тогульческие, тогда всех старцев связали одной бичовкой руки назад и к плоту привязали.

Когда мы еще были на месте взаперти, начальство пустило такую молву, что если кто женится, старец старицу возмет, или юноша девушку, то тех людей судить не будут, а только вывезут в Ворогово и отпустят, на учот поставят. Некоторые на эту лесть клюнули. Один старец подхватил красивую старицу, еще два юноши двух девушек, мне мать Флена предлагала, говорит: Ты, Афанасий, возми какую-нибудь из девиц и выручи из этого плена. Конечно, она говорила не с тем, чтобы форменно жениться, а только для выручки, чтобы не засудили и в лагерь не засадили, а потом чтоб опять жить всяк по себе. Мне такое предложение показалось странным, я себя почувствовал слабым на такую выручку, а что слышал, затаил в своем уме. А потом слышу, начальник Щербин говорит: Смотрите, вот и в монастыре блядство развелось. Я это донес отцу Симеону, он говорит: А что могло быть такое? Я объяснил, что старец старицу подобрал, Онисим какую-то девушку хотит подобрать, и мне было предложение подобрать, не иначе к этому Щербин сказал. Отец Симеон сказал: А куда еще страшнее сего позора, если уже неверные осуждают? Вы не смейте этого делать; а те, старец и старица, подавшие позорный соблазн, будут отлучены от общаго братства, и вы с ними не смешивайтесь в ядении и в молении. Но а потом они из отряда скрылись, жили порознь, хотя и немного блазили. Теперь уже старец ходит коромыслом, а старица покойная давно.

Самое першее было, по реке Дупчес километров 200 от Ворогово есть фактория Сандакчес. Тут жил Филиппов Моисей Иванович, тайный предатель, стукач. Он связывался с красноярской милицией. А ему еще был помощник Нестеров Филимон Нифантич. Они за год ранее прошли весь Дупчес, составили карту и запись, кто где живет, и сколько километров откуда и докуда. Дошли до последняго жителя Лаптева Кирила, и говорят ему: Мы пошли посмотреть местность тайгу, где лучше зверков опустить для расплоду⁶. Пошли далее, свернули по боковой речке Дунучес, дошли до скита. матери Валентины, начевали там, попросили у них лестовиц, в которых сами не нуждались, а только для отводу глаз. Мать Валентина говорит им: А чо, поди про нас чо-нибудь говорят — нет в миру-то? Они ответили: Нет, ничего не говорят.

От нее они опять вышли к Лаптеву Кирилу. Он их спрашивает: А где же вы так долго путешествовали, даже начевали в лесу? Они говорят: Да вот мы пошли и пошли, все нас интересуеет местность, где лучше зверков опустить для разводу, а потом смотрим — жилье. Лаптев перебил их, якобы не понял, говорит: Жилье — это мы там городили запор, это наша рыбалка. Они говорят: Нет, не то, мы обнаружили жительство матери Валентины, там и начевали. Между прочим разговором они говорили Лаптеву: Ты здесь живешь на дороге, или же уезжай дальше, или наоборот выезжай ближе, а полностью ему секрет не выясняли. А с ними еще был третий, Тимофей, сын Моисея Ивановича, он прямо говорил, что это два предателя, они меня взяли, чтоб топтал им лыжню.

И вот чрез год Моисей Иванович точно знал, что отряд должен выехать, в какие числа, он в своем поселке мужикам предупредил, чтоб на этой неделе не находиться дома, а если что случится, то потом не обижайтесь на меня. Мужики его уже знали, что у Моисея шуток не бывает. Все кинулись в лес, а их в первую очередь отряд хотел забрать, во опасности, чтоб они не опередили, и в скитах не известили.

И вот в Сандакчес нагрянул отряд. Нестеров Филимон Нифантич, житель вороговский, друг Моисея Ивановича, с ними вожаком. Моисей Иванович принял их гостеприимно, они его и ребят его не взяли, а других ребят взяли везти на нартах груз: пулемет, патроны и продукты. Солдаты все были оборужены автоматами и карабинами.

Дошли до Мушкинина Ивана Трофимовича, забрали с собой; семью оставили на месте. Дошли до Потанина Ерона Алексеича, забрали с собой. А с ними рядом жил Дементиян Филиппович, пришли к нему. Попала им на глаза книжица Блаженнаго Иеронима, толкование на пророка Иезекииля; стали перелистывать и наткнулись на 38-ю главу, в которой писано о Гоге и Магоге.

Они говорят Дементияну: А ты знаешь — нет, кто это Гог и Магог? Он побоялся правду сказать, говорит: Не знаю. Они говорят ему, это есть мы Гоги и Магоги. Также и его забрали с собой. Дошли до Кропочева Антипа, забрали. Дошли до Клюкина Андрея, забрали. Дошли до Кропочева Хрисанфа, забрали. Семьи у всех остались на месте. Дошли до Лаптева Кирила, тут сделали главный штаб. Тут и плоты плотили.

Отсюда километров 15 скит на Малом Тогульчесе, отряд завалил туда поздно вечером. Софронов зашел первым в келью, громко крикнул: Ставайте! Отец Антоний пришел на исповедь принимать. Старицы дрогнули, слышат, что голос не пастырский, а волчий; все как онемели, не ведают, что и сказать. Начальник приказал приготовить ужин и всех накормить, а их было примерно человек 40. Здесь также был сборный пункт, и здесь тоже плоты плотили. Отсюда сандакческих воишков ребят отпустили домой. Здесь также мелкий скот начальство поели, только остались коровы.

Отсюда хотелось отряду попасть в мужеский скит, но не вели их прямо, сколь не криуляли, к вечеру разазленные пришли в скит старицы Валентины. Здесь отряд им оказал варварский поступок. К сожалению, меня там не было, подробностей не знаю. Слышал, что комендант Нечев бил рукой по лицу старицу Софию, а она кровию залевалась. Здесь и графины со святой водой солдаты расстреливали, для большого оскорбления старик.

Отсюда они пошли в мужеский скит, и случайно наткнулись на медвежий берлог. Собака обнаружила, они ее отвели, а потом сходили Нестеров Филимон и солдат Ивершин с автоматом; 14 пуль настрочил и медведю хватило, а потом притащили его на нарте в скит и съели.

Начальник Щербин говорит отцу Симеону: Вот вы живете здесь в лесу, а чем вы занимаетесь? Отец ответил: Молимся и книги читаем. Говорит начальник: Но если книги читаете, а что толку из этого? Что вы знаете? Говорит отец: Это вам так кажется, что в наших книгах толку нет, мы читаем и знаем, что происходит в мире. Говорит начальник: Но а что по-вашему происходит в мире? Говорит отец: Мы пророчество сличаем с событием времени и видим, что мир объединяется и в дальнейшем должно быть одно государство во всем мире. Начальник с веселым взглядом сказал: Да, справедливо, отец, коммунистическая партия к этому ведет. Говорит отец: Тогда будет один управитель во всем мире. Начальник радушно ответил: Да, весь советский народ борется за это. Говорит отец: Но управитель тот будет Антихрист. Начальник лицо изменил и хмуро возразил: Нет, наоборот, будет хороший человек.

Но а теперь я еще опишу о плотах. Плоты плыли своим чередом, подплыли к Сандакчесу. Начальство хотели забрать и сандакческих мужиков Глазырина Евстафия и Новоселова Кирила. Пришли к ихним жонам, спрашивают: Где ваши мужья? Жоны ответили: Наши мужья убежали в лес, их предупредил Моисей Иванович, чтоб побереглись. Начальство озлобились за это и за ложные показания, он доказывал, что в скиту много оружия и боеприпасов, чего на факте не оказалось, они хотели забрать и его; но он чувствовал свою неправоту и тоже скрылся.

И так плоты плыли далее, вышли в Енисей, пристали в Ворогово. Тут была сортировка: восем старцев и 5 бельцов взяли под стражу, и еще с ними троих семейных: Лаптева Кирила и двух братьев Кропочевых Хрисанфа и Антипа, всего 16 человек. Из женщин 12 старец и двух дев также взяли под стражу. Шесть старец и девять дев отпустили на свободу, вернее сдали в колхоз. Скота сдали в Вороговский колхоз. Но к большому удивлению, скитский скот не соединялся с колхозным скотом, ходил отдельно и стал худеть и тощать и потом, говорят, весь пропал.

29 человек увезли на барже под конвоем в Красноярск. Там держали следственно почти год. Ложные обвинения приписывали, морили и безсонницей томили, говорили: Признайтесь, что вы вели агитацию против советской власти. Старцы отпирались наголову, что не было этого. Следователь говорил: Но вот вы бывало же, сойдется двое-трое и говорили что-нибудь про душу. Старцы говорили: Но это конечно было, наша основная цель говорить о спасении души. Следователь сказал: А вот это и есть агитация против советской власти. Лукавым и насильственным путем всех обвиненных сделали друг на друга показателями и свидетелями в преступлении. И осудили некоторых на 25 лет, это старших, а других на 15 и на 10 лет.

Но пробыли примерно три с половиной года, и по смерти Сталина все страдальцы были распущены, поехали кто куда. Из старцев отец Симеон стал жертвой заключения, а из стариц мать Маргарита. Оставленные на свободе десять дев постепенно обрусели и все повышли в замужь, только осталось ценное то, что все верующие по сей день (1990 г.).

А когда мы еще были на месте взаперти в скиту, старший лейтенант Иванушкин взял икону — изображение Страшный суд, деревянная, от древности коричневая, она больше все почикивала и предвещала. И вот он с нее топором стесал изображение, доску принес к нам в стан и говорит приказательным манером: Афанасий! Вот из этой доски напили и сделай нам домино, только плашки сделай, а очки мы сами наставим. Положил доску на что-то и ушел. А я только выслушал и ничего не сказал. Старцы смотрят на меня и говорят: Неужели, брате Афанасий, поднимется у тебя рука делать игрушки из иконы? Я, конечно, и сам не думал делать, так и не сделал. Чрез несколько часов Иванушкин явился к нам, и только перешагнув порог, и видит, что доска нетронута лежит на том же месте, заговорил с гордостью: Ну что, Афанасий? Сделал домино? А я ему на ответ: Нет. Он говорит: А почему? Я говорю: Это же была икона, а зачем же ты ее обтесал? Ты бы принес ее необтесанную, и я стал бы на нее молиться. Он, видать, осрамился и пристыдился, взял доску и ушел молком в отряд.

Добавление*.

В первые минуты, как завалил к нам отряд, Марков, называемый прокурор, подскочил ко мне и говорит: Есть у вас оружие? Я говорю: Есть. Он говорит: Веди. Я повел и думаю — сейчас тебя насмешу. У нас под крышей стоял ларь, а за ним валялось ружье-переломка, 20-й калибр, покрашенное от жарца, даже ладом не закрывалось и не открывалось: когда-то ранее им пугали зайцев, если они в огороде пакостили, а в это время уже и патроны были затеряны. И вот я подвел его, а он готов мне на пяты наступать, наверно, думал о блестящем оружии. Я вытянул из-за ларя переломку и подаю ему. Он глянул и говорит: Нам нужно хорошее оружие. Я ему ответил: А у нас лутше нет, только такое. А сам я повернулся и пошел обратно.

Когда шол отряд, жгли и зорили Дупческие скиты, беззащитные старички и старушки жили не в одном месте, было два скита мужских и четыре женских. Друг от друга были километров 30 и 15. И было, что отряд захватит скит, и в первую очередь на шест поднимают антенну, и радист видать радушно выходит на связь, делает передачу, как будто они захватили неприятельскую крепость: вот так обходилось уничтожение скитов.

О прочих не знаю, а когда захватили скит отца Симеона, начальник Софронов спросил: У вас есть золото? Отец ответил: Есть сколько-то копеек. Он, конечно, даже и не знал, сколько по шоту было денежек, как были в тряпке в узелке, так и отдал начальнику. Но не должно быть много, разве пять или 6 денежек.

Софронов ужახнулся, увидев, что у отца Симеона была такая громада книг. Он говорил: Наверно ни в какой библиотеке нет столько книг. Книга «Небеса» что-то на него подействовала, что он ее отдельно жог в костре на огряде, и палкой листы швырял, чтоб сильнее горели.

Одна была замечательная рукопись, я ее читал с жаждой. Ее писал некий мыслитель, имя его я уже не припомню. И тот писатель подсчитал год рождения и воцарения императора Александра Освободителя, сложил из числа словянских букв и получилось «Ангел кротости». И как было высчитано им, я теперь не припомню. И еще было много интереснаго в той книге. Но свиная милицейская мудрость ничем этим не дорожила, все это огню предала. Отец Симеон говорил только о нем, что когда он (писатель) скончался, то беснующая говорила во своем скиту старушка: «Вот ваш толкователь замолк».

* На верхней обложке рукописи находится следующий список: Эти все сидели в лагере: м. Тавифа, м. Акинфия, м. Валентина, м. Софья, м. Афанасия, м. Миропия, м. Евгения, м. Маргарита, м. Флена, м. Трифена, м. Еванфия, дева Стефанида, м. Максимила, о. Симеон, о. Антсний, о. Максим, о. Макарий, о. Иосиф, о. Даниил, о. Ефрем, о. Никита, Иларий, Павел, Иван, Онисим, Александр, Кирил, Хрисанф, Антип. Эти были отпущены: Клавдия, Анфиса, Иустина, Алевтина, Евдокия, Манефа, Евстолия, Кира, Федосья, Домна, Ириза, Анфиса, Анна (4 матери накрытые).

Однажды отец Симеон рассказал свой сон, говорит: Как будто раскрылись двери в часовню, и здоровый кот вбежал и как снизу доверху по всем иконам проскакал. Это он видел еще до разорения, а после разорения мы вспомнили его сон, когда атеисты иконы из часовни выбросили на улицу. Отец не занимался пустословием, чтоб сны рассказывать, а тут он просто невольно был вынужден рассказать, что потом подтвердилось событием.

Когда солдаты ходили с нами в поход, то удивлялись нашей дюжести и неядению. Было время великий пост, мы рано не ели, уйдем километров 15 или 20 и тогда обедаем. Еда постная, два раза в день, нарту тянем с грузом. А солдаты ядят молосное, утром рано, и днем, и вечером. А когда идем в походе, то они едва плетутся. Утром холодно, они оденутся потеплее, а днем обогреет, они всю одежду к нам на воза сложат и идут только с автоматами. И говорят: Откуда у монахов такая сила, что мало ядят и воза везут, а они пустые устают.

Когда мы шли с мужского скита, мы все братцы были впряжены в нарты, воза везли, а солдаты шли порожнеком. Они посменно шли вперед, по одному топтали лыжню, снег был глубокий и рыхлый, талиба. Шнуры привязали за носки к лыжам и руками помогали лыжи поднимать. Начальник Валов нарядил солдата Ивершина сменить передовова, он не послушал и не пошел. Начальник ему вынес арест и обвинение, велел ему повторить, а он молчал. Начальник рявкнул, что по лесу раздалось: Повторить обвинение! Тогда солдат повторил обвинение и оружие от него взяли. А когда пришли на Тогульчес в женский скит, этот солдат от нечего делать нашол старый вендель, стал его починять, чтоб где-нибудь поставить и рыбы поймать. Начальник Щербин увидел, подошел и говорит солдату: Перестань бездельством заниматься. Солдат ответил: А чо, вам жаль, все одно же я ничего не делаю, от службы отставлен. Начальник сказал: Вы сюда не рыбачить пришли. Солдат ответил ему: И вы тоже, не брюки шить сюда пришли. Начальник злосно покосился на него и ушел молча, потому что начальство из скитского материя успева́ли нашивали кому что хотелось, стояли в очередь. А мать София швее и закройщица на скитскую братию, а тут пришлось невольно как пленнице послужить зорителем и поджигателем, по весь денно крутить и чакать машинкой, исполняя их приказы. У поджигателей одно опущение было, что не взяли с собой фотоапарат, хотелось им фотоснимки сделать и не получилось.

Начальник Софронов во своем отряде смеялся, скалил зубы и говорил: Мы начали пытки с молодых и не получилось. А Валька взялся молотить стариков, и у него дело лучше получилось, т.е. Софронов нас молодых бил и пытал, чтоб выдали отца Симеона, и мы устояли и не выдали. А Соколов Валентин более безчеловечнее, палкой молотил стариков, и они по старости и по глупости не выдержали и выказали отца Симеона. И вот Софронову Косте казалось, что геройство будет приписано Соколову Вальке, за добычу отца Симеона, а не ему.

¹ Речь идет о важном споре, с конца XVII — начала XVIII века разделившем старообрядческий мир на сторонников «духовного» и сторонников «чувственного» понимания предсказаний Священного Писания и Священного Предания о воцарении Антихриста и конце света. Соответствующие тексты Апокалипсиса, творений Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, посвященные воцарению Антихриста и появилась на земле для борьбы с ним пророков Ильи и Еноха, сторонники теории «чувственного» Антихриста понимали буквально. Так же буквально трактовали они и ряд других деталей сценария конца света, изложенных в древней церковной литературе. Антихрист в их представлении — существо во плоти, доступное восприятию человеческих чувств.

Сторонники теории «духовного» Антихриста, напротив, считали, что тексты священных книг об Антихристе следует понимать иноказательно, в духовном смысле: Антихрист — это не особое существо во плоти, а дух зла, неправды и безверия, который распространится на земле в последние времена перед концом света. Проповедь Ильи и Еноха против Антихриста также понимается ими духовно, как жертвенническая перед концом света борьба истинно верующих против распространяющегося, воцаряющегося духа зла. В истории старообрядчества теория «чувственного» Антихриста характерна преимущественно для поповских направлений, а теория «духовного» — для беспоповских. Урало-сибирское согласие часовенных, до 1840 года принимавшее беглых священников, а затем переставшее делать это, соединяет в своих воззрениях черты, характерные для различных направлений старообрядчества. По вопросу же о «чувственном» или «духовном» понимании Антихриста в этом согласии идут долгие споры, продолжающиеся и по сей день. В книгах Енисей мы беседовали со сторонниками обоих толкований.

² Речь идет об обширном сочинении Афанасия Герасимова «О временах», которое было написано в 1969 — 1970 годах. Сочинение включает в себе периодизацию всей истории человечества от сотворения мира до конца света. Она делится Афанасием Герасимовым на семь периодов, «времен»; сейчас завершается пятое время, время лжепророков, ложных обещаний о «светлом будущем». Время это закончится разрушительной атомной войной, в которой, однако, погибнут далеко не все; и наступит шестое время, когда будут проповедовать Илья и Енох, воцарится, а затем погибнет Антихрист. После его гибели — в седьмое время — наступит краткий период мирной жизни, а затем — Страшный суд.

³ Ныне майор МВД в отставке.

⁴ По устным рассказам потерпевших, в скитах было тогда сожжено до полутысячи древних книг.

⁵ Как сообщил нам Афанасий Герасимов, пустынножителем удалось тогда спасти рукописную книгу, содержащую записи по истории часовенных скитов в XVII — XX веках. Арестованные обитатели скитов сумели тайно закопать ее в землю той пристройки, где их содержали под арестом. Когда скит горел, пламя лишь слегка коснулось листов книги (см. об этом здесь же, стр. 80).

⁶ Могилы основателей часовенного согласия на Урале (у Веселых Гор), скиты этого согласия были знамениты тем, что пустытники при жизни и после смерти помогали избавиться от бесов; последние в присутствии иноков, их реликвий всегда начинали непотребно ругаться. Ругань конвоя, таким образом, показатель святости пустытников.

⁷ Иерон Алексеевич Потанин — местный крестьянин, составивший по благословиению скитских пустынножителей выдержанную в древнерусском стиле повесть о событиях 1951 года.

⁸ Речь идет о предпринимавшихся в те годы охотоведами попытках разведения ондатр, соболей. Пустытники опасались близкого соседства охотоведов; один из этих последних был свидетелем разгрома 1951 года и рассказал мне о нем.

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

*

ОТГОРЕВАТЬ И НЕ ПРОКЛЯТЬ

* * *

Памяти родителей.

Сначала мать, отец потом
Вернулись в пятьдесят девятый
И заново вселились в дом,
В котором жили мы когда-то.
Все встало на свои места.
Как папиросный дым в трельяже
Растяжи неправота,
Разлад, и правота, и даже
Такая молодость моя —
Мы будущего вновь не знаем.
Отныне, мертвая семья,
Твой быт и впрямь неприкасаем.

Они совпали наконец
С моею детскою любовью,
Сначала мать, потом отец,
Они подходят к изголовью
Проститься на ночь и спешат
Из детской в смежную, откуда
Шум голосов, застольный чад,
Звон рюмок, и, конечно, Мюда
О чем-то спорит горячо.
И я еще не вышел ростом,
Чтобы под Мюдин гроб плечо
Подставить наспех в девяностом.

Лги, память, безмятежно лги:
Нет очевидцев, я — последний.
Убавь звучание пурги,
Чтоб вольнодумец малолетний
Мог (любопытный юнец!)
С восторгом слышать через стену,
Как хвалит мыслящий отец
Многopартийную систему.

* * *

Без усталости вокруг больницы
Бежит кирпичная стена.
Худая, скомканная птица
Кружит под небом дотемна.
За изгородью полотняной

Белья, завесившего двор,
Плутает женский гомон странный,
Струится легкий разговор.

Под плеск невяности беспечной
В недостопамятные дни
Я ощутил толчок сердечный
Толчку подземному сродни.
Потом я сделался поэтом,
Проточным голосом — потом,
Сойдясь московским ранним летом
С бесцельным беличьим трудом.

Возьмите все, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
В конце концов, не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли —
Отгоревать и не проклясть!

* * *

Цыганскому зуду покорны,
Набьем барахлом чемодан.
Однажды сойдем на платформы
Чужих оглушительных стран.

Метельным плутая окольным
Февральским бедовым путем,
Однажды над городом Кельном
Настольные лампы зажжем.

Потянутся дымные ночи —
Good bye, до свиданья, adieu —
Так звери до жизни охочи,
Так люди страшатся ее.

Под старость с баулом туристским
Заеду — трягну стариной —
С лицом безупречно австрийским,
С турецкой, быть может, женой.

The sights заповедного края:
Байкал, Ленинград и Ташкент, —
Тоскливо слова подбирая,
Покажет толковый студент.

Огромная русская суша.
Баул в стариковской руке.
О чем я спрошу свою душу
Тогда, на каком языке?

* * *

Грешный светлый твой лоб поцелую,
Тотчас хрипло окликну впустую,
Постою, ворочусь домой.
Вот и все. Отключу розетку
Телефона. Запью таблетку
Люминала сырою водой.

Спать пластом поверх одеяла.
Медленно в изголовье встала
Рама, полная звезд одних.
Звезды ходят на цыпочках около
Изголовья, ломаются в стекла,
Только спящему не до них.

Потому что до сумерек надо
Высоту навестить и прокладу
Льда, свободы, воды, камней.
Звук реки — или Терек снежный,
Или кран перекрыт небрежно.
О, как холодно крови моей!

Дальше. Главное — не отвлекаться.
Засветло предстоит добраться
До шоссе на Владикавказ,
Чтобы утром... но все по порядку.
Прежде быть на почте. Тридцатку
Получить до закрытия касс.

Чтобы первым экспрессом в Тбилиси
 Через нашатырные выси.
 О, как лоб твой светлый горяч!
 Авлабар обойду, Окроканы.
 Что за чушь! Не закрыты краны,
 То ли смех воды, то ли плач —

Не пойму. Не хватало плакать.
 Впереди московская слякоть.
 На будильнике пятый час.
 Ангел мой! Я тебя не неволю.
 Для того мне оставлено, что лим,
 Море Черное про запас!

* * *

Сотни тонн боевого железа
 Нагветали под стены Кремля.
 Трескотня тишины не жалела,
 Щекотала подошвы земля.

В эту ночь накануне парада
 Мы до часа ловили такси,
 Накануне чужого обряда,
 Незадолго до личной тоски.

На безлюдье под стать карантину
 В искверканной той тишине
 Эта полночь свела воедино
 Все, что чуждо и дорого мне.

Неудача бывает двуликой:
 Из беды, где свежеют сердца,

Мы выходим с больной улыбкой,
 Но имеем глаза в пол-лица.

Но всегда из батального пекла,
 Столько тысяч оставив в гробах,
 Возвращаются с привкусом пепла
 На сведенных молчаньем губах.

Мать моя народила ребенка,
 А не куклу в гремучей броне.
 Не пытайте мои перепонки,
 Дайте словом обмолвиться мне.

Колотило асфальт под ногою,
 Гнали танки к кремлевской стене.
 Здравствуй, горе мое дорогое,
 Горстка жизни в железной стране!

* * *

Что ж, зима. Белый улей распахнут,
 Тихим светом насыщена тьма.
 Спозаранок проснутся, и ахнут,
 И помедлят, и молвят: «Зима».

Выпьем чаю за наши писанья,
 За призвание весельчака.
 Рафинада всплывут очертанья,
 Так и тянет шепнуть: «До свиданья» —
 Вечер долгод, да жизнь коротка.



ТИМУР КИБИРОВ

*

СЕРЕЖЕ ГАНДЛЕВСКОМУ. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НЫНЕШНЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества... Народ выходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портретика в рамах, замаранных мухами и некогда вызолоченных. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. Гирц хотел купить и их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы...

А.С.Пушкин.

Ленивы и нелюбопытны,
бессмысленны и беспощадны,
в своей обувке незавидной
пойдем, товарищ, на попятный.

Пойдем, пойдем. Побойся Бога.
Довольно мы поблатовали.
Мы с понтом дела слишком много
взрывали, воровали, ввали

и веровали... Все, Сережа.
Хорош базарить, делай ноги.
Харэ бузить и корчить рожи.
Побойся, в самом деле, Бога.

Давай, давай! Не хлопай носом,
не прибедняйся, ексель-моксель.
Без мазы мы под жертвы косим.
Мы в той же луже, мы промокли.

Мы сами напрудили лужу
со страху, сдуру и с устатку.
И в этой жиже, в этой стуже
мы растворились без остатка.

Мы сами заблевали тамбур.
И вот нас гонят, нас выводят.
Приехали, Сережа. Амба.
Стоим у гробового входа.

На посешок плесни в стаканчик.
Манатки вытряхни из шкапа.
Клади в фанерный чемоданчик
клинф и велюровую шляпу.

И дембельский альбом, и мишку
из плюша, с латками из ситца,
и сберегательную книжку,
где с гулькин нос рублей хранится,

ракушку с надписью «На память
о самом синем Черном море»,
с кружком бордовым от «Агдама»
роман «Прощание с Матерой».

И со стены сними портретик
Есенина среди березок,
цветные фотки наших деток,
и грамоту за сдачу кросса,

и «Неизвестную» Крамского,
чеканку, купленную в Сочи...
Лет семьдесят под этим кровом
прокантовались мы, дружок.

Прощайте, годы безвременщины,
Шульженко, Лещенко, Черненко,
салатик из тресковой печени
и летка-енка, летка-енка...

И мы уходим, мы уходим
неловко как-то, несуразно,
скуля и огрызаясь грозно,
бессмысленно и безобразно...

Но стоп машина! Это слишком!
Да, мы действительно отсюда,
мы в этот класс неслись вприпрыжку,
из этой хавали посуды,

да, мы топтали эту зону,
мы эти шмотки надевали,
вот эти самые гандоны
мы в час свиданья разорвали,

мы все баклуши перебили,
мы все в бирюльки проиграли...
Кондуктор, не спеши, чудила,
притормози лаптею, фразер!

Ведь там, под габардином, все же
там, под бостоном и ватином,
сердца у нас, скажи, Сережа,
хранили преданность Святыням!

Ведь мы же как-никак питомцы
с тобой не только общенита,
мы ж, ексель-моксель, дети солнца
ведь с нами музы и хариты,

Феб светозарный, песнь Орфея —
они нас воспитали тоже!
И, не теряясь, не робея,
мы в новый день войдем, Сережа!

Бог Нахтигаль нам даст по праву
тираж Шенье иль Гумилева,
по праву, а не на халяву,
по сказанному нами слову!

Нет, все мы не умрем. От тлена
хоть кто-то убежит, Сережа!
Рассказ твой строгий — непременно
и я, и я, быть может, тоже!

Мы ж сохранили в катакомбах
завет священный Аполлона,
несли мы в дол советский оба
огонь с вершины Геликона!

И мы приветствуем свободу,
и наострили наши лиры,
чтоб петь свободному народу,
чтоб нас любили и хвалили.

С «Памира» пачки ты нисходишь,
с «Казбека» пачки уношусь я,
и, «Беломор» минуя с ходу,
глядим мы на «Прибой». Бушуй же!

Давай, свободная стихия!
Мы вырвались!.. Куда же ныне
мы путь направим?.. Ах, какие
подвижки в наших палестинах!

Там, где сияла раньше «Слава
КПСС», там «Кока-кола»
горит над хмурую державой,
над дискотекой развеселой.

Мы скажем бодро: «Здравствуй, племя
младое, как румяный персик,
ню дженерэйшен, поколенье,
навек выбравшее пепси!»

Ты накачаешься сначала,
я вставлю зубы поприличней.
В коммерческом телеканале
мы выступим с тобой отлично.

Ну, скажем, ты читаешь «Стансы»
весь в коже, а на заднем плане
я с группой герлз танцую танец
под музыку из фильма «Лайнер».

Кадр следующий — мы несемся
на мотоциклах иль на яхте.
Потом реклама — «Панасоник».
Потом мы по экрану трахнем

тяжелым чем-нибудь... Довольно.
Пойдем-ка по библиотекам!
Там будет нам светло и вольно,
уж там-то нас не встретят смехом.

Там нашу зыбку музыку
заносит в формуляры скука.
Медведь духовности великой
там наступает всем на ухо.

Там под духовностью пудовой
затих навек вертлявый Пушкин,
поник он головой садовой —
ни моря, ни степей, ни кружки.

Он ужимается в эпиграф,
забит, замызган, зафарцован,
не помесь обезьяны с тигром,
а смесь Самойлова с Рубцовым.

Бежим скорей!.. И снова гвалтом
нас встретит очередь в «Макдоналдс»,
«Интересуетесь поп-артом?» —
Арбат подвалит беспардонный.

И эротические шоу
такие нам покажут дива —
куда там бедному Баркову
с его купчихой похотливой!

Шварцнегтер выйдет нам навстречу,
и мы застынем, холодея.
Что наши выпренные речи
пред этим торсом, этой шеей!

И, в общем-целом, как ни странно,
в бараке мы уместней были,
чем в этом баре разливанном,
на конкурсе мисс Чернобыля...

И ничего не остается,
лишь уголь пылающий, чадающий.
Все чертовым жерлом пожрется.
В грядущем, прошлом, настоящем

нам места нет... Проходят съезды.
Растут преступность, цены, дети...
Нет, не пустует свято место —
его заполонили черти.

Но если птичку голосисту
сдавили грубой пятернею,
посмей хоть пикнуть вместо свисту!
Успей же, спой же, Бог с тобою!

Жрецам гармонии не можно
пленяться суетой, Серега.
Пусть бенкендорфно здесь и тошно,
но все равно — побойся Бога!

Пой! Худо-бедно, как попало,
как Бог нам положил на душу!

Жрецам гармонии не пристало
безумной черни клики слушать.

Давай, давай! Начнем сначала.
Не придирайся только к рифмам.
Рассказ пленительный, печальный.
Ложноклассические ритмы.

Вот осень. Вот зима. Вот лето.
Вот день. Вот ночь. Вот смерть с косою.
Вот мутная клубится Лета.
Ничто не ново под луною.

Как древле Арион на бреге,
мы сушим лиры. В матюгальник
кричит освододец. С разбега
ныряет мальчик. И купальник

у этой девушки настолько
открыт, что лучше бы, Сережа,
перевернуться на животик...
Мы тоже, я клянусь, мы тоже...



АРВО МЕТС

*

ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ

* *
*

Толпой,
с перекошенными лицами,
работая локтями,
ринулись все
приобщиться
к злобе дня.

Как каторжник
к тачке,
мы цепью прикованы
к злобе времени.

* *
*

Страшнейшая из осад —
осада нищеты.
Гнилые нити
рвутся вокруг,
как шрапнель.
И кажется —
само время
прогнило
и вот-вот порвется.

* *
*

Не капли дождя,
а капли света
на потемневших ветвях
яблони
в пору затяжных
осенних дождей.

* *
*

Эстония моя,
маленькая,
за буреломами,
за разливами рек.

Вот-вот отколется
и уплывет
вдаль.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

СЮР В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ

Рассказы

Сюр в пролетарском районе

Человека ловила огромная рука. Человек этот, слесарь Коля Шуваев, работал в заводской мастерской — скромный слесарек, обычный, не выпивающий часто. Возвращаясь с завода, рабочие довольно долго ехали в переполненном троллейбусе, а уже на троллейбусной остановке расходились кто куда — Коля поворачивал к общежитию; и там, где ему входить в свою общагу, в подъезд № 3, он оставался на какую-то минуту один. В эту самую минуту откуда-то сверху огромная (такая, что Коля мог весь уместиться в ее ладони) рука вдруг хватала его. Коля вырывался, шмыгал в подъезд и бегом, бегом, с колотящимся сердцем подымался к себе на второй этаж.

В их подъезде за входной дверью имелся как бы предбанник, незанятый пятачок пространства, а уже за ним вторая входная дверь вела непосредственно внутрь. Тем самым в предбаннике слева сам собой образовался пустой угол, который, конечно, использовался — там стояли лопаты, метла, а в эти дни туда прибавились после демонстрации флаги, которые парни поставили там наспех на пару дней и которые затем следовало вернуть в профком. Лопаты, метла, а теперь еще и скрученные флаги от частого хлопанья дверью сползали, лежали на полу поперек, и Коля каждый раз боялся, что на бегу споткнется. Перепрыгивая сползшие лопаты, он стремительно распахивал вторую дверь, а рука гналась за ним. Не сумев схватить, рука успевала своим здоровенным пальцем больно поддать Коле в задницу или в спину, словно бы бревном; после удара слесарек вбегал по ступенькам вверх, как будто им выстрелили из пушки. Но дома он был уже в безопасности.

Впрочем, в последнее время оказалось, что в собственной комнате тоже следует быть осмотрительным. У Колиной подружки Клавы была здоровая привычка спать с открытым настежь окном. (Крепко сбитая молодая женщина, повар по профессии, много часов возле жаркой плиты — ей даже ночью казалось, что в комнате душно. Коля, напротив, ночью зяб.) В ту ночь Клаву мучала жажда; вероятно, она проснулась, пила воду и вновь открыла окно. Но может быть, он и сам попросту забыл прикрыть. Среди ночи Коля почувствовал, что его давят. Он подумал, что Клава, повернувшись во сне, неловко придавила его плечом, но нет, Клава спала отодвинувшись, спала от него в стороне (раскинулась там от жары). И тут же Коля почувствовал, как его придавили огромные два пальца. Рука не могла пролезть в окно, но два своих пальца просунуть вполне могла и ими (каждый палец как подвижное короткое бревнышко) искала его, нащупывала в постели. Вскочив, Коля схватил первое, что попало ему под руку (Клавин зонтик, с которым она пришла), и ударил, а затем ткнул в один из огромных пальцев. Зонтик не игла, но все-таки достаточно остер, и ткнул им Коля с большой силой и яростью. Нашаривающие пальцы отдернулись. От боли огромный палец подсогнулся и стал уползать в открытое окно, за ним и второй. Рука убралась. Коля стоял у окна. Он еще подрагивал. Он выкурил сигарету, выдыхая дым в ночное окно, и лег наконец снова в постель рядом с Клавой, которая в темноте белела большим своим телом. Слесарек лег к ней ближе и, не в силах себя унять иначе, стал ее обнимать, немного тискать, одной рукой ворошил груди, другую запустил вниз. «Да ну тебя, Колька! Дай же покоя!..» — ворчала она, потом уступила, продолжая

спать. Он заснул только под самое утро. Лежал на боку, глаза открыты, думал — как же быть?..

Рука подстерегла его в обеденный перерыв (он выскочил из мастерской, чтобы забежать в гастроном — у магазина полно народу, значит, продукты есть). Купив, Коля решил, что с продуктами он забежит сначала к себе в общагу, забросит их в холодильник. Но на улице он оказался один. День солнечный, обеденное время, а вот ведь ни души. И непонятен был тот миг и переход (никакого особого мига и перехода тут и не было), когда рука вдруг упала сверху и, прихватив Колю кончиками огромных пальцев, стала душить, сдавливая грудную клетку и перебираясь через его плечи уже к горлу. Взвизгнув, слесарек вырвался, толщ пальцев и некоторая их неповоротливость дали ему возможность ускользнуть посреди пустой улицы. Коля припустил бегом, влетел в общежитие и, прыгая через несколько ступенек, к себе на этаж — в комнату. Десяток купленных яиц был почти весь раздавлен. Буханка свежего хлеба смялась в лепешку, масло (дефицит) расплющилось и через лопнувшую обертку заляпало и сумку, и левый бок его рубашки. (Вечер — это вечер. Но вот так откровенно, среди бела дня рука никогда прежде не нападала.) Коля минут десять не мог сладить с нервами. Однако надо было идти в мастерскую. Коля топтался у выхода, ждал, курил, и только когда сразу трое или четверо ребят, пообедав, повалили из общежития на работу, он вышел вместе с ними. На работе было спокойно. Сдельщики трудились, не покладали рук. В мастерской Коля поднял валявшийся там металлический штырь. Штырь был полуметровый, довольно тонкий, но в конце рабочего дня Коля еще дополнительно заточил его на всякий случай. Взял с собой. Ничего. Мало ли куда и зачем идет слесарь с металлическим штырем.

После работы он зашел к Клаве в столовку, их столовой на ужин выделили сердце да кровь. А мясо, видно, уплыло куда-то на сторону (в чем и доход). «Ишь внимательный: мясца свежего захотел! Убоинки, а?» — засмеялись поварихи. А Коля ничего не хотел. Просто сказал, что думал. Он сел поодаль, ждал Клаву.

Две большие плиты, а значит, восемь конфорок, поварихи заняли одновременно — в восемь сковород на огне (в шесть темных, чугунных, послуживших уже лет сто, и в две белые, легкие, вполне современные) наливали для жарки кровь. Клава черпала в ведре большой деревянной ложкой и, не выплескивая, осторожно выливая кровь, заполняя каждую сковороду примерно на треть. Вторая повариха рубила лук. Кровь, как известно, лучше жарить с луком, все-таки вкус крови не так шибает в нос. «Но зачем же отбивать вкус? вдруг кто-то любит со вкусом», — говорила вторая повариха. «С луком лучше», — отвечала Клава, продолжая зачерпывать и разливать. Кровь в черные чугунные сковороды вливалась неприметно, как в темноту, а в две другие лилась, ало заливая белое дно; от кача сковороды кровь отступала волной, и белизна дна вновь обнажалась. «Где твой слесарек? Чего скучает?!» — спросили Клаву разговорчивые поварихи, после чего Коле, сидевшему без дела, конечно же подсунули порубить сердце на все восемь сковородок. Клава вынимала сердце той же деревянной ложкой — громоздкое, скользкое и все в стекающей крови. На четыре части рубить было легко, но развалить надвое каждую четвертинку уже надо было стараться. Нож был не слишком остер, куски отползали, но в конце концов Коля порубил достаточно мелко, и вторая повариха, подхватив, ссыпала куски туда и сюда. Плюхнувшись на сковородку, куски немедленно погнали кровь от края к краю мелкими волнами. Огонь сделали сильнее, пошел запах. Стояло легкое марево. И как только дверь на кухню распаивалась, марево со всех восьми сковородок клонилось в одну и ту же сторону. Дверь прикрывали, и опять кровь курилась ровно; как восемь озер, спокойных и неподвижных, подумал слесарек с некоторым интересом. Пламя сделали жарче, и кровь сворачивалась. Пузыри лопались, пригорая. Восемь озер, как восемь полей сражений, задымились, заволклись гарью, и было похоже, что вступили наконец в дело пушки.

Час, если не больше, просидел Коля в ожидании, но когда пришел шеф - повар, выяснилось, что работа в столовой не кончена — девочки остаются, Клава в их числе. Приехали ведомственные деятели: надо кормить. Деньги

последнее время даются с трудом. Да, да, снова варить вермишель и рис обязательно, они любят рис. Шеф-повар принес два здоровенных куска говядины, нашлось-таки мясо, сделайте, девочки, им по бифштексу, только не слишком старайтесь, когда будете нарезать порции!..

И шеф засмеялся:

— Чтобы нам самим тоже мясо осталось. Понятно?

Было понятно.

Готовить начали заново, дело предстояло долгое (Клава сказала, чтобы Коля ее не ждал — она припозднится, но к ночи, конечно, придет). Коля ушел. Он долго ехал в троллейбусе.

Возле дома было уже темно, и только светила одна-единственная лампа над входом в общежитие. Коля уже прошагал темное пространство: все тихо. Он решил, что опасное позади. Он уже стал насвистывать, когда услышал шум воздуха, сильную воздушную волну.

Рука была тут как тут. В полутьме она, вероятно, потеряла Колю, но теперь, опередив его, стремительно вошла в открытую дверь общежития, шарила там, засунув три огромных пальца (обычно ей удавалось просовывать два). Коля приготовил штыр, подумал, не ткнуть ли. Но не решился — боль придавала бы руке активность и злость. Было проще проскочить меж шарящих пальцев (рука их то всовывала внутрь, то вновь медлительно вынимала — искала вслепую), и Коле бы, конечно, удалось, если бы он чуть смелее прыгнул. Третий палец хотя и мешал тем двум пальцам, шарившим в пространстве предбанника, однако ведь елозил там и загораживал вход. А когда Коля прыгнул, штыр, который он придерживал, каким-то образом в тесноте стал поперек пальцев; Коля запнулся, успел бросить штыр и успел даже проскочить в подъезд, но упал. Огромные пальцы тут же прихватили его за ногу, вытащили наружу, и здоровенный ноготь, овальное матовое зеркало, придвинулось прямо к его лицу. Затем Колино лицо стали вдавливать в это зеркало. Нос, брови, губы — все сплюснулось. Слесарек задергался, но к матовому огромному ногтю его лицо придавливали все сильнее. Пальцам мешали их собственные размеры, а Коля бился изо всех сил, дергался, молотил в воздухе ногами и в конце концов все-таки выскользнул. На четвереньках он бросился к входным ступенькам, в то время как рука, ища потерянное, возила пальцами по асфальту совсем рядом. В этот миг Коля увидел свою кепку, упавшую с головы еще в самую первую минуту атаки, — с яростью он вдруг кинулся за кепкой, моя, мол, кепка, подхватил ее, а с ней схватил и штыр, лежавший рядом, и теперь, вооружась, колол, и бил, и снова колол большое светло-серое мясо. Из синих ранок хлынули ручьи крови. Рука замерла, пальцы болезненно отдернулись, а Коля, сколько мог сильно, уколол еще. Рука убралась из входа в общежитие — на этот раз она убралась рывком, а Коля в приливе смелости выскочил вслед, размахивая штырем как шпагой. Получив тут же удар, он рухнул в какую-то лужу возле входа, с него вновь слетела кепка. Но уже миновало — рука убралась совсем. Коля встал. Он поднялся к себе в комнату и там, возле умывальника, смывал грязь с лица, с ободранных в падении колен. А хорошо, что я сунул ей штырем под ноготь, думал Коля, умываясь и все еще подрагивая.

Поговорить бы теперь, выпить бы пивка с Валерой Тутовым — вот чего хотелось Коле. (Валера Тутов был смел, его любили бабы, он общался с разными интеллигентами, и вообще он много чего в жизни знал или хотя бы слышал — к тому же они как-никак кореша. Друг это друг.) Но Валера Тутов был в отпуске. Так что в пустой вечер ничего не оставалось кроме как ждать Клаву. Коля вздохнул. Клава тоже хороший человек — с Клавой они собирались пожениться.

Томясь, Коля пошел в общежитскую гостиную — в длинную общую комнату на первом этаже, где телевизор и где уже рассаживались пришедшие с работы мужики, занимаая места и возбужденно споря: ожидается футбол. Но на экране пока еще тянулись кадры пустыни, куда-то брели цепочкой верблюды, желтые пески лежали до самого горизонта. Кой с кем из мужиков Коля поздоровался, посидел с ними, посмотрел на перекатывающиеся с ветром по пустыне белые песчинки (мало-помалу, песчинка к песчинке — так передвигались целые барханы и заносили города!), но потом он все же не усидел, заскучал и еще до футбола вернулся в свою комнату, где лег ничком на постель, ожидая Клаву. Клава теперь не скоро. (Начальство любит поест как следует

и не спеша.) Коля задумался уже о другом: он не знал, как ему быть и как жить с этой вот гонящейся за ним рукой. Не идти же к врачу. Врач заставит подробно рассказывать. Врач запишет. Коля был простой слесарь, но он, конечно, понимал, что сказать про огромную руку — стыдно. Ведь черт знает что. Ну как скажешь, хотя бы и Клавке?..

Он стал вспоминать, как началось. Вроде бы во время обеда в столовой (в их заводской столовой) он пристроил взгляд и увидел у какого-то мужика здоровенную правую руку. Когда присмотришься, у всех мужиков правая рука сильнее. Да, хлебал щи. Когда мужик поел и пошел, Коля смотрел ему вслед не отрываясь — казалось, мужик идет и уважительно несет свою правую. Такая тяжелая!.. А после (на другой день) был тот плакат. Большущий и в ярких красках плакат: могучая трудовая рука расставляла там по всей нашей стране то высокие дома, то детсады и школы, даже красивые кафе, а внизу подпись: **ХОРОШО СТРОИШЬ — ХОРОШО ЖИВЕШЬ!** — так вот понятно и доходчиво призывал плакат строителей. Рядом с тем плакатом стоял строительный кран, настоящий, работающий кран (или, может быть, позади плаката висел еще один большой плакат, где строительный кран был нарисован? — в этом Коля сомневается, он уже не помнит), а под стрелой крана на строительных лесах уже почти возведенного высокого дома работали монтажники. Там, на высоте (это он помнит), двое монтажников не поладили — отложив сварочные аппараты, оба они кричали, размахивали руками, и один из них вдруг оступился. Либо он забыл закрепить строительный пояс, либо застежка пояса попросту не сработала. С высоты строящегося дома сорвавшийся человек летел с криком вниз, скорость падения росла, крик замер, так что уже с пресекавшимся дыханием человек падал на землю и несомненно бы разбился, как вдруг рука — вот та, огромная, которая высокие дома, школы и даже кафе расставляла по зеленому полю, — подхватила и бережно так опустила сорвавшегося строителя на гору песка возле бетономешалки. Такая вот сильная рука... Коля заснул, не подумав мысль до конца.

— Чего это спишь в такую рань?! — Клава пришла спустя, может быть, час. Она растолкала его, подняла. И как ни утомлена она явилась из дымной своей столовки, сказала, что хочет сегодня в кино — пойдем, пойдем, Колька, скорее...

Напяливая кепку и зевая, Коля сказал:

— Я и без того каждый день кино вижу.

Коля привыкал: выйдя, скажем, утром на улицу и заметив, что в эту минуту он посреди улицы один, он скорым шагом преодолевал пустое место и торопливо выходил к троллейбусу. (Где на остановке всегда стояли люди и было безопасно.) Он приспособился быстро переходить, перебежать на другую сторону проулка ближе к школе, так как ограда школы состояла из железных стержней с нацеленными кверху остриями, и руке там (а рука обрушивалась всегда сверху) приходилось вести себя сдержанно. Рука объявлялась мигом, она словно бы свешивалась с высоты соседнего дома, что в шестнадцать этажей, и падала стремительно вниз, растопыривая пальцы и уже с ходу этими пальцами ища и ловя, но Коля бежал, прыгал (он изворотливо бежал и ловко прыгал, как ускользящий маленький человечек), делая ложные движения и нехитрые финты на укоротившемся проулке, с тем расчетом, чтобы рука с маху налетела на столб фонаря, накололась на острия школьной ограды и отдернулась. (А он тем временем уже проскакивал к шумной улице, к остановке троллейбуса, где шел или стоял народ.)

Ночью Коля спал, в общем, спокойно, положив, однако, под кровать свой штыр. Если среди нечи окно оказывалось открыто и через сон Коля слышал возню шарящей огромной руки, он просыпался (Клаву не будил, даже слова не возмнил), опускал свою руку с постели на пол, брал штыр и, сонный, едва разлепив глаза, наносил удар в один из пальцев, целя пониже овального матового ногтя. Рука убиралась восвояси, после чего Коля отворачивался к стене, продолжая прерванный сон. Жизнь есть жизнь, и если какой-то вопрос никак не удастся решить, человек живет с этим вопросом бок о бок. Живет вместе с вопросом, вот и все. Ночь шла. Коля спал. Не услышавшая шума Клава тоже спала, как всегда крепко.

Они сидели вдвоем, они налили себе еще по полстакана — Коля и его приятель, компрессорщик Валера Тутов, вернувшийся наконец из отпуска.

— Мне всякая чушь мерещиться стала. Башка такой дурной сделалась, охренеть можно, — осторожно начал Коля. (Он решил: он расскажет Валере про гонящуюся руку. Если же разговор не получится, он объяснит Валере после, что был пьян и молот чепуху. Сойдет за пьяную болтовню.)

Вернувшийся с отдыха Валера Тутов ответил:

— Это погода дурная. Я тоже работать не могу. Сиж у компрессоров — и беспрерывно бабы, бабы, бабы в глазах... С ума сойти!

Коля:

— Ха-ха. Бабы!.. Мне вместо баб рука мерещится. Рука. Гоняется за мной, хоть в психбольницу беги!

На деле же рука была вполне реальна, однако осмотрительный Коля так и сказал для виду и для начала — мерещится.

Компрессорщик Валера Тутов ответил строго. Напустил на себя:

— А знаешь, это хорошо. Каждому человеку сейчас должна большая рука мерещиться. Порядку больше будет...

Но сам же, строгости своего тона не выдерживая, хохотнул:

— Это, ха-ха-ха, называется — сюр.

— Что?

— Сюр.

Валера рассказал, что, когда в прошлом году он со своим коленом лежал в привилегированной больнице, где ему вырезали мениск, он слышал, как врачи обсуждали меж собой всякие такие случаи и психические сдвиги. (Валера любил щегольнуть незнакомым словом. Коля настояжился по иной причине — слово «психический» тянуло само за собой неприятное слово «больной».) Надо обдумать, продолжал Валера. Надо к самому себе присмотреться.

Коля налил еще по полстакана, портвейн шел неплохо.

— Что еще врачи говорили?

— Говорили, у каждого в жизни бывает момент, когда его потрясает. Р-раз — и человек шизанулся.

Они выпили.

К ним подошли молодые женщины из их общежития, стали дергать: «Сколько можно болтать?!», «Смотрите, как они расселись на этой скамеечке: сами пьют и сами болтают, ох уж этот Валера!», «Валерочка! Неужели в отпуске ты мало пил?» — так они трепались, с просветлением на лицах, а из общежития уже слышалась музыка. Молодые женщины организовали в этот вечер дискотеку. (Танцевали с другой стороны длинного пятиэтажного общежитского здания — там в основном жили женщины-текстильщицы, отдельный вход.) То ли просто воскресный день, то ли у них намечался какой-то праздник — было неясно. Но было ясно, что разговору они помешают. Женщинам хотелось танцевать.

— Мы о врачах говорим, — мрачновато ответил им Коля, отваживая.

— О врачах?! — Молодые женщины захихикали.

Одна из них все-таки увела Валеру Тутова. Коля посидел на скамейке один, подумал о Клаве — не пойти ли к ней в столовку?.. Нет, надо еще пообщаться с Валерой. (Друг есть друг. Ведь Коля его ждал. Ведь как приятно — встретить человека и немного нагрузить его своей жизнью, мол, понеси теперь ты...) Коля решил, что их разговор не закончен. Он зашел к себе в комнату, прихватил там еще одну бутылочку портвейна (из припасенных загодя; бормотуха, а пилась сегодня неплохо) и тоже отправился туда, где танцевали.

Он пригласил какую-то молоденькую, помаленьку тискал ее в танце и все обдумывал сказанное Валерой. Разговор ведь вполне получился. Оказывается, можно и про такое поговорить. И не пугающее слово нашлось: сюр.

Стоять у подоконника было удобно, можно было о подоконник опереться и поглядывать в окно на деревья — все собравшиеся в зале (это был кинозал) танцуют, шумят, ходят суетливо туда-сюда, а вы двое с ними и в то же время чуть в стороне от них: пьете себе портвешок и поглядываете в окно. Стаканы и бутылки аккуратно стояли за фикусом. Пилось хорошо. И говорилось тоже хорошо, свободно.

— ...Я — человек вертикальный. Я много думаю о смысле жизни. Я люблю женщин. Я все до единого смотрю кинофильмы. То есть духовно я богат, и поэтому сверху, то есть со стороны духовности, я защищен. А вот от людей — по горизонтали — мне надо опасаться всяческих ударов, — так развивал свою мысль компрессорщик Валера Тутов.

— А я? — спрашивал слесарь Коля.

— А вот ты как раз человек бытовой, горизонтальный. Ты любишь поесть, ладишь со своей Клавой, уносишь домой подворованную ею печенку, потаскиваешь мешки с картошкой — у тебя по горизонтали все хорошо получается само собой. Ты живешь как трава. Бытовой малый. У тебя все замечательно. Но за это изволь оплатить проезд! — а значит: жди удара по вертикали...

— Так, что ли? — Слесарь Коля медленным движением провел рукой перпендикулярно земле.

— Примерно так. Сверху. Для тебя, поскольку ты отлично устроился на земле, опасность с неба, понял? Не сбоку опасность, а сверху.

Они выпили еще понемногу.

— Здорово идет портвейн, а?

— Да. Вкусный. Но скоро кончится... Во всем районе водки нет.

— Барда-аак!

— Не нравится мне эта опасность сверху, — вздохнул Коля, имея в виду руку, бросающуюся на него откуда-то с крыш многоэтажных домов.

— А мне? — саркастически хмыкнул Валера Тутов. — Мне тоже не слаще: только и жди удара от людей.

Музыка гремела, танец за танцем следовали теперь непрерывно, — Валера Тутов нет-нет и отправлялся отплясывать (забытый твист он тоже отменно танцевал), так что разговор шел, подстраиваясь под веселье, — урывками. Коля впал в задумчивость. В словах Валеры, как всегда, была какая-то незнакомая новизна. Нет, Коля не испугался. Он, в общем, уже привык к огромной руке, привык и даже приспособился к преследованию: он сможет прожить и сам по себе, без объяснений, но все же лучше, когда есть такие слова (когда эти слова расставят твою заботу на известные или понятные места).

— Ты, Коля, не скисай, — когда они еще выпили по полстакана, повел разговор Валера. — Знаешь, что может обозначать рука? Да что угодно!.. Мне один интеллигент говорил, что любовь к нему всегда приходит в виде старухи. Такой знак. Ты стоишь, например, в очереди, вдруг тебя тихо-тихо кто-то сзади трогает за плечо — оглянулся: старушка стоит. С авоськой. Или с сумкой, обыкновенная старушка. Это значит, что к тебе скоро прилетит любовь.

Коля ответил:

— Да у меня уже Клавка есть.

— Кла-авка. Да таких, как Клавка, знаешь сколько!

Коле стало немного досадно, но затем он согласился: и точно, Клавка одно, а любовь, может, совсем другое...

Коля вдруг воодушевился:

— Слушай! Может, и точно — старуха?.. Ведь она одной рукой меня ловит? Одной! Две ее руки меня бы сразу поймали. Но рука — одна, а значит, во второй руке у нее авоська. Или сумка. Огромная такая старуха. Это же потрясающая штука! — Воображение вспыхнуло, слесарек Коля сделался весь красен.

Он представил себе огромную старуху, и ведь каким-то образом она ходит на своих огромных ногах. Ножищи у нее небось как колонны!.. Коле (в парях портвейна) нравилось думать об этом: грандиозная, дурацкая такая декорация! как в кино!

Но Валера его уже не слушал.

— Кто это? — спрашивал Валера Тутов.

Спрашивал — и указывал глазами на крепкую и пышную телом молодую женщину: она пришла с новой, только что ввалившейся в общежитие компанией. В кинозале, где танцевали, стало тесно. Стулья вынесли вон. Компания, как выяснилось, принесла с собой выпивки. Общага вновь зашумела, загудела. Пышная молодая женщина с несколько необычным именем Васса, так сразу поразившая своей внешностью Валеру Тутова, оказалась новенькой — из тех, поселившихся в их общежитии совсем недавно. Валера пригласил ее танцевать и уже не отпускал. Он умело прижимал ее в танце, постанывал, но она была

сдержанна, молчала; когда он целовал, она отворачивала от него лицо и вместе с лицом губы. Валера ловил правильную минуту, но Васса тотчас отворачивалась от него вновь (в тот самый момент). Свет в зале был почти полностью потушен. Музыка врубили на полную мощность.

В пришедшей и расположившейся на стульях компании оказался рослый рабочий из строителей: он, видно, пришел прямо со стройки (даже свою спецовку не успел снять). Работяга сидел близко от Коли и, выпив водки, деловито закусывал тем, что вынесли наскоро текстильщицы из своих комнат. То сырок плавленый он ловко разрезал на два, то двигал к себе банку с рыбными консервами и, нажимая на хлеб, выедал банку до дна.

Коле надоело следить в толпе танцующих за Валерой и за его новой молодой женщиной, и теперь в поле зрения попал этот энергично закусывающий строитель, точнее — его рука. (Она казалась больше обыкновенной руки: сильная, вся в буграх. Правая.) Но не обман ли оптический? — Коля стал поглядывать на свою руку, сравнивая, а также на руки парней, что так слаженно танцевали с девчонками в полутьме. Строитель сидел себе на стуле и продолжал жевать, уминая теперь салат, — правда, работяга сидел ближе, а другие парни были поодаль, так что и тут могла быть оптика и самообман. Вот ведь ручища! — Коле хотелось подойти, познакомиться и, например, спросить, как, мол, у вас с жильем для строителей и прочее, — а главное, знакомясь, пожать эту руку. Строитель как раз доел салат, поднялся из-за стола и пошел на этаж к женщинам-текстильщицам.

Но проходил он рядом, и Коля хватанул его за рукав спецовки.

— Ты чего? — дернулся мужик.

Коля не отпустил. Напротив, схватил за руку и стал несильно крутить.

— Ты чего-о? — взъерился строитель.

— А ничего.

Строитель чуть шагнул в сторону и двинул Колю левой (Коля уже его отпустил) — от удара Коля успел уклониться; пришлось вскользь. Мужик ушел. Коля улыбался: рука строителя оказалась обычной, рука как рука.

Войдя в общежитие, Коля не успел даже открыть вторую входную дверь, с такой стремительностью ему пришлось отскочить в угол, где стояли лопаты. (Его едва не сбило ударом.) Но дальше внутрь рука за ним проскочить не смогла. Коля стоял прижавшись к углу, а огромные пальцы тянулись к нему, его почти касаясь. (Но все же не доставая. Хорош сюр, думал Коля.) Он вжимался в стену, а рука эластично изворачивалась, стараясь еще как-то всунуться во вход подалее, поглубже, входная дверь потрескивала от давления. Пальцы сгруппировались, чтобы всунуться еще на чуть, но слесарек, уже угадавший подкоркой, что вот-вот придет страшная минута, изловчился и рванул на себя вторую входную дверь — в угаданный момент перегруппировки пальцев он сам бросился меж них в нутро подъезда, даже и стукнувшись об один из пальцев, как об огромный белый мешок с мукой. И — был уже на ступеньках, вне досягаемости.

Валера Тутов шел в это время, взволнованный до чрезвычайности, провожать Вассу. Молодая женщина ему сказала, что ей уже пора, уже поздно, и случай провожания уже сам по себе представлялся Валере удачей. (Васса делила комнату с подругой, а та, тоже новенькая, как раз сегодня куда-то уехала.) Валера обольщал. Валера говорил вкрадчиво. Валера говорил смело и дерзко, а потом уже и напрямую рвался к Вассе в комнату, уговаривая и стоя у дверей таким образом, чтобы при малейшем положительном знаке втиснуться внутрь. Известная заповедь общежития: *не зевай* — имеет в виду неписаное правило: если молодая женщина тебе очень нравится, значит, она очень нравится и другим (если она новенькая и в общежитии недавно — дорог каждый час).

Однако Васса не пустила. В конце концов она даже ударила Валеру Тутова по лицу. Пришлось уйти. Из растревоженной его души всю долгую ночь никак не уходил образ красивой и пышной женщины, особенно же во взволнованной памяти осталась одна замечательная часть ее тела. Эта часть тела была у Вассы непропорционально велика (но не уродливо велика, вовсе нет!). Какая мощь! какие глыбы! — улыбался Валера. Он посмеивался. А забыть не мог. Он и на

работе, возле гудящих компрессоров, думал о Вассе. Поразившая часть ее пышного тела все время стояла перед глазами.

Вечером Валера Тутов пригласил ее в кино — не вышло. Отказ. С этой минуты Валера уже томился. Он вдруг чувствовал себя слишком взволнованным и чистым душой, что, сказать по совести, его угнетало. Высокие (вертикальные) порывы своей души он ценил, он очень ценил, но, когда дело касалось отношений с женщиной, он им не доверял: после высоких порывов он делался робким. И себя за это не уважал. «Ангел, — цедил он сквозь зубы. — Ангел, и крылышки скоро вырастут...» Нужна была водка, нужно было как следует напиться, что Валера и сделал, зайдя к кому-то из знакомых мужиков в комнату (он просто заглянул на шум голосов за дверь — там пили).

С кем-то он ссорился, кому-то клялся в дружбе. Но и напившийся, Валера Тутов продолжал часом позже шляться по общежитию, томясь и все еще чувствуя себя летающим ангелом. (Пора было на землю. Да, да, следовало уже заземлиться и огрубиться, душа слишком рвалась вверх.) Валера не знал, как быть, но его заплетающиеся ноги, кажется, знали. Ноги его вели. Беспечно бродя по общежитию, Валера случайно попал как раз в тот изгиб коридора, где жили текстильщицы возрастом сильно постарше. К ним можно было прийти и совсем пьяным. Можно было матюкаться, даже драться.

Туда он и пришел. Он еле различал глазами безликую, серую женщину. (Зато жила одна. И чисто. И закуска всегда есть.) А она, глядя на Валеру Тутова, качала головой и говорила: «Ух, хоро-оош...» — однако час был поздний, и, хотя Валера Тутов был сильно пьян, безликая и серая женщина лет сорока была сейчас в сомнении относительно того, как поступить. Она колебалась: выставить из комнаты его немедленно, дав пинка? или, может, сделать совсем наоборот — дать ему крепкого чаю, привести в чувство, приласкать да и уложить с собой в постель до утра? Она его примечала в общежитских коридорах и раньше. Молоденький. Но ничего мужичок, крепкий. Сгодится.

Она размышляла, а Валера Тутов, тоже молча, сидел, клевал носом, вот-вот грохнется со стула, однако же, ситуацию тоже прочувствовав, он не уходил: хотелось ласки. Ждал. «Ти-ли-ти». — «Что?» «Ти-ли-ти, — произнес Валера и наконец, давясь звуками, старательно выговорил: — Тилилилизр», — мол, включи телевизор, буду смотреть. Мол, мне хочется. Он как бы с некоторым опережением входил в роль будущего ее сожителя.

— Небось к молодым пьяный не пошел.

Она его корила. Валера Тутов кивал тяжелой башкой, соглашался — ведь правда. Ведь никогда таким пьяным к Вассе или к другой из молодых женщин он не пойдет. Он бывал у них немного выпивший, бывал крепко выпивший, но ведь не валяющийся с ног. А сейчас он валяющийся.

— Деньги у тебя на дорогу есть? — спросила женщина.

Он кивнул.

— Хочешь, такси тебе вызову?..

Он помотал головой — объяснить ей, что он, Валера Тутов, живет здесь же, в этом же общежитии, но только вход с другой стороны, сил не было.

— Чаю, — попросил он.

И вот эта, в сущности, пустяковая его просьба (он еле выговорил: «Чаю...») оказалась счастливым, посланным свыше случаем: Валера Тутов выпил подряд три чашки горячего чая, вполне отошел и заулыбался тяжелыми губами. Он словно бы стал другим. Он улыбался (мускулы лица еще двигались плохо, но уже поддавались). Он поправил воротничок рубашки и — поблагодарив за чай — вдруг ушел. И еще тяжеловесная его улыбка не сошла с лица, как тут же, за изгибом коридора, он столкнулся с Вассой, очень спокойной, домашней, в халате, молодая женщина несла с кухни из общего холодильника бутылку молока.

Тут Валера сразу устремился за ней, вошел-таки в комнату, и начались объятия, поцелуи. Дверь Валера закрыл, захлопнул, но свет они не включили, потому что Васса не успела даже протянуть к выключателю руку, так стремительно парень ее обнял. Бутылка молока упала, разлилась в темноте, но Валера все мял Вассу, целовал, даже поскрипывал зубами и стонал. На этот раз она не прятала губ, тоже целовала, обнимала его и позволяла ему трогать и мять все, что ему хотелось, за исключением разве что той волнующей части ее тела, которая у нее была несколько велика. (Вероятно, инстинктивно Васса оставляла

себе хоть какую-то пядь, чтобы чувствовать себя не совсем и не сразу сдавшейся. Без умысла, разумеется, и отчасти потому, что ощущала повышенный интерес к пышности своего тела.) Неумышленная ее самозашита, обычная для всякой молодой женщины, стала в данном случае ее торжеством и ее победой и... завершением свободной жизни Валеры Тутова. Валера уже не мог жить без этой красивой и пухлой женщины, он должен был иметь. На другой день он и Васса подали заявление в загс.

Они пили чай с душистым земляничным вареньем, которое Вассе прислали ее родные с Тамбовщины. А потом снова и снова с радостью, с дрожью ожидания спешили в постель. Но уже и сравнительно спокойно лаская ее в подсказанные минуты страсти или в минуты краткой передышки, Валера Тутов все еще только добирался до заветного своего желания. Васса Тутова не совсем понимала мужа. (Она нет-нет и пугалась его порывов именно от непонимания.) Наконец в одну из последних ночей медового месяца, уже в третьем часу сумасшедшей ночи, она ему позволила, усталая и смирившаяся. Он стал тискать, мять, припадать, кусать, постанывая и, кажется, даже рыча: «Сюр... Сюр... Сюр!...» — с нарастанием в голосе, которое тоже звучало все более торжественно и победно и которое кончилось, однако, вдруг плохо. Сердце его зачастило, зачастило и дало неритмичный внутренний удар и затем еще один столь сильный удар со сбоем, что Валера так и застыл лежа, полураскрыв рот, с ощущением, что ему на грудь въехал старый тяжелый танк.

Васса ойкнула, вскочила и довольно долго и трудно кой-как натягивала на голого Валеру брюки, потому что не понимала, как же иначе позвать сюда людей. Взявая, вскрикивая, сначала в одной только комбинации, затем накинув халатик, Васса металась по коридору, как мечутся в подобных случаях все молодые жены, вопя и недоумевая. И быть бы большой беде, если бы в своих метаниях по общежитским комнатам она в ряду других случайно не влетела в ту комнату за изгибом коридора, где жила неброская с виду текстильщица лет сорока. Женщина сразу сообразила, что парень много пил и много себе позволял и что, разумеется, сердце. Влила ему в рот вместе с водой размятую в порошок таблетку нитроглицерина, окно настежь, всех охающих и глазающих из комнаты вон, а Вассу поторопила за «скорой помощью» к телефону.

Валеру Тутова, с выкатившимися глазами и разинутым ртом, осторожно перенесли на пол и стали спасать приехавшие бородачи в белых халатах. К утру Валера пришел в себя, и его забрали в больницу. Только через три или четыре недели он, счастливый, вернулся к Вассе.

Тем временем рука продолжала гоняться за слесарьком, в своих атаках ничего не меняя. А Коля продолжал жить чутко. (Лишь шорох, шуршание выдавали движение огромного гибкого существа, быстро спускающегося и как бы падающего на Колю с высоких крыш шестнадцатизэтажных башен, соседствующих с их общежитием.)

В тот обеденный перерыв рука, преследуя, как-то замешкалась у входа и, сунувшись внутрь, неловко застряла пальцами в дверях. Коля проскочил легко. Уже стоя на ступеньках лестницы, он подумал, что злить ее, неловкую сегодня, все-таки не следует, но одновременно со здоровой мыслью озорства ради Коля спустился с безопасных ступенек, нул ботинком в огромный указательный палец и опять отскочил. (Баловство! Косая черная черта легла поперек пальца. Носок ботинка был в темной от мазута строительной грязи.) Руке не сделалось больно, Колин ботинок — это же не отточенный штырь. Но рука убралась. Она как-то непонятно и лениво убралась, с медлительной затаенной угрозой. Валяй-валяй! — прикрикнул слесарек в отвage.

Когда вечером они вместе возвращались с работы, Клава, как всегда первая, в простоте судьбы уже вошла в общежитие, а Коля был у входа, у дверей, и лишь на миг задержался: он подумал, купил ли на ночь сигареты. Тревогу Коля почувствовал своевременно и даже шорох характерный уже слышал, но колебался — и тут рука с лету схватила его. Рука передвинула Колины плечи в самые кончики своих пальцев и стала душить (Коля энергичным образом высвобождался, выкручивался), боясь упустить, рука перебросила его в образон, прихватила и сжала, сначала несильно, потом вдруг со всей мощью. Из бедного Коли брызнули его мозги; и вообще вся его теплая жидкость, какая ни была:

кровь, мозги, лимфа, моча, пот — все вместе таким цветным сгустком выскочило из него вверх, к облакам, а кожа и кости, его остатки, были минутой позже выброшены через дома на окраину железнодорожной станции, в тупик. (Где лежали вповал пахучие шпалы и где ржавели старые вагоны. Почти им под колеса.)

Иероглиф

Когда в душе улеглось, я думал: как это все на меня нашло? и почему вместо того, чтобы запальчиво метаться по улицам, я не поднатужился и не принес этим мальчикам и девочкам (добры ко мне) хороший большой кусок говядины? Кусок, конечно, обледел, перчаток у меня в тот вечер не было, и я ловил мороженое мясо в пышном белом сугробе, а оно все выскальзывало (как во сне), царапало в кровь пальцы, ударило, наконец я его ухватил. Чувство страха, в общем, бесформенно и более похоже на меняющийся иероглиф, нежели на понятную и читаемую букву. (Не знаю, не угадаю его природы — вдруг ближе к ночи прорывается, выскакивает, затем прогорает и столь же быстро сворачивается. И уже сильно потускнев, прячется в свои глубины. В наши глубины.) Начало было отчетливо: той зимней ночью я возвращался один. Возвращался из поздних гостей, где провел много часов и напился (это существенно). Падал снег. Под снегом лежал голый лед, так что ноги скользили. А впереди, во дворе многоэтажного дома, вырисовывалась темная фигура мужчины, который что-то такое прятал.

Силуэт четкий. Темный. Но не был он как вырезанный из черной бумаги, просматриваясь сквозь косенкие белые полосы летящего снега. Несколькими настрожившимся ночным взглядом (при этом я продолжал идти) я видел, как мужчина там суетится и приподымает из-под снега фанеру, точнее сказать, он оттягивал за угол большой лист фанеры и совал свое «что-то» под эту фанеру, под снег. «Что-то» было большим: напоминало по форме старинную палицу или огромную булаву длиной этак поболее метра. Мужчина ушел, исчез. А я двигался в тишине (в тишине снегопада) московской зимней ночи своими пьяненькими зигзагами по скользкому снегу. Не слишком думая, я оказался стоящим прямо у места сокрытия: просто оно само оказалось на моем пути. Сугробы. Там и тут холмы снега, замораживающие своими неправильными объемами. И темный, со слабой подсветкой дом (в одном из подъездов, вероятно, мужчина скрылся). Посвистывая, я беспечно пошарил в снегу, нашел край фанерного листа, натужась, приподнял. А затем вытащил «что-то», что оказалось коровьей ногой, хорошо подмороженной и по виду из тех стандартных говяжьих ляжек, с голенью, что в немалом числе висели когда-то в мясных отделах наших гастрономов. (Под фанерой был вовсе не род холодильника, напротив — мокрая теплая земля, труба и пар от теплой трубы; мясо бы там, размоеется, зачервивело и сгнило, и, стало быть, мужчина не припрятывал мясо, а выбрасывал, притом выбрасывал так, чтобы никто не видел, не знал. Мяса в магазинах нет, кто станет выбрасывать мясо?..) Я стоял покачиваясь; огромный кусок говядины, почти цельная коровья нога лежала возле меня на снегу. Я все еще насвистывал, но мысли мои становились все менее беспечны, а потом нашел страх.

Страх был прост: я почти воочию увидел, как толпа рвет продавца. Допустим, продавца из мясного отдела толпа прямо на улице рвет и топчет, после чего взрыв ярости распространяется на другого продавца, на третьего, а затем уже не только на продавцов, а на всех нас без разбора и смысла: ярость всех против всех. Выплеск уличных расправ, оговоров, репрессий (именно в последовательности) как джинн, вырвавшийся из бутылки, встал перед моими глазами — огромный, застилающий небо джинн злости. Мысль моя не справилась (такое бывает). Я оказался напуганным. И так получилось, что, спасая от возможной расправы продавца (и всех нас), я потащил эту улику, это начало начал, эту замерзшую коровью ногу куда-нибудь подальше, с глаз долой, — волок ее, нес, потом бросил рядом с большой проезжей улицей, на обочине. (Чтобы ее почти наверняка подобрал там водитель первого же, раннего грузовика.)

Моему позднему возвращению хозяева не удивились. «Мужик вернулся», — только и сказал один из молодых людей, открыв мне дверь. (Такой, мол,

нынче гость.) С сигаретой в руке, он впустил меня. И тут же ушел в комнату: они там вполголоса говорили, музыки уже не слышалось. Меня знобило, я отправился в дальнюю комнату в глубине их квартиры, где никого не было, и повалился в постель, а добрая Маринка (жаль, не Маша) укрыла меня позже прокуренным одеялом.

Вероятно, в первую минуту я и сам сделался зол: здоровенную коровью ногу упрятать обратно под фанеру в снег я никак не мог. Она все время выпирала из-под снега, она торчала, как я ни бился над ней, как ни заталкивал. Руки мерзли. И было ясно, что утром ее обнаружат. Наверняка есть и штамп, магазинная или складская фиолетовая печать на коровьей ляжке, — возможно, толпа уже утром выволочит продавца гастронома из постели и, если не разорвет, потащит его в милицию (что будет, быть может, как раз тем, что он заслужил), но ведь заботило вовсе не спасение некоего продавца от тюрьмы. Мои мысли уже набрали как бы космическую скорость. Легкая для продавцов доступность мяса ведет к тому, что, не успевая свои запасы съесть, продавец попросту меняет мясо в домашнем холодильнике на более свежее; холодильник тесен, так что залежавшееся надо выбросить (госцена для мясника плевая, убытка тут ноль или почти ноль), однако же толпе в эти тонкости вникать нет нужды, толпа и без того, как наползающее возмездие, переполнена известной, все и вся сокрушающей злостью. (Толпа не поймет чьей-то личной вины. Как не поймет, скажем, чьей-то личной жизни.) К тому же толпа сама может надеть (законности ради) проверяющие красные повязки на руки. От какого-нибудь домового комитета повязки, от комитета ветеранов войны, какие угодно, но красные, с понятной тщательностью подделки, и сама же (после первого очевидного случая, после этой вот коровьей ляжки под снегом) начнет хватать всех мясников подряд или — шире — всех вообще продавцов, кладовщиков, подсобных рабочих, обнаруживая у них в квартирах, в их холодильниках или мешках тот или иной вид сокрытого дефицита. И если их не будут рвать на части прямо на перекрестках, их будут судить, сажать и пришедших им на смену снова судить и снова сажать — толпа же будет стоять на улицах, требуя новых расправ. Пьяные мысли пугливы и скоры (я пытаюсь воспроизвести их скач замедленно и более вятно) — дальше, однако, в их логике темное пятно. Не помню. А дальше опять помню. Прерывисто, как пунктир. Социальный ропот низов — страх в верхах — и (тут уже помню!) начнут забирать и сажать в тюрьмы (да, да, для равновесия) всяческое начальство, с которым кладовщики и продавцы в той или иной форме всегда делятся товаром. Тюрьма тоже как вариант равенства. Мол, забираем не только вас. (Мол, забираем и этих. Спокойно, товарищи. Спокойно... Снисходительная практика власти.) С этого ублажающего народ момента маховое колесо репрессий наберет полные обороты. Однако толпы людские с улиц могут уже не уйти, они ненасыщаемы, что поведет наконец к прямому подавлению и (тут опять в той логике темное пятно, но итог помню ясно) — к новой системе лагерей.

— Второй раз нам не выдержать, — тупо и с пьяным упорством повторял я, пихая коровью ногу под фанерный лист. (Уже в кровь исцарапав руки. То ли о фанеру. То ли о закраины мерзлого мяса. Суть не в том, насколько правдоподобна нарисованная всполошившейся мыслью картина разверзания бездны, а в том, до какой степени эту мысль охватил испуг.) Но ведь вздор! чепуха! человек обнаружит замороженную коровью ляжку и тут же рано поутру унесет ее к себе домой. (Тихо радуясь добыче.) Вот и все, уверял я себя, взывая к здравому смыслу. Взывая, в конце концов, к реальному отношению к великолепному куску говядины, которую простой наш человек унесет домой, как только обнаружит. Однако пьяные мысли гибки. А вдруг простой наш человек в ту минуту не один, вдруг вокруг и возле нашего мяса окажутся и другие люди? А вдруг рано поутру ее обнаружит как раз пенсионер-правдолюбец?.. Эпидемия сегодняшних уличных расправ (и, возможно, вслед — эпидемия репрессий) начинается во дворе и с малой крови. С разбитого носа, с разорванного пальто. Цепная ядерная реакция в бомбе начинается (или не начинается) с одной лишней молекулы, дающей критическую массу. Снежная лавина начинается с того, что кашлянул проходивший лыжник; с того, что его подружка лыжница сбросила машинально со своей синей шапочки малую пригоршню снега. (Умещающуюся в ее ладошке.) Мысли пронеслись в минуту-две, притом что, охваченный испугом, я уже тогда понимал, что средоточие

моего галлюцинированного и одновременно близкого к документальности страха необязательно вовне меня. Страх мог быть моим личным страхом. Он мог в любую минуту отработать свое и, оставив во мне какой-то образ, испариться, уйти. (Но ведь не уходил.)

— Страх ищет себе метафору, — объяснял я (объяснял себе себя), волоча тяжеленную мерзлую ношу (я нет-нет и падал), но отговорки каким-то своим боком не расколаживали, а даже дисциплинировали; и чем из большей глубины вырывался волна за волной накатывающийся испуг, тем старательнее тащил я эту мороженую коровью ляжку. Она была слишком тяжела, чтобы унести ее далеко, к тому же, пьяный, я шел нетвердо, и мысль, что ночные дежурящие милиционеры прихватят и станут выяснять, откуда пошастывающийся гражданин несет мясо, — такая мысль тоже уже заботила. Но была ночь, и сильно мело. Снег валил. Ни милиционера и вообще ни души вокруг. Так что до улицы, до большой проезжей улицы с честным двусторонним движением я доволлок, бросив мясо на самом виду, на запорошенной снегом обочине. (Ранний водитель подберет.) Непременно подберет, куда ему деться! — уверял себя я, когда уже шел без ноши, несколько протрезвевший, но все еще заплетаясь ногами.

Я обнаружил, что я развернулся — иду не домой. Моих в те дни в Москве не было, и чем возвращаться в пустоту квартиры (и, возможно, в продолжающиеся ночные страхи), разумеется, было лучше вернуться туда, где весь вечер пили и где все еще могли сидеть за полночь говорливые люди. Ненасилие над собой. Ноги выбрали направление раньше, чем сознание.

Молодые люди частью разошлись, но сколько-то их сидели, курили.

— Дороги не нашел, — сказал один из них про меня, посмеиваясь.

Другой добавил:

— Хорошо, что не замерз!..

Пройдя на кухню (не смог пойти к ним, чужие пределы, что-то остановило), я сел у стола и, отыскав, налил себе водки. На душе становилось скверно (стыдно?) оттого, какой нехороший панический страх меня охватил и ведь совершенно лишил разума (простенькое соображение унести мясо к себе домой не пришло мне в голову) — часть сознания, как ни пьяна она была и как ни напугана, иронизировала, наблюдая уже со стороны отважный ночной поступок: таскание гражданином по городу мороженой коровьей ноги. «Отечество в опасности», — мысленно повторял я себе, думая обрести иронию, но обретая все тот же страх и в придачу что-то постаревшее и блеклое, сползшее, как шелуха, с этого страха. (И заодно чувствуя себя постаревшим, усталым, уже сошедшим с круга. Такая минута.) Я пил одну и другую стопку водки со злым желанием себя добить: «Вот тебе! вот тебе еще!..» — и ощущение вырвавшейся из-под спуда беды не покидало, и, в обход иронии, все еще была страшна та лавина, которая уже завтра загрохочет и покатится, начавшись, как с малого комка снега, с оставленного мной посреди проезжей улицы куска мяса — оттащить бы его подальше, оттащить и бросить, скажем, с берега в Москву-реку, в полянью, где впадает теплый ручей заводских отходов. (Где подымается пар над темным незамерзающим пятном воды и где плавают окруженные ледяной кромкой стойкие утки, единственные свидетели. Где мясо плюхнуло бы в воду — и нет его.)

Из кухни я прошел в дальнюю темную комнату их квартиры, там никого не было, и там, не раздеваясь, свалился в постель. (На кровати, как всегда, ни белья, ни подушки, матрас да пропахшее куревом одеяло.) Лежал. И полоска света под дверью. И отдаленные молодые голоса из той комнаты, где длилось их ночное бдение.

«Второй раз нам не выдержать!», — повторил я.

— Ну-ну. Не страдай, Игорь¹.

Она назвала меня по имени, я, видно, говорил вслух, бормотал. Знобило. Маринка сидела на кровати со мной рядом. Самая малорослая из них, простецкая, с привычкой чудовищно мазаться косметикой. Голос хриплый. Она не затевала никаких отношений: принесла еще одно одеяло, набросила на меня. Мужик перепил, бывает.

¹ И г о р ь — Игорь Петрович, писатель, персонаж нескольких произведений В.Маканина, в частности романов «Портрет и вокруг» и «Один и одна». (Прим. ред.)

Сквозь снег смутно просматривалась впереди стоянка такси, разумеется, без единой машины. Через пустое пространство я видел их силуэты — мужчина и женщина в снегу в ожидании хоть какого-то транспорта. И возле них небольшой чемоданчик. Их силуэты, кажется, и навели на мысль — как выгляжу я? (Возможно, я, с мясом в руках, все еще опасался свидетелей и распросов.) Каков для этой пары силуэт появившегося вдали человека: человека покачивающегося и взмахивающего руками, чтобы удержать равновесие? И взмахивающего еще чем-то огромным, что человек тащит в руках? (Через расстояние им не угадать, что я несу.)

Мужчина был с сумкой через плечо. Женщина с маленькой сумочкой. Их чемодан на снегу. Их тихие зимние фигуры, застывшие и упрощенные своей слишком понятной целью: ждать и ждать. Так они выглядели, в этом смысле я был богаче — я был в движении: движущийся, меняющийся силуэт.

Издали человек, уже сам по себе шаткий, поскользываясь на снегу и нет-нет взмахивая руками, представляет собой подвижный рисунок человеческого тела с несимметричным выпячиванием то рук, то ног. (Пляшущий человек. Иероглиф.) Но тонкая с одной стороны и сильно утолщенная с другой мороженая коровья нога, которую этот человек, пошатываясь, несет то на правом плече, то на левом, а то и прижав к груди, усиливает асимметрию и именно схожесть с меняющимся во времени иероглифом. Облик человека напуганного (и одновременно пытающегося спасти не себя). Иероглиф страха, если не иероглиф боли. И косеньяка штриховка падающего снега, если смотреть на человека издали. Белый фон.

Кстати сказать, если не иероглиф страха и боли, то можно счесть и за иероглиф любви, у которой ведь тоже свои права на истолкование. Любви к ним, то есть любви опять же не личной (но, может быть, и личной). Здесь опять неопределенность. Хромота терминов). Трудовая масса, вульгарная в наш век прежде всего из-за грубо потревоженного в ней социального инстинкта, готова плевать на интеллигента, как бы не делающего никакого дела, но потому-то любовь российского интеллигента к народу и прекрасна, и плодоносна. Любовь без взаимности. (И без расчета на взаимность.) И потому, как ни нелеп и как ни смешон человек, несущий ночью и нет-нет роняющий мороженую коровью ногу, иероглиф этого несения и роняния не нелеп и вовсе не смешон. Под ногами проваливались снежные холмы, неправильная и такая прекрасная геометрия сугробов. Российскому интеллигенту никогда не донести эту коровью ногу до проруби с теплым ручьем заводских отходов. Ему ее не спрятать и не выбросить. Ему от нее не избавиться, как не могут люди избавиться в своей каждодневной жизни (ни даже в своих сновидениях) от чувства тоскливой собачьей вины.

Под тяжестью мороженой ноши я оступился (меня повело вбок, к стене дома) — и увидел пьяного. Завалившись чуть набок, человек сидел в снегу. Струйка под задом, обычная у пьяниц на улице, была занесена снегом, но все же приметна. Он что-то бубнил. Я оступился еще раз и, сместившийся, оказался уже в шаге от него. Объятый все тем же космическим страхом и все той же любовью, я стал объяснять ему, как дорого время, так дорого, что даже помочь ему и оттащить его, бедолагу, до ближайшего дома, до теплого парадного, я никак не могу. Пьяный себе бубнил и мычал, а я отвечал ему: «Нет, нет. Не могу. Сейчас драгоценны даже минуты, потому что главное — предотвратить лавину. Второй раз нам не выдержать». Пьяный мычал свое. Или вдруг слышно выговаривал: «Да-ай!» — вероятно, просил сигарету (мне же казалось, он упрекает меня). К этой минуте я вполне выбился из сил, так что остановка, я свалился в снег с ним рядом, тяжело дышал. «Дай», — выговаривал пьяный, а я отвечал, сидя, как и он, в снегу: «...Ты должен понять. Ты замерзнешь — это не страшно. Я замерзну — не страшно. А вот если остановить лавину...»

И — надо было идти. Тяжело подняв из наметенного сугроба мерзлую палицу-ногу, ухнув, я вскидывал ее на плечо, брел дальше. Следующий привал был возле двух сварных гаражей: в образовавшемся там углу намело много свежего мягкого снега. Было там скользко, я упал и барахтался с холодной коровьей ногой в обнимку, то я ронял ее, то она меня. В снегу я решил было сколько-то полежать, передохнуть, но ведь я не мог себе позволить заснуть и

замерзнуть, не дотащив ноши. «Встаю. Встаю. Уже встаю...» — униженно оправдывался я, жалко и с готовностью считывался перед кем-то, строго наблюдающим за мной со стороны.

Нешумные

И в соответствии с логикой победивших, те, кто набрал голосов больше, шумно перебираются в самые первые ряды и кресла зала (иногда они перебираются подчеркнуто скромно — оттенок шума), а зал, возбуждаясь от всякой перемены, гудит. Собрание не кончается. Собрание, в сущности, и не может кончиться, так как люди не могут и просто не в силах, да и не в обычае прийти к чему-то раз и навсегда единому: люди как люди. Ряды кресел заполнены (в проходах одиночные внесенные стулья: не хватает мест). Ораторы подчас сталкиваются у микрофона, но, к счастью, их идеи более пластичны и вытесняют одна другую не сшибаясь. Идеи медлительны. Идея может стоять над головами, над умами, как летнее облако над лесом, — долго. И чем ценнее и нужнее для других людей внесенное тобой предложение, тем больше в передних и в более слышных и видных рядах ты сидишь — ты и твои товарищи. Группа твоя тем самым передвигается значительно ближе к сцене, к президиуму, а то и, вдруг, при особо ценном предложении, исходящем от вас, и особо удачном голосовании, захватывает и сам президиум, стремительно вскакивая из первых рядов и занимая места за столом с красным сукном, где микрофоны (строго по числу стульев в президиуме), а также обязательный старомодный высокий графин с водой и с карандашом рядом, чтобы постукивать им о графин, требуя внимания и желательно тишины.

Разумеется, людские судьбы повязаны с переменами; у лидера есть свита, деловое его окружение, сподвижники, вся его живая аура должна теперь переместиться назад (если они не перебежчики) или, напротив, продвинуться. Кресло впереди пусто. Оставивший его, еще недавно большой человек, подняв голову, уходит, как значительный все еще его шаг! Выбравшись из ряда, он удаляется куда-то в тылы, в темноту зала (он, возможно, вообще покинет собрание, он раздавлен, поднятая голова горделива только на эту вот, однуединственную выходящую минуту) — там и тут освобождаются поблизости кресла, его люди уходят в тень, а из тени им навстречу (к свету уже на полпути) движутся, посверкивая глазами, сбившиеся в стайку крепкие неущербные люди, удачники. Но не все же групповщина, есть и одиночки. Есть те, кто сами по себе. Освободившееся кресло — хороший шанс и для вольного стрелка. Быстрей! Бегом!.. он летит по проходу, чтобы первым успеть к месту, отвоєванному, быть может, самой природой ему и для него. Он ведь так верил в нынешнее время (и в бога!). Те, кто честно спешит группой, негодуют на торопливого, но ведь такова суть вольного стрелка и, главное, такова суть места — занял, оно твое. Во всяком случае, до следующего голосования. А уж если вольный усидит на занятом при голосовании, то место надолго (относительно, разумеется) становится его местом. Настолько его, что кресло уже можно за собой закрепить, бросив для виду и для знака на сиденье кресла плащ или оставив на сиденье свой портфель. Можно даже попросить (с глянцевым холодком в голосе) соседей: «Занято. Мной занято. Предупредите, если кто сюда кинется...» — и если соседи из тех, кто в отношениях честен, а в стабильности заинтересован, можно сравнительно спокойно, пока кто-то неглавный из президиума выступает, выражая в стершихся народных словах очередное предложение, — да, да, можно позволить себе выйти на спокойную минуту и покурить. В фойе приятно курить. Клетчато-шахматный огромный пол фойе дает простор и воздух, там и тут, пожалуйста, перламутровые пепельницы на столиках и бутылки с минеральной водой. Некоторым все равно, что пить, но иные — только боржоми, ничего другого не надо.

Вновь голосование. Скорее в зал. Уже подняты руки с белыми мандатами, значит, обошлись без табло: из президиума (ага!) подымается полный мужчина, с ним вместе отходит, откатывается назад вся его поджарая команда, освобождая чуть не целый (ага!) второй ряд и часть третьего и еще половину четвертого ряда, это ж все замечательные места! — выправление голосование немедленно поднимаются, вольные (эти всегда на чеку) тоже сплывли с мест, позволяя себе неприличную торопливость. Встречное движение и маневры, чтобы обойти,

приводит в узких проходах зала к тихой коммунальщине, к столкновениям или к оттиранию плечом; обмен ироническими репликами, грубое словцо, смех. Человек вдруг опрошен. Он так мило несложен. Он как бы в обнимку со своей двойственной природой: самоутверждение дает ему посыл изнутри: не зарывай, мол, талант, грешно, а власть манит его извне. Власть сзывает поклонников. Не только тех, грубиянов, что мерят всякую высь материальными благами, но и других, верных ей до гроба, с бледными лицами и с особенной печатью в облике, которая только и дается людям с хорошо скрытой страстью повелевать. Власть своих отыщет. (И благородных. И мясников.) Бок о бок с ними тысячи неотличимых, усредненно тщеславных, пробирающихся вперед во сне и наяву, то равнодушных, то цепляющихся за передние кресла пальчиками так, что обламываются ногти. Иногда ведь и вовсе ничего не надо, только бы ощущать свою скромную власть каждый день (хотя бы час один, хотя бы несколько минут, но каждый день). Чтобы иметь возможность на миг встать и оглянуться на сидящих сзади и, как ни короток тот миг, увидеть, как опускают глаза, а то и гнут шеи под твоим взглядом, так как не желают оказаться не уважающими тебя или не уважающими твое кресло. (Или не уважающими тот миг, на который ты привстал, продолжая заполнять кресло телом.) Но, конечно же, кто-то крикнет из неопознаваемой полутьмы зала: «Сядьте! сядьте! за вами не так уж хорошо видно!» — мужчина тоже может, но особенно женщины смелы, женский высокий голосок звизел, взлетел, вдруг крикнул: «Не был ли ваш отец стекольщиком?!» — как водится, хамство сошло ей за смелость. Смолкла, обеспеченная темнотой в тылах зала и задиристостью, мол, чего же ты, толстый, молчишь, если уж привстал и не даешь нам видеть! (Если уж так случилось, что твой папаша не сумел заделать тебя прозрачным!..) Аа-аа. Гу-уу. Гы-ыы, — вновь покатился собирательный гул. Но вот и новая идея: воздушная громада. И, стало быть, будет голосование. (Голосовать! Голосовать! — требует зал, накаляясь.) ЗА... ПРОТИВ... ВОЗДЕРЖАЛИСЬ... ВСЕГО... — и вновь к линейно светящемуся вверху табло с цифрами прикованы взгляды всех (и вытянутые шеи всех). Всех ли?.. Да, да, всех. Если, конечно, не считать тех утомленных, кто на самых плохоньких местах, в одном из последних рядов.

Там тоже сидят люди, их всего два человека (иногда их трое) — эти люди внимательно слушают, однако мало что понимают. Они оба устали, глаза их слипаются. Они никому не хлопают, не аплодируют, но ведь они никому и не кричат, не топают ногами, прогоняя от микрофона. Они тихо сидят, и можно сказать, что сидение их бесконечно, потому что, когда кончается собрание здесь, они переходят в соседний зал, где тоже идет собрание (потом еще в актовый зал, что на втором этаже) — надо присутствовать: надо слушать и надо хотя бы немного вникать. Они практически не спят. Удастся ли им вырваться домой? — удастся, но редко, на час-другой. У них есть, здесь же в зале собрания, свой маленький начальник с красным пьяненьким лицом, и когда он откуда-то из средних рядов зала поворачивается к ним — это знак, это как красный круг светофора: стоп!.. (Стоп расслабленности — пора работать!) Они следят за его пьяненьким взглядом и на линии взгляда видят выходящих из зала людей. Скупой жест пальцев, и они понимают: вот те двое. Они уже встали. Они не идут к примеченным ими людям, они как бы вяло плетутся за ними. Но уже не теряют из виду, двое за двумя. В фойе с огромным клетчато-шахматным полом, где там и тут стоят курящие люди и где на столах достаточно перламутровых пепельниц, они перехватывают тех двоих — пройдемте, пожалуйста! — показывая мельком свои потертые книжечки, если вдруг на лицах испуг и недоумение. Они выводят двоих из подъезда, сажают в закрытый микроавтобус. Хлопнула дверца. Движения их просты, согласованы давностью — они с полуслова понимают друг друга, как с полувзгляда понимали в зале своего краснолицего начальника. В машине один из двоих (увозимых для выяснения неких подробностей) начинает вдруг говорить, возмущаться, даже чего-то напористо требовать, но и тут они, профессионалы, спокойны, у них есть жесты и слова, которые уже отобраны практикой, которые на сквозном чувстве и точно попадают в самую десятку психосознания увозимых в закрытой машине: да ладно, мужик! брось дергаться! — или так: да ладно тебе дергаться, не мальчик ведь! ну что ты, ей-богу! — слова их так скупы, так выверены опытом и нешумны, и жесты их так спокойны (и так проста посадка шофера, и так ровно гудит мотор), что увозимые молчат, постепенно попригнув и

погасив всплеск возмущения в нише собственного то ли доверия, то ли фатализма.

За городом, едва свернув в лес, они быстро выводят из машины и приканчивают свои жертвы, двое — двоих. Они только на мгновение помедлили и задержались, дав проехать по шоссе (шоссе видно через деревья) машине «скорой помощи»; свидетели ни к чему, тем более с медиками надо держать ухо востро. (Проехали мимо. Пора.) Они приканчивают жертвы, одного и второго, ударами больших ножей, которые по виду напоминают короткий меч римлянина былых времен. Нож остер и тяжел, в опытных руках безотказен. Кроме того, в рукояти ножа вмонтирован мощный аккумулятор, собранный ток, которого хватит, чтобы уложить быка. Удар! Рука сама собой (невольно при ударе) стискивает рукоять, а этого достаточно, чтобы произошел контакт и вместе с ним электрический разряд через лезвие. Конечно, некоторая избыточность, но на всякий случай голова раскраивается и обычным ударом; ямы тут есть, лес и ямы, и усталые люди быстро закапывают убитых. Никто, разумеется, не узнает, пропали как пропали, и поэтому особенно опасны нынешние медики, которые выслеживают свежие трупы для своих целей (иной раз даже выкапывают, чтобы использовать для пересадок почки, сердце, печень, теплую кожу, что угодно. Внутренние органы человека еще несколько часов после смерти живут сами по себе). Конечно, медики производят расчленение и изъятие противозаконно и потому сами молчат как рыбы, а все же возможны у них накладки, случайности, информация может просеяться, если не просочится. Так что оглянься лишний раз. Так велят. Взять у убитых можно мелочь из карманов (на голосование больших денег с собой не берут). Одежда у них хороша, но одежду забирать категорически запрещено, может быть узнана на улице, опознана. Поэтому только сигареты да карманная мелочишка — они выгребли жалкие рубли, червонцы; часы нельзя. Да, можно закапывать.

Обратный путь. Они торопятся вновь на собрание. В их работе нет конца. (Как и в работе заседающих.) Но все-таки что-то сделали, и некоторая завершенность в деле, пусть даже не окончательная, располагает их к общению, к выходу чувства наружу — им хочется негромко поговорить меж собой.

— Что у тебя с жильем? — спрашивает один. — Дали?

— Хрен там дадут.

Первый то ли вздохнул, то ли тихо зевнул:

— Да-а...

И вновь смолкли. Они не говоруну, да ведь и говорить им особенно не о чем. Работая вместе, они и без того по крупницам знают все о жизни друг друга. Оба бедны, много трудностей. Один из них давно уже подал заявление на улучшение жилья: он живет со своей семьей в коммуналке, каждый вечер с соседями, собачится с ними, ну а как при скудности жизни избежишь ругни?.. Другой — тоже семейный, квартира у него все же отдельная, но маленькая и притом на последнем этаже: протекает крыша.

— Как дождь на улице, так и у меня дождь, — кривится он в улыбке.

Он объясняет про свою тесноту: теперь их живет в квартире не семь, а восемь человек. У старшего сына дочка родилась, Галька, совсем беленькая, а назвали Галочкой... В прошлый день был дождь, в люльку налило.

— Прямо на маленькую?

— Ну да. Она рот разевает. Думает, каплет ей сладкое чего. А оно капает чуть выше, в лобик. Мимо капает. Она разевала, разевала — да как заорет...

— Понимает!

Они смолкли. Сидят молча. Приехали. Машина встает у парадного подъезда большого здания. Но, как выясняется, нужно в этот раздерганный час не сюда. Шофер кричит им: эй, вы! к рации вас зовут!.. Оба вылезли из кузова, подходят к кабине, некоторое время оба нерешительно смотрят на шофера. «Ну, давай смелей!» — поторапливает шофер. Он нарочито небрежно трясет трубкой: рация это как телефон, обычный телефон, и нечего ее пугаться. Один из них снимает свою плохонькую пролетарскую шляпенку, приставил ухо к трубке. Слушает. Потом сплевывает, тыфу ты! — и говорит второму:

— В вестибюль велят. На Кедровой улице...

Они вновь залезают в кузов машины, вновь едут. Через десять минут они уже там, на Кедровой, где длится собрание. В вестибюле — это означает не входит в шумный, полный людьми зал и не сидеть, томясь, в последних рядах,

а сесть сразу где-нибудь возле гардероба, притом близко ко входу. Обычно тут зеркала, человек сидит и смотрит на самого себя, что тоже, конечно, неинтересно. Но можно подремать. Жизнь идет. Один из них ушел поискать привилегированный буфет — в том направлении, где шум и гул голосов (и вдруг грохочущий обвал аплодисментов, чья-то речь особенно удалась). Он возвращается с двумя бутылками томатного сока.

— Ишь хлопают! ладоши им не жаль! — говорит он и добавляет: — А я вчера пиво пил.

— Жигулевское?

— Хрен там. Разве найдешь... В магазинах все хуже и хуже. Какой-то ржавой воды налили — и то спасибо.

Они бедны. Это так. И никакого улучшения или продвижения в жизни для них (и, значит, для их семей) не будет, да они продвижения и не ждут. Не ждут, вот и все. Без нытья. Возможно, в самой глубинке своей души они надеются, но надеются неопределенно, как то огромное большинство людей, которые почему-то хранят старинную мысль, что им всем получает хотя бы к концу жизни. (Может ведь и привалить счастье.)

— Сын старший чего-то приболел... — начинает один из них, но второй уже не слушает.

— Посплю малость.

Он свешивает голову себе на колени, со стороны посмотреть, вроде бы не спит, задумался, но, конечно, он дремлет. Второй сторожит его сон. Надо уметь отключить себя, не то долго не протянешь, падать на улицах начнешь. Шарф у склонившего голову мало-помалу выбился, висит концами вниз до самого пола. Тот, который не спит, заметил; он подымает концы шарфа и осторожно подтыкает их спящему товарищу в карманы. Он заботлив, пусть спящий уловит свою минуточку сна. Сам он сидит прямо. Смотрит, вперяясь в шумливых людей спокойным невидящим взглядом.

Они оба не злы и, уж конечно, не загадочны: они обыкновенны. Нехитрым умом, они честны. Они честно выполняют порученное им, а большего, чем выполнять, увы, не умеют. Они люди каких много — человек делает свое дело именно потому, что его такому делу научили, вернее, к такому делу приставили, сам же он выбрать не умел, ни раньше молодым, ни теперь, когда уже придала возраст. Впалые щеки. Всегдашний вестибюль. Один из них, правда, иногда мечтает, но мечты его так же нешумны, как и он сам, и совсем просты — он, к примеру, мечтает никуда не ходить и у себя дома на кухне чистить крупную картошку (посматривая одновременно телевизор), и чтобы жена хвалила: мол, вот ведь как помог ей, когда у нее сегодня столько забот, брось туда еще морковки и, как закипит, лавровый лист, суп будет, поедим.

В вестибюле означилось движение — спрашивают плащи, бросив гардеробщику звонкий, с костяшечным стуком, номерок, и уходят. Гневные, распаренные выходят люди из зала; едва набросив плащ или дорогую куртку, торопятся к выходу. Но стойкое большинство осталось. Из распахнутых дверей зала в вестибюль доносится всеобщее возбуждение. Широкий фронт накатывающей волны звуков — шууу, гууу — и прорывающиеся знакомые вскрики: «Слова! Дайте слова!..» Надвигается голосование. В соответствии с ним (уже ожидаемо) произойдет очередная перемена: захлопают освобождаемые сиденья кресел, затопают ноги, и люди устремятся кто вперед, кто назад. (А кто-то и поперек зала, особый такой маневр, когда человек продвигается только вдоль своего же ряда, ничего вроде бы не меняя и оставаясь на том же неконкурентном расстоянии от стола президиума, где микрофоны и красное пятно скатерти. Он идет без цели, просто так — известный срединный характер, он движением мало-помалу искушает (и одновременно страшует) себя, готовый к умеренному броску и перемене места на лучшее — как, впрочем, и к стремительному отступлению.)

Второй уже подремал немного, зевнул, приоткрыл глаза — они вполголоса разговаривают о будущем лете, об отпуске, таком коротком, с детьми ехать никакого отдыха, а как их оставишь? а кто посидит летом с внучкой?.. Молчат. Неумные, они становятся совсем тихи: это ожидание. Вот-вот их минута. В вестибюле вновь возбужденные голоса, вновь люди (после голосования? уже?..). Оба продолжают сидеть. Они ничем не приметны. Они сидят рядом, совсем одинаковые, первый в плохонькой шляпенке, а тот, кто дремал, в кепке.

Вот и краснолицый. Он появился. Он ведет глазами пеструю группу людей — оба прослеживают за его взглядом: прочитывают. Этот? или эта?.. Ах, так — эти двое! (И показ прицеленным взглядом, и прочтение его просты, примитивны. Немного внимания, вот и все.)

Они следуют чуть впереди намеченных людей и только на самом выходе — правило вестибюльной засады, технология — один из нешумных берет под локоть мужчину, а другой женщину. Их руки так просто делают свое, так неотвратимо спокойно и твердо, что те даже не вздрагивают, — женщина, с ее повышенной чуткостью, отпущенной ей природой, не вскрикнула, не ойкнула, не повернула головы: так сразу поняла. Мужчина было напрягся, мышцы стали твердеть, но рука, его державшая, тут же и отпустила. На мгновение раньше, чем мужчина мог инстинктивно дернуться и, возможно, рвануться, рука отпустила, похлопала его логоньку по рукаву на уровне локтя и взбугрившейся мышцы — мол, что ты? зачем?.. — и, похлопав, вновь его взяла. Так они прошли до закрытой серой машины, до коробки микроавтобуса, сели. Ничего не было сказано, и шофер ничего не спросил. Машина тронулась. Значительность предстоящего ведет к известной немоте. Взятый мужчина все же заговорил (присутствие здесь женщины сделало его сколько-то ответственным), нарочито громко и с вызовом он поинтересовался, что это, мол, мы вместе едем и куда? — на что последовал вздох того, кто в кепке; усталая улыбка и негромкие слова: да ладно тебе, мужик, не дергайся, веди себя достойно... и ровный, ровный шум мотора.

Оба сидят, каждый напротив своей жертвы. У первого совсем заspanные глаза, вчера ночью едва не померла его соседка, сердечница, приступ за приступом, а ее муж, старый пенек, весь в радикулите, а телефон, конечно, не работал (наш сервис!), так что пришлось побегать. Вызывал лихую неотложку в два ночи, потом в четыре, потом еще в половине шестого. Так и не поспал. Он и всегда-то молчалив, а сегодня совсем бессловесен, так устал. Он свешивает было голову, но второй начеку, касается рукой его колена: нельзя. Сейчас и пяти минут нет, чтобы смежить глаза, вот что означает касание. (И минуты не улучшить, потерпи.) В лесу, едва свернув с шоссе под кроны деревьев, они высаживают мужчину и женщину возле ям и приканчивают их двумя короткими ударами своих тяжелых ножей.

Ножи они обычно носят под легоньким пальто, в чехлах. Чехлы нельзя назвать ножнами, они из кожзаменителя, простой формы и вместительные, так что нож и вся рукоять, по сути, болтаются в глубине мешка, и при необходимости нож надо рукой там нащупывать. Но опыт упрощает дело.

Убитые лежат в нескольких шагах друг от друга, женщина головой к лесу, она — к дороге. Один из нешумных напоминает своему товарищу, что, мол, убитых не разъяли, а ведь таково правило (и правила не отменишь). Чтобы кому-то было спокойнее. И чтобы, скажем, медики не пытались искать почку или селезенку для своих тайных пересадок. Тот кивает — да. Не перекуривая и продолжая работу, они раздевают обоих догола, иначе не разъять. Те лежат голые. Жене-лет тридцать пять, в самом соку, тело крепкое и в бархатном загаре, груди торчком. Один из них подходит к женщине ближе, спускает брюки и принимает к ней. Ведь ее почки и печень и все прочее еще живое, настолько живое, что медики и через пять с лишним часов готовы это забрать и заставить жить в другом организме (жаль же вот так сразу в землю, в сырую-то землю), — поймем ее, минуты через четыре-пять он подымается. Его дыхание сбито, тяжело.

— Сладкая. Не хочешь? — говорит он второму.

— Не.

Они берутся за ножи и быстро, уверенно рубят на куски обоих лежащих. Какие-то куски крупные, но нож достаточно тяжел, остер, и, еще раз оглядев, они расчлняются крупное на более мелкое. Они сбрасывают все в яму, дело заканчивается, а шофер стоит к ним спиной шагах в двадцати, курит и смотрит через деревья на все же заметный отсюда отрезок шоссе.

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

*

Я ЕСТЬ. ТЫ ЕСТЬ. ОН ЕСТЬ

Рассказ

Анна ждала домой взрослого сына. Шел уже третий час ночи. Анна перебирала в голове все возможные варианты. Например: сын в общежитии с искусственной блондинкой, носительницей СПИДа. Вирус уже ввинчивается в капилляр. Еще секунда — и СПИД в кровеносной системе. Плывет себе, кайфует. Теперь ее сын умрет от иммунодефицита. Сначала похудеет, станет прозрачным, постепенно растает, как свеча. И она будет его хоронить и скрывать причину смерти. О, Господи! Лучше бы он тогда женился, зачем, зачем отговорила его два года назад! Но как не отговорить: девица из Мариуполя, на шесть лет старше... И это еще не все. Имеет ребенка, но она его не имеет! Сдала государству до трех лет. Сдала на чужие руки — а сама на поиски мужа в Москву. А этот дурак разбежался, запутался в собственном благородстве, как в соплих. Собрался в загс. Анна спрятала паспорт. Чего только не выслушала, чего сама не наговорила. В церковь ходила, Богу молилась на коленях. Но отбила. Теперь вот сиди и жди.

Нервы расходились. Надо взять себя в руки. Перестань, сказала себе Анна. Что за фантазии? Почему в общежитии? Почему СПИД? Может, он не у женщины, а с друзьями. Пьют у кого-нибудь на кухне. Потом разойдутся. А вдруг пьяная драка? Он ударит, его ударят, и он валяется, истекает кровью. А может, его выбросили в окно, и он лежит с отсутствующим лицом и отбитыми внутренностями. Господи... Если бы был жив, позвонил бы. Он всегда звонит.

Анна подошла к телефону, набрала 09. Спросила бюро несчастных случаев.

— Але... — отозвался сонный голос в бюро.

— Простите, к вам не поступал молодой мужчина?

— Сколько лет?

— Двадцать семь.

— Во что одет?

Анна стала вспоминать.

— Валь, — сказал недовольный голос в трубке, — ну что ты заварила? Я, по-твоему, это пошло пить должна?

У людей несчастье, а они про чай, подумала Анна. И в этот момент раздался звонок в дверь.

Анна бросила трубку. Метнулась к двери.

Сбылось и первое и второе. И женщина и пьяный. Правда, живой. Улыбается. Рядом — блондинка. Красивая. Анне было не до нее, глянула краем глаза, но даже краем заметила — можно запускать на конкурс красоты.

— Мамочка, знакомься, это Ирочка. — Олег еле собирал для слов пьяные губы.

— Очень приятно, — сказала Анна.

При Ирочке неудобно было дать сыну затрещину, но очень хотелось. Прямо рука чесалась.

— А можно, Ирочка у нас переночует? А то ей в общежитие не попасть. У них двери запирают.

Так. Общежитие. Еще одна лимитчица.

— А из какого вы города?

— Из Ставрополя, — ответил за нее Олег.

Та из Мариуполя, эта из Ставрополя. Греческие поселения.

Анна посторонилась, пропуская молодую пару. От обоих пахло спиртным. Они просочились в комнату Олега. Оттуда раздался выстрел. Это рухнул диванный матрас. Анна знала этот звук. Потом раздался хохот, как в русалочьем пруду. Шабаш какой-то.

Тяжело иметь взрослого сына. Маленький — боялась, что выпадет из окна, поменялась на первый этаж. Теперь в случае чего не разменять. В армию пошел — боялась, что дедовщина покалечит. Теперь вырос — и все равно.

Анна не могла заснуть. Вертелась. Зачем-то считала количество букв в городах: Мариуполь — девять букв, Ставрополь — десять. Ну и что? Было бы двое детей — не так бы сходила с ума: Но второго ребенка не хотела: с мужем жили равно, все завидовали: какая семья. И только он... и только она знали, как все это хрупко. Анна хотела новой любви. Не искала, но ждала. Второй ребенок лишал бы маневренности. Анна ходила и смотрела куда-то вдаль, поверх головы своего мужа, как будто высматривала настоящее счастье.

Все кончилось в одночасье. Муж умер в проходной своего научно-исследовательского института. Ушел на работу, а через час позвонили...

Анна сопровождала его в морг. Ехали на «скорой». Муж лежал, будто спал. Наверное, он не заметил, что умер. Анна не отрываясь вглядывалась в лицо, пытаясь прочитать его последние ощущения. Смотрела на живот, на то место, которое всегда было таким живым. И если там умерло, значит, его действительно нет.

Однажды приснился сон: муж сидит перед ней, улыбается. «Ты же умер?» — удивилась Анна. «Я влюбился, в этом дело, — объяснил муж. — Встретил женщину. Не мог оторваться. Но мне было жаль тебя. Я притворился, что умер. А вообще я живой». Анна проснулась и плакала. Сон показался правдой. Муж, наверное, кого-то любил, но не посмел переступить через семью. Рвался на части и умер. Лучше бы ушел.

После смерти мужа Анна осталась одна. Сорок два года. Выглядела на тридцать пять. Многие претенденты распускали слюни, как вожжи. Однако у каждого дома была своя семья. А те, кто без семьи, и вовсе бросовые мужики. Норовили записаться в сынки, чтобы их накормили, напоили, спать уложили и за них бы все и проделали.

Была, конечно, и любовь, что говорить... Чудной был человек, похожий на чеховского Вершинина: чистый, несчастный и жена сумасшедшая. И нищий, конечно. Это до перестройки. А в последнее время вступил в кооператив, стал зарабатывать две тысячи в месяц. Нули замаячили. Не человек — гончая собака. И уже ни томления, ни страдания — завален делами выше головы. Некогда? Сиди работай. Устал? Иди домой. Он обижался, как будто ему говорили что-то обидное. Он хотел еще и любви в придачу к нулям.

В один прекрасный день Анна поняла: у нее все б ы л о. В прошедшем времени. Плюскамперфект. И то, что казалось временным, и было настоящим.

Женщина не может без душевного пристанища. Пристанище — сын. Умница. Красавец. Перетекла в сына.

А сын за стеной перетекает в Ирочку. Из Ставрополя. Десять букв. Мариуполь — девять...

Ирочка проснулась в час дня.

За это время Олег встал, сделал зарядку, позавтракал, ушел на работу и сделал плановую операцию.

Анна за это время сходила в магазин, приготовила обед — и села проверять тетради.

В учебной программе шли большие перемены. Историю СССР практически переписывали заново. Дети не сдавали экзамен. У Анны — французский язык. В этом отсеке все как было: je suis, tu es, il est. Я есть. Ты есть. Он есть. Возникли учителя-новаторы: ускоренный метод, изучение во сне. Анна относилась к этому скептически, как к диете. Быстро худеешь, быстро набираешь. Ускоренно обретенные знания так же скоро улечиваются. Лучшее всего по старинке: обрел знание — закрепил. Еще обрел — еще закрепил.

Анна сидела за столом. Работа шла плохо, потому что в доме находился посторонний человек.

Наконец — задвигалось, зашлепало босыми ногами, зажурчало душем. Надо накормить, подумала Анна. Молодые, они прожорливые. Вышла на кухню, поставила кофе.

Из ванной явилась Ирочка в пижаме Олега. Утром она была такая же красивая, как вечером. Даже красивее. Безмятежный чистый лоб, прямые волосы Офелии, промытые молодостью синие глаза. Интересно, если бы Офелия переночевала у Гамлета и утром явилась его мамаше, королеве... Анна не помнила точно, почему Офелия утопилась. Эта не утопится. Всех вокруг перетопит, а сама сядет пить кофе с сигаретой.

— Доброе утро, — поздоровалась Ирочка.

— Добрый день, — уточнила Анна.

Ирочка села к столу и стала есть молча, не глядя на Анну. Как в купе поезда.

— А вы учитесь или работаете? — осторожно спросила Анна.

— Я учусь в университете, на биофаке.

Значит, общежитие университетское, поняла Анна.

— На каком курсе?

— На первом.

Значит, лет восемнадцать — девятнадцать, посчитала Анна. Олегу двадцать семь.

— А родители у вас есть?

— В принципе есть.

— В принципе — это как?

— Люди ведь не размножаются отводками и черенками. Значит, у каждого человека есть два родителя.

— Они в разводе? — догадалась Анна.

Ирочка не ответила. Закурила, стряхивая пепел в блюдце.

Курит, подумала Анна. А может, и пьет.

— А вы не опоздаете в университет? — деликатно спросила Анна.

— У нас каникулы.

Анна вспомнила, что студенческие каникулы в конце января — начале февраля. Да, действительно, каникулы. Не собирается ли Ирочка провести у них две недели?

— А почему вы не поехали в Ставрополь? — осторожно поинтересовалась Анна. — Разве вы не соскучились по дому?

— Олег не может. У него работа.

— А у вас с Олегом что? — Анна замерла с ложкой.

— У нас с Олегом все.

Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столе. Анна хотела привычным движением снять трубку, но Ирочка оказалась проворнее. Ее тонкая рука змеиным броском метнулась в воздухе. И с добычей-трубкой обратно к уху. Звонил Олег.

— Да... — проговорила Ирочка низко и длинно. В этом «да» были все впечатления прошедшей ночи и предвкушения будущей. Ирочка замолчала и посмотрела на Анну умоляюще-выталкивающим взглядом.

Анна вышла из кухни. Подумала при этом: интересно, кто у кого в гостях...

Каждая семья имеет свои традиции, ибо человек без традиций — голый. Равно как и общество. Общество, порвавшее с традициями, обрубает якорную цепь, и его корабль болтается по воле волн или еще по чьей-то воле.

В традиции Олега и Анны входило звонить друг другу, отмечаться во времени и пространстве: ты есть, я есть. И ничего не страшно: ни социальные катаклизмы, ни личные враги. Ты есть, я есть. Мы есть.

В традиции входило открывать друг другу дверь, встречать у порога, как преданная собака. Выражать радость, махать хвостом. Потом вести на кухню и ставить под нос миску с божественными запахами.

И сегодня, как обычно, Олег позвонил в дверь. Анна заторопилась, но на пути возникла Ирочка. Анна растерялась, сделала шаг назад. Привилегии отбираются, как во время перестройки. В семье шла перестройка.

Ирочка тем временем распахнула дверь и повисла на Олеге в прямом смысле слова. Уцепилась руками за шею и подогнула ноги. Обычно Олег целовал мать в щеку, но сегодня между ними висело пятьдесят килограммов Ирочки. Олега, похоже, не огорчало препятствие. Он обхватил Ирочку за спину, чтобы ей

удобнее виселось, они загородили всю прихожую и из прихожей вывалились в комнату Олега и пропали.

Курица стыла. Устой дома рушились. Еще час такой жизни — и упадет потолок, подставив жилище всем ветрам.

Вечером Анна подстерегла момент и тихо спросила:

— А Ирочка что, не собирается в общежитие?

— Видишь ли... — Олег замаялся. Потом вскинул голову, как партизан перед расстрелом. — Мы поженились, мама..

— В каком смысле? — не поверила Анна.

— Ну, в каком смысле женятся?

— И расписались?

— Естественно.

— И свадьба была?

— Была.

— В общежитии?

— Нет. В ресторане.

— На какие деньги?

Анна задавала побочные, несущественные вопросы. Ей было страшно добраться до существенного.

— На мои. Откуда у нее деньги? Она сирота.

— У нее есть родители.

— Это не считается.

— А где ты взял деньги?

— Одолжил. У Вальки Щетинина.

Валька — друг детства, юности и молодости. Вместе учились. Вместе работают.

— А почему ты не взял у меня? — спросила Анна.

— Ты бы все узнала.

— А я не должна знать? — Это был главный, генеральный вопрос. — Почему ты мне не сказал?

— Ты бы все испортила.

Наступила пауза.

— Ты бы не пустила, — добавил Олег. — Я этого боялся.

Анна молчала. Было больно. Как дверь по лицу.

— Прости, — попросил Олег.

— Не могу, — ответила Анна. — И еще знаешь что?

— Что?

— Ты мерзавец.

— Я так не считаю.

— А как ты считаешь?

— Я боролся за свою любовь.

Олег счит разговор оконченным. Бывают моменты в жизни мужчины, когда он должен бороться за свою любовь. Это его правда. Но есть правда Анны: вырастила сына, пустила в жизнь, и теперь ее можно задвинуть под диван, как пыльный тапок.

Да. Стареть надо на Востоке. Там уважают старость. Там такого не бывает.

Муж... Вот когда нужен близкий человек. Когда тебя предают в твоём же собственном доме.

Анна снова не спала ночь. Мучил вопрос: з а ч т о?

— Да просто ты ревнуешь, — догадалась Беладонна.

— Классическая свекровь, и все дела, — дополнила Лида Грановская. — Не ты первая, не ты последняя.

У Анны две подруги со студенческих лет: Лида и Беладонна. Вместе кончали педагогический институт, французское отделение. Второй язык был испанский. Сейчас Лида работает на киностудии, переводит испанские фильмы. Беладонна трудится в издательстве, переводит французских авторов. Время от времени подкидывает работу Анне.

Лида — самая обеспеченная. Беладонна — самая красивая. Прозвище стало почти именем: Белла Донна. Прекрасная женщина. Ее жизнь, как молодая

планета, никак не образуется. То ледники, то оползни. Беладонна не может без своего Ленчика ни одного дня, но и с ним тоже не может. Такой вид любви: ни с тобой, ни без тебя. Они ругались, грызлись, как красивые псы. В конце концов разошлись, но продолжали встречаться и продолжали ругаться. Что-то было неразделимое в их душах, как кислород и водород в молекуле воды. А что-то совершенно не подходило, как ключ в чужом замке.

У Лиды — жизнь стоячая, у Беладонны — текущая река. Анне необходимо было одно и другое, в зависимости от того, чего просила душа: движения или благородного покоя. Анна позвонила утром, подруги тут же откликнулись на сигнал бедствия. Собрались у Беладонны в издательстве. Пили кофе из автомата. Анна рассчитывала, что они схватятся за голову и громко возопят в знак протеста и солидарности. Но подруги задавали дурацкие вопросы.

— Ей сколько, сорок? — поинтересовалась Беладонна.

— Почему сорок? Девятнадцать, — ответила Анна.

— Проститутка?

— Что ты глупости говоришь? Учится в университете. На биофаке.

— Любит? Или по расчету, из-за прописки?

— На шею вешается, как кошка.

— Тогда что тебе не нравится? Объясни. Молодая, красавица, умница, любит...

Лиды и Беладонна уставились на Анну. Анна напряженно молчала.

— Тебе ни одна не понравится, — заключила Лиды.

— Почему это?

— Потому что тебе нравится Олег. Я даже удивляюсь, что ему удалось из-под тебя выскочить. Молодец. Мужик.

— Но ведь больно!

— Так он же хирург, — напомнила Лиды. — Сейчас больно, потом будет хорошо.

— Не шалевай, — посоветовала Беладонна. — Первый брак — пробный брак. Через год разойдутся. Сейчас все разводятся.

В груди Анны полыхнуло зарево надежды.

— А если не разойдутся? — осторожно проверила она.

— Значит, будут жить. Ты что, не хочешь счастья своему сыну?

Анна задумалась. А в самом деле... Должен же Олег когда-то жениться. Почему не Ирочка?

Тяжкая ночь как будто собралась в облачко и отлетела, рассеялась по небу. За что? Почему? А ничему. Полюбил — женился. Женился — привел в дом. Не в общежитие же им идти... Поживут — разведутся. А уживутся — дай бог счастья. Ребеночка родят. Мальчика. Анна будет его холить, лелеять и отвяжется от Олега и от Ирочки. У нее будет свой собственный маленький Олег.

— А давайте выпьем шампанского! — решила Анна. — Все же событие...

Потекла совместная жизнь. День нанизывался на другой день, как шашлык на шампур. Набирались месяцы.

Ни о каком ребеночке не было речи, зато Олег купил видеомагнитофон. С рук. За бешеные деньги. Два года работы. По вечерам дом превращался в караван-сарай, гостиницу со скотом. Приходил курс Ирочки и ординаторская Олега. Сидели на всем, на чем можно сидеть, в том числе и на полу.

Анна вначале тоже пыталась приобщиться к мировому кинематографу, но хорошие фильмы случались редко. Зато бывали такие, которые запретил Ватикан, — столько там было безбожия и бесстыдства. Совестно смотреть, тем более рядом с молодыми людьми. Анна уходила на кухню. Через какое-то время вся кодла перекатывалась туда же: ели, курили, балдели. Анна отступала в свою комнату.

Она с удовольствием бы побалдела вместе с молодыми, послушала, о чем говорят, что за поколение выросло. Но она была им неинтересна. Отработанный биологический материал. И Анна сама чувствовала разницу. Ее биополе — бурое, как переваренный бульон. А их биополе — лазерное, легкое, ясное. Эти биополя не смешивались. Анна уходила в свой угол, как старая собака, и слышала облегченный вздох за спиной.

В первом часу ночи расходились по домам, оставив гору грязной посуды, пустой холодильник и серую сопку окурков в пепельнице.

У Анны возникло две новых проблемы: проблема денег и проблема сумок. Ирочка не готовила и не ходила по магазинам. Она училась в университете, и училась очень хорошо. Ее выбрали старостой группы. Олег тоже не ходил за продуктами и не готовил, потому что у него каждый день было по две операции. Не будет же человек, простояв две операции, еще стоять в очередях.

А у Анны короткий рабочий день. Ну разве ей сложно пойти в магазин и приготовить обед на трех человек? Какая разница: на двух или на трех? Гости? Но сейчас же все-таки не война и не блокада. Как можно не напоить людей чаем?

— Олег, нам надо разъехаться, — сказала Анна.

— Как ты это себе представляешь?

— Разменяться. Двухкомнатная квартира меняется на однокомнатную и комнату.

— Ты хочешь, чтобы мы жили в комнате?

— Можешь взять себе однокомнатную.

— А сама в коммуналку?

Анне не хотелось в коммуналку, но что делать?

— Мне трудно, Олег.

Анна прямо посмотрела сыну в глаза. В его глазах она увидела Ирочку. Сын счастлив. А от счастья человек становится герметичным. Чужая боль в него не проникает.

Ее, Анну, употребляют и не любят. Ею просто пользуются. Хотелось крикнуть, как Борис Годунов в опере Мусоргского: «Я царь еще! Я женщина!»

— Отстань от них, — советовала Беладонна. — Живи своей жизнью.

Анна созвонилась с Вершининым и пошла в ресторан.

Вершинин заказал малосольную форель, икру. Он теперь был богат и широк, как купец, и торопился это продемонстрировать.

Анна незаметно спустила «молнию» на юбке. Противоречия последних месяцев так распирали Анну изнутри, что она расширилась. Растолстела. Вершинин ничего не замечал, поскольку был занят только собой. И тогда и теперь. Но раньше он жаловался, а теперь хвастал. Его фирма хочет продавать финнам вторичное сырье, а на эти деньги построить гостиницу для иностранцев. Качать твердую валюту. Анна понимала и не понимала: финны, гостиница, валюта... Раньше встречались возле метро, заходили в булочную, покупали слойку за восемь копеек. Он рассказывал, чем она для него стала. А она слушала, заедая булкой. Чудесно.

А теперь белая скатерть. Малосольная форель. Про любовь — ни слова. Только сказал: «У нас появилось новое качество. Мы теперь умеем ждать». Появилось новое — ждать, потому что исчезло старое — страсть. Раньше не могли дня жить друг без друга, а теперь недели пролетают — и ничего. Ослабел магнит. Все очень просто.

Вершинин перешел от яви к мечтаниям. В мечтах он хотел взять кусок неосвоенной земли, скажем, Бурятию или Крайний Север, и произвести там экономический эксперимент. Страна внутри страны, с другим экономическим и даже политическим устройством. Как остров инженера Гарина. Блестели глаза. Лучились зубы. Никакого острова ему никто не даст, это понятно. Но какова мечта... Вершинин похорошел. Однако раньше он был лучше. Он был е е, как Олег. А теперь Олег у Ирочки, Вершинин у бизнеса. А что же е е? Французский язык: je suis, tu es, il est. И это все.

— Значит, у тебя хорошее настроение? — подытожила Анна.

— Да нет, конечно...

Сейчас разговор съедет на сумасшедшую жену и двух девочек. Он ведь не может бросить сумасшедшего, а значит, беспомощного человека.

— А я не сумасшедшая? — спросила Анна.

— Ты нет. Ты умная. Ты сильная.

В этом все дело. Ее не жалко. Никому.

На горячее принесли осетрину с грибами. Анна ела редкую еду и думала о том, что дома — вчерашний суп. Мучили угрызения совести.

Домой вернулась с чувством вины, но квартира опять в народе, дым коромыслом и смех до потолка и выше — на другой этаж. Жарят в духовке картошку. Рады, что Анны нет дома.

— Я им не нужна, — сказала Анна Лиде Грановской.

— Ты им не нужна. Но ты им необходима.

Необходима... На этом можно жить дальше какое-то время, до тех пор, пока не накалится температура до критического состояния и не рванет последним взрывом, от которого летишь и не знаешь, где опустишься.

— Ирочка, пусть ваши гости снимают обувь в прихожей.

— А может, у них носки дырявые, — заступилась Ирочка.

— Как это — дырявые?

— Ну, нет у человека целых носков. На стипендию живут.

В самом деле, может быть и так: человеку предлагают снять ботинки, а он не может.

— Но у нас ковер, — напомнила Анна.

— Что вам, ковра жалко? — удивилась Ирочка. — Все равно он дольше нас с вами проживет.

«Нас с вами». Не сказала «вас», а взяла с собой в компанию.

— Ирочка, можно у тебя спросить?

Ирочка напряглась, как перед ударом.

— Вы скрыли от меня вашу свадьбу...

— Олег скрыл, — уточнила Ирочка.

— Но ты не должна была допустить.

— Это его отношения с матерью. Почему я должна вмешиваться?

— Ты тоже будешь мать. И представь себе: твой сын не позовет тебя на свадьбу.

— Почему? — спросила Ирочка.

— Ну... — Анна поискала слово. — Испугается...

— Вот именно. — Ирочка одобрила слово. — Надо, чтобы сын не пугался своей матери. Вы ведь любите его для себя. Чтобы в а м было хорошо, а не ему.

Это новость.

— И мне его очень жаль, — заключила Ирочка.

Новость номер два. Олег, оказывается, одинок и не понят в своем доме. Но она, Ирочка, протянула ему руки. Их двое, как в вальсе. Кружат по голый планете.

— Предположим, я плохая мать. Но почему твоих родителей не было на свадьбе?

Ирочка не ответила.

Существуют ли они, эти родители? Или только в принципе? Кто она? Из каких корней? Из какого сада-огорода?

— Я не слышу, — поторопила Анна.

— А я молчу.

Человек если не хочет — может не отвечать. Он же не на суде. Даже президенты на пресс-конференции могут промолчать, если им не нравится вопрос. Если он кажется им бестактным. Но здесь не суд. И не пресс-конференция.

— Почему ты молчишь?

Вместо ответа Ирочка вытащила из-под кровати дорожную сумку, молча побросала туда свои вещи и молча ушла. Захлопнула за собой дверь. Последнее, что видела Анна, — зад Ирочки, обтянутый джинсами, похожий на две фасолины.

Олег вернулся с работы. Достал с антресолей чемодан, положил туда четыре пары обуви на четыре времени года, видеоманитофон, кассеты. Все остальное было на нем. На его сборы ушло двадцать пять минут.

Двадцать пять минут потребовалось, чтобы разрубить конструкцию мать — сын.

Жизнь разделилась пополам: д о и п о с л е .

Эти две жизни отличались друг от друга, как здоровая собака от парализованной. Все то же самое: голова, тело, лапы — только ток не проходит.

Анна была как будто выключена из сети. По утрам просыпалась, пила кофе. Кофе она варила замечательный, но не чувствовала аромата. Какая разница, что пить, можно и сырую воду. А можно вообще ничего не пить.

После завтрака по привычке включала кассету Высоцкого. Он заряжал ее на работу. Но сейчас Анну укачивали однообразные хрипловатые крики. В жизни после повышался оценочный критерий. Ничего не нравилось, никому не доверялось.

Выключив магнитофон, Анна садилась за перевод.

Подстрочный перевод — это полдела. Он передает содержание, а не автора. Надо услышать авторскую интонацию, общую тональность. И если это услышишь, тогда есть все: и автор, и таинство творчества, и языковой код. Анна как бы перемещалась во французского писателя — слышала его голос, вбирала энергетику души.

В жизни после Анна сидела за столом как чурка с глазами. Пыталась вникнуть в интонацию, но мозги затаянуло липким туманом. Да и зачем нужен этот перевод? И почему именно Анна должна переводить? Без нее обойдутся. Этих переводчиков как собак нерезаных.

Язык, кстати, связан с ландшафтом. В Армении гористая местность, и слова — тоже гористые. Может встретиться фамилия, где пять согласных подряд: М к р т ч а н. А в Финляндии равнинная местность. Там такие слова: С а - а р е м а а... Северные языки протяжные. К югу ускоряются. Французский язык набирает скорость, а испанский уже сыплется, как горох на блюдо.

Но при чем тут Мкртчян, горох? А ни при чем. Просто работать не хочется, есть не хочется. Жить не хочется. Еще немножко — и превратишься в призрак. Все видишь, но ни в чем не участвуешь.

— Ты должна была ее полюбить. Взять на душу, — сказала Лида Грановская.

— С какой такой стати? — не поняла Анна.

— Если ты любишь сына, а сын Ирочку, ты должна любить то, что любит твой сын.

— Значит, Ирочку будут любить и я и Олег. А меня никто. Меня только терпеть, зажав нос. — У Анны выступили на глазах злые самолюбивые слезы.

Еще полгода назад этой Ирочки не было в природе. То есть она где-то была — в Ставрополе или в Мариуполе, далеко от их жизни. И вот явилась, проникла в дом, впиалась, как энцефалитный клещ, — отравила, стащила сына.

Ненависть забила горло. Пришлось вдохнуть поглубже, чтобы пробить ненависть.

Сидели на даче у Лиды Грановской. В окно смотрели елки под тяжелым снегом. Как обидна, как оскорбительна ненависть, когда под небом такая красота...

Интересно, а у природы есть ненависть? Может быть, землетрясения? Извержение вулканов? Штормы на море?

Лида Грановская выкладывала в камине дрова.

— У тебя была свекровь? — спросила Беладонна.

— А что? — не поняла Анна.

— Интересно, ты как к ней относишься?

Анна добросовестно вспомнила свою свекровь.

Когда они познакомились, Анне было девятнадцать, а свекрови сорок семь. Между ними — двадцать восемь лет. Целая сознательная жизнь. Добролюбов за это время успел состояться и умереть. Но при чем тут Добролюбов?.. Свекровь казалась Анне сильно пожилой: на теле лишние куски, на лице лишние заломы, под глазами мято, будто пергаментную бумагу пожулькали в кулаке, а потом разгладили ладонью. Анна прослышала: в молодости у свекрови был крутой роман с кем-то значительным, она любила, и ее любили. Но Анне трудно было это представить.

Первое время жили вместе. Свекровь мощно метала свое тело то туда, то сюда, из комнаты в кухню и обратно. Ставила тарелки, выносила тарелки. Выражала какие-то свои мысли, которые вполне могла держать при себе. От этого бы ничего не менялось. Анна слушала вполуха, никогда не возражала, не грубила, не приведи Господь... Была равнодушно-вежлива. И это все.

— Ты ее любила? — спросила Беладонна.

— Терпела.

— Ну вот и тебя терпят. Закон бумеранга. Как ты, так и к тебе.

— Неужели передается? — с мистическим испугом спросила Анна.

— А как бы ты думала...

Лида Грановская обложила дрова газетами.

— Просто вам не надо было жить вместе. С самого начала, — поставила диагноз Лида. — На Западе вместе не живут.

— Мы же не на Западе.

Огонь занялся сразу. В камине весело загудело.

Разлили по рюмкам яичный ликер. Лида сама приготовила из сгущенного молока, водки и яичных желтков. Лида придумывала не только еду, но и напитки.

Грановский отсутствовал в очередной загранице. Последнее время он разъезжался. Друзья шутили, что в таможенной карточке в графе «профессия» он писал «вел. уч.», что значило великий ученый. Его так и звали: Велуч.

Помимо основной науки Велуч завел себе хобби: сочинять лозунги бастующим — армянам, молдаванам, шахтерам, в зависимости от исторического момента. Лозунги были научно-корректны. Точно и упруго выражали основную мысль. Лида выполняла роль фильтра, пропускающая через себя воображение мужа. Неужное и лишнее отбрасывалось. Это было своеобразное соавторство. Они любили друг друга с восьмого класса средней школы, в общей сложности тридцать лет. С любовью ничего не делалось: она не переживала кризисы, не хирела, не мелела. Наверное, так и должно быть. Проходит что-то другое, не любовь. А настоящая любовь проходит вместе с человеком.

Анна смотрела на огонь, и ей хотелось любви. Был бы рядом человек — не страшна никакая Ирочка. Он сидел бы сейчас рядом и смотрел вместе с ней на огонь.

— А где они паркуются? — спросила Беладонна.

— Снимают, наверное, — предположила Анна.

— Почему — наверное? Ты что, не знаешь? Они не звонят?

Лида вглядывалась в Анну. Анне было стыдно сознаться в том, что сын бросил ее и не звонит, и если бы она заболела или даже умерла — он узнал бы об этом с опозданием и от третьих лиц.

Анна молчала.

— Все-таки дети сволочи! — подытожила Беладонна.

— А как мы к своим матерям? — спросила Лида.

Огонь был привязан к дровам — и устремлялся вверх, как будто хотел оторваться от основания. Так и люди — привязаны к корням, а рвутся вверх и в стороны.

... Анна отдавала матери маленького Олега на три летних месяца. Выезжали на дачу. Мать батрачила, носила воду из колодца, готовила на керосинке. Анна приезжала каждую субботу и спрашивала: «Ну как Олег?» «А ты не хочешь спросить: как я?» Мать скрывала свой диагноз. Не хотела огорчать и не рассчитывала на поддержку. Она прошла эту дорогу одна.

Родительская любовь не возвращается обратно. Двигается в одну сторону. К детям. Мать любила Анну больше всего на свете. Анна так же любила своего сына. Сын будет любить свою семью, Анне останутся ошметки. Родители — отработанный материал. Природа не заинтересована в том, что отжило и больше не плодоносит. И надо обладать повышенными душевными качествами, чтобы любить детей и родителей одинаково. У Анны не было этих качеств. Значит, и у Олега их нет...

За окном смеркалось. С елки упал снег, освобожденная ветка закачалась. Жизнь справедлива, если подумать. И человек получает возмездие за свою вину. Анна получила за мать и за свекровь. От Олега и от Ирочки. Сработал закон бумеранга.

— У меня нет детей. Знаете почему? — вдруг спросила Лида. — Мой прадед был пастухом и изнасиловал дурочку.

— Какую дурочку?

— В деревне дурочка жила. Ее никто не трогал. А он посмел. Деревня его прокляла. На нашем роду проклятье.

— Значит, прадед виноват, а ты должна платить? — скептически заметила Беладонна.

— Должна, — серьезно сказала Лидя. — Кто-то ведь должен. Почему не я?

— Ерунда! — отвергла Беладонна. — Некоторые всю жизнь насилуют дурочек. И ничего. Живут.

Дрова распались на крупные угли. Пламя неспешно писало свои огненные письма. Три женщины смотрели на огонь, как будто пытались расшифровать главную тайну жизни.

Так, наверное, сидел в поле у костра продрогший молодой пастух-прадед. А неподалеку бродила молодая спелая дурочка.

Олег Лукашин, хирург городской больницы, шел к своей матери после семимесячного перерыва. Семь месяцев. За это время может родиться ребенок, Живой, хоть и недоношенный. Говорят, что Наполеон был семимесячным.

Олег шел к матери пешком — до метро. Спускался в метро. Качался в вагоне. Плыл на эскалаторе. Выплывал на земную твердь возле Киевского вокзала. Ждал автобуса, автобус не шел. Такси в этом месте не останавливались, у них за углом была официальная стоянка. На стоянке — очередь, как митинг неформалов. Проклятое какое-то место.

Черноволосяе люди продавали гвоздики. Цветы стояли в стеклянном аквариуме, и там горели свечи. Так защищают от холода хрупкое, временное цветение. Все очень просто. Но Лукашину вид свечей и цветы напомнили церковную службу. В подмосковной церкви. Батюшка был старый, неряшливый и грубый. Застойный батюшка. Поп-бюрократ. А старухи — настоящие.

Думать связно Лукашин не мог ни о чем. Какие-то обрывки мыслей, ощущений. Он существовал на привокзальной площади как голый нерв, а вокруг творилась грубая жизнь, которая цепляла этот нерв и закручивала.

... Она сказала: хочу собаку.

Хочешь собаку — купим. Будет тебе собака. Если бы он тогда не согласился: «Ну вот еще, зачем нам собака? Что сторожить? У нас и дома-то нет». Но он сказал: купим.

Утром выходили из квартиры. Ирочка зацепила плащом за острый угол мусоропровода. Плащ затрещал, порвался. Они остановились. Вместе рассматривали отвисший лоскут, похожий на собачье ухо. Ирочка расстроилась. Личико стало растерянное.

Ирочка — обыкновенная женщина. И за это Олег ее любил. Он так соскучился по естественности, обыкновенности. Все вокруг — личности, хозяйева жизни... А вся эта личностность — не что иное, как самоутверждение за счет других, и в том числе за его счет, Олега Лукашина. «Смотри, какая я вся из себя уникальная, а ты — совковый мэнь». Совки — от слова «Советы». Значит, советский мужчина. Ни денег от тебя, ни галантного обхождения, и в совках — бардак.

А Ирочка — как роса на листке. Как березовый сок из весенней березы. Он целовал ее растерянное личико, утешал. Ирочка была безутешна. Потом отвлеклась от своего плаща, включилась в поцелуй. Они стояли возле мусоропровода и пили друг друга до изнеможения.

— Давай вернемся, — пересохшим голосом сказал Олег.

Если бы они тогда вернулись, не поехали на Птичий рынок — все было бы иначе.

Но поехали. Купили. Ирочка взяла в руки теплый комочек и не смогла отказать.

— Какая это порода? — спросила Ирочка у хозяина.

— Дворянин.

— Дворяжка, — перевел Лукашин. — Давай еще походим, посмотрим.

— Смотри, какой он дурак. — На лицо Ирочки легло выражение щенка.

Они уже жили одной жизнью.

Такси искали долго. Сейчас таксисты вообще с ума сошли. Не возят население. Не нужны им трешки и пятерки. Договариваются с кооператорами на целый день и получают сразу круглую сумму. Что им народ? Для них люди — мусор.

Взяли частника. Милый такой парень. На свою маму похож, наверное. Мужская интерпретация женского лица. А может быть, если бы дождался такси, все бы обошлось. Таксисты — опытные водители. Таксист бы увернулся. А частник не увернулся. И «рафик» ударил его прямо в лоб. Лукашин увидел этот летящий на них «рафик» — сердце сжалось, душа сжалась, тело сжалось до стальной твердости. Лукашин превратился в кусок металла.

Но что-то было до этого. Что-то очень важное. А... Ирочка сказала:

— Смотри, как сверкают купола.

Частник, милый парень, объяснил:

— Их недавно позолотили.

Ирочка сказала:

— Олег, давай поменяемся, мне отсюда не видно.

Ирочка со щенком на коленях сидела сзади. А он возле шофера. Она сказала: «Давай поменяемся».

Шофер остановил машину. Они поменялись местами. Ирочка села возле водителя, а Олег сзади.

«Рафик» ударил в лоб и убил шофера, милого парня, похожего на свою маму. Его вырезали автогенем. Иначе было не достать, так заклинило двери.

Ирочку он достал сам. Кровь свернулась, была густой и липкой. Белые шелковые волосы в ржавой и липкой субстанции. Люди столпились, разинули рты. Что, не видели, как человек умирает? Натё, смотрите... Лукашин тянул рыжие от крови руки.

Но что-то было перед тем... Что-то очень важное. А... он не должен был пересаживаться. Когда она сказала: «Давай поменяемся» — надо было ответить: «Да ладно, сиди где сидишь». Они бы не остановились и проскочили тот поворот. Три минуты ушло на пересадку. А за три минуты они миновали бы поворот, за которым стояла смерть. За кем смерть охотилась? За шофером? За Олегом? За кем-то из них. За Олегом. А Ирочка подставилась. И прикрыла. Взяла на себя. Теперь он есть. А ее почти нет.

Олег рвался в операционную, говорил, что он хирург. Говорил нормальным голосом, но все вокруг его почему-то боялись. Не пустили. Потому он бежал по лестнице. Стоял у грузового лифта. Лифт открылся, выкатили носилки с Ирочкой. Голова в бинтах, глаза закрыты, личико оливковое, бледное до зелени. И какое-то жесткое, как будто вытащили из морозильной камеры. Не она. Но она.

... Свечи под стеклянным колпаком. Цветы и свечи.

Однажды в театре шли по лестнице. Кончился спектакль. Спускались в гардероб. Он впереди. Она сзади. Он спиной чувствовал, что она сзади. И вдруг стало холодно спине — холодно-знобко. Обернулся. Ирочка отстала, и кто-то другой прослоился между ними. Олег дождался ее, взял за руку. Только он и она. Одно целое. И никого в середине — ни матери, ни друга. Одно целое. Так было. Есть. И будет. Она взяла на себя его смерть. Он возьмет на себя всю ее дальнейшую жизнь, какой бы она ни была, эта жизнь. Мать поможет. Матери сорок семь. На тридцать лет ее еще хватит.

Олег вспомнил несчастное лицо матери — как у овцы на заклании. Жалость и раздражение проскребли душу. Но ненадолго. Он не мог ни на что переключиться. В его организме, как в компьютере, были нажаты одновременно все кнопки: и пуск, и стоп, и запись, и память. Мигали лампочки тревоги: внимание, опасность. Но уже шел раскрут. Сейчас все взорвется.

Подождал автобус. Олег втиснул себя в человеческие спины. И сам для кого-то стал спиной. Как много людей. И почему судьба выбрала именно Ирочку — такую молодую и совершенную, созданную для любви? Какой смысл?

— Пробеите мне билет, пожалуйста, — попросили Олега.

Вокруг варилась жизнь, пустая, бессмысленная. В ней надо было участвовать.

Олег взял билет. Вложил в компостер. Нажал.

Анна смотрела телевизор, когда в дверях повернулся ключ.

Вошел Олег. Снял ботинки. Надел тапки, глядя вниз. Как будто не было семи месяцев разлуки, просто пришел домой. Раздевается. Устал. Глаза стран-

ные, будто в них кинули горсть песка. Не спал. Может, пил. А может, и то и другое. Пил и не спал. То и другое. И третье.

Анна приняла условия игры. Олег пришел, будто ничего не случилось. Значит, и у нее ничего не случилось.

— Тебя кормить?

Он не ответил. Правильно, что спрашивать...

Олег ел, как в детстве, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Его свитер был жестким от грязи, и весь Олег был какой-то жесткий, грязный, небритый, как бомж.

Поднял глаза на мать и сказал:

— Хорошо горячее.

— А тебя что, дома не кормят? — спросила Анна как бы между прочим.

Олег так же между прочим промолчал. Конечно, он не питается. Он закусывает и перекусывает. И много работает. Никакого здоровья не хватит на такую жизнь.

— Вы где живете? — спросила Анна.

— Снимаем.

По телевизору шла передача со съезда. Доносился резкий высоковатый голос депутата Собчака.

— Я могу платить.

— Не надо.

— Я возьму пару учеников. Мне это нетрудно.

— Не надо, — повторил Олег.

Вот, значит, как обстоят дела. Не хотят пользоваться ее услугами: ни кошелем, ни территорией. Ирочка не хочет. И Олегу запретила.

— У меня к тебе дело, — сказал Олег.

Ах, все-таки дело. Все-таки не полная блокада.

— Я забираю Ирочку из больницы...

— Она в больнице? — удивилась Анна. Хотя что тут удивляться. Молодые женщины, которые хотят спать с мужчинами, но не хотят рожать детей, довольно часто попадают в больницу. По три раза в году.

— Какое-то время она поживет здесь. У тебя. Ее нельзя оставлять одну.

— А Ирочка согласна? — осторожно спросила Анна.

— Ирочка больна. Ей нужна помощь.

— Значит, вы используете меня как рабсилу?

— Я тебя не использую. Я тебя прошу.

— Почему бы тебе не нанять тетку? Дай объявление в «Вечерку»: требуется женщина для ухода за больным.

— У меня нет денег на тетку. И я не доверю Ирочку чужим рукам.

— Извини, Олег. Но мне твоя Ирочка не нужна ни больная, ни здоровая.

Олег поднял голову, смотрел на мать, как будто не понял сказанного. Как будто она ему сказала по-французски, а он не может перевести.

— Я тебе не верю, — тихо сказал Олег. — Это не ты говоришь.

Анна заплакала, опустив голову. Стала видна непрокрашенная седая макушка.

— Мы попали в автомобильную катастрофу, — бесцветным голосом сказал Олег. — Шофера убило. Ира калека.

Анна перестала плакать. Подняла голову. Мозг отказывался переработать информацию.

— А ты? — выдохнула Анна.

— И меня убило, мама, — просто сказал Олег. — Разве не заметно?

Ирочку привезли в среду.

Олег внес ее на руках в свою комнату и положил на диван.

Анна готовилась к встрече, преодолевала внутреннее напряжение. Ненависть все-таки существовала в ней — не остро, а как хроническая простуда. Надо было как-то замаскировать эту ненависть, забросать словами, улыбками, приветствиями.

Но ничего не понадобилось. Ирочка лежала на диване. Голова ее была обрита наголо, повязана косынкой, как у баб на сенокосе. Голубые большие глаза, как пустые окна, не выражали ничего. Было неясно, осознает ли она,

происшедшее с ней, — или разум ее отлетел, присоединился к мировому разуму и существует отдельно от нее.

Анна застыла в дверях и впервые за все время их знакомства испытала человеческое чувство, освобожденное от ревности. Это чувство называлось со-страдание. Сострадание съело ненависть, как солнце съедает снег. Осталась влажная пустота.

... Ирочка шла по незнакомой планете. На ней не было людей. Домов. Под ногами серо-черное и пористое, как пемза. Было больно ногам и неудобно дышать. От недостатка воздуха болела голова. Хотелось перестать идти. Лечь. Но ее кто-то ж д а л. Очень важный. Очень ждал. И если она ляжет, то не поднимется. И не дойдет. Надо идти. Больно ногам. И голове. Шаг... Еще шаг... Еще...

Олег сидел возле дивана на полу и смотрел на жену. Не отводил глаз. Он был похож на горящий изнутри дом, когда стены еще целы, но из окон уже рвется пламя. Еще секунда — и прямым факелом в небо. Надо было как-то спастись. Облить водой.

— Тебе сегодня на работу? — спокойно спросила Анна.

— Что? — Олег повернул к ней лицо.

— Я говорю: на работу надо?

— Я не пойду.

— Люди болеют, ждут. Нехорошо.

— У меня своя боль.

— А это никого не волнует.

— Да, — согласился Олег. — Это никого не волнует. Мы одиноки в нашем несчастье, мама.

— А люди всегда одиноки в несчастье, — сказала Анна. — Ты просто не знаешь.

Олег привел травника. Это был человек лет сорока, немножко толстый, немножко неопрятный, с большим процентом седины в волосах и бороде. Волосы и борода не причесаны, а просто приглажены. Встал человек утром и пригладил руками волосы. Имеет право. Но все это мелочи. Главное — не брал денег. Значит, целитель, а не шабашник. Не наживаете на чужих несчастьях.

Травник достал пузырек с зеленоватым настоем, стал объяснять состав и метод лечения. Принимать надо по сетке: в шесть утра — одна капля, разведенная в чайной ложке воды, в семь утра — две капли, и так далее, до двенадцати часов, до седьмой капли. Начиная с часу дня — убавлять по одной. В шесть часов вечера — последняя капля. И перерыв до шести утра.

Каждый день — цикл. Вдох и выдох. Первая половина дня — вдох. Вторая — выдох. И ни в коем случае нельзя пропустить хотя бы один прием или нарушить последовательность капель. Травник изучил воздействие какого-то фермента живой природы на фермент внутри человека. При длительном, постепенном, волнообразном воздействии восстанавливаются разрушенные рефлексy.

— А поможет? — спросил Олег.

— Хуже не будет. Либо нуль, либо плюс.

Олег жадно смотрел на травника, пытаясь вникнуть в его прогноз.

— Либо без изменений, либо положительная динамика, — повторил травник. Он не давал гарантий.

— А сколько длится курс? — спросила Анна.

— Девять месяцев, — ответил травник.

— Почему именно девять?

— Это вообще мистическая цифра. За девять месяцев вызревает человек, на девятый день отлетает душа.

— А как же я? Моя работа? — растерянно спросила Анна.

— Придется взять декретный отпуск. — Травник улыбнулся. Зубы у него были крупные, белые, как сколотый сахар. Такая улыбка называется ослепительной.

У Анны выступили слезы.

— Вы привыкнете, — ласково и спокойно сказал травник. — Это хороший режим. Поверьте. Человек должен рано ложиться и просыпаться с восходом солнца. Вместе с природой. Как растение.

— Но я же не растение, — воспротивилась Анна.

В ней все кричало: не хочу! не хочу быть привязанной к дому, к чужой жизни, не хочу вставать ни свет ни заря! не хочу, не хочу и не хочу!!!

— Учти, — тихо, внятно сказал Олег. — Если она умрет, я тоже умру.

Анна посмотрела на сына. Они скованы одной цепью. И если Анна хочет вытащить сына, она должна тащить Ирочку.

— А что я такого сказала? — Анна округлила глаза. — Я только сказала, что я не растение, и больше ничего.

Вечером Олег привез собаку — ту самую, которую они с Ирочкой купили на Птичьем рынке. Собака ходила по комнате. Она была какая-то кургузая, и когда двигалась, ее зад заносило в сторону.

— Как ее зовут? — спросила Анна.

— Никак не зовут, — ответил Олег. — Собака, и все.

Собака понюхала ковер, облюбовала себе место и присела по своим делам. Анна тупо посмотрела на то, что оставила после себя собака. Долго стоять и размышлять не имело смысла. Надо было двигаться, действовать, что-то делать. Анна взяла веник, совок и мокрую тряпку. Надо было действовать. А значит, жить.

Потекли капли: одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть, пять, четыре, три, две, одна...

Часы и капли — вот что составляло ее жизнь.

Анна вставала на рассвете. Больше не ложились, но и не просыпалась до конца. Пребывала в состоянии анабиоза, как муха в спячке. Вяло ползала по стенам. Она присутствовала в этой жизни и не присутствовала. И в чем-то приблизилась к Ирочке.

Три неприятеля шли на Анну, выкинув штыки. Недосып — угнетенность тела. Недообщение — угнетенность духа. И отсутствие конечного результата. Ирочка лежала бревно бревном. Было непонятно: образуется у нее новая память или нет?

— Зачем тебе это надо? — искренне удивилась Беладонна. — Это же как с грудным.

— С грудным — понятно. Человека растишь. Сейчас уродуешься, потом человек получится. А это что? — Лида непонимающе смотрела на Анну.

— А что же делать? — спросила Анна.

— Сдай в интернат, — нашла выход Беладонна.

— Знаю я эти интернаты. Там можно с ума сойти.

— Так Ирочке же... извини, не с чего сходить. Она же не соображает, — напомнила Беладонна. — Какая ей разница — где?

— А так и она не живет, и ты не живешь, и Олег, — поддержала Лида Грановская.

Разговор происходил на приеме в посольстве. Грановского приглашали к себе все послы, но он игнорировал приглашения. Ему были скучны эти необязательные общения, фланирования по залу, пустые разговоры. А Лида — напротив, тяготела к светской жизни, суете и тусовке. И приобщала своих подруг. Подруги не ездили за границу, для них прием в посольстве — окошко в капитализм. Высунутся, посмотрят — и обратно. Все лучше, чем ничего.

Посол с женой встречали гостей. Возможно, они отмечали отсутствие господина Грановского. Вместо господина Грановского стояли три малосущественные женщины. Но посол одинаково любезно здоровался с Лидой, и с Беладонной, и с послами других государств. Тою же рукой, с той же улыбкой.

Анна незаметно перебирала глазами присутствующих.

Неподалеку стояла высокая элегантная женщина в смокинге. Такие смокинги носят швейцары в дорогих гостиницах и дирижеры оркестра. Но самое любопытное в женщине не смокинг, а возраст. То ли сорок, то ли девяносто

шесть. Лицо перешито несколько раз, и кое-где образовались вытачки, как на ткани. Руки в крупных пигментных пятнах. Все-таки старуха. Но сколько шарма...

— Смотри... — Анна толкнула Беладонну.

— Где? — не поняла Беладонна, поскольку смотрела только на мужчин.

Официантки носили на подносах еду: бутерброды величиной с юбилейный рубль и напитки — какие хочешь: виски, кампари, куантро... От одних слов опьянеешь. Анна перепробовала все подряд и опьянела.

Прием был совмещен с показом мод. Стулья расставили у стен, и по центру зала пошли манекенщицы, демонстрируя верхнюю одежду из кожи. Известный западный модельер привез свою коллекцию. Анна всегда знала: зимняя одежда защищает от холода. Нет. Оказывается, одежда может быть произведением искусства, как, скажем, картина Пикассо. И ее можно надеть на себя и носить. Манекенщицы, молодые девки, роскошные, наглые, шли каким-то милитаризованным строем, как в наступление. Шли, выламывая бедра, синхронно ступая, неся тайны своего тела. А Ирочка не хуже. Лучше. А вот лежит бревно бревном. И Олег мог бы морочить головы этим девушкам. А вот сидит возле Ирочки, будто сам парализованный.

А она... Анна... У нее никогда не будет такого пальто и таких ног и маленькой задницы. И никто из этих мужчин не позовет ее в кино и не скажет в темноте: «Я люблю тебя, я умираю...»

Анна заплакала.

— Ты чего? — толкнула ее Лида.

— От зависти, — тихо объяснила Беладонна.

И это было правдой. Не столько от зависти, сколько от сознания: у нее никогда ничего не было. И уже не будет. Только одна капля, две капли, три капли...

Анна вернулась домой не протрезвев. Олег уже ушел на дежурство. Ирочка спала.

— А я пьяная, — доверчиво сообщила Анна собаке. Надо же было с кем-то разговаривать.

Собака сильно выросла и за два месяца превратилась в здоровенную лохматую дуру. Похоже, один из ее родителей — ньюфаундленд. Из тех, кто в горах спасает людей. Собаку выгоняли в коридор. Там было мало места, негде развернуться, и собака двигалась, как маневренный паровоз по рельсам: вперед-назад.

Анна села к телефону и набрала Вершинина. Позвонила прямо в сердце семьи, что против правил. Подошел он сам.

— Привет, — поздоровалась Анна. — А я сейчас посмотрела в зеркало. У меня такая морщина на лбу, что в нее вполне может залезть немец, как в траншею, и отсидеться. И его не будет видно.

— Пьяная, что ли? — догадался Вершинин.

— Ага... — созналась Анна.

— Я тебе позвоню, — тихо, заговорщически пообещал Вершинин. И вдруг бодрым голосом произнес: — Да, да... — Это значило, появилась жена.

Ирочка шла по незнакомой планете и вдруг оказалась в квадрате.

Стены квадрата были в клеточку. Посреди — что-то лохматое. А в углу — не лохматое и возвышающееся. Ирочка с удивлением всматривалась. Когда-то она это видела. Ирочка напряглась. Заболела голова. К о м н а т а, вспомнила она. С о б а к а. Ч е л о в е к. И она тоже ч е л о в е к. Но в углу не она. Значит, кто?

Девять часов утра. Анна отсчитала четыре капли, подняла голову и вдруг увидела, что Ирочка смотрит на нее. Не вообще, а именно н а н е е. Рассматривает. Это было так неожиданно, что Анна вскрикнула.

Люди кричат от ужаса и от противоположного чувства, которое на другом конце ужаса: от укола счастья, от его мгновенного воздействия.

Собаке тут же передался ликующий заряд. Она вскочила и, обезумев от возбуждения, лизнула Анну горячим языком. Потом метнулась к Ирочке и

лизнула Ирочку. По пятнадцатиметровой комнате большим мохнатым шаром металось чистое ликование.

Анна схватила телефонную трубку. Надо было сообщить Олегу генеральную новость жизни. Недосып, недообщение, часы и капли, ее труд и терпение — все сомкнулось в одно и теперь называлось — **п о л о ж и т е л ь н а я д и н а м и к а**.

К телефону не подходили. Потом голос Петраковой задумчиво сказала:

— Перезвоните позже. У нас совещание.

Анна хотела крикнуть: «Да не могу я позже, какое, к черту, совещание!..» — но Петракова бросила трубку.

— Проститутка, — сказала Анна. И это — о заведующей отделением Юлии Александровне Петраковой.

Анна вдруг испугалась, что положительная динамика ей померещилась. Она вернулась в комнату.

Ирочка спала. Видимо, новые впечатления оказались ей не по силам. Лицо было бледным, как снятое молоко.

Без воздуха, без движения, подумала Анна и услышала в себе какое-то новое чувство. Раньше Ирочка существовала для Олега. А теперь — она сама по себе Ирочка. Несчастливая молодая женщина. Почти девочка. Совсем беззащитна. Ее можно не накормить, и никто не узнает.

И что с ней будет, если Анна умрет...

Олег сидел на диване у ног Ирочки и смотрел телевизор. Передача «600 секунд» сообщала, что один мэн по фамилии Прохоров нанял другого за пять тысяч убить человека. И тот убил. А передача «Добрый вечер, Москва» рассказывала, что морги переполнены, трупы негде хранить и их объедают крысы. Диктор сказал: **грызуны**.

Зачем ему, Олегу, это знать? Когда он умрет, ему все равно, объедят его грызуны или нет. А живым — страшно жить и умирать страшно.

Олег уже пресытился безобразиями нашей жизни и предпочитал смотреть видео. У Петраковой дома целая видеотека. Иногда он брал у нее кассеты. Но сегодня не получилось.

Олег сказал: дай что-нибудь посмотреть.

Она сказала: поедем, выбери что хочешь.

Из корпуса вышли вместе. Шел проливной дождь. На земле снег. А сверху — дождь. «Кончилась зима», — сказала Петракова. На ней было надето что-то черное с коричневым. Несочетаемо, а интересно. Дождь лупил по плечам. Ее очки были в брызгах. Олег обратил внимание на номер машины: 17-40. «Без двадцати шесть», — подумал он. И еще подумал: через двадцать минут — последняя капля. Он тоже существовал в орбите часов и капель.

Петракова никак не могла насадить дворники.

— Дай я, — предложил Олег.

Он забрал у нее дворники и легко надел их. Петракова не двигалась. Смотрела зачарованно. Потом сказала:

— Какие у тебя руки...

— Какие? — не понял Олег.

— Красивые. Мужские. Это очень редкость: красивые руки. Знаешь?

— Ты говоришь как по подстрочнику, — заметил Олег.

— Ага, — согласилась Петракова. — Я часто думаю по-английски. Потом перевожу.

Петракова отсидела с мужем десять лет в англоязычной стране. У нее даже появился легкий акцент.

В квартире шел ремонт. Пол был засыпан известкой и застлан газетами. Мебель и диван закрыты простынями. «Как в операционной, — подумал Олег. — Только там чисто, а тут грязь. Да и там грязь, если приглядеться».

Мужа не было дома, он работал за границей. Петракова вернулась в Москву караулить сына, чтобы не сбился с пути. Не стал на плохую дорогу. У сына был переходный возраст. Четырнадцать лет. В данную минуту сына тоже не было дома, и он не оставил записки, где находится. Возможно, именно в эту минуту он ступил на плохую дорогу и пошел по ней.

Петракова усадила Олега на диван, запустила кассету и вышла из комнаты. Договорились: он посмотрит несколько фильмов — минут по десять — и потом выберет то, что интересно. За десять, даже за две минуты бывает ясно, с чем имеешь дело. Искусство или так... вторичное сырье.

На экране замелькали кадры. Потащился сюжет. Сюжет состоял в том, что не очень молодая, страшненькая, затюканная жизнью женщина содержит публичный дом. Ее сын, умственно неполноценный, дебил, слоняется по дому и заглядывает в замочные скважины. Вот, собственно, и все. Обыкновенная порнуха. Художественной ценности не представляет.

Порнуху, конечно, можно посмотреть, но не в доме начальницы, заведующей отделением. И не в своем доме, где мать и больная жена. Хорошо бы сменить кассету, но у Петраковой другое видео, мультисистемное, другое расположение кнопок. Сломает еще... Олег смотрел и не мог оторваться, и его будто тянуло в дурной омут. Фильм шел на английском языке.

Вошла Петракова. Спросила:

— Хочешь, переведу? — И села к нему на колени.

Он услышал сладковатый жасминовый запах ее духов.

— Какие у тебя глаза...

Олег не стал уточнять какие. Не до того.

— Я переведу синхронно, — сказала Петракова и стала делать то же самое, что делалось на экране.

Следовало вскочить, стряхнуть с себя бесцеремонную Петракову. Если бы он тогда вскочил — именно в ту минуту, когда она села, — ничего бы не было. Но он не сделал это сразу. Услышал на своем теле ее руки. Это были руки... Они умели все. И держать скальпель. И ласкать... Олег сидел в блаженном дурмане. Петракова затягивала его. Подтаскивала к обрыву. Сейчас полетит с мучительным предсмертным криком.

— Не надо...

— Почему? — Петракова сняла очки, и он увидел ее глаза — зеленые, безбожные.

Вот тут еще был шанс — приказать себе и ей: не надо! Но он схватил ее, смял — всеми своими молодыми мускулами, ущемленным самолюбием, зрелой страстью, жестоким долгим воздержанием, всем своим горем и безысходностью. Это не ты мне переводишь. Синхронно. Это я сам тебе все скажу. По-своему. На своем языке. Растопчу и возвышу...

Диван был кожаный. Простыни съехали. И Петракова съехала на пол. Она лежала в известке на газетах и смотрела безучастно, как Ирочка. Опять Ирочка.

В глубине квартиры раздалась мужские голоса.

— Кто там?

— Рабочие.

— Они были здесь все это время?

— Ну конечно. У нас же ремонт.

Олег онемел. Сидел с раскрытым ртом. Хорош у него был видок: с не застегнутыми штанами и раскрытым ртом. Петракова расхохоталась. Ему захотелось ударить, но очень тонкое лицо. И не в его это правилах.

Олег поднялся и пошел из квартиры, ступая по газетам.

Дома дверь не заперта. Матери нет, видимо, отошла к соседке. Хорошо. Не хотелось разговаривать.

Олег стал под горячий душ, смывал с себя ее прикосновения. Раздался телефонный звонок. Он заторопился, вышел из ванной голым. Текла вода.

— Я тебя искал, — сказал в телефон Валька Щегинин. — Где ты был?

Олегу не хотелось говорить, но и врать не хотелось.

— У Петраковой, — сказал он.

— А-а-а... — двусмысленно протянул Валька.

— Что «а»? — насторожился Олег.

— Она тебе говорила: какие глаза, какие руки?

— А что?

— Она всем это говорит, — спокойно объяснил Валька.

— Подожди... — Олег вернулся в ванную. Надел махровый халат. Так было защищенное. — Она что, проститутка? — беспечно спросил Олег.

— Вовсе нет. Она б...

— А какая разница?

— Проститутка — профессия. За деньги. А это — хобби. От жажды жизни. Значит, не он и она. А две жажды. Вот они, сложные женщины. Личности. Его употребили, как девку.

Олег стиснул зубы. Прошел к Ирочке, стал смотреть «Добрый вечер, Москва». Собака подвинулась, положила морду ему на колени. Дом... Собака его боготворит. Мать ловит каждый взгляд. Жена просто умрет без него. Только в этом доме он — бог. Богочеловек. А там, за дверьми, в большом мире, сшибаются машины и самолюбия, шуруют крысы и убийцы. Мужчины теряют честь.

Олег взял руку Ирочки, стал тихо, покаянно ее целовать.

Ирочка смотрела перед собой, и непонятно, была эта самая положительная динамика или нет.

В конце мая переехали на дачу. Лида отдала свое поместье, поскольку у них с Грановским все лето было распланировано. Июнь — Америка. Июль — Прибалтика. Август — Израиль.

— Сейчас не ездят только ленивые, — сказала Лида.

Ленивые и я, подумала Анна. Было себя жаль, но не очень. В ее жизни тоже накапливалась положительная динамика: стрелка конечного результата заметно пошла от нуля к плюсу. Ирочка все чаще осмысленно смотрела по сторонам. Значит, понимала. Значит, скоро заговорит. И встанет. И вспомнит.

Травник оказался прав. Жизнь прекрасна именно по утрам. Анна просыпалась с восходом солнца, выходила в огород. Из земли пробивалось и тянулось вверх все, что только могло произрасти: и полезные травы и сорняки. Мудрые старые ели, кряхтя, потягивались: все позади, все суета сует, главное — пить воду Земли, свет Солнца и стоять, стоять как можно дольше — сто лет, двести... Всегда... Ажурные тонкие березки трепетали листьями, лопотали, готовились к дню — пусть к ошибкам, к роковым просчетам, пусть к гибели, можно сгинуть хоть завтра, но сегодня — любовь, любовь... Солнце только проснулось, не устало, не пекло, нежно ласкало землю. Птицы опрометью ныряли в воздух из своих гнезд. Вдалеке слышался звон колоколовцев. Это старик Хабаров вел своих коз на выпас.

У старика было семь коз: коза-бабка, козел-дед, двое детей и трое внуков. Козочки-внучки были беленькие, крутолобые, с продольными зрачками в зеленых, как крыжовины, глазах. Они входили всем выводком на участок. Хабаров приносил трехлитровую банку молока. Анна отдавала пустую банку с крышкой. И так каждый день. Ирочка сидела под деревом в шезлонге. Козы окружали ее. Библиейская картина. Старик Хабаров каждый раз внимательно вглядывался в Ирочку. Однажды сказал:

— Ангела убили...

— Почему убили? Просто несчастный случай, — поправила Анна.

— Нет... — Старик покачал головой. — Люди убили ангела.

Он забрал пустую чистую банку и пошел с участка, сильно и, как казалось, раздраженно придавливая землю резиновыми сапогами. Крыша поехала, подумала Анна.

Волосы у Ирочки отросли, глаза стояли на лице с неземным, абстрактным выражением. Анна вспомнила, что у Ирочки неясно с родителями. Есть ли они? А может быть, действительно она — ниоткуда. Ангел, взявший на себя зло мира.

В середине лета приехал травник. Привез бутылочку с новым настоем. И сетка тоже новая: три раза в день через каждые шесть часов. Десять утра, четыре часа дня, десять вечера. Все. Это уже легче. Это уже курорт.

Сидели на траве, ели клубнику со своей грядки. Пили козье молоко из тяжелых керамических кружек.

— Скажите... — осторожно спросила Анна. Она боялась показаться травнику сумасшедшей и замолчала.

— Ну... — Травник посмотрел как позвал.

— А может быть так, что Ирочка взяла на себя чужое зло?

— Вообще, вы знаете... Земля сейчас, если смотреть из космоса, имеет нехорошую, бурю ауру. Много крови. Зла. Надо чистить Землю.

— Каким образом?

— Не говорить дурных слов, не допускать плохих мыслей и не совершать дурных поступков.

— И все? — удивилась Анна.

— И все. Человек — это маленькая энергостанция. Может вырабатывать добро, а может зло. Если он вырабатывает зло, атмосфера засоряется бурными испарениями. И человек сам тоже засоряется. Надо чистить каналы.

— Какие каналы?

— Есть кровеносные сосуды, по ним идет кровь. А есть каналы, которые связывают человека с космосом. Вы думаете, почему ребенок рождается с открытым темечком? Мы общаемся с Солнцем. Солнце проникает в нас. Мы в него.

— Значит, зло поднимается к Солнцу? — поразились Анна.

— А куда оно девается, по-вашему? Если мы перевозбудим Солнце, оно взбунтуется. Разумный космос отменит Землю.

Травник посмотрел на Анну, и она увидела, что глаза у него, как у козы, зеленые, пронизанные солнцем, только не с продольными зрачками, а с круглыми.

Когда травник уходил, Анна спросила, смущаясь:

— Как я могу отблагодарить вас?

— Я в другом месте заработаю, — уклонился травник.

— В каком? — любопытствовала Анна.

— Мы открыли совместное предприятие.

— Народная медицина?

— Нет. Я занимаюсь компьютерами. Компьютеризация школ.

Анна поразились. Ей казалось, что травник — божий человек. А оказывается, нормальный технар. Просто не думает и не говорит плохо. Чистит Землю. От этого такое ясное лицо.

Анна проводила травника до калитки. За забором его терпеливо ждала босая девушка в длинной юбке. Они обнялись и пошли. Юбка красиво полоскалась вокруг молодых ног. Травник ко всему еще был влюблен. Значит, к солнцу поднималась его любовь ко всем людям вообще и к босой девушке в частности.

Анна стояла над муравейником.

Она могла теперь уходить далеко в лес. Гулять подолгу. Из трех неприятелей остался один: недообщение. Олег приезжает раз в неделю. В основном его нет. Ирочки тоже как бы нет. Но зато есть книги. У Грановских прекрасная библиотека.

Выяснилось, что Анна — узкий специалист. Знает узко только то, что касается профессии. А дальше — тишина... Серая, как валенок. Как рассветная мгла. Чехова не перечитывала со школьных времен. А что там было, в школе? Человек в футляре? Борьба с пошлостью?

Какая борьба? Писатель не борется, он дышит временем. Анна открыла поразительное: Чеховых два. Один — до пятого тома. Другой — после. Пять томов разбега, потом взлет. Совершенно новая высота. Отчего так? Он знал, что скоро умрет. Туберкулез тогда не лечили. Жил в уединении, в Ялте. Вырос духовно до гениальности.

Уединение имеет свои преимущества. Может быть, остаться здесь навсегда? Купить избу. Завести коз. Что город? Котел зла, из которого поднимаются в небо бурные испарения. А она сама, Анна, чем она жила? Какими установками? Выдирали Вершинина из семьи. А у него действительно две дочери, пятнадцать и семнадцать лет. Как они войдут в жизнь после предательства отца? А жена... Куда он ее? Пустит по ветру? Она наденет в волосы пластмассовый бантик и сквозь морщины будет улыбаться другим мужчинам? А Вершинин будет жить с усеченной совестью? Зачем он ей усеченный...

Травник не прав. Зло, которое вырабатывает человек, не поднимается к солнцу, а оседает на его же собственную голову.

«Люди через сто лет будут жить лучше нас». Так говорили чеховские герои. Видимо, сам Чехов тоже так думал. Тогда были девятидесятые годы девятнадцатого века. Сейчас — двадцатого. И что же произошло за сто лет?

Сегодняшний Вершинин выходит в отставку. Армию сокращают. Тузенбахи вывелись как класс. Исчезло благородное образованное офицерство — Сталин ликвидировал. Соленый вступил в общество «Память». Ирина и Маша пошли работать. Они хотели трудиться до изнеможения? Пожалуйста. Этого сколько угодно. В Москву не переехать, не прописывают. Только по лимиту. А мы, сегодняшние, смотрим в конец девятнадцатого века и ностальгируем по той, прежней жизни, по их усадьбам, белым длинным платьям, по вишневым садам, по утраченной вере...

От муравейника шел крепкий спиртовой дух. Сосна оплывала смолой. Земля отдавала тепло. Как давно Анна не жила так — с муравьями, с деревьями, с собой, с Чеховым.

Книги сохранили его мысли, энергетику души. В сущности, саму душу. Значит, можно беседовать. Правда, общение одностороннее: она Чехова познает, он ее нет. Но односторонняя беседа с Чеховым интереснее, чем двусторонняя с Беладонной. Опять про Ленчика, ля-ля тополя... Последние новости: Ленчик нашел себе д р у г у ю. Молодую. Нашел рядом с домом, в магазине «Овощи — фрукты». Продащица. Родители глухонемые, а девушка ничего, нормальная.

Беладонна приезжала, щелкала семечки, разговаривала с Ирочкой как с равной. Ее совершенно не смущала Ирочкина отключенность. Беладонне главное было сказать, выговориться.

— Представляешь... Ромео. Говно на лопате. Я ему говорю: «Она же дура». А он мне: «Да. Но тело...»

— Не надо, — тихо, испуганно попросила Анна, подходя. — Не говори «говно».

— Почему? — удивилась Беладонна.

— Нет такого слова.

— Как это... Говно есть, а слова нет?

Оперировал Олег. Петракова на подхвате — всевидящее око, инструктор-ас при вождении машины.

Разъединяли сиамских близнецов: срослись в позвоночнике, общих четыре сантиметра. Сначала подумывали одного отбраковать, чтобы второй шел с гарантией, но Петракова постановила — поровну. Как можно отбраковать живого человека? И кого из двоих?

Операция удалась. Мальчиков повезли в реанимацию на двух разных катаках.

— В тебе есть крупницы гениальности. Величиной с клопов, — небрежно оценила Петракова.

Называется, похвалила. Почему с клопов? Надо обязательно обидеть. Олег не ответил. Снял маску.

— Поехали ко мне, — между прочим позвала Петракова.

— Зачем? — холодно спросил Олег.

— Угадай с трех раз.

Он молчал. Стягивал перчатки. Она смотрела на его руки.

— Как мы... — вспомнила она и сморщилась будто от ожога.

Олег испугался, что она назовет вещи своими именами.

— С крупницами гениальности? — насмешливо подсказал он.

— Ты весь гениальный. От начала до конца. Ты себе цены не знаешь. Да тебе и нет цены. Твоя мать — счастливая женщина.

Немецкий философ Вайнгер считал, что женщины бывают двух видов: матери и проститутки. Это совершенно разные психологические структуры с разным набором ценностей. Петракова каким-то образом смешивала в себе одно с другим. Вернее, одну с другой. И Олега видела в двух ипостасях: и сыном и любовником.

— Пойдем ко мне в кабинет.

— Нет-нет... — торопливо отказался Олег.

— Боишься?

— Чего мне бояться?

— А если не боишься, пошли, — подловила она.

В кабинете она достала из холодильника бутылку виски. Разлила.

— За Мишу и Лешу. (Так звали близнецов.)

Олег почувствовал, как устал. Четыре часа на ногах. Он гудел, как высоковольтный столб. Выпил. Послушал себя. Напряжение не проходило.

Петракова села рядом. Хорошо, что не на колени.

— Поедем ко мне, — спокойно позвала она.

— Я не поеду. — Олег посмотрел ей в лицо.

— П о ч е м у?

В ее вопросе было непонимание до самого дна. Им так хорошо вместе: общее дело, полноценная страсть. Как можно этого не хотеть?

— Моя жена больна. Она парализована.

— Но ты-то не парализован. Ты что, собираешься теперь на бантик завязать?

Олег не сразу понял, что она имеет в виду. Налил виски.

— Она подставила за меня свою жизнь. Она ангел...

— Что за мистика? — Петракова пожала плечами. — В Москве каждый день восемнадцать несчастных дорожных случаев.

Олег смотрел в пол, вспомнил тот недалекий, теперь уже далекий, день. «Рафик» шел по прямой. У него было преимущество. Шофер — их шофер, милый парень, — его не пропустил. Нарушил правило движения. Создал аварийную ситуацию. Вот и все. И больше ничего.

— Я не могу, Юля. — Он впервые назвал ее по имени. — Я не могу и не буду.

— Просто я старая для тебя. Тебе двадцать восемь, а мне тридцать восемь. В этом дело.

Петракова опустила голову. Он увидел: победная Петракова, хирург от бога, женщина от бога, — плачет. Олег растерялся:

— Это не так... Я просто боюсь в тебе завязнуть. Я не могу...

Петракова посидела какое-то время, возвращаясь в себя.

— Ладно. Пусть будет, как ты хочешь.

За окном шел дождь. Капли стучали о жестяной подоконник.

— Если бы ты пошел за мной... это такая вспышка счастья, а потом такая чернота невозможности... Ты прав: если вспышку наложить на черноту, получится, в общем, серый цвет. А сейчас... посмотри в окно. Серый день. То на то и выходит. Не будем начинаться. Останемся при своих. Выпьем за это.

За окном действительно стелился серый день, и казалось, что дождь не кончится никогда.

На веранде сидели Грановские и Беладонна.

— Ну как там Америка? — вежливо спросил Олег, подсаживаясь. На самом деле ему это было совершенно неинтересно.

— Там скучно. Здесь — противно, — ответил Грановский.

— Они едут в Израиль, — похвастала Анна.

— А вы там не останетесь? — впрямую спросил Олег.

— Меня не возьмут. Я для них русский. У меня русская мать. Евреи определяют национальность по матери.

— Там русский, а здесь еврей, — заметила Лида. — Тоже не подходит.

— Да. Сейчас взлет национального самосознания, — подтвердила Беладонна.

— Гордиться тем, что ты русский, это все равно что гордиться тем, что ты родился во вторник, — сказал Олег. — Какая личная в этом заслуга? (Все на него посмотрели.) Вот вы работаете в русской науке, продвигаете ее — значит, вы русский. А некто Прохоров нанял за пять тысяч убить человека. Он не русский. И никто. И вообще не человек.

— Не надо все валить в кучу, — остановила Беладонна. — Русские — великая нация.

— А китайцы не великая?

Олег поднялся из-за стола и ушел.

— Что с ним? — спросил Грановский.

— Устал человек, — сказала Лида.

Все замолчали. У Анны навернулись слезы. И в самом деле: что у него за жизнь.

Молчали минуту, а может, две. Грановский думал, где ее двигать, эту самую русскую науку. Может, в Америке? В Америке сейчас спокойнее и деньги другие. Но он здесь — Велуч, великий ученый. А там — один из... Там он затеряется, как пуговица в коробке. Грановский мог существовать только вместе со своими амбициями.

Лида думала, что, если Грановскому дадут в Америке место, она не поедет. И ему придется выбирать между наукой и женой. И неизвестно, что он выберет. Если дадут очень высокую цену, то и она войдет в эту стоимость.

Беладонна прикидывала, как бы Ленчика вернуть обратно в семью. Пока ничего не получается. Глотнув свободы, Ленчик воспарил, и теперь его не приземлишь обратно.

Сидели вместе и врозь.

На веранду залетел воробей, схватил с Лидиной тарелки макаронину и тяжело взмыл, как перегруженный бомбардировщик.

Все засмеялись, объединившись в смехе. И вдруг показалось, что все как-нибудь устроится. Устроится как-нибудь...

Олег сел возле Ирочки на пол.

Собака покосилась и не подползла.

Он все сделал правильно. Не пошел за Петраковой, сохранил чистоту и определенность своей жизни.

Но в мире чего-то не случилось: не образовалось на небе перламутровое облачко; не родился еще один ребенок; не упало вывороченное с корнем дерево; недохнуло горячим дыханием жизни.

Ирочка лежала за его спиной как прямая между двумя точками: А и Б. Она всегда была о б ы к н о в е н н а я. Он за это ее любил. Девочка из Ставрополя, им увиденная и открытая. Но сейчас ее обычность дошла до абсолюта и графически выражалась как прямая между двумя точками. И больше ничего.

Петракова — многогранник с бесчисленными пересечениями. Разве не награда — любовь т а к о й женщины? А он не принял. Ущербный человек.

Олег поднялся, взял куртку и сумку.

— Ты куда? — крикнула Анна.

— Мне завтра рано в больницу, — отозвался Олег.

— Мы тебя захватим! — с готовностью предложила Лида.

— Нет. Хочу пройтись.

За калиткой чуть в стороне стояла серебристая «девятка». Номер 17-40. «Без двадцати шесть», — Олег замер, как соляной столб.

Он подошел. Она открыла дверь. Он сел рядом. Все это молча, мрачно, не говоря ни слова. Они куда-то ехали, ехали, сворачивали по бездорожью, машину качало. Уткнулись в сосны.

Юлия бросила руль... Она вздрагивала под его руками, как будто ее прошли очередь из автомата.

В конце ноября выпал первый снег.

Ирочка уже передвигалась по квартире, но еще не разговаривала, и казалось: видит вокруг себя другое, чем все.

Олег приходил домой все реже. Ночные дежурства. А если бывал дома — звонила заведующая отделением Петракова и вызывала на работу. Как будто нет других сотрудников.

Однажды Анна не выдержала:

— А вы поставьте себя на место его жены.

На что Петракова удивилась и ответила:

— Зачем? Я не хочу ни на чье место. Мне и на своем хорошо.

Вот и поговори с такой. Глубоководная акула.

Однажды в один прекрасный день, именно прекрасный, сухой и солнечный, Анна решила вывести Ирочку на улицу. С собакой.

Она одела Ирочку, застегнула все пуговицы. Вывела на улицу. Дала в руки поводок. А сама вернулась в дом.

Смотрела в окно.

Собака была большая, Ирочка слабая. И неясно, кто у кого на поводке. Собака заметила что-то чрезвычайно ее заинтересовавшее, резко рванулась, отчего Ирочка вынуждена была пробежать несколько шагов.

— Дик! — испуганно крикнула Анна, распахнула окно и сильно высунулась. Собака подняла морду, выискивая ее среди окон.

Анна погрозила пальцем. Собака внимательно вглядывалась в угрожающий жест.

Ирочка тоже подняла лицо. Значит, услышала.

Анна видела два обращенных к ней приподнятых лица: человеческое и собачье. И вдруг поняла: вот ее семья. Олега заглотнули вместе с каблуками, остались эти двое. Они без нее пропадут.

И она тоже без них пропадет. Невозможно же быть никому не нужной.

Дик смотрел и не боялся. Собаки воспринимают не слова, а состояние. Состояние было теплым и ясным, как день.

Ирочка стояла на знакомой планете. З е м л я. Она узнала. Вот дома. Снег. Собака.

А повыше, среди отблескивающих квадратов окон, — человек. Тот, кто ее ждал. Трясет пальцем и улыбается.

Над ним — синее, чисто постиранное небо. И очень легко дышать.



ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ

*

КАПУСТА

А ты топчи ее, топчи, прыгай с ноги на ногу или на двух сразу, на двух трудно, много не наскачешь, а надо непрерывно — и кругом, и пошел, спиной к доскам, как вдоль забора высокого, трехметрового, округлого, перевернулся и уже животом к нему, и руками дергаешь, и голову то нагнул, то закинул, и руки — то за спину, то вверх, то за голову — они тоже помогают. Вдруг ослабел в коленках, тогда повыше подпрыгнул, сам себя подбодрил и еще ходи ходуном, пляши, радуйся жизни шальной и здоровью пока отменному.

Капуста засаливается так. В огромный, изнутри покрытый тонким слоем парафина чан спускаются парнишка, постоянно здесь работающий, и напарник его из присланных от шефствующей организации. Дело происходит на овощебазе, куда никто не хочет идти работать, в засолочном цехе. Над головой — стропила, стены покосились, рухнут вот-вот, в пол врыто несколько чанов, над уровнем пола они торчат метра на два, и по приставленным ступенькам можно взойти на бортики этих чанов, а дальше с бортика вниз, как в колодец, слезть по длинной-преддлинной лестнице. Но перед тем следует целый ритуал. Раз прислали — значит, будем, раз попались, куда ж денешься, у них с базой договоренность, они с базы, следовательно, имеют, нами расплачиваются, пошли, мужички. Мужички плетутся нехотя, и есть среди них всякие люди, и с высшим образованием даже, но они плохо относятся к себе или вообще никак: а, как-нибудь перебиться, день переждать, пересилить себя, на рожон не лезть, на грубость не наткаться, сделать, раз начальство приказало, и по возможности увильнуть от подобного: что-о? овощебаза? — в последний раз, другие пускай. Сначала картошку специальными вилами-лопатами понагружали в тележку и повывозили со склада. В складе холодно, вон стоит, картошки сгнило пропасть сколько — несколько тонн, трухлявая, под вилами размазывается, как грязь, противно, рты у всех носовыми платками заткнуты, двое на лопатках, один на тачке, отвез, привез и бежит наружу, пока не нагрузят и не крикнут: «Эй!» Побежал теперь по настилу с улицы, за ручки цоп — и по настилу повез, а двое в свою очередь выскочили и дышат, радуются, пока не пыхтит. Поработали слегка, покурили, знакомое дело стало дня на два. Отказаться не удалось, день третий пошел от сотворения мира. «Кто будет топтать? — спрашивает кладовщица в телогрейке, надетой поверх белого халата. — Кто из вас может топтать, ребята? У нас не до времени — оттоптал, и домой». Никто не знает, что есть «топтать», никто и не высовывается, все скромно стоят, лопатами картофельные слипшиеся, как глина, комки ковыряют. Выбрали одного наконец в помощники, сам пошел из интереса голого. Часов около десяти утра. К работе никто не приступал, естественно. В засолочном цехе женщины только обрубить капусту начали. Берут большой вилочек, а делают из него ножами острыми некоторую вырезку, белую и сочную, и отправляют ее в рубку, а листья капустные вокруг веляются — за ними после машина придет.

Кадровый работник критически осматрел помощника. Прикинул, сдюжит ли, не сбежит ли, и наставил. Значит, дескать, сапоги наденешь, резиновые, а прахарята свои скинешь. Сапоги на брезенте надевай, никуда в них больше не ходи. Потопали.

— Ребята-ы-ы, — орала здоровая баба (тут не поймешь, кто кем был), — пора полезать, шас уж носить начнут!

— Сам знаю, не мальчик, — огрызнулся парень, и они по одному влезли в чан, и работа началась.

— Берегись! — орут сверху бабы с носилками и переворачивают на головы топтунам носилки с измолотой капустой, перемешанной с морковью.

Тут же одна работница бегает и успевает в носилки высыпать мерку молотой моркови. Другая работница бросает вниз, в чан, соль из кастрюльки после каждых трех выспанных носилок. Своя технология. Сок должен пойти из-под сапог от топтания.

— А ты расшвыривай ее, расшвыривай! — кричит постоянный работник Коля. — Звать-то тебя как? Сережа, ну-ну. Видишь, я как делаю, неровно она лежит. — И он хлещет по капусте носками мокрых до самого верха сапог. — Теперь ровно.

— Берегись! — На голову им сыплется с носилок и летит пущенная мимо них из кастрюльки соль, да так ловко, что и в глаза не попадает. Растет под ногами, утолщается капустный слой.

— Главное нам, чтоб она сок дала, — учит Коля. Он уже присмотрелся к Сереже. Весь взгляд его выразил: а не достанется ли мне одному до конца рабочего дня испытывать это удовольствие? вы люди приходящие, а я тут словно чертом нанятый топтун.

Теперь он успокоился и прохаживался пружинисто и легко, как наловчился, туда-сюда. Вот оно, думал Сережа, каково капусту-то топтать, и больше ничего он не думал — не думалось. Веселенькое, однако ж, дельце, пришло к нему в голову минут через тридцать. «Берегись!» — орала бабы все чаще сверху, но они уже приблизились заметно и опрокидывали свои носилки не над самой головой, а чуть в стороне. Идет время, времечко, а мы тут топчем и топчем, как час прошел, день пройдет, и не будет и следа, останется только шлеп, шлеп в капустной жиже. Главное, чтоб сок дала. Даст капуста сок — засолили мы капусту, не даст сок — не засолили; засолили — значит, сработали, не засолили — плохие мы работники, такова наша участь: хорошими явиться работниками или плохими работниками. Эх, еще бы чего про нас придумать и сказать.

Топчет Коля, топчет Сережа, Сережа от Коли не отстаёт. Глаза у Коли пронизательные и озорные. Он еще, когда на Сержу смотрел, не удерет ли тот, — озорно смотрел, словно раздевал. А у Сережи ноги крепкие от природы и здоровые имеются, и вот он добросовестно мнет ногами в сапожниках желто-зеленую кашу, пощадь не просит. Коля злится чего-то, уже и пример ни в чем не показывает, а только сам старается и даже на двух ногах подпрыгивает — какой я молодец. Друг подле друга скачут, то сойдутся вместе, то разбегутся по краям, не stalkиваются, а расходятся друг от друга: если один по бортику пошел, другой в центре переминается — и наоборот. Подружиться недолго, капуста подружит, потопчи ее час, другой, третий — и не останется никого на всем белом свете, кроме товарища твоего нового капустного, сегодня впервые увиденного. Это как жизнь заново начать, с капусты и начать, веселую, озорную, как глаза напарника, злую, но обновленную, доведенную до первобытной своей наготы.

— Надоест капусту топтать — ложись, тебя оттопчу! — кричит топтальщик Коля одной женщине, работнице лет пятидесяти пяти.

— Топтана уж, никто больше не хочет, — говорит она и смеется.

Шмяк, шмяк — ноги то вместе, то расставив, руки то на груди, то за спиной, то в карманах — шмяк, шмяк. У Коли во рту папироса, он прыгает и пыхтит ею, не вынимая ее изо рта, не разжимая крепких зубов.

— Че, Коль, — ласково спрашивает его молодая баба, чуть свесив голову в яму, — пади уж посял?

Коля выплюнул папиросу в капусту и ответил неожиданно серьезно, озоболенно, резко, — на виду у всех тут как же!

Шмяк, шмяк — топчут ноги, мочи нет, перерыв скоро. Перерыв скоро. Перерыв! Перерыв никогда не случается здесь строго по часам, он наступает стихийно, мысль о перерыве, возникшая в одной голове, поднимается в воздух и носится, кажется, носится, садясь то на одну макушку, то на другую; так она, умножившись, носится уже вихрем, а работа кипит и даже, кажется, не кончится; вот кто-то перестал и работать, но это еще не предел, другие продолжают, и он, хотя явно сачкует, тянется к остальным, боясь бросить, боясь нарушить заведенный ход; вдруг кого-то как осеняет и волной проходит по всем, руки падают, замирают, и медленно шевелятся тела, замолкает шум мотора, и кто-то первый в этой вдруг наставшей, слегка невероятной тишине, пока

остальные еще привыкают, произносит громко и четко, немного тише, чем обычно, когда работает двигатель, но еще не сообразив, что можно говорить еще тише, и поймав цветастую матерщину с заключенным в ней бытовым организуемым смыслом.

Теперь и сапоги можно снять, блестящие и соленые, с прилипшими на них кусочками капусты, отряхнуть робу от той же капусты, задрать рубаху, провести рукой по спине, куда попала соль из кастрюли. Попить чаю — обедать здесь, кажется, негде, — пристроившись в углу сбоку от бочки. Вытянуть ноги, посидеть так с минуту-другую, затем во двор выйти глотнуть свежего воздуха, особенно ароматного после спиртого и кислого.

Во дворе пожилая женщина в рабочем халате и пыжиковой шапке уговаривала, судя по выражению ее лица, водителя грузовика. Водитель грузовика стойко не соглашался.

— Молодой человек, подойди сюда, — позвала она Сергея. — Помоги машину разгрузить. Тут работы всего ничего, сам посмотри.

Вот теперь и тут помочь выпало топтальщику Сергею. Особый день и прожить следовало по всем законам этого дня, не отворачиваясь ни от чего, идущего навстречу. В кузове было три мешка с картошкой, пять сеток с капустой и по два ящика моркови и огурцов. Он стаскал все это на край кузова, потом спрыгнул вниз и, уже снизу прихвывая, оттащил на склад, куда показала женщина в пыжиковой шапке. Она достала из кармана халата смятые три рубля рублями и протянула ему. Он взял деньги, сунул к себе, засмеялся и пошел. И когда подошел к цеху, засмеялся еще больше.

Коля надевал сапоги, электромотор гудел, капусторубка работала, женщины носили капусту с брошенной в нее морковкой и высыпали в чан или бочку, куда должны залезть топтальщики.

— Давай, Серега, поспевай, она вся должна пропитаться! — кричал Коля с азартом. Стропила, доски над головой, руки за спиной, в карманах, на груди, или так висят, или как при беге. Не гудят еще ноги, не чувствуют себя, чувствуют капусту под собой скользкую, упругую, скрипучую. Их головы уже показались над краями бочки, они уже по грудь торчат из нее, по пояс. Но сколько носилок может войти сюда, уместиться здесь еще, кажется, ведь полная уже.

— Лучше, ребята, лучше, — подбадривают их работницы.

— Они и так стараются.

Прыгаем, конечно, но сколько еще? Коля знает, можно еще долго прыгать. А времени три, половина четвертого, четыре.

— А когда не стоит, — кричит охальник Коля все той же пятидесятипятилетней бабе, своей постоянной собеседнице по этим вопросам, — у меня есть гайка и магнит! Я магнит на шею надеваю, гайку на конец, тут-то он у меня и принимает рабочую позу.

Они уже возвышаются над цехом на горе утаптываемой капусты, как на пьедестале, памятником двигающимся, ожившим, живым и с высоты могут оглядывать курящих за столиком, побросавших работу ради курения баб.

— Эх, Колька, а я-то думала, ты можешь!

— Кто говорит, что не могу? А еще лучше — бери с собой шкворень...

— Мне без шкворня надо, мне со шкворнем не надо, — отвечала ему женщина.

— Можно обойтись, если кто поможет! — сказал Коля и с лукавой надеждой, продолжая переминая ногами, посмотрел на самую молодую из работниц, с припухшими глазами и ярко накрашенными губами, которая вдруг взглянула на него с симпатией.

— Эй, еще сыпать будете? Еще ведь войдет, расселись тут! — заорала старшая из работниц на курильщиц. — Как там, Колька?

— Пусть тащат еще, сколько притащат, все умнем.

Он теперь явно радовался своему возвышающему его положению, чувствовал себя главным и старался больше ораторствовать. Две женщины нехотя поднялись и принесли еще одни носилки.

— Ишь расстарался!

Ноги скользили по рыхлой горе, и топтальщикам трудно было удержаться, чтоб не съехать за бортик, засыпанный капустой.

— Потом крышкой накроем и прижмем, — говорил Коля напарнику, сильно воодушевляясь чем-то, будто огромный смысл заключался именно в топтании, накрывании, прижимании. И день прожит, и дело сделано, и веселее, долгожданный гость, подступает к тебе.

За столиком женщины суетливо передвигали два стакана, только два. В один наливалась из флакончика приблизительно на одну четверть зеленая жидкость, в другой — вода до краев.

— Это тебе, Коленька, — сказала с нежностью самая молодая из работниц, с ярко накрашенными губами, поднося ему два стакана.

Он нагнулся, принял.

— Одеколон пьешь? — спросил Серегу.

— Когда-то пил, лечился, завязал, разок можно и пропустить.

— Тогда держи.

Серега засадил для порядка и запил. Коле принесли другие два стакана, и он опрокинул их по очереди, только на секунду остановившись.

За столом обсуждали, какой одеколон лучше, «Ермак» или «Кармен».

— Там еще цыганка такая красивая нарисована.

— Кармен!

— Во-во.

Та, которая подавала Коле и Сереже одеколон, уставясь в сторону, катала желваки. Может, она думала о любви, о вечной любви, которой не познала?

Топтальщики, пахнувшие, словно после парикмахерской, прыгали еще быстрее, чем в самом начале. Им явно не хватило бочки обуздать свою прыть, на пол сыпалась соль, неровно брошенная, сбитая, под сапогами проступал и хлопал чуть желтоватый, мутный капустный сок. Бабы, покурив, выпив и еще покурив, принялись отчитывать Машу, которая сначала сказала, что деньги потеряла, и обвинила других, и они принялись искать, а потом вспомнила, что оставила деньги дома у Гришки.

— Гришка — это ейнай.

— Когда у ее деньги, он у ее жрет, когда нет денег, она на три буквы ему не нужна.

— Правильно, так оно.

— Хватит, завязывай! — крикнула старшая,

— По домам, девки!

— Один мой кореш весь Союз объехал, — сказал Коля Сергею, слезая с бочки. — И КамАЗ строил и БАМ — Тынду. Теперь вот должен из тюрьги скоро вернуться. — В его голосе послышались малодоступные чужому пониманию сокровенные нотки.

.....

Так готовится соленая капуста, которую мы покупаем зимой в овощных магазинах.

А МЫ ВИНОВНЫ БЕЗ ВИНЫ

*

РУССКИЕ ЮГОСЛАВСКИЕ ПОЭТЫ

Все они — И.Н.Голенищев-Кутузов, Е.Л.Таубер, Л.А.Алексеева-Девель и А.П.Дураков — родились в России, а поэтической родиной стала для них Югославия. Оказавшись в эмиграции в начале 20-х годов, в самом молодом возрасте, они вместе с другими своими соотечественниками составили круг русских поэтов в Югославии. Даже судьба их в начале пути была схожей: Белградский университет, филологический факультет, называвшийся в то время философским, нередко отягощенная материальными заботами эмигрантская жизнь, отмеченная внутренними поисками. Но вместе с тем и молодые и жаркие споры в литературных кружках Белграда, попытки найти свое слово в поэзии, первые коллективные сборники стихов, подчас таких несовершенных, но имеющих одно несомненное достоинство — желание сохранить себя в родном слове, утвердить себя как личность и связать с культурой утраченной родины. «А мы виновны без вины», — скажет на склоне лет, в 1986 году, Екатерина Таубер в одном из своих стихотворений.

Центром русской литературной жизни был прежде всего Белград. В 1928 году в Белграде состоялся Первый конгресс русских писателей и журналистов, живущих за рубежом, в котором принимали участие поэты и писатели из других центров русской эмиграции: Парижа, Праги, Берлина. На съезд приезжали известные русские писатели: А.Куприн, Д.Мережковский, З.Гиппиус, И.Шмелев, Б.Зайцев и другие. В 1937 году литературный Белград принимал первого русского лауреата Нобелевской премии И.А.Бунина. В Белград приезжали К.Бальмонт и И.Северянин.

В разное время между 20-ми и 40-ми годами в Белграде существовали литературные кружки, которые объединяли не только творческую молодежь, но и являлись центрами литературного и культурного общения. Нередко на заседаниях кружков присутствовали В.В.Шульгин, профессор Е.В.Аничков, Ю.Я.Ракитин и другие.

На смену кружкам первых лет эмиграции: «Гамаюн» (1923) и «Зодчий» (1927), — приходят «Литературный кружок» (1927), «Литературная среда» (1934), «Новый Арзамас» (середина 30-х годов). В Белграде были созданы «Общество ревнителей чистоты русского языка» (1928) и «Союз русских писателей и журналистов Югославии» (1925). Состав кружков менялся. К концу 30-х годов многие из поэтов и писателей покинули Югославию, но до середины 30-х годов постоянными членами белградских кружков были: И.Н.Голенищев-Кутузов — вдохновитель и создатель «Литературной среды», А.П.Дураков, Л.А.Алексеева-Девель, Е.Л.Таубер, Е.М.Кискевич, М.Д.Иванников, Ю.Б.Бек-Софиев, Г.Г.Сахновский, И.С.Гребенщиков.

Сегодня мы представляем вам четырех поэтов: Е.Таубер, И.Голенищева-Кутузова, А.Дуракова и Л.Алексееву-Девель. Лидию Алексеевну, ныне живущую в Нью-Йорке, хочется приветствовать ее стихами и выразить надежду, что они будут услышаны на ее родине, как она того пожелала:

И брошу в мир, как на последний суд,
В бутылке запечатанное слово —
И может быть, у берега родного
Она пристанет, и ее найдут.

ЕКАТЕРИНА ТАУБЕР

* *
*

Давным-давно — во сне, быть может?—
В саду играли брат с сестрой.
Ничто тех дней не потревожит
Под прочной времени корой.

Они прошли для нас, для мира
Во всей их прелести земной.
Как нынче холодно и сыро
Не только осенью — весной!

Мы гибнем так неудержимо,
Так мало любим, мало ждем.
Весь путь — как лес непроходимый,
Как смерть таящий водоем.

И лишь во сне — часы возврата
В мир детства легкий и родной,
Где только тень сестры и брата
На клумбе сада вырезной.

«Одиночество» («Парабола», Берлин, 1935).

* *
**Ренз Герра .*

Об этом ведь не говорят:
Легчайший вздох, тончайший яд
В стихах невежда не уловит.
А дни идут, и жизнь проходит.

Что скажут в будущем о нас,
Когда придет признанья час
И с нас потребуют ответа
Те, кто молчаньем казнены,
Кто мог бы быть носитель света,
Чье слово ускользнуло в Лету,
А мы виновны без вины.

«Стрелец», 1987, № 11 (США — Франция).

* *
*

Так же падал снег в России,
В детстве, в сумерки, давно,
Хлопьями — в сады глухие,
В приоткрытое окно.
Плеч измученных прохожих
Он касался так легко,
Белое готовил ложе
Уходящим далеко.
На потертые шинели
В наш земной, привычный ад
Хлопья снежные летели...

Хлопья снежные, закат —
Все осталось там, за нами.
Времени оборван бег...

Над нерусскими садами
Кружится случайный снег.

«Одиночество» («Парабола», Берлин, 1935).

ИЛЬЯ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ

Рим

Вячеславу Иванову.

Вечный город новых откровений,
Нищих стог и царственных палат,
Непоколебимых преступлений,
Мировых стяжаний и утрат.

Сколько раз, в твоей ночи блуждая,
Я внимал из лабиринта снов,
Как растут, волнение порождая,
Вихри отзвучавших голосов.

Словно исступленные сивиллы,
Преодолевая сны руин,
Размыкают скованные силы
Лихорадочных долин.

Чуждые смеются в нишах боги
Чудится журчание наяда —

Куполы, торжественны и строги,
В небеса кристальные глядят.

Прихотливы, вещи, мрачны, странны
Лики потаенных площадей...
Брызнут струи звонкого фонтана,
Словно слезы из очей.

И тогда у двойственных пределов
Выступит из темноты, как встарь,
В синих рощах замок тамплиеров
Или митраический алтарь.

Только ранним утром на колонне
Ты увидишь Вещую Жену —
Приснодева в заревой короне
Попирает змия и луну.

«Память» («Парабола», Париж, 1935)

* * *

Л. М. Роговскому.

Не говори о страшном, о родном,
Не возмущай мой тысячетья,
Еще болею повседневным сном,
Которого не в силах одолеть я.

В душе вскипают сонные ключи
И леденеют водопады,
А жизнь мерцает тусклостью свечи
В разверзшиеся мириады.

Так средь азийских кочевых племен,
Плененному наречием гортанным,
Заложнику певучий снится сон
О языке родном и богоданном.

«Память» («Парабола», Париж, 1935).

* * *

Шестикрылая мучит душа
Безнадежно двурукое тело.

Дальнозоркое сердце, спеша,
Покидает родные пределы.

Разум мерит всedневный обман;
Прорастает сознание глухо.

Только знаю — придет Иоанн
Переставить светильники духа.

«Память» («Парабола», Париж, 1935).

* *
*

Где фуксии лиловые цветут
И тихо падает широкий лист платана,
Где шествие торжественных минут
Замедлено у Медичей фонтана,

Осенних вод немые зеркала
Колеблет стон свирели потаенной
И зыбких нимф пугливые тела
Привидятся в аллее обнаженной.

Порою слышится далекий легкий смех,
И промелькнут трагические боги.
Дионисийский попирая мех,
Танцует Вакха спутник козлоногий.

Так и душа моя, сообщница харит,
Окружена багрянородным тленьем,
Собой пьяна, танцует и пьянит
Осенний мир божественным волненьем.

И людям кажется — ее мелькает тень
За Люксембурга стройною оградой,
Когда октябрьский почует день
И дышит ночь трезвеющей прохладой.

«Память» («Парабола», Париж, 1935).

АЛЕКСЕЙ ДУРАКОВ

* *
*

Я упоен весной пришедшей,
Весной вокруг, весной в себе —
Я стал веселый сумасшедший,
С ума сошедший по тебе.

Я стал смешной и нелюдимый,
Хожу без шляпы на заре —
Твое вырезаю имя
На оживающей коре.

И мальчуганы городские
Смешного «дядю» узнают,
Бросают игры и босые
За мною с гиканьем бегут.

И всем другим мой облик странен —
Смешна восторженность моя, —

Их взор бесцветен, взор туманен —
Забыл про радость бытия.

А у меня во дни «глухие»,
Найдя наружу светлый ход,
Любовь, как Божья литургия,
Колеблет вешний небосвод.

И я хожу от звуков странный,
В людские лица не гляжу,
Лишь зорь весенних, зорь румяных
Приход торжественный слезу.

А по ночам, как будто в притче —
В тягучем, душном, вешнем сне, —
Приходят Дант и Беатриче
Как гости светлые ко мне.

«Сборник стихов», IV («Союз молодых поэтов
и писателей» в Париже, 1930).

* *
*

Р. М.

Ты за душой не поспеваешь,
О, тело, тяжкий мой двойник;
Ты путаешь, ты облакаешь
Все в тесный и тугой язык.

Гляди — над нивой плодородной
Поет весенней страсти гром —
То ода, ставшая свободной
От пут, ей сотканных пером.

И облака плывут, как думы, —
Подобные видали ль вы! —

И леса радостные шумы,
Как гомон ангельской молвы.

И вот любовь моя! — нездешним,
Сама не ведая о том,
Она идет виденьем вешним,
Постукивая каблучком.

О, тело! Ты едва ли знаешь
О чарах, что таятся в ней:
Ты и в любви не поспеваешь
За легкою душой моей.

«Литературная среда», 1 (Белград, 1935).

* *
**И. Голенщеву-Кутузову.*

Тревожат грохоты и взрывы
Пучины царственный покой,
Плывут в бронях тяжелых дивы
Космато-дымной чередой.

Удела нет светлей для мужа,
Чем в знойный полдень умирать!
Вот алая стекает лужа
На палубу — мою кровать...

Раскинувшись, в рубахе чистой,
Оставив длинный алый след,
Качаюсь в глубине лучистой,
Вдали от битвы и побед.

В раю сапфирном и текучем,
Убитый лилией морской,

К коралловой прижавшись круче,
Вкушаю полдень голубой.

Завороженные медузы
Кольшутся, и в зыбкий сад
Морские гурии и музы
Меня, безмолвного, манят...

А ты, душа, в иной пучине,
На непонятной вышине,
Ты будешь ли вздыхать, как ныне,
О тесном и телесном сне?

Но позабудем мы едва ли
Полудня пламень голубой —
Как гулко пушки грохотали,
Как сердце жег щемящий зной.

«Литературная среда», 1 (Белград, 1935).

* *
*

Вседневной думы о разлуке
Не подавить, не превозмочь.
Иду утешить сердце в звуке
В весенне-ласковую ночь.

Свободный ветер веет смело,
Упиться волею спеша, —
Как бы покинувшая тело
Для воли вольная душа.

А там, где мгла еще чудесней,
Где властны прихоти теней,
Поет пленительные песни,
Как ты, картавый соловей.

Иль кто-то вдруг вздохнет глубоко
И запоет от вздохов мгла —
Как будто где-то недалеко
Ты, утомленная, прошла.

«Литературная среда», 1 (Белград, 1935).

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

* * *

Спасибо, жизнь, за то, что ты была,
За все сиянья, сумраки и зори,
За мшистый бок тяжелого ствола
И легкий парус в лиловатом море.

За все богатство дружбы и любви,
И тонкий холод одиноких бдений,
И за брожение светлое в крови
Готовых зазвучать стихотворений, —

Со всем прощаясь — и не помня зла —
Спасибо, жизнь, за то, что ты была!

«Стихи». Избранное (Нью-Йорк, 1980).

Душа

Я спала, как серый мрамор в глыбе, —
Мысль не воплощенная Твоя:
Ты меня резцом из камня выбил,
Для отдельной жизни изваял.

И раскрылось мраморное око,
И увидело, что мир — вовне.
Я сотворена. Я одинока.
Я свободна. Что же страшно мне?

Ветер, облака уже не братья,
И земля — не мой родимый дом...
Не оставь теперь меня, Ваятель,
В первом одиночестве моем!

«В пути» (Нью-Йорк, 1962).

* * *

Из темноты и в темноту,
Как по висячему мосту,
Бреду по жизни осторожно, —
И мост мой солнцем освещен,
Но хрупок он, но зыбок он,
И так легко сорваться можно.

И слева — черных туч полет,
А справа — радуга цветет...
Держусь за шаткие перила.

Иду — и откровенья жду,
Не знаю ведь, куда иду,
Откуда вышла — позабыла.

Идущих вижу впереди,
Идущих слышу позади —
Несчетна наша вереница, —
Но всех ведет единый путь,
И ни вернуться, ни свернуть
И ни на миг остановиться.

«Время разлук». Четвертая книга стихов
(Нью-Йорк, 1971).

* * *

Ни к чьему не примыкая стану
И ни чьей не покорюсь звезде,
Я уже нигде своей не стану,
Дома не найду уже нигде.

Сквозь земные горькие обиды
 Чужестранкой призрачной бреду,
 Как печальный житель Атлантиды,
 Уцелевший, на свою беду.

«Стихи». Избранное (Нью-Йорк, 1980).

Память

Чуть стихами — магической палочкой —
 Трону в памяти спящую былъ —
 Рыбный ветер над солнечной балочкой
 Пронесет беловатую пыль.

И тугим, сухоногим кузнечиком
 Зазвенит по обрыву трава,
 И за детским коричневым плечиком
 Будет влажно мерцать синева...

Было, есть — для души одинаково,
 Даже, может быть, сердцу слышней
 Хруст и шорох раздавленных раковин
 Под ребячьей сандалей моей.

«В пути» (Нью-Йорк, 1962).

ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА ТАУБЕР (1903 — 1987)

Родилась в России, в семье юриста, приват-доцента Харьковского университета. В 1920 году оказывается в эмиграции. Учится в Белградском университете на романском отделении. После окончания университета очень недолго преподает французский язык, но чаще работает как стенографистка и машинистка. Пишет не только стихи, но и прозу, занимается переводами с сербскохорватского и французского на русский и сербскохорватский, пишет литературно-критические статьи о русской литературе и рецензии на поэтические сборники поэтов зарубежья. В 1936 году переезжает во Францию, поселяется в Мужене на Лазурном берегу. Непродолжительное время перед выходом на пенсию работает преподавателем русского языка в каннском лицее.

Сборники стихов: «Одиночество» (Париж, 1935), «Под сенью сливы» (Париж, 1948), «Плечо с плечом» (Париж, 1955), «Нездешний дом» (Париж — Мюнхен, 1973), «Верность» (Париж, 1984).

ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ (1904 — 1969)

Филолог, крупнейший специалист по романским и славянским литературам, переводчик, поэт. Родился в России. Годы эмиграции провел в Югославии. Окончил Белградский университет, филологический (философский) факультет, по циклу романские языки и литературы, продолжал обучение во Франции, докторскую диссертацию защитил в Сорбонне. Один из лидеров литературной и общественной жизни Белграда и Парижа. Организатор и руководитель литературного кружка «Литературная среда». Собирает и исследовател сербского фольклора. Переводчик, эссеист, автор многочисленных литературно-критических статей о русских писателях. Во время оккупации Югославии участвовал в народно-освободительном движении, состоял в подпольном обществе советских патриотов, был партизаном, участвовал в боях за Белград. В 1946 году принял советское подданство. Тяжелые испытания, связанные с ухудшением отношений между СССР и Югославией, отодвинули его возвращение на родину до 1955 года.

Сборник стихов — «Память» (Париж, 1935). В предисловии к сборнику Вяч.Иванов писал: «...чувствование в себе родовой стихии (оно же и его «родовая тоска») поэт именует памятью. И прав он, не в умозрении, а в душевном опыте различая память от воспоминаний... Память укрепляет и растит душу, воспоминания сладкой грустью ее разнеживают... Верность отцам — вечная о них память — повелевает не вторить им и множить их ошибки, но исправить и восполнить их дело».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ДУРАКОВ (1898 — 1944)

Родился в России. Был военным моряком. С 1920 года в эмиграции. Учился в Белградском университете, в Скопле на философском (филологическом) факультете. Эмигрантская жизнь А.Дуракова была трудной, ему подолгу приходилось заниматься нелегким физическим трудом. Активно участвует в литературных кружках Белграда и Парижа. С начала оккупации Югославии он боец народно-освободительного движения в Сербии, за что был дважды арестован, а затем депортирован в Германию на принудительные работы. Вернувшись из Германии, он становится партизаном. Поэт погиб под Белградом, на реке Саве, прикрывая отступление своих товарищей.

Стихи печатались в сборниках «Гамаюн», «Литературная среда» (Белград), «Перекресток» (Париж — Белград) и других эмигрантских изданиях. Отдельной книгой стихи никогда не выходили.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА АЛЕКСЕЕВА-ДЕВЕЛЬ (1909) (Под псевдонимом Алексеева печатается с 1949 года)

Родилась в России, в семье военного. Семья эмигрирует в Югославию в 1922 году. Окончила русско-сербскую гимназию, а затем Белградский университет. После окончания университета преподает сербскохорватский язык в русско-сербской гимназии Белграда. Занималась переводами с сербскохорватского. Была секретарем «Общества ревнителей чистоты русского языка» в Югославии. В 1944 году покидает Югославию, сначала поселяется в Австрии, а затем переезжает в США. Работала в славянском отделе Национальной библиотеки в Нью-Йорке. Живет в Нью-Йорке.

Сборники стихов: «Лесное солнце» («Посев», 1954), «В пути» (Нью-Йорк, 1959; второе издание — Мюнхен, 1962), «Прозрачный след» (Нью-Йорк, 1964), «Время разлук» (Мюнхен, 1971), «Стихи. Избранное» (Нью-Йорк, 1980).

Подготовка текстов и вступительное слово ГАЛИНЫ ДОЛМАТОВОЙ.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ. 1986 — 1991

Чем дальше во времени отходит от нас трагический день 26 апреля 1986 года, тем больше понимание того, что день этот стал рубежом двух эпох, может быть — двух эр в истории человечества (а уж в истории нашей страны наверняка): до- и постчернобыльской.

Вот уже первое пятилетие скорбного юбилея. Медленно, со страшным сопротивлением, но открывается правда, общество только сейчас начинает понимать глубину утрат и потерь, необратимость случившегося. А хочет ли знать? Хотим ли мы все знать до конца эту жестокую правду, не зная которой можно попытаться создать внутри себя и для себя относительно спокойное существование и даже некоторую перспективу на будущее?

Но без правды и понимания нет никакой перспективы для общества, нет шансов для человечества. Узнавая правду о Чернобыле, мы узнаем правду не только о подробностях самой крупной технической катастрофы и технической ошибки всех времен — мы узнаем правду и о себе, как узнали ее в те страшные дни мая 1986-го энергетики Чернобыля, все, кто участвовал в гермакловых подвигах по захоронению взорвавшегося реактора, узнаем правду и о нашем обществе, об истинных механизмах его функционирования, способах управления им, которые в таких экстремальных случаях проявляются со всей очевидностью.

Взорванный реактор источал не только радионуклиды, смерть, болезни. Страшное поле лжи и дезинформации исходило из Чернобыля в те дни ласкового мая. Как на чрево реактора были сброшены горы песка, глины и свинца, так на правду о случившемся наворотили горы лжи, полуправды и дезинформации.

Не всегда эта ложь была злонамеренной, порой даже и во спасение. Но в результате она принесла не только лишние несчастья, болезни, смерти, многомиллиардные затраты, но и потерю людьми всякого чувства надежды.

«Новый мир» был в числе тех изданий, которые вели борьбу за правду о Чернобыле. «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева, напечатанная нашим журналом с предисловием А. Д. Сахарова, почти год не могла увидеть света. Ожесточенные возражения вызвали и публицистические заметки писателя А. Адамовича «„Честное слово, больше не взорвется“...». Публиковали мы и обширные подборки читательских писем, посвященных чернобыльской беде.

Но, похоже, чернобыльская тема только начинается. Еще не собраны уникальные свидетельства, которые могут сильно изменить представление о случившемся, о роли тех или иных людей в происшедших событиях, еще не собраны мемуары и показания тысяч и тысяч жертв, очевидцев, «ликвидаторов», инженеров, ученых. Еще молчат руководящие круги, в недрах которых принимались роковые решения.

Чернобыльская тема еще долго будет волновать людей. «Новый мир» намерен продолжать ее на своих страницах. Чернобыль — феномен многосторонний, универсальный, он определяет не только состояние технологии науки, но и общественной организации и общественной культуры, морали и политики, человеческой мотивации. Бесценны все документы, все свидетельства о Чернобыле, это необходимо для будущего, для надежды.

Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что мемуары непосредственных участников событий, тем более руководителей, и поныне занимающих немалые посты в атомной энергетике, не могут быть беспристрастными. Однако считаем чрезвычайно важным и полезным их намерение изложить обществу свои свидетельства, свои показания, свое видение событий. История сумеет выявить правых и виноватых, «мальчиков для битья» и истинных, ушедших от ответственности виновников, оценить выразительный портрет соцтехнократа, запечатленный во множестве деталей. Выслушаем их, атомных энергетиков, людей, за многое ответственных, но и не уклонившихся от ответственности и решений в самые трудные часы и дни.

«Новый мир» обращается ко всем, причастным к чернобыльской эпопее, с предложением создать вместе с нами «Черную книгу Чернобыля».

Г. ПАШАРИН

*

Чернобыльская трагедия

Прошло пять лет после трагедии на Чернобыльской АЭС. За это время о ней написаны десятки статей, научных трудов, повестей, пьес и даже романов. Материалы появляются как в отечественной, так и в зарубежной печати. Несмотря на большое количество публикаций, многие вопросы до сих пор остаются неясными.

Настоящая работа была подготовлена мной несколько месяцев спустя после аварии и в какой-то мере скорректирована с учетом других свидетельств, однако по ряду причин не передавалась мной для опубликования. Некоторые данные читателям уже известны, но, мне кажется, статья может представить интерес, поскольку многие моменты чернобыльской драмы изложены в ней впервые.

Кроме того, на мой взгляд, многие публикации об аварии, появившиеся в широкой прессе, носят однобокий, зачастую необъективный характер.

Итак, попытаюсь представить развитие событий глазами очевидца и специалиста. Прежде всего представлюсь. Я начал работать в области атомной энергетики после окончания института в 1957 году. Инженер, старший инженер управления реактором, заместитель начальника, начальник смены первой АЭС в Обнинске. Заместитель главного инженера, начальник реакторно-турбинного цеха, главный инженер Белоярской АЭС (1964 — 1973), главный инженер управления на АЭС «Ловииза» в Финляндии (1974 — 1977), заместитель начальника всесоюзного объединения Союзглавзагранатомэнерго (зарубежная атомная энергетика), более двух лет — ответственный работник отдела машиностроения ЦК КПСС в секторе атомной энергетики и с конца 1982 года — заместитель министра энергетики и электрификации СССР по атомной энергетике (эксплуатации). В июле 1986 года освобожден от занимаемой должности с наложением партийного взыскания за крупные недостатки в подборе кадров для АЭС и ошибки персонала на Чернобыльской АЭС.

Я не входил в состав правительственной комиссии (от Минэнерго СССР в ней был только министр А.И.Майорец), но до 5 июля 1986 года принимал непосредственное участие в работах, связанных с аварией, включая анализ ее причин. Кроме того, был председателем комиссии, назначенной в Минэнерго СССР, как этого требует ведомственное положение.

Акт комиссии, утвержденный мной, по части причин катастрофы отличается от акта правительственной комиссии. Свою точку зрения я неоднократно высказывал на заседаниях правительственной комиссии, обращался с письменным заявлением в Совет Министров СССР, непосредственно к Н.И.Рыжкову. Со мной соглашались многие ученые Минэнерго СССР, но они не входили в состав правительственной комиссии. Министр А.И.Майорец не мог противостоять Славскому, Александрову, Легасову, авторитету которых доверился Щербина. Разговор один на один происходил у меня и со Щербиной. Однако ему уже трудно было отойти от версии, высказанной им по телевидению и в прессе. Не будучи специалистом, а также в силу своего характера он не мог допустить и мысли, что «большая наука» может быть виновна в аварии. И хотя акт претерпел некоторые изменения, он существенно отличался от акта Минэнерго СССР.

К моменту доклада правительственной комиссии на Политбюро 14 июля 1989 года члены Политбюро получили дополнительную информацию от некоторых ученых, и принятое на нем решение выносилось с учетом этой информации. По личному указанию М.С.Горбачева на Политбюро соответствующие изменения сделали в подготовленном на этом заседании решении. В итоговом документе сказано было уже не только об ошибках персонала, но и о недостатках конструкции. Однако в прессе акцент по-прежнему делался на персонал АЭС.

Авария

Сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС я получил, находясь в отпуске, в санатории около Ялты. Напоминаю: авария произошла 26 апреля в 1 час 23 минуты 40 секунд. Примерно в 4 часа утра 26 апреля в номере раздался телефонный звонок из Ялтинского управления КГБ. Дежурный передал мне сообщение из Москвы о том, что на Чернобыльской АЭС ЧП и что я назначен председателем комиссии. Мне необходимо связаться с Москвой и выехать на место. Это назначение меня не удивило: как правило, при инцидентах на АЭС я назначался председателем комиссии. Удивило и насторожило то, что время назначения (ночью) необычное и что звонили не из министерства. Была суббота, ночь, администрация санатория отсутствовала, и я не мог позвонить в Москву по спецсвязи. Раздумывая о возможности срочной связи и причинах вызова, я услышал

второй звонок. Это был управляющий Крымэнерго из Симферополя, который сообщил, что ближайший самолет в Киев отправляется примерно в 10.00.

Перед отъездом из Ялты в Симферополь мне удалось связаться с Москвой. Информация была странной, хотя руководство министерства с 2 часов ночи находилось на местах. Получив информацию от начальника В/О Союзатомэнерго Г.А.Веретенникова, я задал ему два вопроса: заглушен ли реактор и производится ли охлаждение его активной зоны? Получив утвердительный ответ, я несколько успокоился. Но если реактор цел, почему разрушено реакторное здание? В Симферополе из приемной первого секретаря обкома позвонил министру А.И.Майорцу. Ничего нового не узнал, кроме того, что председателем правительственной комиссии назначен Б.Е.Щербина, заместитель Председателя Совета Министров СССР, и что часть специалистов вылетает из Москвы в Чернобыль спецрейсом. Стало ясно: дело сложнее, чем я предполагал, хотя меня вновь завелили, что реактор цел и охлаждается.

Завернуть этот спецрейс из Москвы через Симферополь не удалось, да и не имело смысла, поскольку чуть позднее в Киев вылетал рейсовый самолет. Здесь уместно сказать, что в это время в Москве был задействован заранее разработанный план вылета на АЭС специалистов разных направлений. Цепочка оповещений сработала, и большинство нужных людей из нескольких ведомств удалось оперативно собрать, невзирая на субботний день.

Из Москвы примерно в 8.30 — 9 утра вылетели в Киев Б.Я.Прушинский — главный инженер В/О Союзатомэнерго, А.А.Абагян — директор института ВНИИАЭС, К.К.Полушкин — представитель главного конструктора, и другие.

Небольшое отступление, связанное с информацией об аварии. До 8 — 10 утра 26 апреля, как я узнал по прибытии на место, дирекция АЭС, дав понять в министерство и в другие инстанции о серьезности аварии, подробных данных о разрушении реактора не сообщила во избежание длительных расспросов по телефону. Помощи в создавшейся ситуации они получить не надевались, в то же время на месте срочно требовалось принять какие-то меры, чтобы уменьшить последствия катастрофы, — ведь другие блоки продолжали работать и персонал принимал правильные решения. Конечно, известную роль в этом сыграли и другие факторы: укоренившаяся практика не говорить «лишнего» по обычной телефонной связи, уникальность и сложность ситуации, неопределенность с масштабом радиоактивных выбросов.

Позднее мне стало известно, что некоторые достаточно подробные сведения директор В.П.Брюханов передал в ЦК КПСС, но до министерства они почему-то так и не дошли.

Примерно в 13.00 на аэродроме в Киеве я встретился с группой руководящих работников Украинской ССР, с минуты на минуту ожидавших приезда А.И.Майорца, В.В.Марьина — из ЦК КПСС, А.Н.Семенова — заместителя министра энергетики и электрификации СССР, и других. Специальным вертолетом мы вылетели в Припять.

Ничего нового в полете я не узнал и предложил А.И.Майорцу создать по приезде из имеющихся на месте руководителей и специалистов несколько рабочих групп по разным направлениям. Впоследствии состав этих групп был дополнен и утвержден Б.Е.Щербиной. В Москве уже был задействован штаб под руководством начальника В/О Союзатомэнерго Г.А. Веретенникова. Вся информация и связь с центром шли в основном через дежурных этого штаба.

В Припять прибыли около 14.00, не зная о масштабах аварии. Большая часть прибывших направилась в городской комитет партии, где располагался штаб. Я с В.В.Марьиным и начальником управления строительства Чернобыльской АЭС В.Т.Кизимой на «газике» поехали на место аварии. Только при подъезде к АЭС мы увидели, что представляет собой четвертый блок — картину, которую позднее все наблюдали по фотографиям в газетах и по кадрам кинохроники. Разница была лишь в том, что мы созерцали это своими глазами, видели, как над реактором курился дымок и багровела раскаленная полоса верхней плиты. Затем мы заметили куски графита. Они были разбросаны по всей территории АЭС, включая открытое распределительное устройство и отходящие в стороны линии электропередачи. Мы объехали вокруг ограды АЭС, несколько раз выходя из машины (чувство опасности, несмотря на опыт, притупилось). Стало очевидно, что реактор разрушен. Увидели мы и то, что сепараторы пара на месте, так же как верхние баки системы управления и защиты реактора.

Поехали в горком партии. Специалистов, прибывших раньше нас из Москвы, там уже не было. Вместе с руководством АЭС они находились на территории электростанции, в штабе гражданской обороны.

Первые вопросы директору АЭС В.П.Брюханову по телефону: состояние первого, второго и третьего блоков, есть ли пострадавшие, известна ли радиационная обстановка в поселке, какие действия предприняты с момента аварии, что делается сейчас? Ответ: выезжаю с группой специалистов в горком, подробности на месте. Третий блок остановлен. Один человек умер от

ожогов, еще один из числа работающих не обнаружен, возможно, погиб в завале, пострадавшим оказана помощь, более ста из них госпитализированы...

В горькоме скопилось довольно много представителей разных республиканских и союзных ведомств. До приезда директора АЭС я успел переговорить по телефону с главным инженером. Он подтвердил, что цепная реакция прекращена, реактор заглушен, но не знает, надежно ли. По физическим законам после остановки реактора около трех суток идет его доотравление и последующее полное разотравление (особенно интенсивное в течение первых суток). Не буду вдаваться в технические подробности этого физического процесса, скажу лишь, что при определенных ситуациях реактор после остановки может вновь стать критичным и сверхкритичным, если не заглушен достаточным количеством поглощающего нейтроны вещества (стержни СУЗ). Требовалось принять срочные меры по устранению этой неопределенности, не допустив очередного разгона реактора. Эксплуатационники это понимали. Времени оставалось несколько часов. Единственным способом, гарантирующим надежное заглушение, была подача в реактор боросодержащих либо других поглощающих нейтроны сред, но об этом ниже. После предварительного анализа стало очевидно: придется одновременно решать как сиюминутные, так и долговременные задачи.

Надо сказать, что с первоочередными задачами чернобыльцам пришлось справляться без помощи извне. Особую роль сыграли пожарные подразделения. Трудно себе представить масштаб аварии, если бы поистине героическими их действиями пожар не был локализован, если бы пламя перекинулось на примыкающий третий и далее на второй и первый энергоблоки. Это легко могло произойти при незначительной огнестойкости материалов крышных покрытий машинных залов. Сразу после начала аварии на АЭС прибыли три пожарных подразделения из Припяти и Чернобыля для усиления команд, работающих на площадке. Хотя специальные приспособления и установки по тушению пожара, подающие огнегасящие средства на большую высоту и длинные дистанции, отсутствовали, отсечение пламени от действующих блоков и ликвидацию загораний на крыше машзала удалось завершить в 2 часа 20 минут. К 5 часам утра пожар был ликвидирован полностью. Пожар потушили, но высокие температуры в районе четвертого блока и на площадке в целом создавали большую вероятность повторных загораний. Несмотря на тяжелые радиационные условия, пожарники вместе с эксплуатационниками оборудовали пожарные посты по всей периферии АЭС, в особенности в районе третьего и четвертого блоков.

Забегая вперед хочу подчеркнуть, что поиски подходящих для всего этого противопожарных средств продолжались по всей стране. Были просмотрены разнообразные варианты, вплоть до использования морских или речных установок для тушения пожаров. Удалось демонтировать одну из морских установок и дислоцировать ее близ водосточника. Она могла делать выстрелы с расходом воды 120 литров в секунду, до 100 метров в высоту с большого расстояния. Использовать ее при тушении не пришлось, но в случае необходимости установка была готова к работе.

Не помню точную дату (примерно 17 — 20 мая), в районе подвода электрических кабелей к главным циркуляционным насосам (ГЦН) произошло загорание (высокая температура от разбросанного топлива), но пожар быстро ликвидировали.

Правильными оказались на начальном этапе и действия припятских медицинских работников. Информация к медикам поступила через 15 минут после возникновения аварии. Первым пострадавшим помощь оказывалась дежурным медперсоналом здравпункта. 29 человек с ярко выраженными показаниями сразу же отправили в больницу, где они прошли санитарную обработку и медицинское обследование. Бригады неотложной помощи несколько часов сами выводили пострадавших из зоны промплощадки. Работающим на площадке были выданы йодистые препараты. Через 12 часов стало действовать специализированное медицинское подразделение. Первые сутки в этой санитарной части обследовали более 300 человек и произвели анализы крови. Были задействованы клинические учреждения в Киеве и Москве. В Москву за первые двое суток отправили 129 пациентов, 84 из них признали больными второй — четвертой степенями тяжести. Общее их число составило 203 человека.

Дирекция АЭС приняла решение об остановке третьего блока.

Возвращаясь к хронологии событий. Как уже говорилось, из числа специалистов и руководителей разного ранга создали несколько групп для решения текущих и долговременных мер по разным направлениям. Определились следующие группы: по выяснению причин возникновения аварии и обеспечению безопасности первого, второго и третьего блоков электростанции; группа по вопросам медицинского характера; группа по подготовке и проведению эвакуации; группа аварийно-восстановительных работ и группа радиационного и дозиметрического контроля. Руководители и состав групп были утверждены председателем правительственной комиссии Б.Е.Щербиной. Позже образовали транспортную службу, службу материально-технического обеспечения и ряд других. По долгу своих обязанностей мне приходилось заниматься вопросами, входившими в компетенцию различных групп, официально же я находился в составе первой из них.

Все приезжающие специалисты включались в работу незамедлительно, еще до первого заседания правительственной комиссии, состоявшегося после прибытия председателя, к вечеру 26

апреля. Были определены задачи, к решению которых следовало приступить немедленно, учитывая уже проделанную работу.

В числе неотложных дел назывались следующие: надежное заглушение реактора четвертого блока для избежания повторных взрывов; поддержание безопасного состояния оставшихся блоков; устранение возможности вторичных возгораний; уточнение радиационной обстановки в помещениях действующих энергоблоков, вокруг АЭС и в городе Припяти; ограничение радиуса радиоактивного заражения за пределами Припяти транспортными средствами; установление дозиметрического контроля; медицинская профилактика и оказание своевременной помощи населению; обеспечение питанием работающего персонала; подготовка условий для эвакуации населения Припяти и целый ряд других срочных мер.

После объезда станции и разговоров с руководством АЭС я занялся организацией доставки в разрушенный реактор борной кислоты, ибо в самой Припяти запасы ее были невелики. Одновременно надеялись путем подачи воды охладить активную зону реактора. Через некоторое время персонал доложил, что борная кислота на исходе, а уверенности в том, что она попадает в реактор, нет — все коммуникации разрушены. Параллельно было заказано 10 тонн борной кислоты, которую быстро доставил из Киева В.Ф.Скляр. И первое, что сбросили в разрушенный реактор с вертолета, это мешки с борной кислотой. С генерал-майором Н.Т.Антошкиным, которому по заслугам присвоено звание Героя Советского Союза, мне привелось много дней трудиться бок о бок, и я был восхищен тем, как четко он организовал работу вертолетчиков, вызывало уважение и его личное мужество.

Для наблюдения за реактором на некотором расстоянии от него установили прибор, контролирующий поток нейтронов. Прибор этот поначалу был единственным, ибо большая часть аппаратуры находилась в лаборатории, оказавшейся под завалом между третьим и четвертым блоками.

Второе средство контроля — изотопный состав продуктов радиоактивных выбросов — также применялось, но оказалось недостаточно оперативным. К сожалению, экспресс-методами и аппаратурой, необходимой для этого, мы не располагали. Однако уже в ночь на 27 апреля стало ясно: реактор заглох окончательно, хотя были и сомневающиеся. Вопрос этот волновал всех и обсуждался до 5 мая. Высказывались мнения, что перегруппировка разгруженного топлива может создать критическую массу. К этому времени контроль был достаточен, данных спектрального анализа тоже хватало.

К 18.00 26 апреля над разрушенным блоком было сделано несколько кругов на вертолете. Производились фото- и киносъемки, замерялась мощность излучения, визуально видно было достаточно хорошо. По моему мнению, до сброса грузов на реактор верхняя плита хоть и немного была сдвинута, но лежала она почти горизонтально (впоследствии у нее образовался наклон под углом более чем 45 градусов).

Замеры показали: мощность излучения на высоте 130 — 150 метров составляет 180 — 200 рентген в час. Впоследствии эта точка стала реперной, и, помнится, после сброса грузов мощность излучения снизилась до 50 — 60 рентген. На вечернем заседании комиссии из работы решили вывести первый и второй энергоблоки. В 22 часа 26 апреля я распорядился остановить их с указанием во все три реактора после их расколаживания ввести по 15 — 20 дополнительных поглотителей, имевшихся на площадке. К утру 27 апреля мощность снизилась до нуля, и реакторы перевели в режим расколаживания.

Сохранность трех оставшихся невредимыми блоков являлась задачей первостепенной важности. Обстановка продолжала оставаться тревожной, хотя эксплуатационный персонал в первые же часы после аварии успел сделать многое.

Заместитель главного инженера первой очереди АЭС (первый и второй блоки) А.А.Ситников, незамедлительно прибывший на электростанцию, дважды побывал в опасной зоне и успел составить оперативную картину разрушений. Прямо из служебного кабинета его увезли в больницу, где он и погиб. Начальник электроцеха А.Г.Лелеченко, один из самых грамотных и принципиальных работников, прибыл на станцию около 5 утра. Непосредственно занимался тушением пожара на стыке с третьим блоком, пробравшись в электролизную, отключил установку, перекрыл подачу водорода в разорвавшийся трубопровод. Дежурный электромонтер В.И.Лопатюк помогал своему товарищу. Оба погибли. Подробно и справедливо о действиях эксплуатационного персонала, его героизме повествуется в «Чернобыльской тетради» Г.Медведева. До Г.Медведева мало добрых слов было сказано об энергетиках Чернобыля и слишком много плохого писалось о них и об энергетиках в целом. В то же время все конкретные дела по ликвидации и локализации аварии, сохранению трех оставшихся блоков делались ими либо при непосредственном их участии. Осуществлялась обычная техническая работа, люди исполняли свой долг. Всю ночь товарищи по работе искали слесаря реакторного отделения В.И.Ходемчука. Погиб. Захоронен под развалинами блока. Погибли и машинисты турбин К.Г.Перчук, В.С.Бражник. Ценой их жизни были перекрыты разорвавшиеся маслопроводы и трубопроводы системы обвязки деаэраторов. Предотвращен был еще один пожар. Это далеко не весь список героев-чернобыльцев. Погибли старший инженер управления реактором

четвертого блока, начальник смены Леонид Топтунов и Александр Акимов. Да, на них возложена главная вина, их ошибки положены в основу трагедии, и о них уже довольно много писалось. Они погибли, не зная причины взрыва, не ведая, какие их действия могли повлиять на скрытые от них и всех других недостатки конструкции системы управления и защиты реактора, а также просчеты в его физических характеристиках. Оба были уверены, что поступают правильно. Оператор нажал на спасительную кнопку аварийной защиты реактора. Но кнопка, аналогичная тормозу в автомобиле и призванная остановить реактор, как тормоз машину, разогнала его на мгновенных нейтронах. Кнопка сработала в данном случае не в качестве тормоза и как газовая заслонка в том же автомобиле. Никто не предполагал, что аварийная защита (тормоз) в определенных ситуациях способна выполнять одновременно и эту вторую функцию. В одной из газетных публикаций указывалось, что оператор перепутал кнопки. Нет, он нажал нужную! Ситуация была парадоксальной. Парадокс заключался в том, что если бы оператор не нажал кнопку защиты, то, поскольку запас реактивности приближался к нулю, реактор сам заглох бы и через несколько минут попал бы в йодную яму (физикам это понятно). Взрыва реактора не было бы.

Снова вернусь к хронологии — к 26 апреля. Рабочие группы занялись своими непосредственными делами. Группа охраны общественного порядка и подготовки к эвакуации населения Припяти в установленном месте стала сосредоточивать транспортные средства. Работники МВД вели круглосуточное дежурство на улицах и опорных пунктах поселка, настоятельно рекомендуя населению закрывать в жилых домах окна, форточки и без нужды не выходить на улицу. К сожалению, их работа не давала должного эффекта. Повсюду можно было встретить детей и взрослых, а многие жители в пятницу уехали на дачу, к знакомым и т.д., в результате в ряде квартир окна и форточки оставались открытыми. Информация оказалась неэффективной. Безусловно, на запоздалости решений отразилось и то, что масштабы аварии, ее последствия трудно верно оценить за столь короткое время.

По ходу работ организовывались небольшие коллективы, которые решали локальные задачи, связанные с обеспечением безопасности действующих блоков, уменьшением выбросов радиоактивных веществ из разрушенного реактора. В ходе ликвидации пожара, нарушения технологических систем четвертого блока и разрыва массы трубопроводов нижние помещения и кабельные полуэтажи затопило радиоактивной водой, что грозило нарушить электропитание агрегатов действующих блоков. Возникла реальная угроза, что через некоторое время радиоактивная вода начнет растекаться по поверхности площадки. Это значительно усложнило бы обстановку: залитыми оказались бы кабельные разводки на работающих блоках. Я поручил находящемуся на площадке заместителю начальника объединения Союзэлектромонтаж В.П.Шишкину, не отвлекая сотрудников АЭС, подготовить схему прокладки новой кабельной трассы. Прокладывать ее, к счастью, так и не потребовалось, хотя готовность была полной.

На ночном заседании 26 апреля правительственная комиссия слушала сообщения о состоянии дел на АЭС в целом, о радиационной обстановке в Припяти и в ближайшей округе. Требовалось принять решение об эвакуации населения, выработать стратегию по локализации радиоактивных выбросов, наметить меры первоочередных и долговременных задач. Трудно перечислить все вопросы, которые там обсуждались.

Были намечены сроки выполнения самых неотложных задач. В основном они выполнялись. Работа велась круглосуточно, но не все шло гладко. К месту событий еще не подтянули необходимые материалы, в первую очередь дозиметрическую аппаратуру, спецодежду, защитную технику и т.д. Ощущалась острая нехватка дозиметров. Радиоактивный фон был велик, зона контроля тоже, ибо работа велась во многих местах. Контроль за дозой облучения работающих, обеспечение их спецодеждой и своевременной ее заменой были крайне затруднены. Контроль выезжающего транспорта, его дезактивация, осуществлялся плохо. На оборудованные дезактивационных постов требовалось время. Создание нормальных санитарно-гигиенических условий для работающих наталкивалось на большие трудности — нехватку душевых и санпропускников. Практически они имелись только в действующей части АЭС и в пионерлагере, где размещался эксплуатационный персонал.

Возникла необходимость размещать вне пределов Припяти прибывающих на АЭС специалистов и рабочих, массу техники, разгружать и складировать, а затем вывозить к месту работ различные материалы. Сейчас можно только удивляться, с какой оперативностью выполнялись любые требования правительственной комиссии. Работала вся страна. За полтора суток на АЭС только свинца доставили более 3 тысяч тонн. С невероятной быстротой отгрузили два завода по производству бетона, широко развернулась работа по дезактивации техники, имевшейся на площадке, в нужных местах монтировались бетононасосные хозяйства, разрывались пункты по санобработке людей. На Чернобыльской АЭС появились военные части, хорошо оснащенные и руководимые офицерами и генералами, имеющими опыт работы в сложных радиационных условиях. Во главе с

министрами (М.И.Шадов, В.А.Брежнев) прибыли со своей техникой коллективы угольной промышленности и Министерства транспортного строительства.

Добрými словами все работающие вспоминают В.А.Масола, председателя Госснаба Украины. Мне пришлось с ним работать вплотную. Любые наши заявки неукоснительно выполнялись. Называя большое количество спецодежды, жидкого азота, дозиметрической и другой специальной аппаратуры, я поначалу сомневался в возможностях В.А.Масола и был крайне удивлен, когда в самый короткий срок все необходимое появилось в Припяти, и сперва даже возникали чрезвычайные трудности по приему, хранению и раздаче указанных материалов. Потом обнаружилось, что многое использовалось нами нерационально, особенно спецодежда. И дело не только в материальных затратах. Проблема замены, сбора, стирки, захоронения спецодежды остро встала в первые же дни. Дезактивацию и стирку одежды в таком объеме осуществлять самим было невозможно. Места для захоронения еще отсутствовали. Многие люди, впервые столкнувшись с работой в радиационных условиях, не знали порядков атомщиков. Они бросали одежду где угодно, не проверяя ее на загрязненность, может быть, даже ни разу не побывав там, где ее можно было загрязнить. Слишком велик оказался фронт работ, с трудом удавалось организовать контроль за такой массой людей.

Свое вечернее заседание 26 апреля комиссия закончила примерно в 2 часа 30 минут. Я остался на работе в помещении горкома, где была налажена бесперебойная телефонная связь со многими ведомствами страны. Что произошло с реактором? Я просмотрел всю информацию по состоянию блока перед аварией. Анализ показал: параметры блока, его помещений свидетельствуют о том, что взрыва водорода где-либо произойти не могло, не было никаких предупредительных и аварийных сигналов перед нажатием оператором кнопки аварийной защиты. Через несколько секунд после нажатия этой кнопки (позже это было точно установлено) на табло сигнализации блочного щита управления возникли предупредительный и аварийный сигналы о превышении мощности, которые, находясь в работе, заведены были в цепочку аварийной защиты. Затем появился сигнал «превышение давления в реакторном пространстве». Это заставляло предположить, что все началось в самом реакторе, а не в овне. Ведь сигнал «превышение давления в реакторном пространстве» может проявиться только при разрыве либо крупной течи теплоносителя непосредственно в реакторе.

Произошло практически мгновенное (взрывное) нарастание мощности. Это возможно только при внесении в активную зону реактора большой положительной реактивности. Откуда, за счет чего? В результате взрывом водорода оторвало приводы регулирующих стержней системы СУЗ? Какие же силы подняли поглощающие стержни из активной зоны? Все это вызывало недоумение. Как связать взрыв с проводимым на генераторе экспериментом? Работала ли система автоматического поддержания мощности? Эти вопросы прояснились гораздо позже. Ясно было одно — реактор разогнался мгновенно.

Утром 27 апреля я изложил свои соображения группе коллег: А.Г.Мешкову, В.А.Сидоренко и З.А.Легасову. Комментарии с их стороны не последовало: требовалось, конечно, время для осмысления случившегося.

С 27 апреля под руководством генерала Н.Т.Антошкина начались подготовительные работы по забросу реактора различными материалами. Параллельно определили места и готовили средства (мешки, тросы, парашюты) для этой операции. Население близлежащих районов мобилизовали на заготовку мешков с песком. Были оборудованы вертолетные площадки, составлены графики вылета машин, комплектовались команды вертолетчиков.

Операция по забросу реактора грузами песка, глины, доломита, свинца производилась 28—30 апреля. Было сброшено около 5500 тонн груза, в том числе более двух тысяч тонн свинца. Команды вертолетчиков работали весь световой день.

После расхолаживания первых трех реакторов персонал под руководством заместителя начальника электроцеха АЭС приступил к обесточиванию и ликвидации электрических цепей и связей между третьим и четвертым блоками. Предстояло создать условия, обеспечивающие надежное электропитание механизмов третьего блока и полное отключение механизмов четвертого блока. Работу выполнили доброкачественно и в короткий срок, хотя к проверке сделанного возвращались и позднее.

С самого начала в центре внимания находились работы, выполняемые группой радиационной разведки и медиками. Предстояло трудиться на большой территории, и необходимо было детально знать обстановку. Ведь требовался медицинский контроль и помощь, возникла надобность срочно определить критерии эвакуации персонала и населения Припяти в заранее подготовленные районы.

Медицинской частью руководили первый заместитель министра здравоохранения СССР А.И.Воробев и его ближайшие помощники. Радиационная разведка выполнялась двумя группами. Гражданскую группу по контролю площадки АЭС и города Припяти, а также близлежащих к электростанции районов возглавлял А.А.Абаган. Контроль в районе четвертого блока и территории в радиусе 30 — 100 километров осуществляли военные, используя защитную технику и авиацию. Позже задействовали систему контроля и измерений со всей территории Советского Союза. В работу включились организации Украины, Белоруссии, Госкомгидромета СССР. На территории площадки

АЭС появились указатели проезда, цифры с обозначением мощности доз облучения, предупреждающие знаки.

Какова же была радиационная обстановка 26 — 27 апреля, до эвакуации персонала из Припяти? Надо сказать, что данные, выдаваемые группой контроля с периодичностью в два-три часа, менялись. Автоматический контроль обстановки в городе не предусматривался проектом (не полагалось по нормам), отсутствовала и автоматическая система в районе ограждения площадки АЭС.

Первое время особое внимание обращалось на город Припять с населением 45 тысяч человек, в котором проживал в основном персонал АЭС с семьями. Но уже через три дня, исходя из реально складывавшейся обстановки, объем дозиметрического контроля и радиационной разведки возрос во много десятков раз. Постепенно на территории задействовали десятки разного рода научно-исследовательских подразделений, радиологических лабораторий, санэпидстанций, поликлиник, больниц.

Первоочередными задачами радиационного контроля являлись фактические и прогнозируемые мощности доз в Припяти, а как следствие на основании этих данных — оценка возможных уровней облучения жителей города и поселков в тридцатикилометровой зоне, а также персонала.

С начала аварии направление ветра для Припяти было благоприятным. Радиоактивные продукты в основном относило за городскую черту, но когда высота подъема факела из аварийного реактора из-за флуктуации ветра в приземном воздушном слое снизилась, радиоактивное облако захватило и территорию города. До 21 часа 26 апреля на отдельных улицах Припяти мощность дозы гамма-излучения, измеренная на высоте метра от земной поверхности, удерживалась в пределах 14 — 140 миллирентген/час. К 7.00 27 апреля радиационная обстановка начала ухудшаться. Мощность дозы составляла в это время 180 — 300 миллирентген/час, а на улице Курчатова к 28 апреля достигала даже 500 миллирентген. К 6 мая уровень радиации в Припяти снизился примерно в 3 раза. Ориентировочные расчеты позволяют сделать следующее предположение. Доза внешнего гамма-излучения, исходя из возможного режима поведения жителей и показаний индивидуальных дозиметров работников служб радиационной безопасности, составила для населения от 1,5 до 5 рад по гамма-излучению и в 2 — 3 раза больше по бета-излучению на кожу. Оценки показывали, что возможные уровни доз внешнего облучения обитателей Припяти значительно ниже тех, которые оказывают влияние на здоровье человека.

Итак, эвакуация населения из Припяти началась 27 апреля в 14.00 и практически завершилась в 17.00.

Анализируя позднее обстоятельства эвакуации, следует признать, что ее можно было начать значительно раньше, если бы председатель правительственной комиссии больше прислушивался к мнению специалистов.

Одновременно эвакуировалась и большая часть эксплуатационного и ремонтного персонала. Адреса эвакуированных были известны, и по мере необходимости персонал вызывался на дополнительные работы либо на замену.

Мне не хотелось бы в этой публикации останавливаться на своем самочувствии. Мысль, что жизнь прожита как-то не так, появлялась у меня не раз. Неужели никто из нас не мог представить, что аварии, подобные этой, в принципе возможны? Никто не может знать, как себя чувствует человек, когда дело его жизни заканчивается крахом и при этом не только гибнут товарищи по работе, но и последствия деятельности, которой ты посвятил жизнь, оказываются столь трагическими. Могу совершенно искренне сказать, что все мы, имеющие отношение к атомной энергетике, виноваты. Меру своей вины, думаю, оценивает каждый: ученый, конструктор, эксплуатационник. В то же время никто, кроме специалистов, не может поправить дело в будущем. Долг всех уцелевших участников в ликвидации аварии — сделать все, чтобы подобное не повторилось!

28 апреля штаб еще продолжал свою деятельность в Припяти, а вечером перебазировался в Чернобыль, в здание райкома партии. Туда же переместились проектировщики, ученые и другие специалисты. Часть людей перешла в пионерский лагерь к эксплуатационникам. В ночь на 29 апреля в гостинице оставались, по-моему, 5 — 7 человек, в том числе я, А.Мешков, Б.Прушинский, В.Бронников.

После эвакуации в течение нескольких дней возникали трудности со строительными и монтажными кадрами. Если эксплуатационный персонал выводился в плановом порядке, то специалисты многих строительных и монтажных подразделений разъехались — кто с семьей, кто на свое постоянное местожительство (речь идет о командированных с различных строек). И только часть из них была направлена на стройки других АЭС. 4 мая пришлось через военкоматы объявить призыв строителей и монтажников, покинувших строительство Чернобыльской АЭС, на военную службу. Стали поступать и письма от желающих приехать и участвовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Наступил момент, когда, казалось, приток людей стал неуправляемым, появились дополнительные организационные трудности. Прошел шок и у тех, кто сознательно покинул стройку. Уместно еще раз отметить высокую дисциплину эксплуатационников. Только

один из 4 тысяч сбежал в неизвестном направлении — начальник одной из смен (его не сразу нашли). Персонал работал самоотверженно. В печати не раз отмечалось, что директор АЭС В.П.Брюханов растерялся и испугался. Я этого подтвердить не могу. Напротив, через несколько дней после аварии, больной, с температурой 39,5, он, несмотря на запрещение врачей, был на работе. Некоторое время как бы пребывал в шоковом состоянии главный инженер станции Н.М.Фомин. По-моему, 5 — 6 мая он отпросился у меня на несколько дней уехать отлежаться. Через несколько дней Фомин вернулся на АЭС.

Хотелось бы подробнее остановиться на фигуре главного инженера. Позднее мне ставилось в вину его назначение. Фомин был назначен на эту должность года за полтора перед аварией, до этого он работал заместителем главного инженера по новым блокам. По образованию Фомин электрик. Его назначение на должность главного инженера связано было с большими трудностями. Дело в том, что министерство (в частности, я и начальник объединения Союзатомэнерго Г.А.Веретеников) рекомендовало на это место главного инженера В.К.Бронникова, работавшего на Чернобыльской АЭС заместителем главного инженера по эксплуатации. В.К.Бронников обладал большим опытом по эксплуатации, был прекрасно подготовлен, грамотен в вопросах атомной энергетики (в настоящее время он директор Запорожской АЭС). Фомина, уступавшего Бронникову в технических вопросах, но более сильного в административных делах, предполагали назначить директором одной из строящихся АЭС. С мнением министерства не согласился аппарат ЦК компартии Украины, вопрос рассматривался даже в ЦК КПСС. Решили, что на месте виднее. И принимая во внимание, что впоследствии Фомин должен будет заменить директора ЧАЭС Брюханова (Брюханова планировалось перевести в Москву), главным инженером назначили его. Решение представлялось обоснованным. Опыт показывает: наилучший вариант при подборе кадров такой, когда директор и главный инженер имеют разные специальности. Электрическая часть на АЭС очень сложна, и неплохо, когда директор — технолог, а главный инженер, к примеру, электрик, хотя лучше, чтобы было наоборот. Но я считал, что ситуация сложилась неплохо, тем более что два заместителя главного инженера были технологами и физиками. Я и сейчас считаю Фомина квалифицированным специалистом. В настоящее время он тяжело болен, и непонятно, почему в таком состоянии его столь долго содержали в тюрьме.

С первых же дней после аварии разгорелись дискуссии — через какое время топливо проплавит нижнюю бетонную плиту реактора, облицованную сталью толщиной 40 миллиметров, и что при этом произойдет. Опасения были серьезными, для этого имелись основания. Предстояло решить главную задачу — не допустить пропуск горячего ядерного топлива в почву под реактором. Суммарная толщина преграды в виде бетона и стальных облицовок составляла более 5 метров (нижняя плита реактора, перекрытия барботера, его облицовка и снова бетон). Не было ясности по поводу возможных повреждений этих перекрытий. Казалось маловероятным, что разрушение (проплавление) нижней плиты произойдет одновременно по всей площади. Под реактором располагалось специальное локализирующее аварию устройство в виде барботера. Это сложное сооружение, состоящее из двухэтажной железобетонной емкости с металлической облицовкой внутри. Объем конденсационного устройства на каждом этаже разделен продольными перегородками на четыре коридора, а поперечными на три отсека. Нижняя часть каждого этажа залита водой. Слой воды на этажах — 1200 миллиметров. Таким образом, в случае проплавления нижней плиты реактора разрушенное ядерное топливо должно (частями либо одновременно) опуститься в этот барботер. Выказывались опасения, что если большое количество раскаленной массы топлива попадет в воду, последует паровой взрыв с непредвиденными последствиями. По мнению ученых, надлежало возможно быстрее удалить воду из барботера. Никакими сведениями о результатах взаимодействия такого количества горячего топлива с водой мы в тот период не располагали. Запросили Москву. Мнения разделились. Некоторые специалисты предлагали оставить все как есть. Я склонялся к промежуточному варианту — удалить воду с первого и частично со второго этажей, оставив водяной слой примерно в 300 миллиметров. Все рассуждения из-за ограниченности времени и отсутствия каких-либо расчетов (кроме прикидочных по массе образующегося при взаимодействии топлива с водой пара) выглядели бездоказательными. Я полагал, что вода в принципе полезна. Это позволило бы охлаждать топливо по мере его прохода через нижнюю плиту (если произойдет такое, то маловероятно, что проплавление случится мгновенно по всей площади), с одной стороны. С другой — небольшое количество воды не способно повредить барботер при парообразовании. Однако было принято решение полностью удалить воду, и персонал АЭС в тяжелых радиационных условиях совместно с проектировщиками приступил к выполнению этой сложнейшей задачи.

Начали с более легкого — с верхнего этажа барботера. Анализ проектных материалов показал: удалить воду очень сложно. Необходимо найти нестандартное решение. Решили использовать временные проходы в барботер, предназначенные для экспериментальных целей, которые после проведения испытаний были заглушены. Такую проходку нашли на нижнем уровне этажа. Обрезав ее, обнаружили: на первом этаже воды нет, наблюдается небольшой подсос воздуха в барботер (направление конвективного потока как бы под реактор). По-видимому, вода ушла на нижний этаж

из-за повреждения каких-то конструкций при взрыве реактора. Удаление воды с нижнего этажа возможно было лишь через нижнюю дренажную трубку. Задвижка на этом трубопроводе была затоплена водой. Чтобы добраться до задвижки, следовало куда-то откачать скопившуюся радиоактивную воду. Для выполнения сложных работ по удалению воды с самого начала создали бригаду из эксплуатационников, проектантов и других специалистов. Общее руководство было за мной. Я регулярно докладывал заместителю Председателя Совета Министров СССР И.С.Силаеву, сменившему Б.Е.Щербину, о ходе этих работ. После моего отъезда основная нагрузка легла на плечи других работников министерства.

Первое, что предстояло сделать — откачать радиоактивную воду до уровня задвижки. Э.И.Сааков и я объехали площадку на бронетранспортере в районе третьего и четвертого блоков для просмотра возможной трассы откачки воды. Определили примерное направление прокладки шлангов и место установки пожарной машины. Решили производить откачку в емкости шламоотвала. Нас выручили офицеры пожарной охраны. Работа была поручена старшему лейтенанту, который великолепно справился с задачей в крайне тяжелой радиационной обстановке. К сожалению, запатавал его фамилию, но после окончания работ я предложил И.С.Силаеву наградить старшего лейтенанта денежной премией. Впоследствии он был удостоен и правительственной награды. Ходом откачки воды интересовались все. Мы решили ее ускорить. Я передал на АЭС два гидрокостюма, и задвижка была открыта до того, как завершилась сама откачка.

Параллельно с откачкой воды производились и другие работы, в том числе делались попытки по охлаждению разрушенного топлива. Решили изыскать возможность подавать азот в реактор снизу. Это позволило бы вытеснить воздух, прекратив горение графита в кладке реактора, и добиться некоторого понижения температуры за счет увеличения конвективного потока. Схему охлаждения предложили эксплуатационники. Руководили, работали те же люди. В короткий срок на площадку железной дороги подали цистерны с жидким азотом, привезли установки для перевода его в газовое состояние. Установка и схема монтировались в чрезвычайно сжатые сроки, и ночью 5 мая подали азот с температурой 5 — 10°С и расходом примерно 1200 м³/час. Конечно, этого было недостаточно для охлаждения активной зоны. Опасение, что со временем нижняя плита реактора проплавится, не исчезло. Но относительно времени, когда это может произойти, высказывались разные мнения. Пришлось идти по самому консервативному пути. Решили, что необходимо соорудить охлаждаемую дополнительную плиту под реактором, которая нужна была и для будущего саркофага. Для ее сооружения требовалось довольно значительное время, поэтому в качестве временного (предварительного) барьера был выдвинут проект, который предусматривал прокладку под барботером решетки из труб, охлаждаемых жидким азотом. В работу вступили метростроители. Со стороны реакторного отделения третьего блока в короткий срок в грунте была сделана специальная шахта (штрек), откуда началась буровая горизонтальная проходка под реактор четвертого блока. К этому времени температура топлива начала падать, уровень ее уже можно было контролировать телловизором, который привезли энергетики Украины. Было решено возвратиться к постоянному варианту — к охлаждаемой бетонной плите и саркофагу. Следует заметить, что проработки конструкции будущего укрытия, саркофага, начались с самых первых дней.

Для усиления нижней защиты и увеличения толщины преграды долго дебатировался вопрос о необходимости заполнить пространство барботера цементным или другим раствором. Эта сложнейшая по выполнению задача была не только необоснованной, но, на мой взгляд, и вредной. Однако победило мнение «академиков», и работу поручили мне, проектантам и военным. Выбранную проектантами трассу приходилось прокладывать в помещениях третьего и четвертого блоков. Для этого требовалось проделать несколько крупных отверстий в бетонных стенах толщиной от 500 до 900 миллиметров. Радиационная обстановка и объем работ не позволяли прибегнуть к традиционным методам. Решили использовать метод кумулятивных взрывов стен тротилом. Руководил работами маршал Аганов. Приходилось очень точно разместить заряды и рассчитать их мощность так, чтобы не повредить расположенное в некоторых помещениях и рядом с ними оборудование и трубопроводы третьего блока. Эксперимент проводился в аналогичных строительных конструкциях пятого, сооружавшегося блока. Он прошел удачно. И в ночь на 7 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывами были пробиты нужные отверстия. К тому времени почти полностью удалось сварить участки трубопровода, по которому требовалось подавать цементный раствор. Предполагалось, что трасса (кроме трех швов) будет смонтирована в относительно безопасных условиях, быстро переброшена через особо опасные места, закреплена, а несколько замыкающих швов придется сделать в радиационно опасных условиях.

Узел приварки к барботеру был наиболее сложен. Вставка готовилась в мастерской, и после подрыва заглушки одного из патрубков барботера к нему предполагалось подсоединить трубопровод. Работа велась ночью, и к утру трубопровод должен был быть проложен. Контрольная проверка показала: трасса трубопровода может провестись, а местами натывается на арматуру трубопроводов охлаждения бассейна с отработанным ядерным топливом третьего блока. Требовались дополнительные взрывы или какая-то другая трасса. И.С.Силаев сказал мне: «Идите на место, посмотрите

трассу и до окончания работ не возвращайтесь». Со мной поехали Шадов, маршал Аганов и проектант.

Тщательный осмотр показал: проложить трассу без риска повредить оборудование третьего блока невозможно. Дальнейшие взрывы чрезвычайно опасны. Я доложил обо всем И.С.Силаеву. На это он мне заметил, что слышал, будто я противник заполнения барботера, поэтому и трассу не могу проложить. Меня, однако, поддержал Шадов. После моего заявления, что я не могу гарантировать безопасность третьего блока, вновь состоялось обсуждение, и от этого варианта пришлось отказаться. Начались поиски других решений. Снова анализ возможности подхода к барботеру. Так, В.Т.Кизима предложил вместо взрыва другой метод проходки через стены — прожечь их мощными угольными электродами. Эти отверстия, сыгравшие большую роль при установке всевозможных датчиков в барботере, оказались очень полезными, но от заливки барботера цементной смесью к тому времени уже окончательно отказались.

Надо сказать, что после слива воды из барботера под реактором через разводку трубопроводов были установлены датчики радиационного контроля, и мы могли контролировать мощность излучения, а тем самым и возможное попадание в барботер топлива (в случае расплавления нижней плиты реакторной установки).

Как говорилось выше, особое внимание уделялось оставшимся невредимыми трем энергоблокам. В ходе работ на промплощадке был случайно поврежден трубопровод технической воды, проходящий под землей. Бронетранспортер сдвинул пожарную машину, установленную над люком. В люке же стоял гидрант, подсоединенный через задвижку к трубопроводу. Соединение было повреждено, и чтобы площадку не залило, трубопровод отключили арматурой. Ремонт из-за крайне высокой активности в этом районе был невозможен. Прекратилась подача технической воды на охлаждение некоторых потребителей третьего блока. Охлаждение реактора этого блока снизилось. Пришлось организовать специальный режим, предусмотренный проектом, — режим испарения, поддерживающий уровень температуры теплоносителя не выше 100°C. Но надолго сохранять такой режим было нежелательно. С помощью специалистов течь временно удалось локализовать бетонной пробкой, а эксплуатационный персонал рядом переключений подал техническую воду на потребители третьего блока. Реактор сумели перевести в спокойный режим, а позднее эксплуатационники смонтировали охлаждение по нормальной схеме. Я остановился только на основных моментах работы во время моего пребывания на Чернобыльской АЭС.

13 мая вместе с Сидоренко и Легасовым я вылетел в Москву, куда меня вызвал председатель комиссии Б.Е.Щербина для окончательной подготовки акта о причинах аварии. Дело в том, что акт, подготовленный на АЭС, я не подписал. Не подписали его также А.А.Абагян и Б.Я. Прушинский. За столь короткий срок (неделя с начала аварии) невозможен был объективный анализ причин, что в дальнейшем и подтвердилось.

Радиационное загрязнение

Прежде чем остановиться на причинах аварии, следует, мне кажется, еще раз вернуться к вопросу изменения во времени мощности выброса радиоактивных продуктов из разрушенного реактора.

Как было отмечено впоследствии на совещании в Женеве, выброс радионуклидов с Чернобыльской АЭС не был одиночным массивным явлением. В первый день аварии произошло лишь 25 процентов выброса. Остальной выброс радиоактивности представлял собой растянувшийся примерно на девять дней процесс. В течение этого срока на анализ брались образцы воздуха и осадений на почву. Так была построена кривая выброса, которую можно разделить на четыре отрезка: выброс в первый день аварии; пятидневный период, когда мощность выброса падает до минимальной величины, в 6 раз меньшей первоначальной его силы; четырехдневный, когда интенсивность выброса возрастает до 70 процентов от первоначальной; резкое снижение силы выброса через девять дней после аварии до одного процента от его первоначальной отметки и продолжающееся снижение мощности выброса (я использую данные, представленные в МАГАТЭ).

Как отмечалось на конференции в Вене, среди вопросов, на которые еще предстоит ответить, особое место занимают два. Указывалось, что самая необычная особенность выброса — возрастание его мощности через шесть дней после аварии с резким сокращением интенсивности. Возможными объяснениями этих процессов, по мнению экспертов МАГАТЭ и наших специалистов, участников конференции, было следующее: как только ко 2 мая прекратилась засыпка материалов, отвод тепла от обломков уменьшился, температура повысилась — и в результате испарения выброс усилился; возрос и поток газа над обломками, ускорив в них химические реакции, расплавление свинца, выделение и пиролиз доломита засыпки тоже закончились, понизился теплоотвод от обломков, температура их возросла, и в результате испарения выброс активности снова усилился.

На конференции резкое сокращение выбросов объяснялось следующей гипотезой, которую, как указано в отчете, нелегко опровергнуть. Нарастание выброса возникает, видимо, из-за

повторного разогрева обломков активной зоны при переходе их в жидкое состояние. Необходимая для этого перехода температура составляет 2300 — 2900° по Кельвину, в зависимости от количества неокисленного циркония в обломках. В ходе этого процесса испарение усиливается. Вторая гипотеза заключалась в том, что меры, принимаемые по снижению температуры активной зоны, просто могли достичь успешного результата.

Не отрицая выводов экспертов и с ними во многом соглашаясь, выскажу некоторые дополнительные соображения. Вопрос мощности выбросов следует, по-моему, рассматривать в тесной связи с работами, производимыми во всех направлениях, и с состоянием в первую очередь верхней плиты реактора и топлива.

Как уже отмечалось, заброска грузов производилась в основном 28, 29 и 30 апреля, практически завершилась 1 — 2 мая, на пятый день после аварии (по отчету МАГАТЭ — 3 мая). Как раз в этот период выброс снизился до минимума, что продолжалось около двух суток. На шестые сутки, к исходу 2 мая, выброс увеличился и продолжал возрастать до 6 мая. Этот рост примерно совпадает с окончанием сброса на реактор свинца (свинец интенсивно стали сбрасывать утром 30 апреля). Видимо, события развивались так. По мере сброса грузов (доломит, песок, глина) имели место те реакции, о которых речь шла выше, температура топлива понижалась за счет эффекта взаимодействия топлива со сбрасываемым грузом и за счет еще имевшего место конвективного потока воздуха и газов через реактор, неплотно прикрытый сверху. 30 апреля — 1 мая наступил период равновесия (выброс стабилизировался), но 2 мая он начал возрастать и к 5 мая достиг 70 процентов от первоначального. Возрастание мощности выброса, по-моему, произошло по трем причинам. Во-первых (что отражено в отчете), по окончании взаимодействия топлива со сбрасываемым грузом топливо начало разогреваться, последовало повышенное его испарение. Кроме того, при сбросе свинца с большой высоты верхняя плита реактора изменила свое положение, ее наклон увеличился, и для свободного выхода радионуклидов открылась дополнительная площадь более разогретого топлива. И наконец, часть сброшенных сверху материалов под действием температуры рухнула вниз, образовав сверху кратер.

Резкое уменьшение выброса к 6 мая совпало с подачей в реактор азота, который, возможно, прекратил горение остатков графита и в какой-то степени снизил температуру. Снижению температуры способствовало и то, что к тому времени в верхней части (в засыпке) реактора образовалась небольшая воронка, усилившая конвективный поток воздуха.

Более поздний анализ, по моему мнению, показал, что засыпку верха реактора следовало производить другими материалами. Засыпка песком и иными компонентами только ненадолго уменьшила радиоактивные выбросы, одновременно несколько снизив и температуру оставшегося в реакторе топлива. В действительности же в дальнейшем это только ухудшило обстановку. Из-за плотной закупорки верха реактора примерно через сутки температура топлива значительно возросла, из него стали выделяться более тугоплавкие и вредные радиоактивные изотопы, в конечном счете вышедшие наружу.

Уже после завершения засыпки работники Всесоюзного теплотехнического института предложили для этого кусковой пористый и легкий туф, горную породу, применяемую в строительстве в Армении. Ранее его использовали в качестве фильтров от радиоактивных газов на Армянской АЭС при сжигании слабоактивных материалов. Возможно, туф, не нагружая несущие конструкции реактора и сохраняя конвекцию воздуха и азота за счет большой пористости, смог бы сократить выбросы.

Как говорилось выше, практически с первых дней широким фронтом развернулись работы по дезактивации в первую очередь территорий Припяти и других объектов, непосредственно не прилегающих к АЭС. В кратчайшие сроки было организовано производство специальных покрытий, их нанесение на поверхность позволяло закреплять радиоактивные вещества в составе покрытия. После кратковременной выдержки покрытия в виде пленки вместе с радиоактивными веществами можно было снимать и захоранивать в специальные емкости. Этой пленкой были покрыты многие поверхности зданий, сооружений, складских помещений и жилых домов Припяти.

На территории АЭС подготовили бетонированные площадки и траншеи для установки контейнеров с радиоактивными веществами, собираемыми разными способами по территории вблизи разрушенного блока. Работу по дезактивации выполняли воинские подразделения. Чтобы исключить попадание ливневых вод в реку Припять и другие водоемы, вокруг АЭС и в городе Припять соорудили специальные канализационные сети, дамбы, насыпные и бетонированные ограждения, а также защитные стены в грунте на глубину 30 метров, препятствующие проникновению грунтовых вод в водоемы.

О причинах аварии

Авария произошла в ходе испытаний, которые проводились с турбогенераторной установкой перед выводом энергоблока в ремонт. Испытания были важными, и эта попытка их провести

являлась уже третьей по счету. Предыдущие испытания не состоялись по разным объективным причинам. Цель испытания — проверка способности турбогенератора во время полного отключения энергоснабжения блока за счет его выбега (снижения оборотов перед остановом) на короткий срок обеспечивать электропитанием механизмы АЭС. Последние, в свою очередь, гарантируют расхолаживание до включения и разворота дизель-генераторных установок.

Специалисты, отвечающие за безопасность АЭС, тщательно не анализировали программу. Ее не согласовывали с главным конструктором и научным руководителем в Москве. Нельзя утверждать, что программа была составлена неграмотно. Однако в ней отсутствовали специальные разделы с акцентом на вопросы безопасности и недопустимости отклонений режима работы блока от регламента (а именно по нему обычно идет разгрузка блока перед остановкой). Авария, вероятно, могла бы на этот раз не произойти, если бы оператор сумел удержать мощность реактора (автоматика не помогла) на уровне 700 — 1000 МВт (тепловых), как указывалось в программе испытаний. В противном случае следовало мгновенно заглушить реактор, прекратив испытания. Указанная в программе мощность 700 — 1000 МВт (тепловых) избрана не случайно. На таком уровне мощности расход питательной воды обеспечивает термодинамическую устойчивость главного циркуляционного контура при работе четырех циркуляционных насосов. В переходном же периоде (снижение мощности) этим обеспечивается достаточный запас реактивности (количество погруженных в активную зону реактора) стержней СУЗ. В конкретной обстановке, сложившейся на блоке, предпочтительнее был бы верхний уровень указанной в программе мощности, то есть 1000 МВт (тепловых). Это было бы лучше по двум причинам. Первая — для эксперимента необходимо включать дополнительно два главных циркуляционных насоса. Для обеспечения же устойчивой работы всех шести насосов требовался больший расход питательной воды, а следовательно, полагалось соответственно поднять уровень мощности. Вторая причина, как уже сообщалось в материалах по аварии, та, что эксперимент следовало проводить днем 25 апреля. Персонал и начал его днем, снизив мощность блока при подготовке к дальнейшим операциям. Однако операцию пришлось прервать, так как диспетчерская служба запретила отключать блок, дав «добро» продолжить эксперимент после того, как снизится вечерний максимум нагрузок. Такое решение привело к крайне отрицательным последствиям. Задержка эксперимента после того, как мощность сократилась до 50 процентов, значительно уменьшила запас реактивности, сократив количество погруженных в активную зону стержней СУЗ из-за доотравления реактора (йодная яма). Все это создавало условия для предаварийного состояния.

Итак, мощность реактора понизилась не до 700, а до 60 МВт, и оператор перед началом испытания смог ее увеличить до 200 МВт (тепловых), для чего потребовалось вывести из активной зоны несколько регулирующих стержней. Поднимать мощность выше было нельзя, поскольку удержать ее в автоматическом регулировании при малом запасе реактивности — задача невыполнимая. После включения двух дополнительных главных циркуляционных насосов (что требовалось по программе испытаний) из-за низкого уровня мощности возникли новые трудности, связанные с распределением питательной воды по трубопроводам циркуляционных насосов. Реактор продолжал отравляться, а запас погруженных в активную зону регулирующих стержней сокращался.

Следует отметить, что подсчет числа стержней, погруженных в реактор, вообще затруднен. Нужно было просуммировать отрезки стержней, погруженных в активную зону (полное количество стержней — 211 штук), вызовом специальной программы на вычислительную машину, для чего требовалось несколько минут. Сделал ли это оператор, неизвестно. По оценкам экспертов, к моменту аварии в реакторе находилось всего 8 — 9 стержней вместо 15, положенных по регламенту работы.

В прессе уже указывалось, что операторы вообще отключили аварийную защиту. Это неверно. Основные защиты были в работе, в том числе и важнейшие из них — по повышению мощности сверх установленного уровня. По мощности есть два сигнала — предупредительный и аварийный. Последний действует так, что аварийная защита срабатывает без вмешательства персонала.

В отчете МАГАТЭ отмечалось, что в ходе испытаний при отключении обоих турбогенераторов была заблокирована автоматическая остановка реактора и что, если бы не это, авария не произошла бы. На самом деле такое предусматривалось регламентом ввода и вывода технологических блокировок из работы при пуске и остановке АЭС. Эта блокировка вводится после нагрузки турбогенератора до 100 МВт (электрических), а выводится из работы при нагрузке меньше этой отметки. В данном случае блокировка была снята при нагрузке 60 МВт (электрических), что технологически вполне оправданно, другого порядка просто не могло быть.

Уместно отметить, что согласно расчетам, даже если бы блокировка не была снята, авария все равно произошла бы, так как условия для этого возникли ранее. В некоторых публикациях делается акцент на ряде других якобы ошибочных действий персонала. Ни одно из них не играет никакой роли в возникновении и тем более в развитии аварии. Снижение мощности до 60 МВт тоже не запрещается регламентом, хотя это обстоятельство, как сказано выше, оказалось крайне негативным.

В отчете, представленном в МАГАТЭ, сказано также, что, перекрыв подачу пара на турбину и тем самым сократив расход питательной воды, оператор вызвал возмущение системы и быстро

парообразование в большей части активной зоны. По мнению комиссии, это и привело к стремительному подъему мощности реактора, с которой не справилась система аварийной остановки. Дальнейший же подъем был вызван влиянием положительного парового коэффициента реактивности.

Эти узловые вопросы явились предметом длительных дискуссий. К моменту передачи материалов по аварии на конференцию в МАГАТЭ споры еще не закончились, поэтому дана была удобная для ученых версия подъема мощности реактора до нажатия оператором кнопки аварийной защиты. Версию эту подготовили специалисты, возлагавшие всю ответственность на эксплуатационников. В этом документе не затрагивались недостатки конструкции стержневой системы управления и защиты реактора.

Кнопку аварийной защиты оператор нажал в 1 час 23 минуты 40 секунд. На погружение в активную зону были подключены оператором все стержни регулирования и защиты реактора. Нажатие кнопки произошло, когда эксперимент практически закончился. Подача пара на турбину прекратилась в 1 час 20 минут 6 секунд, и турбогенератор был на выбеге более 30 секунд (время, достаточное для разворота дизель-генераторов).

После нажатия кнопки аварийной защиты произошло следующее: при опускании стержней в реактор стала быстро вводиться (вместо ее снижения) положительная реактивность, автоматы поддержания мощности вышли из строя, а далее процесс сделался неуправляемым.

Здесь следует кратко остановиться на конструкции стержневой системы управления и защиты реактора (органы регулирования мощности). В любом реакторе кроме топливных элементов (в данном случае из двуокиси урана-238, обогащенного ураном-235) имеются стержни для регулирования мощности (ручное регулирование), которые управляются оператором дистанционно, и стержни автоматического поддержания мощности. Они работают в автоматическом режиме по сигналам от датчиков нейтронной мощности и стержней аварийной защиты. Последние функционируют автоматически от сигналов, заведенных в цепочку аварийной защиты. Эти сигналы называются аварийными, то есть они свидетельствуют об отклонениях тех или иных параметров от пределов нормальной эксплуатации. Все они вместе составляют систему управления и защиты реактора. С их помощью реактор выводится на мощность, эксплуатируется и останавливается. Стержни располагаются в специальных каналах и охлаждаются водой. На четвертом блоке в сумме было установлено, как уже говорилось, 211 стержней. Когда рабочая часть всех стержней находится в активной зоне реактора, последний заглушен и цепная реакция не происходит. По мере их выхода из зоны наступает момент, когда высвободившиеся нейтроны способны обеспечить цепную реакцию деления ядер урана. Таким образом, реактор выводится на определенный (заданный) уровень мощности. Уровень мощности определяется потоком нейтронов, а регулирует его система СУЗ — стержней-поглотителей. По мере сгорания ядерного топлива для поддержания заданного уровня мощности стержни дополнительно извлекаются из реактора автоматическими регуляторами. При определенном положении стержней в реактор вместо выгоревшего загружается свежее топливо.

Конструктивно стержень-поглотитель в реакторах РБМК состоит из двух частей: поглощающей и не поглощающей нейтроны. В заглушенном реакторе вся поглощающая часть стержня находится в активной зоне реактора (стержни опущены). При работе на мощности в переходных режимах ряд регулирующих стержней (поглощающая часть) полностью извлечен из активной зоны, а некоторые пребывают в промежуточном положении. При полностью извлеченных стержнях в активной зоне реактора находится вторая — не поглощающая нейтроны — часть стержня (графит, цирконий). Она служит вытеснителем столба воды, находящимся в канале, где движется стержень. Вытеснение воды целесообразно, поскольку она сама служит вредным поглотителем нейтронов, значительно снижая экономичность работы реактора. При полностью извлеченном стержне (поглощающей его части) вторая часть, вытеснитель, остается в активной зоне реактора. Однако вытеснитель короче активной зоны. При его нахождении в активной зоне сверху и снизу в канале остаются столбики воды высотой 1 — 1,2 метра. Эти столбики служат поглотителями нейтронов.

Чтобы представить картину возникновения и развития аварии, следует дать упрощенное понятие положительной и отрицательной реактивности. При удалении поглотителя возрастает способность к размножению нейтронов, реактивность системы увеличивается, нейтронный поток усиливается, а при обратном движении поглотителя вносится отрицательная реактивность: поток нейтронов уменьшается, а при определенном количестве поглотителя реакция в активной зоне и вовсе прекращается.

Этих упрощенных объяснений, на мой взгляд, достаточно для понимания дальнейших событий. К моменту нажатия оператором кнопки аварийной защиты подавляющее большинство стержней было выведено из зоны. Сумма отрезков не выведенных стержней поглотителя составляла 8 — 9 шгук. По законам физики такое положение (с точки зрения готовности заглушить реактор) — явление положительное. Хорошо, когда более 200 стержней готовы глушить реактор и при этом правильна конструкция самой системы. Все было бы в порядке, если бы не эти столбики воды. После нажатия кнопки аварийной защиты вода в 200 каналах была вытеснена из активной зоны

реактора. Тем самым очень быстро в реактор внесли большую положительную реактивность. Вход в верхнюю часть активной зоны стержня практически не изменил реактивность, поскольку он вытеснял столб воды, также поглощающий нейтроны.

Приходится повторяться: начало разгона реактора совпало с нажатием оператором кнопки аварийной защиты из-за внесения положительной реактивности. Как показал анализ и расчеты, нарастание мощности шло в два приема. Через 2 — 2,5 секунды после нажатия кнопки мощность реактора возросла примерно в 10 раз от номинальной. Нажав кнопку, оператор уже ничем не мог воздействовать на мощность, да и имея такую возможность, он не успел бы ею воспользоваться при отсутствии другой, независимой системы защиты, срабатывающей автоматически. Достигнув десятикратной величины через 2 — 2,5 секунды, мощность начала снижаться и снизилась за 2 — 3 секунды более чем в 3 раза за счет доплер-эффекта на уране-238 (физикам это понятно). Затем она вновь стала катастрофически расти и в считанные секунды стократно увеличилась.

За счет чего же произошел вторичный, практически мгновенный рост мощности? Ответ один — за счет огромного положительного вклада в реактивность паровой фазы в теплоносителе активной зоны реактора. Механизм роста паросодержания можно представить следующим образом. Нейтронная мощность реактора мгновенно увеличивается при вводе в реактор положительной реактивности, а теплотехнические процессы по своей природе более инерционны. Поэтому после первого десятикратного увеличения мощности паросодержание могло достичь максимального значения, соответствующего новому уровню мощности, только через 6 — 7 секунд. В результате целого ряда сложных процессов, происшедших почти мгновенно, реактор практически запарился, и мощность за счет положительного парового эффекта реактивности примерно через 7 — 8 секунд увеличилась стократно со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Можно изложить и вторую гипотезу, дополняющую первую в части вторичного (стократного) увеличения мощности. Как уже отмечалось, первым тревожным сигналом явилось повышение давления в межреакторном пространстве. Последнее произошло примерно через три секунды после нажатия кнопки аварийной защиты, то есть практически сразу после десятикратного увеличения мощности. Это свидетельствует о том, что разрушение одного или нескольких технологических каналов уже свершилось. При общем первоначальном увеличении мощности реактора примерно в 10 раз от номинального локальное превышение могло быть и большим. Разрушение ряда тепловыделяющих сборок и технологических каналов привело к истечению пара из контура, снижению расхода теплоносителя через уцелевшую часть реактора и давления в контур. Парообразование возросло, мощность после кратковременного (за счет доплер-эффекта и разрушения части активной зоны) уменьшения стала возрастать, что привело к разрушениям большого количества технологических каналов и отрыву верхней плиты.

Эта гипотеза в целом не меняет общей картины развития аварии.

Несколько слов относительно непосредственно взрывов реактора. По словам очевидцев (об этом писалось неоднократно), отмечалось два крупных взрыва. И хотя не столь важно, в результате одного или двух взрывов реактор разрушился с выделением громадного количества радиоактивных элементов, хотелось бы высказать свое мнение и по этому вопросу.

По гипотезе, связанной с локальным разрушением активной зоны, первый (менее интенсивный) взрыв произошел в момент достижения десятикратной мощности, второй — после повторного стократного ее увеличения. Это вполне вероятно. Возможно также, что взрыв произошел после повторного возрастания мощности — с уничтожением всех коммуникаций, отрывом верхней плиты реактора и разрушением стен и перекрытий реакторного зала.

Водородная версия взрыва, по моему мнению, не имела места. Если на каком-то этапе водород и успел образоваться в достаточном количестве, его хлопки не сыграли бы решающей роли. Процесс развития аварии из-за катастрофического нарастания мощности шел мгновенно.

Основными причинами катастрофы на Чернобыльской АЭС явились конструктивные недостатки стержней СУЗ и всей системы управления и защиты реактора, а кроме того недопустимо большой положительный паровой коэффициент реактивности и неудовлетворительные нейтронно-физические характеристики реактора. Доказательством этого может служить тот факт, что после аварии на всех реакторах РБМК очень быстро произвели значительные реконструктивные работы.

Были устранены главные причины взрыва реактора: изменили саму конструкцию стержней управления и защиты его, значительно увеличили скорость их погружения в активную зону (в 1,5 раза, а быстродействующей защиты — в 5 раз). Изменена была и структура активной зоны за счет установки дополнительных поглотителей нейтронов (в среднем по блокам от 70 до 100 штук), что позволило существенно снизить значение положительного парового коэффициента реактивности; изменен технологический регламент и введен запрет на извлечение стержней регулирования из активной зоны реактора, обеспечивающий присутствие в зоне не менее 40 стержней.

Предусмотрена и уже производится замена части тепловыделяющих сборок на сборки с повышенным обогащением ураном-235. Это позволит улучшить нейтронно-физические характеристики реактора, сделать его устойчивым на всех уровнях мощности.

Ужесточились инструкции и регламент работы АЭС, проэкзаменован и периодически проверяется весь эксплуатационный персонал. Завершено строительство и введен в строй учебно-тренировочный центр с полномасштабным тренажером на Смоленской АЭС, на других станциях оборудованы учебно-тренировочные пункты. Тщательно контролируется состояние металла оборудования и трубопроводов на атомных электростанциях, внедряются диагностические системы за целостностью оборудования АЭС в процессе эксплуатации.

Я уже писал, что вину за чернобыльскую трагедию несут как тяжелый крест специалисты всех рангов (их сотни), причастные к атомной энергетике. Естественно, что никаких злонамеренных действий погибший персонал и все другие специалисты не совершали. Во всех областях науки и техники когда-либо происходили трагедии из-за незнания природы тех или иных явлений и непреднамеренных ошибок. Однако чернобыльская катастрофа высветила и еще один, пожалуй, главный изъян нашей атомной энергетике. Более тридцати лет назад к этой области народного хозяйства утвердился особый подход — как к сугубо секретному делу. В столь специфической обстановке обоснование и разработка проектов новых АЭС, их размещение на территории страны часто вершились при полном игнорировании опыта других атомных держав и мнения широкой научной общественности. В этих условиях трагедия, подобная той, что произошла в Чернобыле, рано или поздно должна была случиться. И это горький урок всем нам на будущее.

А. ВОРОБЬЕВ,

академик

*

Чернобыльская катастрофа пять лет спустя

Заметки врача

Прошло пять лет после чернобыльской катастрофы, первого большого несчастья в целой цепи потрясений, обрушившихся на страну, которая хотела вступить на дорогу новой жизни — без террора, без самовластья, без угнетения малых народов и бесправия отдельного человека. А потом — Сумгаит, землетрясение в Армении, Фергана... О Чернобыле стали забывать, хотя осталось радиоактивное загрязнение огромной территории — чернобыльского региона, протянувшегося от Карпат до Рязанской области включительно.

Почему же по прошествии пяти лет нужно говорить о медицине чернобыльского региона, будто катастрофа произошла только вчера? Что надо сделать для людей этого региона?

Очень много фантастических утверждений витает вокруг чернобыльской катастрофы, очень мало фактов, главнейший из которых — индивидуальные дозы облучения людей. Именно утаивание дозовых нагрузок порождало домыслы: одни утверждали, что здоровью населения ничто не угрожает, что эвакуация принесет больше вреда, чем пользы, другие пророчили эпидемию лейкозов, повальное рождение уродов. Позиция «оптимистов» заведомо лжива и не нуждается в обсуждении, хотя перед нами не группа случайных людей, а хорошо организованная когорта, не раз и не два выступавшая с дезинформацией по поводу радиационных катастроф на Урале, в Семипалатинске и других местах. Но непрофессионалы «пессимисты» со своими тревогами, хотя и продиктованными чистыми побуждениями, легко становятся орудием в руках лжецов профессионалов, которые вынимают из секретного арсенала нужные им данные, легко опровергают слухи, а заодно подсовывают неверное представление о якобы полном благополучии в зоне опасных радиоактивных загрязнений.

Сейчас за рубежом активно обсуждается вопрос о помощи жителям чернобыльского региона. Разные фирмы предлагают проект специализированного диспансера в Гомеле. Как известно, именно Гомельская область содержит наибольшую массу радионуклидов в почве. Почему в Гомеле надо строить диспансер, почему к его строительству надо привлекать иностранных партнеров, почему такой диспансер должен быть и лечебно-диагностическим, и научным центром с широким участием иностранных врачей, ученых?

Облученные люди имеют несколько большую вероятность заболеть той или иной опухолью, но в первые годы должны участиться случаи доброкачественных опухолей щитовидной железы, лейкозов. Современная медицина располагает довольно мощным арсеналом средств для ранней диагностики и лечения этих заболеваний. Многие формы лейкозов полностью излечиваются более чем в половине случаев. Лечение продолжается обычно несколько лет, поэтому проводить его надо по крайней мере в областном центре, а не на стороне. Поэтому диспансер надо создавать в Гомеле

(равно как и в Могилеве, Житомире, Брянске или Новозыбкове), а не в Киеве, Минске, Обнинске или Москве.

Иностранцы партнеров надо привлекать потому, что современный в самом точном смысле этого слова стационар требует специального строительства, особой вентиляции, новейшей аппаратуры — всего того, чего у нас нет и чего, к сожалению, мы делать не умеем. Кстати, именно иностранные ученые в самых разных странах предлагают свою помощь, так как они понимают всю сложность задачи создания современного клинического учреждения, призванного решать вопросы, которые сейчас волнуют весь мир, но которые одновременно и крайне важны для населения чернобыльского региона.

Диспансер этот должен быть и лечебно-диагностическим, и научным, и международным потому, что аппаратура, реактивы в современных лабораториях почти все не нашего производства. Если в работе такого диспансера будут принимать участие иностранные врачи и ученые, то они и возьмут на себя систематическое обеспечение необходимыми реактивами, оборудованием. Примером такого сотрудничества в течение сорока лет является специализированное учреждение в Хиросиме, где вместе работают и японские и американские ученые, где управление осуществляют японский и американский директора, но не чиновники от науки из Токио или Вашингтона.

Почему в строительстве диспансера заинтересованы иностранные ученые? С самого зарождения жизни на Земле радиоактивное излучение существовало. Все живое в определенной мере излучает радиацию всегда. Однако с какого-то уровня это излучение становится опасным. В организме существуют механизмы восстановления разрушенных радиацией наследственных структур в клетках. Но, как и при разрезе кожи, небольшие повреждения будут восстановлены, а от больших останется «рубец». Именно по остающимся на многие годы нарушениям наследственных образований — хромосом — и определяют сам факт облучения человека в прошлом и дозу облучения. Планируя дальнейшее соприкосновение человека с источниками ионизирующего излучения, нельзя оставаться в неведении о дозовой характеристике опасных уровней облучения человека. Вместе с тем такие сведения можно получить лишь там, где с облучавшимися людьми связана самая квалифицированная медицина. Речь идет о больших количествах наблюдений при длительном сроке; разницу между облученными и не облученными можно заметить только при тщательной статистической проработке абсолютно достоверных фактов, добытых с помощью надежных средств исследования организма. А полученные сведения послужат основанием для пересмотра условий работы с источниками радиации. И здесь интересы населения Гомельской области полностью совпадают с интересами мировой науки и мировой культуры, так как назад к лучине идти никому не хочется. Если совместными усилиями всего мира организуем современную медицинскую помощь жителям региона, полученные результаты позволят человеческой культуре двигаться дальше. Плохая же медицинская помощь на месте катастрофы ни при каких условиях не даст достоверных результатов, как не дала она их до сих пор, породив лишь слухи, недоверие к властям, к их разным научным представителям.

У читателя может возникнуть вопрос: а не будут ли наши люди играть роль подопытных кроликов в удовлетворении чьего-то любопытства? Современная медицина учитывает состояние здоровья людей повсюду. По крайней мере она должна это делать. А значит, все население любой цивилизованной страны в определенной степени подопытное. Если обнаружится рост какого-то заболевания, сразу начинают искать причину, чтобы ее устранить. Область радиоактивного излучения не исключение. Только вредность там невидимая, последствия ее не быстрые, обнаружить их можно лишь с помощью ультрасовременных диагностических исследований силами высококвалифицированных научных работников.

Сейчас много говорят о роли советской науки в судьбе жителей облученных районов, говорят хорошее и плохое. Оставим в стороне запоздалые упреки: какая уж тут наука, если и через пять лет после катастрофы не предложены показатели, по которым можно отселить людей с загрязненной территории. А ведь это лишь один вопрос из множества, связанных с жизнью этих людей, животных, растений.

Сегодня надо считаться с тем, что атомная промышленность — реальность, в ближайшие десятилетия она будет существовать. Как планировать ее развитие дальше, если и сегодня неизвестны последствия малых доз радиации? А может быть, закрыть атомные электростанции, атомную энергетику вообще?

В Бельгии есть атомная электростанция в Тяньже, предместье города Уи. От центра Уи станция находится в нескольких сотнях метров. За все время существования АЭС в Тяньже не было ни одного случая выброса радиоактивных газов в атмосферу, ни одного случая переоблучения персонала, ни разу не изменился радиоактивный фон в окрестностях, реке, вода которой используется для охлаждения. Реактор не просто изолирован на АЭС, но он находится под стальными и двумя железобетонными колпаками, прочность которых рассчитана на падение самого тяжелого современного самолета (а мы — саркофар!). Когда в Тяньже мы поинтересовались, может ли заведомый злоумышленник вывести из строя реактор, создать условия для выброса его содержимого наружу, способен ли он отключить сигнализацию, последовал категорический ответ: это абсолютно

невозможно, эти вопросы учитывались при проектировании АЭС, целая цепь дублирующих систем остановит реактор при малейшей угрозе. Можно ли что-то скрывать на этой АЭС от ее персонала, окружающего населения, можно ли засекречивать дозы? Подобные вопросы здесь вызывали удивление. Жители, ранее протестовавшие против строительства АЭС, теперь ратуют за ее расширение, так как она существенно повышает уровень безопасности населения города.

Почему у них АЭС — друг, а у нас — враг? Как это вообще может случаться, что дефекты проекта и строительства становятся вдруг ясны всем после катастрофы? Почему вскоре после чернобыльской беды пришлось закрыть Ереванскую АЭС? Значит, она была опасна, но говорить об этом не разрешалось. Бессмысленная засекреченность там, где был необходим самый строгий, самый беспристрастный и широкий контроль с привлечением международных экспертов (ведь наши АЭС строят и за рубежом), бесконечная ложь и после аварии — они всему виной.

Правда никуда не уйдет от людей, надо только не затягивать ее приход в чернобыльский регион. Заключается она в следующем: относительно небольшое, заметное лишь при просчете тысяч наблюдений, будет учащение опухолей у лиц, облученных в дозе более 20 — 40 бэр (при рентгеноскопии желудка на основные зоны кровотока человек получает около 30 — 40 бэр, а бэр — биологический эквивалент рентгена). Если сравнить возможный прирост опухолей с потерями от курения табака, то «оптимисты» могут торжествовать: радиация унесет человеческих жизней в десятки раз меньше, чем табак, так как малые дозы облучения могут лишь удвоить число заболевших некоторыми опухолями, а рак легких у курящих будет в 20 — 30 раз чаще, чем у некурящих. Кроме того, табак способствует возникновению и рака желудка и рака пищевода, и не только у самого курильщика, но и у обкуривших им. Однако никакие основания для оптимизма здесь нет: одно вредное воздействие лишь усугубляет другое.

Говорить о радиации без цифр нельзя. Народ как-то молча прошел мимо доз 1 — 5 бэр на человека, которые якобы поглощены организмом 62 процентов жителей пораженных районов, и дозы 17 бэр, последнее может касаться единичных представителей населения (доклад правительства на Верховном Совете СССР). Уже нашлись борзые открыватели новых болезней, которые и при этих дозах обнаружили какие-то серьезные изменения в сердце, нарушения иммунитета. Неверно все это. Если и удастся обнаружить отклонения в здоровье жителей при таких дозах облучения, то только с помощью той медицины, которой в чернобыльском регионе и близко нет. Ведь распространенное рентгенологическое исследование — диагностическая компьютерная томография тела — дает поглощенную дозу 2 бэра, определить ее действие на организм не удастся. Какие-либо последствия от облучения человека в дозах до 20 бэр не были известны (хотя эти дозы уже опасны при внутриутробном облучении плода). Лишь в последние годы появились сообщения английских ученых, что дети, родившиеся от облученных в дозе 10 бэр отцов, в 5 — 6 раз чаще болевают лейкозом (данные требуют проверки). Но у самих отцов достаточно чувствительные методы ничего обнаружить не могут. Чтобы читатель реально представлял себе обсуждаемые дозы, надо сказать, что при пересадке костного мозга все тело человека облучается в дозе 1200 бэр, при лечении опухолей лимфатических узлов шеи, грудная клетка, живот облучаются в дозе 4 тысячи бэр за несколько сеансов. А в дальнейшем этих людей трудно отличить от здоровых. Поэтому если бы было правдой, что в загрязненных радионуклидами районах люди облучены в дозе 1 — 5 бэр и никак не более 17 бэр, то многомиллиардные затраты по ликвидации последствий аварии — просто бессмысленная трата средств.

Но траты эти не являются бессмысленными, так как доза там примерно в 10 раз выше названной. Определение индивидуальной поглощенной дозы более чем у 300 случайных жителей преимущественно в Гомельской области и у «ликвидаторов» показало, что почти у половины исследованных она колеблется от 10 до 50 и более бэр. Анализ проводился по хромосомным нарушениям в клетках крови и методом электронного парамагнитного резонанса по структурным нарушениям атомов зубной эмали.

Знают ли авторы теоретически вычисленных цифр 1 — 5 бэр о настоящих индивидуальных дозах? Очень хорошо знают. Равно как знают, что не в нашей стране, а в ФРГ обнаружены последствия чернобыльской катастрофы по увеличению в зоне выпадения радиоактивных осадков ранней смертности детей, облучавшихся в утробе матери. Как могло случиться, что этот факт обнаружили немцы на своей несравнимо менее загрязненной территории, а не у нас в многочисленных специально созданных для этого институтах?

Какие очевидные задачи стоят сейчас перед здравоохранением чернобыльского региона? Прежде всего надо решить вопрос об отселении людей с опасно загрязненных территорий. Можно и нужно найти промежуточные зоны, где жизнь сельского жителя с необходимостью употребления в пищу продуктов, загрязненных радиоактивными цезием, стронцием, плутонием, невозможна, но жизнь горожанина, питание которого может исключать употребление продуктов с окружающих полей, допустима, так как излучение с поверхности земли столь мало, что им можно пренебречь. Вопрос этот разбирался на комиссии Госплана СССР весной 1990 года, комиссия пришла к выводу, что загрязнение территории свыше 30 кюри на км² должно служить основанием для немедленного

отселения. Конкретное решение, поиск промежуточных зон, обеспечение чистой пищи можно улаживать только на местах.

Цифровые показатели для отселения, которые сегодня можно принимать, таковы¹: загрязнение территории выше 30 кюри на км², предполагаемая доза за год на человека не более 0,5 бэра и не более 10 бэр за оставшуюся жизнь. Цифры эти не должны считаться окончательными. Правда, необходима одна принципиальная оговорка: во всех расчетах придется пренебречь ранее полученными дозами. Например, если, по данным индивидуальной дозиметрии, человек уже облучен в объеме 50 — 60 бэр, то это не означает, что его надо отселить независимо ни от чего. Ведь никаких сведений о большем вреде дополнительного облучения в дозе 0,5 бэра за год для этого человека по сравнению с ранее не облучавшимся нет. Даже у членов одной семьи дозы могут колебаться от 0 до 30 бэр и более. Такое колебание доз определяется случайными особенностями питания и местонахождения в первые недели после катастрофы, когда люди облучались от короткоживущих изотопов, носившихся в воздухе, попадавших в пищу. Они и сформировали основную дозу облучения конкретного человека.

Следующий подлежащий немедленному решению вопрос — высококвалифицированная помощь в самом регионе, прежде всего в Гомеле, Могилеве, Брянске. Здесь безо всяких оговорок надо сказать, что дальнейшее финансирование работ по изучению здоровья жителей чернобыльского региона силами радиологических институтов в Киеве, Минске, Москве до создания современной медицинской службы в регионе — не только бесполезная трата денег (так как достоверной информации о здоровье людей, живущих на грязной земле, тамошняя слабая медицина дать не может), это и само по себе аморально. Можно говорить и о прямой ответственности руководителей названных институтов за уже происшедшую и планируемую растрату средств при их большом дефиците в здравоохранении самой загрязненной территории.

В Академии наук СССР и в Минздраве СССР совместно с союзной Академией медицинских наук созданы комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Состав этих комиссий таков, что решающую роль в них опять играют авторы пресловутого письма 92 ученых на имя М.С.Горбачева.

Письмо это очень длинное, содержит в основном общеизвестные истины, и совсем не просто обнаружить его настоящую цель. Многие подписывали этот длинный документ, прочитав только заглавие и бросающиеся в глаза основные положения, которые сводились на первый взгляд к невинной идее безопасности проживания там, где доза облучения за всю жизнь не будет превышать 35 бэр. Обсуждение «35-бэрной концепции» в письме руководителю страны представляется делом не очень чистым, так как адресат не является специалистом в радиобиологии и должен верить ученым на слово. Можно не спорить с возможностью проживания в чернобыльском регионе там, где доза за жизнь не превысит 35 бэр, ибо основная часть ее уже получена, а в оставшиеся десятилетия доза не должна увеличиться более чем на 5 — 10 бэр. Но главное в письме совсем не «35-бэрная концепция», а подробное объяснение, почему-де не надо отселять людей, ориентируясь на степень загрязнения радиоактивными изотопами земли. Но ведь другого фактического показателя и нет. Таким образом, покрывается теоретическим обоснованием, подписанным будто бы множеством титулованных радиологов, безобразная ситуация, когда с отселением людей не просто опоздали на годы, но и подсунули им некий элемент добровольности: хотите — живите, хотите — уезжайте, наука тут ни при чем. Ну они и живут при более чем стократном превышении содержания радионуклидов в почве. Некоторым настолько «повезло», что они оказались облученными в дозе свыше 100 бэр. Такие вот подарки получили чернобыльский регион в, казалось бы, сугубо научном письме 92-х. В общем, ждать пользы от комиссий, в которых решающую роль играют составители письма 92-х, нельзя.

Как добиться, чтобы здоровье жителей чернобыльского региона охранялось не хуже, чем их собратьев по несчастью в Хиросиме? Увещевания, «правильные» мысли тут делу не помогут. Более того, с весьма демократическими речами, с «прогрессивными» идеями, с доверительной безобидной бранью в адрес бюрократов сегодня охотно выступают все те же создатели письма 92-х. А ведь им удалось в течение полных пяти лет скрывать истинные дозы облучения людей, удалось, несмотря на огромные вложения средств, не открыть ни одного специализированного медицинского центра на загрязненной территории. Руководимые этими деятелями учреждения располагают возможностями хромосомного анализа, но не делают его. Им хорошо известен метод определения дозы облучения с помощью электронного парамагнитного резонанса, но он ими не используется. К счастью, такой прибор оказался в Институте химфизики АН СССР. Там было проведено измерение дозы в удаленных зубах у жителей региона. Полученные сведения были сопоставлены с хромосомным анализом — и все встало на свои места: как уже говорилось, люди на загрязненной территории Гомельской области облучены в существенно большей дозе, чем указывалось в официальных

¹ Мнение автора.

документах, — не до 17, а до 50 — 60, а некоторые до 120 бэр. Какой очередной поток брани нас ждет по этому поводу? Какую разгромную комиссию нашлют на нас из министерств?

Жители региона не должны полагаться на помощь сверху. Путь ее долог и крив. Все надо организовывать в самом черномыльском регионе, все сведения об индивидуальных дозах должны вписываться в амбулаторную карту. Измерения радиоактивности почвы должны осуществляться местными службами с категорическим запретом что-либо засекречивать. Строительство диспансера в Гомеле, Брянске необходимо взять под контроль действительно общественных организаций, с обязательным ежеквартальным отчетом в печати о движении проектов, расходовании средств, пожертвований. Самим жителям надо тщательнейшим образом проконтролировать состав общественных организаций, не допуская всовывания туда угодливых аппаратчиков, хорошо натренированных на соглашательстве, на превращении в болотную трясиину любого живого дела.

Вот пример задачи, которая может и должна быть решена в ближайшем году: в Гомеле и Брянске организовать службу пересадки костного мозга больным лейкозом, случаи которого учащаются в регионе. Для создания ее придется очень энергично поработать, вывести на очень хороший уровень лабораторную службу и лечение больных с опухолями системы крови только по международным (а не произвольным домашним) программам. Врачам и сестрам придется приехать на стажировку к нам во Всесоюзный гематологический научный центр (ВГНЦ)² в Москву, а затем за рубеж. Кстати, лучшие клиники Германии, Израиля, США, Франции приглашают на обучение пересадкам костного мозга наших сестер, врачей, притом полностью за счет приглашающей стороны. Об одном просят зарубежные коллеги — не присылать к ним наших больных.

Надо самим жителям региона обеспечить всенародную радиологическую грамотность, издавая простые памятки с объяснением терминов, единиц измерения радиоактивности, путей поступления радионуклидов в организм, их повреждающего действия, возможных сроков появления и характерных признаков начинающихся заболеваний. Все сказанное не так уж сложно и вполне доступно любому человеку с восьмиклассным образованием.

Но самое главное — политическая грамотность населения. Если с телеэкрана несетя вопль о помощи черномыльским детям, надо хорошо задуматься: а зачем этот шум? Телевизионный шум в наших условиях всегда преследует одну цель: переключить внимание людей на ложное или тупиковое направление. Действительно, что угрожает детям региона сейчас, если они не живут на опасно загрязненной земле (а с такой земли — цифры загрязнения указаны выше — их вместе со взрослыми надо эвакуировать)? Радиоактивный йод в щитовидную железу попал в первые дни и недели после аварии и уже давно полностью распался. Детям этот йод нанес большее поражение, чем взрослым, женщинам большее, чем мужчинам. Щитовидная железа должна находиться под постоянным контролем специалиста-эндокринолога. Лечебные мероприятия проводятся только при необходимости. Но в целом дети региона ничем не отличаются от других детей страны и страдают общими отклонениями здоровья, связанными с нехваткой мяса, свежих овощей и фруктов. Следовательно, и задачи-то в регионе достаточно ясны: надо хорошо кормить, обеспечивать высококвалифицированную диагностическую и лечебную медицинскую помощь. На месте, а не в столицах и не за тридевять земель.

Отравлять жизнь людям, подвергавшимся действию малых доз радиации, бесконечными рассказами о грозящем вымирании нации, наводнять быт страхами нельзя да и нет оснований. А если этим занимается пресса, телеэкран, то аппаратной пропаганде это нужно затем, чтобы отвлечь внимание людей от разваливаемой экономики, от бесконечных и бессмысленных чиновничьих перетасовок, от приближения к кормушкам все тех же людей застоя. На телеэкран, в печать, на трибуны попадают не столько те, кто хочет, а те, кого хочет аппарат.

Люди, по чужой вине оказавшиеся на радиоактивной земле, становятся героями многочисленных публикаций, создающих шум, проблему. Но за этим шумом не кроется конкретная помощь. Несчастье, виновники которого очевидны, помощь, где полная компенсация потерь, казалось бы, должна сама собой разумеется, несчастье это превращает в затяжной телеспектакль. Так было с жителями Приаралья, так происходит с жителями черномыльского региона. Но Арал продолжает высыхать, черномыльцы продолжают облучаться, а шум вокруг них, по существу, работает против них.

² Во ВГНЦ систематически проводятся трансплантации костного мозга с результативностью, аналогичной мировой медицине. (Прим. автора.)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. ВОСЛЕНСКИЙ

*

ФЕОДАЛЬНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Место номенклатуры в истории

Если мы хотели повернуть историю, — а оказывается, повернулись мы, а история не повернулась, — казните нас.

Ленин В.И., Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 118.

Всемирный коммунизм — это всемирная реакция.

Курт Шумахер, председатель Социал-демократической партии Германии (1946 — 1952).

Номенклатура, политбюрократия, ставшая господствующим классом, — «новый класс». А новый ли? Каково место номенклатуры в истории?

Предсказанные Марксом революции в ряде стран действительно произошли, только вот результат их оказался прямо противоположным ожидавшемуся. Возникает вопрос: а не может ли быть, что не только общества сложились другие, не предвиденные Марксом, но и сами революции были другими?

По марксистской теории, пролетарские революции происходят в промышленно наиболее развитых странах — там, где капиталистические производственные отношения оказываются слишком узкими для бурно выросших производительных сил и превращаются в их оковы. Энгельс дал перечень тех стран, где в соответствии с этой теорией должны были произойти в первую очередь пролетарские революции: Англия, США, Франция и — с некоторым запозданием — Германия.

А вот где в действительности произошли «пролетарские революции»: Россия, Монголия, Тану-Тува, Болгария, Югославия, Албания, Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Восточная Германия, Северный Вьетнам, Северная Корея, Китай, Куба, Южный Йемен, Южный Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Гренада, Афганистан. Хотя некоторые из них по теоретическим соображениям именуется национально-демократическими революциями, но такой категории в теории Маркса вообще нет, власть же в этих странах оказалась в руках коммунистических партий, что, по Ленину, является главным признаком «победившей пролетарской революции».

Выявляется любопытная закономерность: «пролетарские революции» произошли только в слаборазвитых странах. В Европе, за исключением Югославии и Албании,

© М. Восленский.

В «Новом мире» № 6 за 1990 год были опубликованы фрагменты известной книги М. Восленского «Номенклатура». В том же году в Лондоне вышло переиздание этой работы. Настоящий материал, представляющийся нам интересным, пусть и в дискуссионном отношении, является оригинальным, подготовленным при непосредственном участии автора специально для «Нового мира» журнальным вариантом ее новой заключительной главы.

эти революции победили лишь в условиях прямого советского военного или политического вмешательства. В то же время в наиболее развитых странах капитализма, несмотря на полную свободу деятельности коммунистических партий и других групп, надрывно призывавших к «пролетарской революции», никаких революций не было.

Закономерность, следовательно, такова: чем выше уровень развития производительных сил, тем меньше шансов для «пролетарской революции». Это антимарксистская закономерность...

1

Распространено мнение, что социализм советского типа — это государственный капитализм. Действительно, роль государства при реальном социализме велика. Но ведь государство — всего лишь аппарат класса, в данном случае номенклатуры. Является ли она капиталистическим классом, выступающим через государство в качестве коллективного капиталиста? Ничто не свидетельствует об этом. Тот факт, что номенклатура присваивает прибавочный продукт, не относит ее непременно к буржуазии: так поступали все господствующие классы. А вот то, что номенклатура гонится прежде всего за властью, а не за экономической прибылью и охотно жертвует последней ради даже незначительного, вовсе не необходимого прироста своей власти, показывает: номенклатура не капиталистический, а некий другой класс, основанный на власти, а не на собственности, и соответственно действующий методом внеэкономического принуждения. Номенклатура — не «новая буржуазия», потому что она вообще не буржуазия.

Реальный социализм следует за феодализмом, за которым в нормальных условиях следует капитализм, и потому заманчиво объявить этот социализм некоей особой формой капитализма; такое объяснение приходится отвергнуть. Реальный социализм действительно, а не только на словах противоположен капитализму и по самой своей структуре враждебен ему.

Реальный социализм по своей сущности не имеет ничего общего ни с предсказанным Марксом коммунистическим обществом, ни с капитализмом. Остается проверить еще одну возможность: не является ли реальный социализм продолжением феодализма в некоей специфической форме?

Такое предположение дало бы объяснение тому факту, что он возникает только в странах, достигших стадии позднего феодализма. Поддерживает эту версию и то, что при реальном социализме царит типичный для феодализма метод внеэкономического принуждения людей к труду. В пользу такой версии говорит и строго иерархическая структура общества, социальный апартеид, наличие в обществе привилегированной правящей знати — новой аристократии. Видимо, учитывая эти факторы, Милован Джилас в последнее время высказывает мнение, что реальный социализм — это «промышленный феодализм». Однако он этот тезис ничем не обосновывает. Между тем обосновывать надо. В Эфиопии, Афганистане, Гренаде, Южном Йемене, Анголе, Мозамбике промышленности почти нет, да и Куба с Монголией не являются индустриальными странами — а реальный социализм в них установлен. Почему же это промышленный феодализм?

Возникает и другой вопрос. При феодализме господствующий класс — феодалы, крупные помещики-землевладельцы. А при реальном социализме господствующий класс — политбюрократия, номенклатура. Заметим: политбюрократия, а не технократия. Конечно, в рамках феодализма класс феодалов изменялся: сначала это была родовая знать, боярство, затем служилая знать, дворянство. Правда, экстраполяция такого развития приводит к предположению о возникновении еще более служилой формы феодального класса — чиновной правящей бюрократии. Но это экстраполяция, то есть предположение, а не реальность. Зато реальностью является одна особенность номенклатурного строя, на которой мы еще не останавливались. С поразительным упорством он претендует на то, чтобы считаться социализмом. Не может ли в этой претензии таиться след, ведущий к пониманию места номенклатуры в истории?

2

Социал-демократы, даже в тех странах, где они давно находятся у власти, считают «демократический социализм» процессом прогрессивного развития общества,

а не его устойчивым состоянием, не социально-экономической формацией. Только диктатура номенклатуры претендует на то, чтобы считаться социалистическим государством. При этом реальный социализм объявляется воплощением «многовековой мечты человечества» о справедливом социалистическом обществе.

Действительно, уже первое знакомство с историей социалистических учений поражает тем, что они начали возникать еще в глубокой древности. Идеи рабовладельческого, феодального и капиталистического обществ появились только в процессе созревания этих обществ; концепции же социалистического характера выступают в истории цивилизации как бы вне времени и пространства.

Можно ограничиться лишь самым кратким пунктирным обзором истории социалистических идей. Можно было бы расширять его чуть ли не бесконечно. Существуют многотомные издания этой истории. Однако и они, как и сделанная выжимка из них, приводят к одному результату: социалистические идеи не связаны с какой-либо определенной эпохой; они — выражение существовавшей во все века у всех народов мечты о справедливости, всеобщем благоденствии и счастье. Эти учения отличаются от религии тем, что религия трансцендентна и видит возможность осуществления мечты о справедливости и счастье лишь в ином, потустороннем мире; социалистические же учения переносят эту возможность в наш мир и утверждают, что осуществить рай на земле и достигнуть его можно путем общественных преобразований. Эта противоположность создает объективную предпосылку для попыток замены религии социалистическими теориями.

Древность социалистических учений показывает, что они не связаны ни с пролетариатом, ни с развитием или упадком капитализма. Они были, есть и, вероятно, будут, но они не являются порождением какой-либо определенной социально-экономической формации.

Социалистические учения не служат идеологическим выражением классовой борьбы внутри капиталистического общества и провозглашенной марксизмом исторической необходимости замены капитализма коммунистическим строем. Но ведь, как не без основания писал Маркс, «человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в процессе становления»¹ Поскольку материальных условий для решения задачи свержения капиталистического господства и построения социализма явно не существовало в древнем Китае или в средневековой Европе, возникает вопрос: что же осуществимое в разных странах и в разные эпохи содержится в социалистических учениях?

Если внимательно всмотреться в эти учения, то в них явно прослеживаются общие черты желаемого авторами общества. Это прежде всего, конечно же, «разумное» и «справедливое», но непременно твердое управление обществом, с жесткой регламентацией всей его жизни. Это, далее, обобществление, а то и прямое огосударствление всех имеющихся в обществе богатств — или же производимый администрацией их раздел между членами общества. Это, наконец, возможно более полный коллективизм в обществе; сюда относятся все идеи о совместном жилище, общности жен, общественном воспитании детей и т.п. В целом же человек рассматривается не как неповторимая индивидуальность со своей собственной судьбой, а как человеко-единица, в соответствии с регламентом работающая, веселящаяся, негодующая и производящая потомство, — все это под бдительным присмотром власть предержащих.

Разумеется, нет недостатка в заверениях, что вот тут-то и наступит золотой век человечества, царство свободы, материального благоденствия и небывалого расцвета личности. Но ничто в сказанном этого не подтверждает. Наоборот, чем больше читаешь фантазий о том, как осчастливить человечество путем строгой регламентации жизни человеко-единиц, тем неотступнее впечатление, что все это написано с точки зрения некоей элиты, которая сама себя причисляет отнюдь не к человеко-единицам, а к их правителям и регламентаторам, человеческое же поголовье созерцает деловитым оком животновода.

Кто же эта элита, столь четко отделенная от простых смертных? При помощи какого механизма она управляет и регламентирует? В марксистских категориях такую правящую элиту можно идентифицировать как господствующий класс общества, а

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 13, стр. 7.

механизм ее управления — как государство, поскольку дело идет явно не об экономическом, а о внеэкономическом принуждении.

Сухой осадок, выпадающий из водянистых рассуждений социалистов-утопистов, таков: элита — это высоко стоящий над всей массой населения господствующий класс, детально регламентирующий человеко-единицы при помощи государства. Не будем спешить с оценкой. Может быть, это действительно делает людей счастливыми: ведь дети счастливее с воспитывающими их родителями, чем без них. Сосредоточим внимание на другом.

Идет ли речь в данном случае об определенной социально-экономической формации, о явлении такого же порядка, как феодализм или капитализм? Если да, то возникает некоторая странность в такой формации: в противоположность феодализму и капитализму остается совершенно неясным характер господствующего класса и контролируемого им государства. Странно и другое: никто заранее не планировал и не описывал феодализм и капитализм, но они сложились и существуют; напротив, социализм описывался в деталях на протяжении ряда веков, но остается спорным, возник ли он вообще.

Странности исчезают, если предположить, что социализм не социально-экономическая формация, а просто метод управления: господствующий класс управляет всей жизнью общества через государство².

Огосударствление всей политической жизни, экономики, культуры, идеологии возможно, по-видимому, в любой формации, всюду, где существует государство. Применение этого метода изменяет лицо общества, но не меняет его социальной сущности. Точнее: метод «социализма» — огосударствление накладывается на существующую формацию. Разрушает ли он ее? На этот вопрос может ответить лишь опыт истории. Такой опыт есть. Мы говорим в данном случае не о бесплодных, всегда проваливавшихся попытках создать экспериментальные ячейки социализма, вроде оуэновских 16 колоний в Америке и 7 в Англии (наиболее известными были «Новая гармония» в Индиане, Орбистон в Шотландии, Рахалин в Ирландии, Квинвуд в Хэмпшире).

Неверно думать, будто лишь в некоторых странах реального социализма номенклатуре удалось наконец осуществить многовековые чаяния идеологов. История показывает, что в различных странах предпринимались довольно успешные попытки создания такого общества-муравейника. И что особенно важно: эти попытки восходят в такую историческую глубину, что опережают всех известных нам утопистов. Невольно задумываешься: не эта ли издали увиденная реальность и подтолкнула мысли авторов в русло утопического социализма?

3

Во всяком случае, эта реальность не осталась незамеченной. О существовании регламентирования, деспотически управляемых обществ писали Монтескье, Адам Смит, Джеймс Милль.

Вслед за ними обратился к этому факту и Маркс. В своей схеме развития классового общества путем следования через ряд социально-экономических формаций Маркс должен был найти место и для этих деспотий. Он нашел его в начале исторического пути человечества после возникновения классов. В «К критике политической экономии» (1859) Маркс четко сформулировал свою схему: «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации»³. Причину возникновения «азиатского способа производства» Маркс видел в том, что сохраняется общинная, то есть коллективная, собственность на землю. Эта собственность, так и не превратившись в частную, переходит к возникающему тем временем объединению общин и, таким образом, к государству. Государство же олицетворяется деспотом, правящим при помощи своих ставленников — как мы теперь сказали бы, при помощи аппарата. Жители обращены в полную зависимость от государства, так как «государство непосредственно противостоит

² Ср.: Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. Париж. 1977.

³ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 13, стр. 7

непосредственным производителем... в качестве земельного собственника и вместе с тем «суверена»⁴.

Итак, по Марксу, классовое общество знает четыре последовательно сменяющихся друг друга формации — четыре способа производства: 1) азиатский, 2) античный, 3) феодальный, 4) капиталистический. Им предшествует доклассовое общество — «первобытный коммунизм», за ними следует бесклассовое общество — коммунизм, «светлое будущее всего человечества».

Хотя сказанное было справедливо представлено Марксом как итог его многолетних работ, его затем обуяли сомнения.

Марксистское учение построено на классовом анализе развития общества. Естественно, что Маркс должен был прежде всего указать господствующий класс в каждой формации. Он называет четко: в античности — рабовладельцы, при феодализме — феодалы, при капитализме — капиталисты, при диктатуре пролетариата — пролетариат. И вдруг, говоря об азиатской формации, классик сбивчивой скороговоркой объявляет, что правящим классом были... деспоты или государство.

Но ведь это же бессмыслица. Деспот — не класс, государство, именно с марксистской точки зрения, — аппарат господствующего класса. Какой класс господствует при азиатском способе производства? Класс этот очевиден: правящая бюрократия деспотического государства. Даже если на тонкого аналитика Маркса нашло в этом вопросе затмение, читал же он в работах своих предшественников о роли бюрократии в восточных деспотиях.

Дело не в затмении. Маркс не может произнести слова «бюрократия» и предпочитает даже в «Капитале» писать бессмыслицу о «суверене» и «государстве» явно потому, что не хочет говорить о политбюрократии как господствующем классе общества.

В литературе высказывается предположение, что это было следствием критики марксизма анархистами. Верно, Бакунин прямо заявлял, что предусмотренная Марксом «диктатура пролетариата» на деле «порождает деспотизм, с одной стороны, и рабство — с другой». И что вообще все Марксово учение — это «фальшь, за которой прячется деспотизм правящего меньшинства». Конечно, эти дальновидные слова могли укрепить основоположников в мысли, что о классе господствующей бюрократии говорить не стоит, но дело в том, что высказаны они были уже после выхода в свет первого тома «Капитала». Нет, Маркс не нуждался в подсказках своих критиков, чтобы догадаться: нельзя признавать, что господствующим может быть класс управляющих, а не собственников, иначе «социализм» предстанет всего лишь как общество нового классового господства.

Добавим, что Маркс, очевидно, подметил некую загадочную связь между «азиатским способом производства» и социализмом. Иначе трудно объяснить высказанную им к концу жизни мысль о возможности прихода к социализму Индии и России на основе сохранившейся в обеих странах сельской общины, то есть на той же основе, на которой, по его мнению, сложился «азиатский способ производства».

Если такие соображения побудили теоретика Маркса к фальсификации собственной теории, то популяризатора Энгельса они повели к более радикальным выводам. В «Анти-Дюринге» и в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» Энгельс открыто отошел от Марксовой четырехчленной схемы, объявив первым господствующим классом рабовладельцев и соответственно первой классовой формацией — рабовладельческую.

Такую же эволюцию проделал Ленин. Он отлично знал Марксову схему и цитировал четырехчленную формулу Маркса в статье для «Энциклопедического словаря Гранат». Эта статья была затем выпущена отдельным отгиском с предисловием Ленина в 1918 году. Но в своей лекции о государстве, прочитанной всего через год, в июле 1919 года, Ленин вдруг дает другую схему. Вот она: «...вначале мы имеем общество без классов... затем — общество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое. Через это прошла вся современная цивилизованная Европа... Через это прошло громадное большинство народов остальных частей света... За этой формой последовала в истории другая форма — крепостное право... Этот основной факт — переход общества от первобытных форм рабства к крепостничеству и, наконец, к капитализму — вы всегда должны иметь в виду...» Ленин называет в качестве «крупных периодов человеческой истории — рабовладельческий, крепостнический и капиталистический».

⁴ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 25, ч. II, стр. 354.

Почему Ленин, объявивший учение Маркса догмой, ему противоречит? Потому что за год своего пребывания у власти он понял: опасно признать, что уже в далеком прошлом существовала система, в которой все было «национализировано», а господствующим классом была бюрократия.

Сталин пошел дальше: он не просто замалчивал Марксову схему, а открыто расправился с ней. В 1931 году в Москве была организована дискуссия об «азиатском способе производства». Нехитрый ее смысл состоял в выводе: хотя Маркс о таком способе производства действительно писал, но на деле это рабовладельческий строй, как и в античности. В 1938 году в работе Сталина «О диалектическом и историческом материализме» была безоговорочно воспроизведена трехчленная схема: рабовладельческое общество, феодализм, капитализм. А чтобы забить кол в могилу Марксовой идеи о четырех формациях, в 1939 году ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) опубликовал рукопись Маркса «Формы, предшествующие капиталистическому производству». Рукопись сумбурная, черновой набросок 1857 — 1858 годов, а не цитированная выше чеканная формула 1859 года.

Но в этом наброске не давался перечень формаций. Это и решили использовать, чтобы показать: видите, Маркс пишет о формах, предшествовавших капиталистическому производству, а азиатского и античного способов производства не называет. Доказывало это что-нибудь? Ровно ничего, так как он и рабовладельческого способа производства не называл. Больше того, Маркс и здесь как само собой разумеющееся упоминал «специфическую восточную форму», «азиатскую форму» в противоположность античной. Он писал, что «азиатская форма» держится особенно цепко и долго. Маркс и здесь подчеркивал, что в большинстве случаев «азиатская форма» связана с «восточным деспотизмом» и отсутствием собственности у населения. Тем не менее опубликование рукописи было использовано тогдашним главой советской древней ориенталистики академиком В.В.Струве для безапелляционного заявления: «Тем самым раз навсегда кладется конец попыткам некоторых историков усмотреть у Маркса особую «азиатскую» общественно-экономическую формацию», — словно Маркс о ней ничего не писал. Процедура живо напоминала оруэлловское описание допроса в Министерстве любви, когда человеку показывают четыре пальца, а требуют, чтобы он увидел пять.

Может быть, действительно были научные основания причислять «азиатский способ производства» к рабовладельческому обществу? Нет. Хотя рабы, в первую очередь государственные, имелись во всех восточных деспотиях, основная масса непосредственных производителей состояла не из них, а из псевдосвободных общинников. Деспотическое государство мобилизовывало их на работы, будь то строительство оросительных сооружений, постройка Великой китайской стены или возведение пирамид, дворцов и храмов. Из мобилизованных общинников состояли по тогдашним временам гигантские армии восточных деспотов. Это было не рабовладение, а то «всеобщее рабство» населения, о котором писал Маркс, характеризуя «азиатский способ производства».

Так, не без благословения основоположников марксизма, отцы номенклатуры Ленин и Сталин разделились с «азиатским способом производства».

4

Немецкий историк Карл Виттфогель, глубоко разочаровавшийся в коммунизме, восполнил образовавшийся пробел в изучении «азиатского способа производства». После ряда работ, посвященных отдельным аспектам проблемы, Виттфогель опубликовал в 1957 году в США монографию «Восточный деспотизм: сравнительное исследование тотальной власти». В этом интересном и хорошо сформулированном труде автор излагает следующие основные идеи.

«Азиатский способ производства» возникает не просто при наличии общин с коллективной собственностью на землю, а в тех условиях, когда эти общины вынуждены объединить свой труд для строительства крупных ирригационных сооружений. Такие общества Виттфогель именуется гидравлическими. Организация гидравлических работ и мобилизация общинников на эти работы ведут к возникновению деспотического правления. Бюрократия создающейся таким путем восточной деспотии становится господствующим классом во главе с правителем-деспотом. Гидравлическое общество не рабовладельческое, ибо основную массу непосредственных производителей составляют не рабы, а общинники. Это и не феодальное общество:

феодалы подчиняются монарху на определенных условиях и в определенных пределах; тогда как власть восточного деспота над его вельможами и бюрократами так же безгранична, как и над всеми другими подданными. И уж тем более гидравлическое общество не капиталистическое: «восточного капитализма» как специфической формы не существует.

Автор обращает внимание на сходство реального социализма с восточной деспотией, в частности в том, что в обеих структурах господствующим классом является правящая бюрократия. Однако Виттфогель не решается отнести реальный социализм в СССР к «азиатскому способу производства», аргументируя тем, что в соцстранах проводится индустриализация, а восточная деспотия — «агроменеджерский» строй.

Этот скороговоркой произнесенный Виттфогелем аргумент никак не может удовлетворить.

Промышленность в противоположность ремеслу — новое явление в человеческой истории; оно относится к тому же ряду изменений в технике материального производства, что и появление орудий из меди и бронзы, а затем из железа. Но ведь не вычеркивает же Виттфогель из «азиатского способа производства» архаический Египет, пользовавшийся еще неолитическими орудиями, или государство инков, жившее в условиях бронзового века.

Виттфогель увлекается своим монокаузальным объяснением возникновения деспотий как политического следствия крупных ирригационных работ. Столкнувшись с фактом, что деспотия в ряде случаев возникала в странах, где искусственная ирригация не была центральной проблемой, а то и вовсе отсутствовала, Виттфогель старается путем сложной классификации и такие страны подтянуть к понятию гидравлического общества. Но ведь никакая классификация не может объяснить, почему крупные гидравлические работы в Голландии и Италии не привели к созданию деспотий, а в ряде других стран деспотия возникла, хотя не было гидравлических работ.

Логика приводимого Виттфогелем материала сама подталкивает к выводу: «азиатский способ производства» возникал не только в обществах с ирригационным сельским хозяйством, это лишь частный случай. Общая же закономерность состоит в том, что тотальное огосударствление применяется для решения задач, требующих мобилизации всех сил общества. Использование этого метода — признак не прогресса, а, наоборот, тупика, из которого пытаются выйти, историческое свидетельство о бедности. И прибегнуть к методу тотального огосударствления можно в принципе всюду, где есть государство.

Чем дальше от нашего времени отстоят изучаемые эпохи, тем явственнее заметна общность в развитии человеческих обществ, даже находившихся на разных континентах и не знавших друг о друге. А на дальнем горизонте истории — в палеолите, неолите, медном и бронзовом веках — различия вообще почти незаметны: археологи четко определяют стадию развития общества, материальную культуру которого они обнаружили, но часто не знают, какому племени эта культура принадлежала. Так что и отказ Виттфогеля от монистического взгляда на историю не убеждает.

Мы видим: уже основоположники марксизма заметили в «азиатском способе производства» неприятные черты сходства с «диктатурой пролетариата», а отцы номенклатуры отреагировали на эту опасность, вычеркнув «азиатский способ» из числа формаций. Убедились мы и в том, что сущность «азиатского способа» состоит в применении метода тотального огосударствления, причем правящий класс — политбюрократия — регламентирует всю жизнь общества и деспотически им управляет при помощи мощной государственной машины. Идея именно такой структуры проходит красной нитью через социалистические учения, вершиной которых объявляет себя марксизм-ленинизм. И правда: при реальном социализме господствующим классом является политбюрократия-номенклатура, она регламентирует жизнь общества и управляет им через свой аппарат — государство.

Мы сказали, что метод тотального огосударствления может быть применен всюду, где есть государство, значит, и в наши дни. А не может ли быть, что реальный социализм и есть «азиатский способ производства», обосновавшийся в XX веке?

5.

Поставленный вопрос надо не отбрасывать, а серьезно обдумать. Ибо не следует поддаваться ложному, хотя психологически объяснимому представлению: не может-

де в наше время существовать та же система, которая была в древнем Вавилоне. Вспомним, что еще в нашем веке жила Китайская империя, протянувшаяся прямо из эпохи царств Древнего Востока; кстати, своеобразным напоминанием об этом живом прошлом служит то, что и сегодня в Китае пишут иероглифами, как в Древнем Египте. Зачарованные научно-техническим прогрессом XX века, мы забываем, как живуче то, что с неоправданной торопливостью считается прошлым. Ставшая тривиальной фраза, что, мол, в наше время ход истории ускоряется, путает историю с техникой. Не надо забывать: наш век не только век космонавтики, но и век религиозных войн в Северной Ирландии и Ливане, возрождения мусульманского фундаментализма, попыток геноцида (истребления целых народов) — все, как много столетий назад.

Чем объясняется такая цепкая живучесть того, что мы привыкли относить к невозвратному историческому прошлому? Из каких глубин прорывается оно вновь и вновь на поверхность жизни современного мира? Здесь мы подошли к вопросу об общественных структурах.

Человеческое общество — сложный социальный организм. Если даже в примитивном «обществе» муравьев или пчел за кажущимся хаосом скрывается устойчивая структура, то тем более это относится к сообществу людей. Человек — столь высоко развитое существо, что он оказался в состоянии постепенно менять структуру своего общества, что, по-видимому, отсутствует у животных. Очевидно, этот новый фактор связан с тем, чем главным образом отличается человек от других живых существ: с его интеллектом и трудовой деятельностью. В результате перед человеческим обществом стали открываться новые возможности и возникли новые необходимости как в материальной, так и в духовной сфере. Это, в свою очередь, не только позволяло, но и заставляло изменять общественные структуры, приспособляя их к новым условиям.

Такая хорошо известная особенность человеческого общества не должна заслонять от нас могучую силу инерции существующих, сложившихся и обкатанных веками общественных структур. Речь идет не просто о силе инерции. Ведь эти структуры остаются в своих рамках динамичными и функционирующими. Они оказывают не только пассивное, но и активное сопротивление попытке их перестроить и тем более уничтожить. Пока эти структуры не умерли и не рассыпались, они живы и дееспособны.

Что представляют собой общественные структуры? В их основе лежит система укоренившихся в обществе отношений между управляющими и управляемыми, между всеми классами и группами общества. На этой основе возникает силовое поле, которое в жизнеспособном обществе находится в устойчивом равновесии и превращает общество в единый механизм, функционирующий под давлением сил поля. Важно подчеркнуть: речь идет не просто об экономических и политических отношениях и силах в чистом виде, а об их преломлении в сознании и тем самым в действиях людей. Ведь только действия людей придают материальным силам энергию и превращают их в фактор движения всего общества в целом.

Как видим, общественные структуры не идентичны с суммой производственных отношений в марксистском толковании этого термина. Неудивительно: в действительности далеко не все общественные отношения можно свести к производственным.

Весной 1968 года я был в Ливане. Это была совершенно мирная, спокойная страна, «ближневосточная Швейцария», как ее тогда часто называли. Через несколько лет весь Ливан, Бейрут превратились в кровавый ад, где почти невозможно было разобрать, кто с кем воюет и из-за чего. Между тем производственные отношения в стране за это время не изменились.

Маркс был прав, подчеркивая роль производительных сил и производственных отношений в жизни общества, но он ошибался, объявляя их основой всех ее аспектов.

Понятие «общественные структуры» шире понятия «производственные отношения». Последние являются лишь экономической стороной общественных структур; а есть и другие существенные стороны. Особо следует подчеркнуть то, что все материальные факторы формируют человеческое общество и его историю не автоматически, а преломившись в сознании людей и вызвав их действия. Но как индивидуальное, так и групповое сознание людей различно. Конечно, с полным основанием можно утверждать, что люди и их группы одинаково реагируют, например, на голод. Но не менее обоснованно и другое: рядовые американцы или западные европейцы рассматривают как голод и нищету то, что для жителей стран реального социализма нормальное явление, а для заключенных в советских лагерях и тюрьмах — благосо-

стояние и даже роскошь. С подобным различием в сознании сталкиваются изумленные переселенцы из социалистических стран на Запад: они встречают здесь людей, искренне негодующих по поводу гнета государства и ограничения прав личности в западных странах, тогда как сами переселенцы все еще не могут привыкнуть к открывшейся им тут невообразимой, никогда и не снившейся свободе.

Производственные отношения — это отношения, возникающие в процессе производства, и только. Общественные структуры — это силовой скелет общества, его каркас, цементированный отношениями, взглядами и привычками огромных масс людей. Каждый знает, как трудно бывает разглядеть даже складки на слежавшейся в сундуке материи. Насколько же труднее разглядеть слежавшиеся за ряд прошедших веков общественные структуры!

Сказанное выше относится к любой формации, и нет оснований считать общественные структуры одной из них более устойчивыми, чем другой. Поэтому должны быть какие-то специфические причины странной долговечности «азиатской формации», которая, как феникс из пепла древних царств, то и дело выскакивает возрожденной в разных странах в разные эпохи истории — может быть, и в нашу.

6

Институт государства — важный элемент структуры любого классового общества. Но роль его непостоянна. В рамках одной формации он может претерпевать серьезные изменения. Варварское государство централизовано, но оно еще не пропитало все поры общества. Феодалная раздробленность (как власть на местах) восполняет этот пробел и подготавливает переход к абсолютизму. Затем под давлением частного предпринимательства государственная власть слабеет, возникают конституционные парламентские монархии и республики. Такова линия закономерности. Но в ее пределах бывают колебания мощи и масштаба государственной власти.

Тотальное огосударствление — одно из таких колебаний, оно, как мы уже сказали, метод, применяемый для преодоления трудностей и решения сложных задач. Этот метод не связан с определенной формацией. Для его применения есть только одна предпосылка: деспотический характер государства. При наличии этой предпосылки метод тотального огосударствления может накладываться на любую формацию и в любую эпоху.

В самом деле: азиатская деспотия существовала и в царствах Древнего Востока, и в государствах восточного средневековья, да и в новое время. Что же, была это все одна и та же формация? Конечно, нет: формации сменялись, а метод оставался.

Ясно, что были какие-то причины укоренения этого метода именно в первую очередь в странах Востока. Возможно, была это сила инерции, привычка к традиции, коренившейся в истории древних царств, этой эпохи величия захиревших затем государств. Ведь и в сознании европейцев прочно осела память о величии Римской империи, и эту империю пытались копировать Карл Великий, правители «Великой Римской империи германской нации», императоры Византии, Наполеон, Муссолини.

На протяжении четверти тысячелетия татарского ига Россия была подключена к кругу восточных государств и переняла от них немало черт азиатской деспотии. Они отчетливо проявились в русском абсолютизме — особенно ярко при Иване Грозном, но и в дальнейшем, даже при европеизаторах Петре I и Екатерине II. Поэтому не надо удивляться, что эти черты вновь обнаружались в России после революции 1917 года. Удивительно было бы обратное.

Диктатура номенклатуры хотя и возникла в XX веке, но она то явление, которое Маркс назвал «азиатским способом производства». Только способ этот — действительно способ, метод, а не формация. Как и в царствах Древнего Востока или у инков Перу, этот метод «социализма», метод тотального огосударствления наложилась на существовавшую там социально-экономическую формацию, на имевшиеся общественные структуры. Ничего большего этот метод не мог сделать, ибо не формация зависит от метода, а метод обслуживает формацию.

На какую формацию в России 1917 года был наложен метод огосударствления? На ту, которая там тогда существовала. Мы ее уже характеризовали: это феодалная формация. Не было в России никакой другой основы. Феодалная основа была, однако, ослаблена ударами антифеодалных революций 1905 — 1907 годов и февраля

1917 года, а также заметным ускорением развития капитализма в экономике страны после 1907 года. Как глубоко зашел кризис феодальных отношений в стране, показало свержение царизма в Февральской революции 1917 года.

Но феодальные структуры в России были, очевидно, еще крепки. Ответом на кризисную ситуацию явилась реакция феодальных структур. К методу тотального огосударствления прибегают для решения трудных задач. К нему и прибегли для спасения феодальных структур.

Только не исторически обанкротившаяся аристократия России сделала это. Сделали другие силы, которые хотя и не хотели власти дворянства и царизма, но еще больше стремились не допустить развития России по пути капитализма и создания парламентской республики. В обстановке, когда капитализм закономерно начал побеждать феодальные структуры, борьба против капитализма и радикальная ликвидация буржуазии вели не к некоему «социализму», а к сохранению феодальных структур.

Почему этот, в общем-то, совершенно очевидный вывод представляется неожиданным? По двум причинам.

Первая — психологическая. Советская пропаганда твердит, что в октябре 1917 года в России произошла пролетарская революция и было построено новое, никогда еще в истории не виданное социалистическое общество. И правда: революция была, а возникшее общество действительно отличается от общества и в царской России и в странах Запада. К тому же общество это в целом сформировано в духе социалистических учений об огосударствлении. Отсюда делается заключение, что и вправду это социалистическое общество, может быть, и малопривлекательное, но, вероятно, прогрессивное, так как новое. В этом рассуждении подсознательно принимается на веру, что «социализм» — это формация, причем, поскольку такой еще не было, формация будущего. Вопрос об «азиатском способе производства» вообще опускается: что вспоминать о древних восточных деспотиях! Поэтому и кажется неожиданным: при чем здесь феодальные структуры?

Вторая причина — историческая. Как же заподозрить ленинцев, профессиональных революционеров, марксистов, борцов против царизма, власти помещиков и буржуазии, в том, что они спасали феодальные устои общества?

Ответим на эти вопросы.

В октябре 1917 года после большевистского переворота правительство Ленина приняло декреты о мире и о земле. С социалистическими преобразованиями они не имели ничего общего. Мир был нужен тогда России при любом строе, а декрет о земле осуществлял земельную программу не большевиков («социализация земли»), а эсеров — распределение земель между крестьянами, типичную меру антифеодальной революции.

7

Октябрьская революция содержала элемент продолжения антифеодальной революции. Однако этот элемент — передача земли крестьянам — оказался временным; он был ликвидирован пятнадцать лет спустя сталинской коллективизацией сельского хозяйства. Октябрьская же революция, нанеся столь неэффективный третий удар по феодальным структурам, открыла вместе с тем эру старательного уничтожения всех капиталистических, то есть антифеодальных, элементов в России. Она оказалась, таким образом, объективно не продолжением антифеодальной революции. А чем же?

Давайте решимся высказать правду: переворот 1917 года — это не Великая Октябрьская социалистическая революция, а Октябрьская контрреволюция. Именно она явилась поворотным пунктом в истории русской антифеодальной революции. Именно после нее было сведено на нет все достигнутое в борьбе против застарелых феодальных структур в России. Как иначе, если не как контрреволюцию, можно рассматривать октябрьский переворот 1917 года, заменивший в России рождавшуюся демократию диктатурой? Разве не показали последовавшие десятилетия, что победила реакция, а не прогресс?

Через несколько дней после переворота, в конце 1917 года, русская поэтесса Зинаида Гиппиус откликнулась на это событие пророческим стихотворением:

Какому дьяволу, какому псу в угоду,
 Каким крошечным обуянный сном,
 Народ, безумствуя, убил свою свободу,
 И даже не убил — засек кнутом?

Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты...
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

Так и произошло.

Советские историки твердят, будто в октябре 1917 года было свергнуто некое «правительство помещиков и капиталистов». А ведь это ложь, в действительности ленинцы свергли революционное правительство двух социалистических партий: социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков); никакая иная партия в правительство не входила. Избранное населением страны Учредительное собрание, в котором абсолютное большинство составляли представители этих же социалистических партий, было разогнано ленинцами. Была создана тайная политическая полиция (ЧК) и установлен режим государственного террора. Была ликвидирована свобода печати. Согласившиеся вначале войти в ленинское правительство левые эсеры уже через четыре месяца покинули его, а еще через три месяца демонстративно подняли восстание в Москве — как безнадежный крик протеста против наступившей реакции. Затем началась гражданская война.

Она пришла не как продолжение Октября, а как первое движение сопротивления против установившейся диктатуры номенклатуры. Это движение было не однородным. В нем участвовали и монархисты: могло ли быть иначе в феодальной стране? Но, судя по документам белого движения, в нем преобладало стремление вернуть то, что было достигнуто к 1913 году. Многие в движении сопротивления хотели не реставрации абсолютизма, а дальнейшей либерализации в стране. Заметную роль играли социалисты — эсеры и меньшевики. Когда советская пропаганда изображает гражданскую войну как столкновение «сил революции» (большевиков) и «сил реакции» (их противников), она лжет. Противники большевиков выступали за восстановление того, чего добиелась антифеодальная революция в России, за новый созыв разогнанного Учредительного собрания, то есть за продолжение этой революции; большевики под лозунгом «диктатуры пролетариата» и «военного коммунизма» боролись за ликвидацию достигнутого антифеодальной революцией, то есть за феодальную реакцию.

Мы произнесли слово «реакция». В самом деле, что общего с прогрессом имеет диктатура номенклатуры? Не надо давать сбить себя с толку якобы марксистскими рассуждениями, будто все направленное против капитализма прогрессивно. Именно Маркс и Энгельс так не рассуждали. Уже в «Коммунистическом манифесте» основоположники марксизма подчеркивали прогрессивность капитализма по сравнению с феодализмом и с едкой насмешкой отмежевывались от «феодального социализма». Но написали они в этой связи следующее:

«Чтобы возбудить сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплуатируемого рабочего класса... Аристократия размахивала нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собою народ. Но всякий раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом»⁵

Точно таким же методом действовали и марксисты-ленинцы, только в случае своей победы они, как уже сказано, вешают замок на границу, чтобы народ не разбегался.

Капитализм в России был еще слаб; и об этом писали Маркс и Энгельс, нехотя вынужден был признать это Ленин. Однако быстрое экономическое и культурное развитие России в годы, предшествовавшие первой мировой войне, размывало феодальные структуры. Этому способствовала неумная политика царского правительства: неудачная война с Японией, отказ от столыпинской реформы, бессмысленная смена министров, распутинщина; наконец, вступление в непосильную для страны мировую войну. Не в результате деятельности «профессиональных революционеров», а в ходе ослабления феодальных структур в России были нанесены удары двух антифеодальных революций. Феодальная монархия была свергнута, к власти пришла коалиция социалистических партий, предстоял созыв Учредительного собрания для определения будущего политического строя России. В этот момент свергнуть созданное революци-

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, стр. 448.

онное левое правительство, установить диктатуру, задуть только что завоеванные свободы, ввести режим государственного террора, возродить полицию и цензуру и начать старательно затапывать все элементы свободного рынка, силы, взрывающей феодализм, — какой же это прогресс? Это реакция. А затем следует сталинщина с систематическим массовым истреблением и монопольной властью консервативного класса новой аристократии — номенклатуры. Это подтверждение того факта, что в стране победила реакция. Буржуазная? Нет, буржуазия была раздавлена. Значит, феодальная реакция. Но ведь не было в среде ленинских «профессиональных революционеров» сознательного стремления поддержать шатавшиеся феодальные структуры? Конечно, не было. Однако в политике, и тем самым в истории, важны не личные мнения, а объективные результаты действий.

В этом, видимо, состоит закономерный ход исторического процесса: от революции к реакции и затем к реставрации в несколько измененной форме. Так было с английской революцией, с Великой французской революцией, с рядом других менее драматичных революций. Так произошло и с русской революцией.

Да почему она стала бы исключением? Недоумевать надо было бы, если бы так не произошло в России. И в России действовали — не могли не действовать! — общие для разных стран закономерности развития антифеодальной революции с ее приливами и отливами, с порой весьма длительными интервалами между волнами революций, крушениями и разрушающими феодальные структуры.

Феодальная реакция после октября 1917 года была неосознанной. Однако Ленин близко подходил к ее осознанию, ибо отчетливо видел реальное положение в стране.

В соответствии с этой реальностью он оценивал характер общественных структур в России после октября 1917 года. Вот данная Лениным весной 1918 года классификация «элементов различных общественно-экономических укладов, имеющих налицо в России...

1. патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьянское хозяйство;
2. мелкое товарное производство (сюда относится большинство крестьян из тех, кто продает хлеб);
3. частнохозяйственный капитализм;
4. государственный капитализм;
5. социализм»⁶.

Первый элемент относится к сохранившимся еще остаткам дофеодального уклада; второй — к феодальному укладу; третий и четвертый — к капиталистическому; пятый Ленин именует социалистическим.

Ленин не оставляет никаких сомнений относительно того, какой элемент преобладает: «Ясное дело, что в мелкокрестьянской стране преобладает и не может не преобладать мелкобуржуазная стихия; большинство, и громадное большинство, земледельцев — мелкие товарные производители»⁷. Это верно: после октябрьского переворота в Советской России преобладало феодальное мелкокрестьянское хозяйство, которое так и не начало сколько-нибудь заметно развиваться по намеченному Столыпиным пути развития капиталистических фермерских хозяйств.

Совершенно логично Ленин считал предстоявшим историческим этапом не социализм, а капитализм. Только стремился он не к частновладельческому капитализму, а к государственному, то есть к применению метода огосударствления. В этом вопросе Ленин категоричен. «Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем наша теперешняя экономика...»⁸ — пишет он. «Государственный капитализм был бы гигантским шагом вперед»⁹. И даже: «...государственный капитализм для нас спасение»¹⁰.

Под «государственным капитализмом» Ленин подразумевал следующее: «В настоящее время осуществлять государственный капитализм — значит проводить в жизнь тот учет и контроль, который капиталистические классы проводили в жизнь. Мы имеем образец государственного капитализма в Германии. Мы знаем, что она оказалась выше нас»¹¹.

⁶ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 296.

⁷ Там же.

⁸ Там же, стр. 299.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же, стр. 255.

¹¹ Там же.

Итак, выше Советской России и образцом для подражания была для Ленина в 1918 году кайзеровская Германия, страна с феодальной монархией, но с более развитыми, чем в России, капиталистическими отношениями, а «гигантским шагом вперед» был бы для Советской страны государственный капитализм. Так Ленин сам признает, что и после Октябрьской революции Россия по своей социально-экономической структуре — страна феодальная.

Казалось бы, стратегическая линия в такой обстановке ясна: поддержать освобождающееся от феодальной зависимости крестьянство и вместе с ним бороться против главного врага — феодальных структур. Однако Ленин неожиданно провозглашает другой лозунг: главным врагом он объявляет «мелкобуржуазную стихию», то есть крестьянство, а о феодальных структурах помалкивает. Ленин поучает: «...наш главный враг — это мелкая буржуазия, ее навыки, ее привычки, ее экономическое положение»¹². Но ведь эта «мелкая буржуазия» — подавляющее большинство населения страны. Вдобавок Ленин причисляет к врагам и собственно буржуазию, и «пресловутую „интеллигенцию“»¹³, и даже «самых крайних революционеров»¹⁴. Да кто же его друзья? Это некие «сознательные пролетарии»¹⁵. А в 1918 году всех пролетариев — «сознательных» и несознательных — в России было меньше двух процентов населения.

Впрочем, Ленин имел в виду даже не это ничтожное меньшинство, а совсем уж малую величину — своих «профессиональных революционеров». Эти «сознательные пролетарии» имели в своих руках лишь один инструмент — государство, и соответственно лишь одно средство — принуждение. Правда, в том же 1918 году вышла в свет написанная Лениным накануне Октября книга «Государство и революция», повторяющая Марксовы тезисы об отмирании государства. Но органически присущая номенклатуре жажда монополюльной власти толкала ленинцев, вопреки идеологии, к твердому решению использовать свой единственный инструмент — государство, — чтобы и в изоляции обеспечить свою диктатуру.

Мы видим: пусть не под влиянием социалистических утопий и уж тем более не из осознанного желания возродить «азиатский способ производства», а из чисто практических соображений, но ленинцы встали на путь тотального огосударствления. Их политические расчеты опирались на ясно для них видимые феодальные структуры русского общества. Стремление же полагаться во всем на государство, то есть на характерное для феодализма внеэкономическое принуждение, и желание уничтожить ростки капиталистических отношений с неизбежностью привели к феодальной реакции.

Надо еще подчеркнуть: Ленин не хотел феодальной реакции, он серьезно задумывался над возможностью строго контролируемого развития капитализма в России, будь то в форме государственной или — позже — изповской. Но главным оставались для него именно контроль и управление, осуществляемые политбюрократией через государство, — диктатура номенклатуры. По сравнению с либерализовавшимся царским режимом, с конституцией, Думой, многопартийной системой это была реакция, шаг назад, в глубь феодализма.

Диктатура номенклатуры — это по социальной сущности феодальная реакция, а по методу — «азиатский способ производства». Если идентифицировать этот метод как социализм, то диктатура номенклатуры — феодальный социализм. Еще точнее — это государственно-монополистический феодализм. Но реальный социализм не высшая ступень феодализма, а, наоборот, реакция феодальных структур общества перед лицом смертельной для них угрозы капиталистического развития. Ибо повсюду в мире именно это развитие разрушает основы феодальных обществ.

8

Летом 1946 года я приехал в Нюрнберг в качестве переводчика на процессе главных немецких военных преступников. Это была моя первая поездка за границу. Выросшие и воспитанные советской пропагандой мои коллеги и я впервые столкнулись с реальностью другого мира.

¹² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 255.

¹³ Там же, стр. 205.

¹⁴ Там же, стр. 264.

¹⁵ Там же.

Мир этот оказался раздвоенным: с одной стороны, рождавшаяся в западных зонах оккупации новая Германия, да и Америка, ошущенная нами через разговоры с американцами, их газеты, фильмы, — все поразительно новое, неожиданное; с другой стороны, развертывавшаяся в материалах процесса реальность нацистского рейха, тоже нас поразившая, только не новизной, а удивительным сходством с привычной нам советской жизнью. Были, конечно, и отличия: частные предприятия, хорошие квартиры, благоустроенный быт. Но в остальном, в главном, все было у немцев при Гитлере так же, как у нас при Сталине: гениальный вождь; его ближайшие соратники; монолитная единая партия; партийные бонзы — вершители человеческих судеб; псевдопарламент, узаконенное неравенство; жесткая иерархия; свирепая политическая полиция; концентрационные лагеря; назойливая, лживая пропаганда; слежка и доносы; пытки и казни; напыщенная военщина; до духоты нагнетенный национализм; принудительная идеология; социалистические и антикапиталистические лозунги; болтовня о народности, — в общем, очень многое.

Сходство доходило до смешного: оказалось, что оба — Гитлер и Сталин — приказали себя именовать величайшими полководцами всех времен (Сталин добавил «и народов»). Зато совсем не смешно было нам тогда узнать, как Сталин, представляя Берия нацистским руководителям, пояснял: «Это наш Гиммлер», — ведь мы читали документы и о том, что творил Гиммлер.

Очевидное сходство советского социализма с немецким национал-социализмом и подобными ему структурами в других странах, привычно называемыми фашизмом, буквально бросалось в глаза. Так возник термин «тоталитаризм» для обозначения всех подобных обществ, независимо от их взаимоотношений друг с другом.

Явственно выкристаллизовывались основные черты тоталитаризма, по которым можно безошибочно идентифицировать тоталитарное общество.

Главная черта — это возникновение в обществе нового господствующего класса, номенклатуры, то есть политбюрократии, обладающей монополией власти во всех сферах общественной жизни. Этот класс старается сохранить в тайне не только свою структуру и привилегии, но и самое свое существование. Внешним признаком возникновения номенклатуры служит создание партии нового типа; сердцевина номенклатуры выступает в форме политического аппарата этой партии.

Соответственно устанавливается однопартийная система, при которой просто есть только одна партия, или же формально существующие другие партии являются лишь марионетками аппарата правящей партии.

Государство становится главным аппаратом классовой диктатуры номенклатуры. Все решения государства лишь повторяют ее решения и указания; на все ключевые посты в государственных органах, а также в профсоюзных, кооперативных, общественных и других организациях назначаются партаппаратом номенклатурные чины. Это диктатура номенклатуры. На этой основе возникают более мелкие, но тоже характерные черты — от вождя, окруженного культом личности, тайной полиции и лагерей вплоть до искусства «социалистического реализма».

Значит, нет никакой разницы между тоталитарными обществами? Конечно, есть, как есть разница и между обществами плюралистическими. Даже между странами — участницами Варшавского Договора и СЭВ всегда были различия, а если добавить сюда социалистические страны, не вошедшие в советский блок (Китай, Югославию, Албанию, Северную Корею), то различия бросаются в глаза.

Теперь мы привыкли к этому. А в 30 — 40-х годах, когда ленинская разновидность тоталитаризма была только в СССР и его подопечной Монголии, еще казался убедительным тезис, будто немецкий национал-социализм и итальянский фашизм являют собой некую противоположность строю в Советском Союзе. Между тем никакой противоположности не было.

А различие было. Конечно, национал-социализм и фашизм тоже не были идентичными, даже идеология у них была разной; вначале была между ними вражда, чуть не приведшая их в 1936 году к военному столкновению. Однако в целом они действительно составляли в рамках тоталитаризма группу, отличную от СССР и последовавших по его пути стран. Только сущность этого отличия состояла не в отношении к марксизму, а в уровне развития. Германия и Италия были промышленно развитыми странами. Соответственно фашистская и нацистская номенклатура не стала убивать курицу, несшую золотые яйца военно-промышленному комплексу: она не стала отнимать предприятия у владельцев, а удовлетворялась своим полным

контролем над экономикой. В этом смысле к национал-социализму и фашизму действительно можно применить термин «промышленный феодализм».

Все-таки феодализм? В Германии и Италии? Да, именно там. Не будем забывать, что эти две страны превратились в национальные государства только во второй половине прошлого века. Значит, всего лишь сто двадцать лет назад они преодолели структуру периода феодальной раздробленности, и не легко, а по формуле Бисмарка — «железом и кровью». Психологически она и поныне не исчезла. Германия — федеративное государство; в каждой ее земле — свой диалект, малопонятный для немцев из других земель; по давней традиции обитателям каждой земли приписывают свой особый «земельный» характер; все еще существует понятие «ганзейские города» (Гамбург, Любек, Бремен). Очень сходно и в Италии. Живыми памятниками средневековья остались в Италии государства Ватикан и Сан-Марино, а в германских странах — княжество Лихтенштейн.

Насколько и здесь хронологически близки времена феодальных порядков, напомнило мне празднование восьмидесятилетия одного из моих немецких знакомых. В речи на банкете сын его сказал: «Когда ты родился, мир здесь выглядел еще иначе. Всюду правили императоры, короли, князья, как много веков назад. Именно твое поколение пережило нелегкий переход к современному миру».

Естественно, что этому переходу и здесь, в Германии и Италии, сопротивлялись феодальные структуры. И здесь на время восторжествовала реакция этих структур. Сначала в Италии, формально оказавшейся в лагере победителей первой мировой войны, а фактически до крайности ослабленной. Затем в Германии, где Веймарская республика была ненамного прочнее республики Керенского в России 1917 года; экономический кризис 1929 — 1930 годов подорвал ее последние силы.

Феодальная реакция выступила и в Западной Европе в форме тоталитаризма, только не коммунистического-интернационалистского, а националистического. Это различие, производившее впечатление в 20 — 30-е годы, постепенно сглаживалось: сталинская номенклатура все больше отходила от ленинского интернационализма к русской великодержавности, а оккупация значительной части Западной Европы и союз с другими государствами оси ограничивали радикальный шовинизм гитлеровцев. Экстраполируем эти сближающиеся линии. Такая экстраполяция дает все основания высказать предположение: если бы не было второй мировой войны, то сходство между режимами в СССР, германском рейхе и фашистской Италии было бы сейчас еще более очевидным. Это одно и то же явление, реакция отживающих, но еще живучих феодальных структур на наступление современного мира.

Почему мы не сознаем, что тоталитаризм — это прорыв феодального прошлого в наше время? Потому что многие люди, в том числе на Западе, привыкли к непрестанному повторению, будто мы живем в эпоху «позднего капитализма», на смену которому идет-де светлое будущее — социализм.

Проблема же нашего времени состоит не в том, что капиталистическая формация уже исчерпала себя, а в том, что феодальная формация еще не полностью исчерпала все возможности продлить свое существование. И она делает это, выступая в форме тоталитаризма, этой «восточной деспотии» нашего времени: реального социализма, национал-социализма, фашизма, классовой диктатуры политбюрократии — номенклатуры. Все это реакция отмирающих феодальных структур, олицетворяющих мрачное прошлое человечества.

9

Мы констатировали: социализм не формация, а метод. Но важно понять и другое: этот метод связан не с существованием какой-либо определенной формации, а с существованием государства. Этим и объясняется загадочный на первый взгляд феномен возникновения бюрократических деспотий с господствующим классом политбюрократии в различных странах в совершенно разные эпохи. Поскольку государство существует и сейчас, так же как существовало на Древнем Востоке, метод этот применим сегодня так же, как и тогда, тысячелетия назад. Исполнованию государства для тотального порабощения общества положена только одна граница: замена деспотического государства демократическим, то есть таким, руководящие органы которого свободно избираются населением и, следовательно, от него зависят.

Так что не надо поддаваться предрассудку, что не может-де возникнуть в наши дни такой же порядок правления, как во времена фараонов. Вполне может... Разумеется, как и все в истории, метод бюрократической деспотии окрашивается

колоритом эпохи и страны, в результате чего возникает впечатление различия. Но оно ложно: отбросив колорит, проанализируйте метод — и убедитесь, что он один и в древней Ассирии двадцать пять веков назад, и в государстве инков Перу пять веков назад, и в Советском Союзе — в нашем веке.

Понимание сущности феномена, которому Маркс стыдливо дал название «азиатского способа производства», важно, может быть, в первую очередь потому, что оно освобождает нас от нелогичной картины некоего раздвоения исторического пути развития человечества на первом этапе классового общества — на застойный деспотический Восток и динамичный индивидуалистический Запад. Пример Японии показывает, что страны Востока могут быть чрезвычайно динамичными в своем развитии; пример Сингапура и Гонконга свидетельствует о том, что даже колониальный статус не может подавить подобный динамизм. То, что многие страны Востока живут веками в условиях застойности и деспотизма, вовсе не показатель врожденности таких черт. Скорее наоборот: эти черты ряда восточных обществ не причина, а логическое следствие векового применения там метода тотального огосударствления общества и правления политбюрократии. Ибо применение этого метода, создавая в момент перехода к нему впечатление скачка, ведет затем с неизбежностью к болотной застойности в обществе, монополюльно управляемом деспотической бюрократией. Помню, как один вдумчивый дипломат из страны третьего мира удачно сравнил метод реального социализма с автомашиной, у которой есть только первая скорость.

Пока не доказано противное, есть все основания считать, что общая линия развития человеческого общества едина для всех народов, независимо от места их поселения на нашей планете. Природные условия и ряд других факторов придают неповторимый колорит каждому обществу и могут благоприятствовать применению тех или иных методов, но они не способны изменить закономерные этапы в жизни общества, точно так же как и в жизни отдельного человека. Подобно человеку, общество может погибнуть уже в детстве, но это не отменяет закономерности, что за детством следует юность, затем молодость, зрелость и наконец приходит старость, неизменно завершающаяся смертью. Обстоятельства жизни и смерти различны, этапы жизненного пути одинаковы.

Социально-экономические формации во всех обществах — на западе и на востоке, на севере и на юге — сменяют одна другую в строго определенной последовательности. Пусть неточны и поэтому не очень удачны их марксистские названия: рабовладельческая, феодальная и капиталистическая формации, — дело не в названиях, а в сущности. Сущность же действительно состоит в поэтапном переходе от внеэкономического к экономическому принуждению. В первой (рабовладельческой) формации основную массу непосредственных производителей составляют полностью зависимые и бесправные люди (называются ли они прямо рабами или существует «всеобщее рабство»); во второй (феодальной) формации — это полусвободные люди, имеющие определенные права; в третьей (капиталистической) — это свободные и полноправные люди, которые по вольному найму трудятся, чтобы заработать себе на жизнь.

Линейная экстраполяция указывает, казалось бы, на общество будущего как на систему, при которой свободные и полноправные люди не будут вообще нуждаться в работе. Возможно, что наступающая компьютерная эра и сделает такое осуществимым. Только не стоит пускаться в столь радостные прогнозы: ведь линейная экстраполяция через детство, юность и молодость вряд ли предсказала бы человеку старость и смерть, — тем не менее жизнь кончается именно этим.

Метод тотального огосударствления накладывается на формацию. Не ущемляя ее сущности, он меняет характер процесса принятия решений; этот процесс концентрируется в руках господствующей политбюрократии, использующей механизм государства для полного контроля над всеми сферами жизни общества. Превратившаяся в господствующий класс политбюрократия осуществляет от имени суверена тотальное управление, но осуществляет его в условиях данной формации и, следовательно, в определяемой этими условиями форме.

Маркс побоялся признать, что «азиатская формация» не азиатская и, главное, не формация, а метод тотального огосударствления, то есть как раз метод, пропагандировавшийся социалистическими утопиями. Чтобы убежать от признания этого факта, Маркс предпочел даже отойти от своего взгляда на историю как на единый путь развития всего человечества и провозгласил раздвоение на «азиатский» и «античный» способы производства. Затем Ленин и Сталин вообще изыали «азиатский способ производства» из марксистского учения: они поняли, что реальный социализм оказался лишь одним из случаев возникновения «азиатского способа производства»,

то есть применения метода тотального огосударствления на основе существующей формации.

Как всегда при применении этого метода, господствующим классом при реальном социализме оказалась политбюрократия, в данном случае назвавшая себя номенклатурой. Конкретно номенклатура — класс новый, возникший в нашем веке. Но по сути своей это очень древний класс, который уже многократно создавался в разные эпохи в качестве господствующего класса там, где применялся метод тотального управления обществом и его эксплуатация силой государства.

10

Старость — последний этап жизни всякого организма, в том числе социального. Историческая продолжительность жизни номенклатуры уже невелика.

Невелика она, разумеется, в историческом масштабе. Смешно повторять наивные прогнозы 1917 — 1919 годов о том, что большевистская диктатура падет через пару недель или месяцев. Но не следует бросаться и в противоположную крайность: соглашаться с пропагандой номенклатуры, что царствию ее не будет конца. Всему на свете бывает конец, не вернуться от него и номенклатуре.

Как всегда, к этому концу ведут два пути: эволюционный и революционный.

Эволюционный путь — это перерастание диктатуры номенклатуры в посленоменклатурный строй, то есть либерализация политического режима в стране, становление современной рыночной системы хозяйства с тремя секторами (частным, кооперативным и государственным), отказ от колхозно-совхозной барщины и переход к современному механизированному фермерскому сельскому хозяйству. Это путь, не связанный с материальными и человеческими жертвами. Однако такой наиболее предпочтительный путь, к сожалению, не гарантирован...

Не стоит фантазировать сейчас о том, как именно все произойдет; действительный ход событий окажется наверняка несколько иным, и сегодняшние предсказания будут потом читать со снисходительной улыбкой. Но одно можно сказать уже сегодня. Народные революции приходят, не спрашивая советов постороннего наблюдателя. Она приходят в отчаянии, в гневе, как стихийный взрыв. Рассуждать о том, что желательно, а что нет, — бесполезное занятие...

Задача в том, чтобы не допустить такого развития событий. Этого можно добиться только одним способом: подтолкнуть номенклатуру к пути мирной эволюции. Поскольку уговорить ее не удастся, надо создать ситуацию, в которой собственные эгоистические интересы номенклатуры заставили бы ее предпочесть мирный путь как наименьшее зло в необратимом историческом процессе своего ухода от власти. И правда: номенклатурщикам намного приятнее будет уехать к своим заблаговременно вывезенным капиталам в Швейцарию, нежели оказаться во власти толпы. Будем надеяться, что номенклатура сделает разумный выбор.

А нужно ли надеяться? Не станет ли в России после ухода номенклатуры еще хуже: гражданская война, анархия, терроризм, хаос и одичание и в итоге — новая диктатура? Не станут ли люди с ностальгией вспоминать о временах правления номенклатуры, как вспоминали в годы моего детства о царских временах?

Все тоталитарные режимы стараются создать такое представление и у своих подданных.

Исторический опыт не подтверждает этих угроз. Национал-социализм в Германии и Австрии, фашизм в Италии, франкизм в Испании, вассальные тоталитарные режимы в малых странах Западной Европы — все они сменились демократиями.

Ничего удивительного в этом нет. Повторим в последний раз: диктатура номенклатуры — это феодальная реакция, строй государственно-монополистического феодализма. Существование этой реакции в том, что древний метод «азиатского способа производства», метод огосударствления применен здесь для цементирования феодальных структур, расшатанных антифеодальной революцией. Архаический класс политбюрократии возрождается как «новый класс», номенклатура; он устанавливает свою диктатуру, неосознанно прообразом которой служат теократические азиатские деспотии. Так в наше время протянулась стародавняя реакция, замаскированная псевдопрогрессивными «социалистическими» лозунгами: сплав феодализма с древней государственной деспотией. Как бы этот сплав ни именовался: национал-социализмом, реальным социализмом, фашизмом, — речь идет об одном и том же явлении — тоталитаризме, этой чуме XX века.

Совершенно естественно, что феодальная реакция исторически недолговечна. Там, где феодальные структуры были слабее, а капитализм более развит — в Германии, Италии и других странах Западной, а теперь и значительной части Восточной Европы, — эта реакция уже потерпела крах. В странах с еще крепкими феодальными структурами она живет и поныне, но ей также не уйти от гибели.

В конечном итоге именно поэтому режимы государственно-монополистического феодализма так хотят распространиться на весь мир. В этом они видят единственный путь к самосохранению. Вот почему столь органично возникает в их политике странный феномен оборонительной экспансии. Чингисхан со своими ордами также стремился к «последнему морю», покоряя все более развитые государства, опасные ему именно своей развитостью. Вряд ли можно ожидать спокойного одряхления государственного феодализма и постепенного его погружения в историческое небытие. Погружение будет драматичным. Но оно неотвратимо.

На смену тоталитаризму, диктатуре номенклатуры, закономерно приходит не какое-нибудь выдуманное идеологами общество, а парламентская демократия. Она приходит со всеми своими благами и проблемами, солнечными и теневыми сторонами как органически рожденное, развитое общество нашей эпохи.

Будут и тогда в обществе и обиженные и недовольные, будут и несправедливости — всякое будет. Но все люди станут жить неизмеримо лучше и материально и духовно, чем при диктатуре номенклатуры. Плюралистическое общество парламентской демократии надежно это гарантирует.

Когда-то и оно постареет, и возникнет из него другое общество будущего. Мы его не знаем, оно придет в иные века. Но одно можно сказать уже сегодня: это общество не будет порождением основоположников марксизма и отцов номенклатуры. Ибо мир наш — неуверенно, иногда скачками, порою на время отступая назад — движется не от свободы к рабству, а от рабства к свободе.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ НЕМЗЕР

*

СИЛА И БЕССИЛИЕ СОБЛАЗНА

Для того чтобы приготовить рагу из кролика, нужен как минимум кролик. Несмотря на тавтологию, не могу отступить от этого золотого правила. Некоторые, правда, утверждают, что требования явно завышены и что кролика можно заменить кошкой. Увы, кулинария безжалостнее портновского искусства — если кошку, что пошла на воротник шинели Акакия Акакиевича, еще можно было принять за куницу, то для рагу все-таки необходим кролик. Как для «идеологического романа» — идеология.

Непосредственным толчком к появлению зачина этих заметок послужило чтение статьи Владимира Потапова «Схватка с левиафаном (Литература в кругу идеологии)» («Новый мир», 1991, №1). Читая работу критика, вне всякого сомнения мне близкого, я постоянно ловил себя на до времени не оформленном и не уясненном для себя раздражении. Дело было не в оценках конкретных романов — здесь любые расхождения вполне законны, — но в установке, как кажется мне сейчас, разделяемой не только Вл.Потаповым. Установка же эта, говоря огрубленно, сводится к следующему: романы, герои которых заняты разрешением «последних» вопросов (или считают себя таковым делом занятыми?) либо противостоят тоталитарной структуре, действительно из конкретной идеологии выросшей, — суть романы идеологические.

Вроде бы логично. Только почему тогда сам Вл.Потапов констатирует: «Пока даже... сторонники деидеологизации больше заняты опровержением старого, чем отчетливой артикуляцией нового»? Почему все его соображения о романе Вл.Корнилова «Демобилизация» сводятся к разбору реферата «О насморке фурштатского солдата», сочиненного героем этого романа? Конечно, подобный «синекдохический» (часть вместо целого) ход апробирован идеологической эссеистикой — в том числе гениальной, — и известно, с какими результатами: никто, включая, разумеется, и Вл.Потапова, не станет судить о «Братьях Карамазовых» по розановской интерпретации «Легенды о великом инквизиторе» или о «Бесах» по тем интеллектуальным конструкциям, что воздвиг над распостертым телом инженера Кириллова Альбер Камю. Не стал бы я упрекать и Потапова, решишь он на задачу в духе великих предшественников, коими двигала созидательная энергия заблуждения. У Потапова иначе: сделал бы он шаг в сторону от реферата Бориса Курчева (то есть к роману Владимира Корнилова) — и посыпалась бы штукатурка, закачали стены воздвигаемого критиком идеологического дворца: слишком «натуральна» проза Корнилова, чтобы провозглашать ее автора апостолом либерализма.

Если при разговоре о Корнилове герой-«идеолог» заменил автора, то в обсуждении романа Ф.Светова автора заменил... критик, ибо именно он пытается вывести из христианской веры некоторую, пусть достаточно широкую и привлекательную, идеологическую доктрину. Судя по беглым, но выразительным замечкам Потапова, Ф.Светов противопоставляет разного рода «идеологиям» (являются ли они таковыми? — это еще вопрос) живую веру, обретенную героем романа «Отверзи ми двери», — рассуждения же критика о социальном идеале христианства, о соборности, развиваются без достаточной опоры на романский текст. Синекдоху, использованную в «случае Корнилова», здесь заменяет метонимия — ассоциация по смежности.

Небрежение авторским словом — дело привычное. Теперь его, вероятно, надлежит именовать, вслед за Л.Аннинским, «духовно-практической» точкой зрения. Рецепт ясен: вывернул писателя наизнанку, обрубил лишнее, чуть сдвинул тональность — и готов «идеолог», которого можно разоблачать во имя утверждения собственной «идеологии». В оны годы так обходился Аннинский с Трифионовым, недавно с Владимовым, теперь — с Леонидом Бородиным («Литературная газета», 7.11.90), о котором у нас речь впереди. Можно понять критика, давно и прочно стоящего под штандартом с надписью «Ищу идеолога!» (вариант для публички: «Скажи наконец, что есть истина»). Куда труднее понять его саратовского коллегу — читателя по преимуществу, обычно ориентирующегося именно на единство писательского слова, а тут вдруг «проскочившего» мимо по крайней мере двух романов.

В чем же дело? На мой взгляд — в неверной посылке, согласно которой идеолога на наших улицах так же легко встретить, как школьника, инженера, чиновника или специалиста по

«единственно научной идеологии». Я бы предпочел другую аналогию: идеолога сейчас так же трудно сыскать, как слесаря в ЖЭКе, если дома трубу прорвало. Правда, не так он насущно необходим, ну да это уж совсем другая история.

«Все наши буддологи убеждены, что они буддисты», — услышал я в середине 70-х, сидя за кухонным столом. «Мы не философы, мы в лучшем случае философоведа», — услышал я в середине 80-х, сидя за «круглым столом» в одной редакции. Впрочем, крик души доктора соответствующих наук в стенограмму не вошел и публике остался неведом. А жаль. Потому что первый тезис, разумеется не одних буддологов касающийся, кажется, стал всеобщим достоянием, плодящим все новые и новые недоразумения.

Да и могло ли быть иначе в стране, где роман «Мастер и Маргарита» обернулся пособием по приобщению к христианству, где появились православные «булгаковского призыва», а Михаил Афанасьевич казался не то однофамильцем, не то двойником о. Сергия¹, в стране, где, если «мы встретим» в газете заголовок «Время — жить!», можно сказать с уверенностью, что автор заметки намекал на Ремарка, а не на Ветхий завет» (А.Битов, «Пушкинский дом»).

Будущая история наших интеллектуальных блужданий 60 — 80-х годов (история, отнюдь еще не закончившаяся!) расскажет немало занимательного об однофамильцах и имитаторах, о невольных тавтологиях и сознательных подменах, о постоянном смещении собственно творчества и повторения так и не пройденного. Вспомним, как в джокера, годящегося на любой случай, был превращен Бахтин, равно устранивающий почвенников и семиотиков, неопитов православия и ультрамодернистов. Вспомним — сюжет поновее, — как журналы разных направлений рвали на части наследие Бердяева. Вспомним, а точнее, вслушаемся в сегодняшние, вроде бы такие актуальные, дискуссии — и ведь услышим за грохотом теперь дозволенно обозначенных цитат продолжение все тех же разговоров, что начались на рубеже веков, а закончились в первой эмиграции, дабы потом пластинка была пущена снова — на московских и не московских кухнях, в закрытых сборниках, на полуоткрытых интеллектуальных радениях, а то и — вдруг — в легальной печати. Теперь, стало быть, третий круг: и в газетах можно «про Бога», «про Россию», «про апокалипсис всегашнего времени».

К сожалению, идеи от усиленного обращения не то чтобы сходят на нет, но внешне тускнеют, становясь доступнее, утрачивают — разумеется, не до конца и на время — внутреннюю неповторимость. Неразличение же своего и заемного, «старого» и «нового» делает этот процесс чрезвычайно болезненным. Не только обычный, пусть гуманитарно ориентированный человек, но и профессионал попадает в пульсирующее, аморфное, миражное поле — информационный шквал приносит радости и горести, но не четкие ориентиры; слова, термины, понятия мерцают смыслами и манят неизвестно куда. Догонять — занятие противное, а мы все догоняем и догоняем.

Картина была бы безусловно мрачной, если бы понятие культуры покрывалось понятием идеологии или суммы идеологий. К счастью, это не так, и я бы поостерегся скорых и спорных обличений всей культуры постлесталинской поры. Происходил — мучительный, не без задержек — процесс приобщения к религии (речь идет о личном обращении, а не об усвоении «религиозной идеологии»). Происходил — тоже чудовищно трудный и тоже не без срывов — процесс становления гражданского самосознания (речь идет опять-таки не о «либерализме» или «демократии», но о нравственном освобождении одного, другого, десятого, сотого...). Существовала литература, сумевшая запечатлеть в слове скорбь, боль, надежду и радость российского человека во второй половине проклятого столетия. Существовали, наконец, гуманитарные науки; появлялись — и не столь уж малочисленные — конкретные исследования (литературоведческие, культурологические, лингвистические, искусствоведческие, в меньшем количестве — посвященные политической истории, истории общественной мысли, религии), поставившие отечественную гуманитарную мысль на высокую ступень и вызвавшие общественный резонанс, исподволь возвращавшие в наш обиход полноценные представления о понятиях «история» и «культура». Ни тысячи подлинно уверовавших, ни сотни правозащитников, ни Сахаров и Буковский, о. Александр Мень и о. Глеб Якунин, Владимов и Абрамов, Домбровский и Битов, Искандер и Шукшин, Бродский и Чухонцев, Лотман и Аверинцев, Топоров и Гаспаров — то есть люди, реализовавшие в наибольшей мере «залог сил, полный творящих способностей души» народа в не лучший период его истории, — не были идеологами по преимуществу. Не тем были значимы.

Не в именах, впрочем, суть, можно и другие назвать, — суть в той самой деидеологизированности, которую подметил в начале своей статьи Вл. Потапов.

Отсутствие идеологии не тождественно бездумности или бездуховности — далеко не всегда человек, гражданин, художник, ученый, даже мыслитель чуждается в оформленной, стремящейся к полноте и логической непротиворечивости системе воззрений. Не только религиозные ценности, но и такие «плохо определяемые» категории, как порядочность, доброта, мужество, верность слову,

¹ Дабы не прослыть злоязычником, сошлюсь на поэта: «...и то ль похмелье, то ль запой, Бердяев, Розанов, Булгаков, последний, правда, был другой, а так все то же, кроме раков и пива к ракам...» (Олег Чухонцев, «Однофамилец»).

легко перекрывают даже лучшие идеологические конструкции. Вопреки столь же модному, сколь неосновательному мнению, русская литература XIX века идеологизированной не была — и здесь не помогут рассуждения об ее этическом, религиозном или гражданственном характере. «Любовь к человеку — всегда конкретная любовь. Любовь к жизни — враг отвлеченного идеализма», — писал Г.П. Федотов в статье относительной не на литературные темы, но учитывая, как кажется, именно опыт русской литературы (а во многом и общественной мысли).

Кроме того, следует напомнить, что идеологически оформляться могут и имморализм, и гедонизм, и «теория малых дел» (само определение, между прочим, похоже на оксюморон), и эстетизм. В данном случае речь идет не о «содержании» той или иной духовной, социальной или интеллектуальной тенденции, но о почти равных возможностях для них «уплотняться» в идеологию или, избегая этой участи, существовать в качестве, как любил выражаться Аполлон Григорьев, «вечный» — последнее кажется мне более характерным для российской культуры².

Предполагаю, что мои оппоненты уже готовы произнести два ключевых для XIX и XX веков имени: Достоевский и Солженицын. Однако романы Достоевского не идеологичны (как утверждал в свое время Б.Энгельгардт, создатель термина «идеологический роман»), а, если угодно, антиидеологичны; написано на сей счет вполне достаточно, и, думается, без дежурных ссылок можно обойтись: Достоевский для того и дает оформиться идеям своих героев (порой превосходящая будущее, фиксируя в сегодняшней атмосфере точки концентрации завтрашних идей и послезавтрашних катастроф), чтобы показать их ограниченность и «соблазнительность». Сходен и метод Солженицына; особенно отчетливо — в интеллектуальном романе «В круге первом», но также и в «Раковом корпусе» («нравственный социализм» Шулубина может восприниматься одним рядом читателей как воззрение автора, другим — как уловка, попытка обмануть цензуру, третьим, к которому отношусь я, — именно как изображение ограниченной идеологии) и в «Красном колесе» (с важной поправкой на специфику исторического повествования, ставящего задачей не прогнозирование «идеологий», но их реконструкцию)³.

Злоключения «поздних» трудов Солженицына («Колеса», публицистики) не случайность, и причина их не сводится ни к политической неразберихе, ни к старой как мир несправедливости: писатель, ставший классиком при жизни, обычно раздражает изрядное число современников, в том числе и не худших, — вспомним ту двусмысленную атмосферу почтения и скрытой неприязни, желания «засечь» слабость «великого старца», с тем чтобы ее «великодушно» извинить, ту атмосферу, что была не в радость даже «олимпийцу» Гете и — наряду с прочим — толкнула к смертельному уходу Толстого. Есть еще одно немаловажное обстоятельство, имеющее самое прямое отношение к главной теме нашей статьи.

Культура, переживающая деидеологизацию, обнаруживает не только варианты обычного гражданского поведения (творчества, научного исследования) либо надидеологического сознания — она оставляет широкий простор для поисков «идеологии», которые в условиях постоянного догоняния собственного прошлого чаще всего оказываются конструированием достаточно эпигонских доктрин. Отсюда заказы на «нашего Добролюбова» и выдача патентов «нашим Леонтьевым и Розановым» (на титул последнего особенно много желающих). Отсюда равнодушие к истории или творчеству современного писателя: важно не что происходило или писалось, но что можно извлечь из этого для идеологической самореализации. Отсюда всеобщее презрение к точному знанию о мыслителях прошлого, выявившееся вполне рельефно именно в тот момент, когда цензурные устои, видимо, ослабели (не нужна нам реальная мысль Соловьева или Бердяева, просто непонятная без тщательного комментария и восстановления ее контекста, — нам нужно имя, знак, который будет так или иначе использован: чисто коммерчески — «бросить тексты в массы — остальное приложится», — или в качестве оправдания никуда не девшейся официальной системы — «вот ведь кого издаем и не боимся!», — или для решения очередной задачи «текущего момента», или еще каким-нибудь способом). Отсюда непропорционально большой интерес к идеологическим сочинениям, сочетающим в себе явную вторичность с явной же «домодельностью»: например, к работам А.Л. Янова, А.А. Зиновьева, И.Р. Шафаревича, Л.Н. Гумилева. Отсюда диковатые сочетания астрологии с православием, восточного оккультизма с культом «почвы», Кашпировский, блаженно считающий до тридцати трех («Он хочет сказать, что он Христос?» — спросила моя девятилетняя дочь, к сожалению, не вовремя оказавшаяся у телевизора), и т.п.

² Здесь необходимы как минимум две оговорки. Во-первых, я не настолько осведомлен в истории всех стран и народов, чтобы делать категоричные выводы, и поэтому прошу не рассматривать мои импрессионистические суждения как очередную заявку на создание типологии культур. Во-вторых, я далек от мысли ставить в вину любой идеологии самый факт ее существования и видеть в «деидеологизированности» или тенденции к ней заведомое преимущество. Радишев, Карамзин, Чаадаев, Белинский, Леонтьев — несомненные идеологи, но лишь непростительное, чаще всего на безграмотности основанное легкомыслие может позволить себе отрицать их огромный духовный потенциал и весомую роль в отечественной культуре.

³ Подробнее см. в моих статьях о «В круге первом» и «Марте Семнадцатого» («Литературное обозрение», 1990, № 6, 12).

Отсюда — от тоски по идеологии — роман В.Ф.Кормера «Наследство» был встречен нашей критикой с редкостным единодушным восхищением. Игорь Виноградов, предваривший публикацию романа обстоятельным предисловием («Октябрь», 1990, № 5), Юрий Кублановский («Литературная газета», 5.12.90), Карен Степанян в «заметках о прозе уходящего года» «Нужна ли нам литература?» («Знамя», 1990, № 12) и Владимир Потапов в уже цитированной статье сказали очень много высоких слов об этом романе. Я слишком ценю четырех интерпретаторов «Наследства», чтобы предположить, что на их оценки могли повлиять обстоятельства не литературные (трудная судьба и безвременная смерть В.Ф.Кормера). С другой же стороны, их единодушные существенно поколебало мой изначальный скептицизм по отношению к «Наследству» — довольно глупа роль господина подпоручика при роте, шагающей якобы не в ногу. Но то же самое единодушие заставило меня — после нескольких прочтений романа и долгих колебаний — все же высказать свои соображения, ясно понимая, что критика романа, написанного пятнадцать лет назад и увидевшего свет после кончины автора, — занятие с привкусом двусмыслицы...

«Не мне выносить моральные оценки, у меня нет такого права, нет и охоты», — написал Вл.Потапов о прототипах кормеровских героев, но от суда над героями никуда уйти не смог. Нет и у меня права судить человека, которому досталась доля погорше, чем покамест мной испытанная, но от оценки текста я, увы, отказаться не могу.

Роман «Наследство» не случайно оказался в центре статьи Потапова, не случайно он и разобран критиком более подробно, чем книги Корнилова и Светова: «Наследство» и впрямь близко по жанровой задаче к идеологическому роману, даже, пожалуй, к тому, который я назвал антиидеологическим. Без упоминания «Бесов» — прямого или косвенного (как у Вл.Потапова) — не обошелся ни один из писавших о «Наследстве». И не мог обойтись, ибо писатель прямо следовал за классиком, сознательно ориентировался на канон. Тем нагляднее различия.

Почему герои Кормера «бесы» или «бесноватые», я понимаю: у них нет твердого нравственного идеала, они готовы прилипнуть к той или иной догме, они не замечают своих ближних, они излишне болтливы и подозрительны, в их среде легко гнездится провокация и т.д. Я не понимаю другого — почему они «диссиденты»? Между тем как про героев «Бесов» мне ясно: да, они не только «бесы», но и нигилисты, революционеры, убийцы, между прочим! И никакое «но» здесь не нужно — в этом-то и смысл пророческого романа, в котором «мошеничество» и возможная связь с охранкой Петра Верховенского лишь краска, пусть с неизбежностью возникающая, но остающаяся одной из многих в портрете обезумевшего поколения.

Какова же общая «идея» героев Кормера? Видимо, голое противостояние власти, легко превращающее их в «большевиков наоборот». Революционная борьба с российским государством, по мысли Достоевского, неизбежно вела к бесовщине. Спрашивается, неизбежно ли вела к ней борьба с государством тоталитарным?

И.Виноградов попытался снять этот — естественно возникающий — вопрос, отказав роману в «портретной репрезентативности при изображении диссидентской среды» (нет ведь в нем «людей типа Сахарова, Солженицына, Владимова, Буковского, Войновича и др.»); согласно Виноградову Кормер писал о массовой периферии диссидентского движения. Не слишком меня такое решение убеждает: кривляние Лямшина и уродливо-злые деяния Петра Верховенского были пусть жутким, но отражением того, что воплощалось в фигуре Ставрогина. И так не только у Достоевского: Базаров отвечает за Ситникова, Печорин за Грушницкого, Чацкий за Репетилова, — и такое положение действует в российской словесности с непреложностью закона.

Не проходит и другое объяснение: К.Степанян полагает, что в «Наследстве» идет речь «о тех, кто начинал» диссидентское движение, о людях, что «возникли на абсолютно пустом месте и в абсолютно чуждом им обществе, были лишены каких-либо традиций противостояния этому строю». «Разве сравнишь положение их продолжателей в семидесятые годы — образованных, начитанных, располагающих богатой литературой, поддержкой из-за рубежа и, что немаловажно, негласным сочувствием и нередко прямой помощью со стороны многих соотечественников, а кроме того, уже имеющий опыт и знающих пути?» — спрашивает далее критик, не замечая, как вопросом этим крушит и свое прочтение и сам роман Кормера. Мало того что действие романа Кормера довольно легко датируется началом семидесятых годов (понять это можно не только по отголоскам «не самого славного судебного процесса», которые расслышал в книге, наверно, не один Вл.Потапов, но по элементарным расчетам с возрастными героями). Мало того что упомянутый Степаняном выше Владимир Буковский встал на путь последовательнейшего противостояния тоталитарной системе уже в 50-е годы и никак не может числиться в «продолжателях» героев Кормера. Сами рассуждения критика об образованности, начитанности и зарубежной поддержке игнорируют суть проблемы, заменяют внутреннюю проблему внешней. Герои Кормера судятся автором за нравственную необеспеченность, а вовсе не за недостатки в образовании, и никакое отсутствие опыта (да сколько лет ведут они свои разговоры!), сочувствия общества (а куда девать изображенного с высокомерной брезгливостью начальника лаборатории, у которого Мелик стреляет деньги, или не менее неприятного, но постоянно используемого героями директора института Целлариуса?) или поддержки из-за

рубежа (словно не помянуты иностранные журналисты и нет в романе линии Гри-Гри) не может оказаться извинительным, коли автор, как уверяют нас рецензенты, руководствуется высочайшими этико-религиозными критериями.

Приходится констатировать: да, для Кормера противостояние системе — путь к бесовщине. Потому-то и нет в его романе людей типа Буковского или Марченко. Потому-то и зияют авторские отточия в тех местах, где должны герои проговаривать свои суждения: они заведомо пусты. Потому-то так избирательно описан мир, окружающий героев.

В этом мире есть психушки, в одной из них оказываются пострадавшая Наталья Михайловна, демонический чекист, молодая сочинительница-алкоголичка, — но в психушке нет инакомыслящих в отличие от реальной ситуации, существовавшей для реальных диссидентов. В этом мире есть государство Израиль (туда время от времени мечтают уехать некоторые из героев) — но нет «еврейского вопроса», куда как резко оставшего после 1967 года. Чехословацких событий, сыгравших столь важную роль в истории отечественного самосознания, в этом мире тоже нет. Есть тюрьмы и лагеря, но либо как знаки страшного прошлого, либо как угроза, наступающая почти на всех персонажей, — нет лагерей, в которых сидят сейчас другие люди, те, кто не имеет отношения к хазинско-меликовской компании. Есть Церковь, находящаяся в униженном и двусмысленном положении (благобразный интеллеktуал о.Владимир и циник о.Алексей, страдания Мелика, лишенного возможности принять священство), — но нет мучеников за веру, диссидентов-«религиозников» (мученичество представлено исключительно в ретроспекции, в главах о катакомбном служении). Нет крымских татар и немцев Поволжья, нет отказников, нет памяти о Новочеркасске — одним словом, нет о б щ е й тяжести тоталитарного режима.

Очертив такой контекст, писатель мог смело пересаживать схему «Бесов» на новую почву. Историческая неправдоподобность описаний (К.Степанян «промахнулся» с датировкой действия именно потому, что эпоха, представленная Кормером, равно не похожа ни на 50-е, ни на 60-е, ни на 70-е годы) вела к роковой ошибке — отождествлению бесконечно различных культурно-политических ситуаций.

В статье «Натан Эйдельман, историк России» М.О.Чудакова точно описала специфику аллюзионного мышления, характерную не только, а может быть, и не столько для ее заглавного героя: «Под царской властью подразумевалась — и автором, и читателем — советская, но граница этого подразумевания была неопределенной, зыбкой. Таким образом, важнейшая операция распада царизма с тоталитаризмом проделана не была, что постепенно повело к заболачиванию общественного исторического сознания, к затемнению ответов на нужнейшие, опорные вопросы». Было бы ошибкой полагать, что аллюзии возможны только в серии «Пламенные революционеры», — они прекрасно действуют и с обратным знаком, и тогда бесовщина становится е д и н с т в е н н ы м содержанием советского инакомыслия.

А ведь почти так у Кормера дело и обстоит. Впрочем, со значительной оговоркой: инфернально всемогущая тайная полиция, некогда сломавшая души героев, держит теперь их на крючке, чтобы снова и снова приводить не только к иудину греху, но и к его оправданию (трактат Мелика). Дьявольская сила ведет Мелика, Хазина, Льва Владимировича к грехопадению, словно нарочно толкая их на путь оппозиционности. При этом кажется, а вернее, следует из общей картины мира, созданной Кормером, — других забот у нее нет.

У Достоевского идеологическое зло ломало людей — у Кормера людские пороки дискредитируют идею противостояния. Напомню, что рядом с Петрушей Верховенским в «Бесах» стоят другие персонажи, которым трудно предъявить обвинения в бытовом аморализме (Кириллов, Шатов), но которые остаются все же бесноватыми.

Идеи Кириллова и даже Шигалева по-своему мощны, они не обезьяничают с неведомого образца, но за эти-то идеи и судит их Достоевский. Герои Кормера прежде всего мелки, жизненно нечистоплотны, у них не идеи, а осколки идей — но тогда стоило ли над ними суд чинить? Вынесенность за скобки сути движения («хороших диссидентов» — по Виноградову, «будущих диссидентов» — по Степаняну) облегчает задачу Кормера (смотрите, как много водки, трепа и пошлости), но и деформирует, если не отменяет ее. Для того чтобы сказать о слабости человеческой, о том, что без греха никто не живет, что попытки исправить мир много чем чреваты, а лучше свою душу спасти, совершенно не нужна диссидентская проблематика, не нужна реальность нашего недавнего прошлого. Вирхову (отчетливый автобиографический этого героя обсуждения не требует) недаром в конце концов захотелось перенести действие своего романа (он же роман, нами читаемый) в Китай — «осталась бы чистая идея», все время спотыкающаяся, как казалось автору, о московские обстоятельства и, как кажется уже мне, о собственную невыверенность, от которой никакой Китай не спасет.

Вирхов со стыдом отказывается от малодушного «китайского» варианта: «Те, о ком он писал, и как литературные герои, и как живые люди были дороги ему, он любил их, согласны они были с этим или нет, он не хотел их лишаться». Заверениям в любви можно либо верить, либо не верить. Ю.Кублановский и К.Степанян поверили (Кублановский даже усмотрел в Тане Манн «один из

самых пронзительных образов во всей новейшей русской литературе»). Я не верю, не могу почувствовать и йоты теплого отношения автора к героям. Но это, в сущности, не важно: я обязан понять главное — почему Кормеру понадобились эти слова любви, почему он все же не пошел на «китайский» вариант?

Вот здесь-то и обнаруживается еще одна концепция, ведущая роман. Разговор о «безотцовстве», сиротстве «наших» — чужих в своем отечестве — получает изысканное разрешение: готический чекист предстает не только вестником, информатором о муравьевском наследстве, провокатором и искусителем, но и отцом Мелика. ЧК-НКВД-КГБ оказывается единственным хранителем предания, передатчиком «наследства». Эта организация (подменяющая систему, лишь частью которой она является) продолжает плодить зло, соблазняя, пугая, ломая, покупая, корежа души, — ей нужно внутренне аморальное диссидентство, ей нужна интеллигентская хлипкость, падкая на соблазны. И вот тут-то героев (и себя вместе с ними, в беспросветности пребывающего) можно и пожалеть и полюбить. Если предательство и провокация — в крови, если из круга обреченности не выпрыгнешь, если все человеческое обречено, а всякая попытка освобождения — лишь игра с дьяволом, которому наверняка проиграешь, то, конечно, всех жалко. Правда, Достоевский не верил во всеислие дьявола, к которому так тянутся и которого так боятся герои Кормера. Правда, отождествление дьявола с «органами» — тоже не слишком в духе русского классика. Ну да Достоевский и не важен для второй сюжетобразующей и идеологической машины, пущенной в ход Кормером. Здесь другой авторитет действует.

Понимаю, что меня легко опровергнуть, так как имя этого второго писателя ни разу в «Наследстве» не упомянуто и доказательств, что называется, фактографических у меня нет. Формально, я даже не знаю, читал ли его Кормер, хотя положила руку на сердце невозможно предположить, чтобы московский интеллигент не читал «1984» Оруэлла. Именно эта книга, на мой взгляд, была «вторым источником» «Наследства»: отсюда и сверххвелевские «органов», и их роль «связующего звена», хранителя предания, и тяга жертвы к палачу, и внутренняя обреченность всякого вступившего на путь противостояния системе (читай: наведенного системой на этот путь). Скажут, что многое не похоже? Разумеется. Второй источник на то и второй, чтобы таиться в тени. На «Бесь»-то похоже «Наследство» даже излишне, настолько похоже, что смысл великого романа забывается...

Идеологическая драма Кормера коренится в попытке соединить несоединимое. Достоевский и Оруэлл могут стоять в одном книжном шкафу, могут (и должны) входить в поле духовного, интеллектуального зрения нашего современника, но в идеологическом пространстве они стоят на полюсах. Невозможность синтеза, невозможность свести концы с концами требует от автора дополнительных стараний. И в ход идут проверенные кунштюки. Например, игра с прототипами, которых читатель может и не опознать, но присутствие их непременно ощутит и задумается, кто есть кто. И порадуется, кого-то опознав. И испытает нравственное превосходство, увидев вчерашнего кумира неглиже. И, вопреки И.Виноградову и К.Степаняну, не обратит «зрачки в душу» — это ведь, слава Богу, не про меня, а про Ню.

Другой кунштюк — «роман в романе»: все, что мы читаем, пишет Вирхов. Герои переходят из жизни в текст. Текст диктует поведенческие решения «как бы реальных» персонажей. Не то мастер сейчас воскликнет: «О, как я угадал! О, как я все угадал!» — не то вагиновский Свистонов за голову схватится, почувствовав, «что он окончательно заперт в своем романе». Правда, мастер описывал Пилата, а не своих знакомых, изображать Алоизия Могарыча ему — вопреки рекомендации Воланда — было неинтересно. Правда, роман Вагинова посвящен творческому бесплодию, гибели писателя, погубившего своей игрой с «персонажами» живых людей. Кроме «приема», у Вагинова есть предупреждение всякому, кто думает «чисто литературным», игровым способом отменить «пошлость» обычной жизни. Ну что ж: Вагинов думал так, а Кормер иначе, он полагал, что статус писателя сам собой вывезет из квазиидеологической трясины.

Третий кунштюк — «великолепный двоящийся финал, вроде бы оставляющий перед каждым героем два пути — к злу и к добру», кончающийся «таким светлым апофеозом, что позиция автора уже не оставляет сомнений» (К.Степанян). Правда, именно финал «очень русского романа, не оставляющего места релятивизму», показался Ю.Кублановскому содержащим «некоторую двусмысленность: автор хотел объединить и как бы (почему «как бы»? — А.Н.) простить всех на гребне светлого праздника Воскресения Христова, а вышло, что провокация проникла и в церковный алтарь». Вот потому и «как бы», отвечаю я на собственный вопрос Ю.Кублановскому. И если это не релятивизм, которому не оставляет места русский роман, а равно роман английский, французский, новозеландский и написанный на Берегу Слоновой Кости (ныне — Кот-д'Ивуар), всякий роман, автора которого ведет идеал, а не умозрительная концепция, автор которого любит своих героев, а не сообщает об этом читателю, — если это не релятивизм, то пусть мне растолкуют, что же обозначает это несимпатичное словечко.

Цасхальная служба, увы, может превращаться для кого-то в великосветскую тусовку. Бывает и так, что пришедшие на тусовку уходят уверовавшими в воскресение из мертвых. И открытые

финалы «Преступления и наказания» и «Воскресения» все помнят. Только ведь не чтение Евангелия исцелило Раскольников и Нехлюдова — чудо свершилось, ибо ему предшествовал путь. Путь, которого нет у ходящих кругами героев Кормера. У Достоевского и Толстого «евангельские» финалы не оркеструются тайной полицией и разговорами о фиктивных браках. Несомненно, пасхальные песнопения звучат сильнее, чем по-прежнему мелкодробная речь героев, — да ведь не авторские это слова: «Пусть никто не боится смерти, Ибо освободила нас Спасова смерть». Не слышу я в пасхальном хоре ни голосов героев, ни голоса писателя: служба сама по себе, они сами по себе.

Эпиграфом к своей статье о «Наследстве» Ю.Кублановский закономерно избрал слова Евангелия от Луки, слова, венчавшие статью Кормера «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», статью, в развитие которой написан роман: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, чрез кого они приходят». Все так. В статье были тщательно проанализированы соблазны нашей растреклятой интеллигенции. Список казался закрытым. Но только казался. Увы, соблазны многолики, среди них есть и такой: глобальное объяснение случившегося. Слабая интеллигенция должна наконец узреть себя — свою греховность (по Достоевскому), свою обреченность (по Оруэллу), свою комичность («по Кормеру») — и оттого исправиться. Потому что все-таки она хоть и с двойным сознанием, а интеллигенция. Ей бы (нам бы всем) правильный взгляд на свою душу. А там все как-нибудь само обустроится. Стоит только заменить осколки мировоззрений мировоззрением целостным. Стоит только начать казнить себя за принадлежность к «псевдокультурному» сословию. Стоит только сходить в Храм на Пасху...

Моя оценка романа «Наследство» может показаться жесткой. Подчеркну, что я нимало не сомневаюсь в лучших намерениях В.Ф.Кормера. В частности, касаясь финала романа, я говорил о его идейно-художественном звучании, а не о личных религиозных чувствах писателя: ясно, что «автор» не тождествен человеку-сочинителю. Но все же о жесткости. Уверю читателя, что сурово я выгляжу только на фоне критиков, хваливших роман. Но ведь «Наследство» получило еще одну оценку. В № 4 журнала «Нева» за 1990 год опубликовано сочинение В.Кантора «Крокодил», в котором предьявляется новый счет интеллигенции. Из сочинения следует, что весьма противно назначению человеческому предаваться беспробудному пьянству, перманентному блуду, халтуре, а также правке статей сановных дураков в журнале, занимающемся вопросами философии. Мысль глубокая, и вывод из нее ясен и справедлив: не пей, не блуди, не пиши халтурных сочинений и не исправляй статьи начальников — тогда никакой крокодил тебя не съест, как то случилось с канторовским героем в финале.

В сочинении этом гротеском отражены многие особенности романа «Наследство», как то: склонность к цитированию, игра с прототипами, «двоящийся» финал (может, и не съел героя крокодил, а просто пошел с ним опохмеляться тот, кого он спьяну принял за чудовище), обилие «кукишей в кармане», неприязнь к образованному сословию, неотрывная от любви к нему и к себе как к его важнейшему ингредиенту. Среди сослуживцев главного героя имеет место персонаж по фамилии Кирхов (напомним, что alter ego Кормера носил фамилию Вирхов, вероятно означающую его нееврейское инородчество). Сочинение посвящено: «Памяти В.Ф.Кормера». Возникают три вопроса: а) почему так злобно? б) почему так длинно? в) почему не указано, что пародия? Хотя третий вопрос скорее к редакции «Невы», чем к автору, именно он обосновывает два предыдущих.

Нет, не я жесток. Я-то, совершенно не разделяя пафоса романа «Наследство» и относясь к нему крайне настороженно, готов почитать драму, постигшую Кормера. Проще говоря, мне горько, что яркий человек довел себя до такого романа. Жестокости те, чье безвкусное восхищение выпускает крокодилов на свежую могилу.

Предваряя публикацию «Наследства», И.Виноградов писал: «А какой соблазн для доброхотов, озабоченных поведением „Октября“, обвинить журнал в том, что он напечатал еще одно клеветническое произведение, злостно изобличающее на этот раз наших родных, отечественных, российских диссидентов!..» Не мой соблазн. Я далек от неуважения к работе редакции «Октября», убежден, что роман Кормера должен был публиковаться (в журнале или книжном издании — вопрос двадцать пятый; к несчастью, журнальная публикация — у нас единственная гарантия доступности текста), убежден, что духовный спыт такого рода должен быть учтен, осмыслен и преодолен, а это невозможно без знакомства с романом. И наконец, что всего важнее: не строгое отношение к диссидентству и интеллигенции в целом — причина моего несогласия с Кормером. У диссидентского движения есть адвокаты по сильнее меня, желающий понять — поймет: сегодня доступны книги П.Григоренко, В.Буковского, А.Марченко. О диссидентстве можно писать жестко — и пишут, весь вопрос в том, где писатель ищет корни грехов отечественных вольнолюбцев и какова его собственная позиция.

Леонид Бородин в романе «Расставание» (отечественная сокращенная публикация — «Юность», 1990, № 7 — 9) нарисовал отнюдь не благостную картину, в чем-то солядающую с воссозданной Кормером. Но именно в чем-то!

Вот у Бородина описывается ситуация после ареста сестры героя: «Та женщина, что открывала мне дверь, диктует корреспондентам готовым текстом, и я с удивлением узнаю, что моя истеричная сестренка была чуть ли не инициатором движения, что за ней числится и то, и другое, и третье, и что ее арест есть нарушение международных конвенций, и потому еще раз анафема этому государству, которое еще со времен царя Гороха прославилось своим людоедством, и что к ряду его жертв — от Радищева, декабристов и петрашевцев — прибавилось новое имя, имя моей Люськи!» Язвительно? Куда больше! И разве не тошно не только герою, но и нам от «цепких взглядов» иностранных корреспондентов, от многолюдья и колготы, от привкуса пошлости и предсказуемости? И разве не резонно все то, что кричал герой прежде сестре и матери — об их истерии и внутренней слабости? И разве не весомы обвинения отца героя, носящего маску ортодоксального марксиста, под которой маска ортодоксального циника: «Их инакомыслие не по существу, а эгоизм их сугубо клановый»? Все так.

И все не так. Потому что волной растет сострадание, запоздалое, неосознанное, неостановимое. Потому что вспоминаются казавшиеся лишь блефом, дурацким попреком слова сестры к герою, слова о его конформизме, трусости, поисках удобного выхода: «Сейчас самое время жениться на поповских дочках. Это может даже стать модой среди ренегатов!» Тоже ведь язвительно, тоже жалит.

Но дело-то не в словах, сколь бы колко они ни звучали. Не в убедительности еще одной сентенции. Жалость сильнее. И герой, поначалу бравирующий своим всепоминанием, готовый к комфортабельному спасению собственной души, прячущий свою любовь к дурехе матери, и к мастодонту отцу, и к истеричке сестре, никуда не может от жалости деться.

Ему лишь казалось, что он всех понимает — отца, мать, сестру, любовницу, далекую поповскую дочку, на которой он решил жениться, фронтовика Андрея Семеновича, про которого он делает халтурную книжку, диссидентов, приспособленцев, церковных прихожан, интеллигентскую шайку-лейку. Он не понимал, а о б ъ я с н я л их, опредмечивал, и каждый занимал свою нишу в удобно обустроенном пространстве ясного мира. Опредмечивал герой и себя; скрытое сознание превосходства над всеми ближними при внешнем признании «правоты каждого» — все это было хорошо и прекрасно, пока крыша не поехала, жизнь не выкинула таких штук, что разом разметали внутренний уют.

И оказалось, что любовница может уйти к другому именно оттого, что л ю б и т. Что сестру могут арестовать. Что у отца кое-что есть под маской циника (поверх которой, как помним, маска ортодокса) — и именно он, «самый счастливый и самый спокойный человек на свете», оказывается человеком «добрым и несчастным», не выдержавшим, может быть, не только ложных отношений с замужней женщиной, но и вечной мерзлоты, что легла между ним и сыном, арестованной дочерью, бывшей женой.

И так — с каждым из персонажей «Расставания».

Не в том вопрос, чтобы «оправдать» или «осудить» (в очередной раз «опредметить») этих самых «диссидентов», — вопрос в том, чтобы разбить дурацкую скорлупу мертвого слова, не покрывающего судьбы человеческие. На смену комфортному «все люди, все человеки, у всех своя дорога — какое мне дело, я никому не мешаю» приходит другое: «в каждом человеке тайна, и мне за каждого больно».

Сострадание выше объяснения, выше любой идеологической доктрины, в которую словно в скорлупу пытаются спрятаться персонажи «Расставания». Диссиденты не тождественны конформистам, но больно тем и другим. Сколько ни прячься человек в свой ли круг, в свою ли «модель мира», он остается человеком, и, коли человеческое в нем достаточно живо и сильно, рано или поздно произойдет горькое, но необходимое расставание с иллюзиями и духовным комфортом, отнюдь не обязательно совпадающим с комфортом житейским.

В том-то и проблема, что любая идеология, любая пламенная страсть, отрицающая иные мысли и чувства, по-своему удобна и по-своему неполна. В этом нерв бородинской прозы, отсюда его поиски «третьей правды».

Если бы одноименная повесть сводилась к банальной триаде «красные — белые — мужики» и, соответственно, к апологии хитровато-увертливого Селиванова, о ней бы, пожалуй, и говорить не стоило. Но повесть-то не о том, и «третья правда» вовсе не в душе героя, обманывающего всех, включая смерть. Андриан Никанорыч действительно ушел и от чекистов и от белогвардейцев, мог дурить казенную власть, выворачиваться из любой переделки и в итоге ускользнул от обидной смерти — только ранил его пьяный соплик. «Во жизнь собачья! — сказал он громко. — Помереть и то по своей воле не дадено...» — и заковылял к вокзалу.

Победа? Но тогда зачем был нужен бунт героя, его кураж и отчаяние после смерти Ивана Рябинина? И куда деться герою от жгущей душу тоски — может, не только поднадевшее читателю притворство сибирского «колобка» слышно в его последней реплике?

Селиванов прожил жизнь грешником. И оттого, что убивал он красных да белых, свергших страну в братоубийственную резню, сам убийцей быть не перестал. Как не испарилась его ложь оттого, что обманывал он не кого-нибудь, а власть. Звероватое одиночество не может почитаться правдой. И в глубине души Селиванов это знает.

Значит, правда на стороне его друга-соперника Ивана Рябинина, прожившего мученическую жизнь и по-мученически скончавшегося? Праведник Иван со смешанным чувством недоумения, ужаса, безразличности смотрит на ухватки Селиванова, в друзьях его оказавшегося странным образом — благодаря вражде, стрельбе, крови. Но жену-то — сказочную красавицу, офицерскую дочку — получил он из селивановских рук. Но дочь-то его спас и вырастил Селиванов. Но пока Иван мученически претерпевал лагеря и обретал свет в душе, сгинула его жена, а сын, угодивший в детприемник, вырос в алкаша и придурка. Просветленность Рябинина оплачена тем, что забыл он мир, словно передоверил его странному дружку-таежнику. Потому и гибнет он по возвращении из лагеря, который для него был своего рода монастырем.

Третья правда не между красными и белыми, она между почти святым Рябининым и витальным Селивановым, она не дается в руки, не укладывается в прокрустово ложе той или иной «модели мира», она вне любой самодостаточной идеологии (а сибирские мужики Бородина — именно идеологи, хотя слова такого не знают). Писатель необыкновенно чуток к антиномиям бытия, но это вовсе не значит, что самое главное для него или близких ему героев идти «в клинч, в штопор, и уже не важно, ради чего, а только: вырвусь или не вырвусь? Размазня или не размазня? Найду „третью правду“ или не найду?» (Л. Аннинский в упомянутой выше статье из «Литературной газеты»).

Если Аннинскому нужно видеть в Бородине «крутого» романтика (слова «нищезанец» критик избегает, хотя оно просится в его концепцию), если ему необходимо отыскать у писателя «плохо замаскированное презрение» к «жителям», обывателям, если ему непременно требуется дискредитировать правду, которая всегда «третья», дабы еще раз прославить собственную любовь к «правдежкам» и малым делам, то это его проблемы. Но Бородин здесь ни при чем.

Цитируя горькие размышления героя «Женщины в море» (кстати, пожалуй, единственного «лирического» персонажа Бородина, обычно он пишет как раз «чужое сознание», будь то московский интеллектуал Геннадий из «Расставания» или сибиряки «Третьей правды» и «Гологора»), Аннинский сознательно опускает важнейшее звено, заменяя его своими lamentациями («Я из поколения пятидесятых и шестидесятых, из поколения «конформистов», «коллаборационистов», «скованных» и «приспособившихся»). Но, слава Богу, кроме статьи «Правда и правдежки», есть еще и повесть «Женщина в море», — восстановим утраченное звено: «Уже вызревает на страницах прессы проклятие этой (брежневской. — А.Н.) эпохе, а как быть с людьми, у них другой эпохи уже не будет, их приспособление к новому обречено на пародийность».

Это презрение к «жителям»? Ведь ясно же (не нужны для того, чтобы прочесть написанное, ни филологическое образование, ни репутация «первого критика», ни искушение переплюнуть Розанова): Бородин любит своих «бухгалтеров, начальников отделов, костюмерш и завучей», жалеет их (недаром герой его так естественно общается с соседями по санаторной палате). Не любит он других и другое: «Есть нечто отчетливо лакейское в самом характере разрешенного свободомыслия. Всех этих нынешних голосистых я знаю и помню по прошлым временам, они были камуфляжем лжи, именно их выдвигали на рубежи и за рубежи для обольвания «всего прогрессивного человечества». И не прогрессивного тоже. Ныне они — прокуроры пропавших поколений, вот этих, что выпясывают сейчас на курортной танцплощадке...»

Здесь есть презрение, но не к «жителям». И не за то презирает Бородин нынешних «голосистых», что они искали в тоталитаризме «человеческое лицо» или ценили «нормальные человеческие реакции» («маленькие правдежки») выше «взрывающихся протестов и романтических противостояний» (Л. Аннинский), а за то, что с «поисков» своих и «правдежек» купоны стригли, да еще подводили под это дело очередную квазиидеологию. Презирает за самодовольство, и именно в тот момент (на сей день в прошлое ушедший; повесть датирована 1988 годом), когда «голосистые» переживали свой звездный час.

Не с «малыми делами» спорит Бородин, их-то он как раз готов принять. Поручкой тому и сострадательная энергия «Расставания», и раздумья героя «Женщины в море»: «Разве в те далекие годы моей юности не нашел бы я применение своей энергии в частном, но удостоверенно чистом деле? Разве может существовать общество сколь угодно порочное без оазисов добра и правды, где можно поселиться на жительство и прожить, не приобщаясь к пакости системы?» Писатель спорит с теорией малых дел, которая стоит любой другой теории и подозрительно легко превращается не то в пьедестал для идеолога, не то в бункер, где тот же идеолог может укрыться от неотступной третьей правды.

Так что зря Аннинский завершает статью евангельскими словами — теми же, что цитировались Кормером и Кублановским: «Невозможно не прийти соблазнам...» Знает Бородин, думается, лучше, чем его критик, окончание первого стиха 17-й главы Евангелия от Луки: «...но горе тому, чрез кого они приходят». Об этом писал он не только в последней повести, но и в куда болес ранней — «Повести странного времени» (1969).

Молодой герой узнает, что отец его был репрессирован, что мать отца предала, что тот, кого он почитал отцом, был винтиком системы, отца губившей, что сам он благодаря дьявольской игре «органов» несколько лет назад отконвоировал прямо в лапы истребителей жизни не шпиона или диверсанта, не просто одного из беглецов-лагерников, а именно своего отца, то есть что сам он — убийца. Оттепель отменяет тайны. «Хочу быть честным!» — криком кричит юноша, и это значит: «Не могу и не буду жить!» Прокляты мать и отчим. Решение окончательно: приговор себе, отчиму, матери, миру Божьему — самоубийство — состоится. Невольный иуда должен идти по пути Иуды до конца. И тогда — проклятье.

Но герой не иуда, он преодолевает последний соблазн и возвращается:

«Мертвое — мертвым. О мертвых будет разговор особый! Но живым — жить! И я буду звать его отцом. А кто же он мне, в конце концов!

...А потом мы все-таки расстанемся, мама! Но ты поймешь, что так нужно... Ты поймешь и благословишь меня.

Потому что я хочу быть честным! Хочу быть честным! Хочу!»⁴ Память о матери, предавшей, проклятой теперь, когда можно быть честным (вот она, параллель: оттепель — конец 80-х), но, что бы ни случилось, — матери, спасает героя. Спасает для того, чтобы мать была защищена.

Жертвенное служение женщине — матери, жене, любимой — вообще необычайно значимо для прозы Бородина. Катя, чья красота привела к кровавой трагедии, убийствам и самоубийствам трех людей в «Гологоре», вереница мучениц в «Расставании», мать героя в «Повести странного времени», предавшая мужа, и мать героя «Варианта», сельская учительница, «пробрежавшая» всю жизнь и разбитая параличом от «правдивого» укора своего ученика («Ну что, слышала про Сталина?.. Ткнул вас Никита мордой об стол! Степаныча-библиотекаря ты на Север упекла?»), возлюбленная того же героя, брошенная им ради «революционного дела», — все они вызывают совершенно особое чувство не только сострадания и любви — неподсудности. Разгадка в «Третьей правде» — Людмила, жена Рябинина и потаенная вечная любовь Селиванова, недаром сравнивается с царевной-лебедью. Словно блоковская музыка звучит при каждом ее появлении, и начинаешь понимать, что не только в ней — в каждой женщине видит Бородин олицетворение России. Даже в «морских женщинах» последней повести: в пьяной мафиозной красотке, собравшейся топиться, да, на беду, спасенной героем и оказавшейся в тюрьме, в ее дочери, что у матери отбила красавца любовника, обвела вокруг пальца и мафиози, и милицию, и героя повести и в финале бежит в Турцию. Да, даже в них.

— Ну, а понятие Родины, — бормочу неуверенно, — это у вас никак?

— Родина! — восклицает Людмила удивленно. — Моя Родина — вот!

Опускает стекло и выбрасывает руку к морю.

Для Людмилы всегда правдивое море, которое так не любит рассказчик, — антитеза лживой стране, ради которой он провел годы в лагерях. Ну что ж, Незнакомка и Фаина из «Песни судьбы» тоже не очень годились на роль России. Блок ее в своих «низких» героинях увидел. Страшно понять, что обманщица и жизнелюбка, почти животное создание и одновременно «Жанна д' Арк! Только с другим знаком. Не с минусом, а с каким-то другим» — тоже олицетворение твоей страны! У Бородина звучит другое, излюбленное им слово: «Больно». «Дрянь! Ах, какая дрянь! И как же это грустно, Боже, как грустно, что я больше никогда не увижу тебя... дрянь...» — повторяет герой, обращаясь не только к морю — к женщине, которая исчезла.

Нет, тут не о соблазнах речь. И ни в какую идеологию не уложится любовь к родине, лик которой может исказиться пострашней, чем во времена Блока. Тут проблема посерьезнее, чем не быть «размазней» между оперативниками и уголовниками. Здесь держит писателя только вера — не «религиозная идеология», не комплекс «волка-одиночки» и даже не абстрактный патриотизм, тоскующий по олеографическим красавицам с русыми косами. Только свободная вера внутренне свободного человека, то есть человека, умеющего чувствовать чужую боль и видящего жизнь высокой трагедией, а не фарсом, пусть апокалиптическим.

Подобная мера свободы изумляет. Ее надо объяснить, приспособить к той или иной «картине мира». Так у Аннинского конструируется Бородин-«индивидуалист», так у А.Агеева конструируется Бородин — «почвенник» и противник разума как препятствия на пути к вере⁵.

⁴ Нельзя не расслышать в крике несчастного страдальца названия популярной повести Войновича (1962). Бородин словно бы опровергает тогда еще легального писателя: вот что значит ваше дозволенное «хочу быть честным!» на самом деле. Вместо страданий сознательного прораба — душевный надрыз, вынести который нет сил, а не вынести — нельзя.

Подобная мера свободы не вписывается в нормы наших журнальных отношений. Мы удивляемся: Бородин печатается и в «Нашем современнике» («Третья правда» — 1990, № 1 — 2) и в «Юности» («Встреча», «Вариант», «Посещение» — 1989, № 11; «Женщина в море» — 1990, № 1; «Расставание»). Между тем писатель действительно связан непростыми отношениями притяжения-отталкивания и с либерально-молодежной традицией (здесь показательна не только «Повесть странного времени», но и «Встреча»: герой узнает в союзнике по немецкому плену своего лагерного «хозяина»-садиста, он не может быть с ним рядом даже сейчас, перед лицом общего страшного врага, это и губит обоих, перед расстрелом герой понимает, что обознался, — здесь свинцовой тяжестью налилась модель, опробованная Аксеновым в «Завтраках 43-го года»), и с традицией «почвенно-сибирской» (Аннинский с приметной иронией о «Третьей правде»: «После Шукшина, Зальгина, Распутина, Скалона — не ново»; конечно, не ново, если игнорировать трагедию и в и н у Рябинина, очень рельефно смотрящуюся именно на фоне другой сибирской прозы).

Но дело не в журналах и не во взаимодействии с современниками. Внутренняя свобода обеспечивает ошеломительную жанровую и тематическую широту прозы Бородина, что для нас опять-таки необычно. Мы привыкли к определенной монотонии даже наших лучших прозаиков, забыв, что свобода мировидения, открытость поэтической системы (вспомним Пушкина, которым клянемся на каждом шагу!) — зримый призрачный духовной раскрепощенности, той самой, что освобождает от любого соблазна.

А соблазны никуда не деваются, и тоска по идеологии, неотрывная от «идеологических подозрений», — один из них. Может быть, стоит хотя бы попробовать уйти от этого соблазна. Перестать страшиться деидеологизированного сознания, перестать видеть в нем пустоту, цинизм, пошлость. Перестать готовить рагу из кошки по старым «новым» рецептам. Не искать «идеологию» на каждом углу, поняв, что не такой она уж частый и важный компонент нашей культуры. Есть вещи поважнее. Например, литература.

⁵ Имеется в виду статья «На улице и в храме» («Знамя», 1990, № 10), где разбирается рассказ «Посещение» (стр. 233 — 234). Прочтение А.Агеева было оспорено мною в статье «Облачно с прояснениями» («Литературное обозрение», 1991, № 2), к которой, чтобы не повторяться, я и отсылаю интересующихся.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

СТРАННЫЙ ЖАНР

Григол Робакидзе. Убиенная душа. Роман. Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе. «Дружба народов», 1990, № 4.

Имя Григола Робакидзе, грузинского писателя-классика XX века, эмигранта с 1931 года (жил какое-то время в Германии, умер в 1962 году в Женеве), давно известно на Западе, где его произведения выходили на европейских языках, русский же широкий читатель без малого шестьдесят лет о нем скорей всего ничего не слышал и на страницах «Дружбы народов» откроет его для себя практически впервые. Впрочем, и первая после его эмиграции грузинская книга писателя на родине (однотомник, составленный из романов «Змеиная рубаха» и «Палестра») увидела свет в Тбилиси только в 1989 году.

«Убиенная душа» печатается в журнале в переводе с немецкого издания 1933 года. Поскольку из послесловия Ефима Курганова явствует, что роман написан на грузинском, читатель вправе удивиться, почему вместо перевода с оригинала ему предложен перевод с перевода. Это никак не объяснено, хотя дело, вероятно, в том, что, «к сожалению, грузинским оригиналом романа «Убиенная душа» мы не располагаем», как сказано в примечании к отрывку из романа в том же переводе, опубликованном в «Литературной Грузии» (1988, № 12). («Не располагаем» — конечно, лишь голый факт: неизвестно осталось, можно ли было как-то попытаться «располагать» — не в 1988 году, так в 1990-м, — но это уже другой вопрос.) Еще одна неувязка с послесловием Е. Курганова. Он настойчиво утверждает, что роман создавался «в конце двадцатых годов» (или: «в... книге угадано», «тогда, в двадцатые годы, это все-таки было не просто...» — и т. д.), между тем совершенно очевидно, что действие романа происходит в начале тридцатых. После «великого перелома», первых триумфов сплошной коллективизации, окончательного торжества генеральной линии над всеми оппозиционными блоками. Подчас названы даже точные временные координаты. К примеру, герой просматривает вырезки из иностранных газет: «В докладе, прочитанном кардиналом Фолхабером 6.8.1932 года...» Через десяток страниц в хронике советской жизни — попадание буквально в соседнюю хронологическую

точку, уже глубоко значимую, до сих пор кропотливо в народной памяти: «Было принято постановление карать смертной казнью за хищение колхозного добра», то есть принят печально знаменитый закон от 7 августа 1932 года. Таким образом, роман, изданный в 1933 году, писался на минимальной, почти репортажной дистанции от событий.

Задумаемся теперь: что же Робакидзе написал? как назвать жанр? Портрет бесчеловечного общества — вот что такое «Убиенная душа», вот чем она прежде всего берет за живое. По типу общества, по целеустремленно-разносторонней разработанности «портрета» роман родственен знаменитой антиутопии Оруэлла (1949).

В самом деле, «1984» вспоминается с первых страниц «Убиенной души», прямо-таки с первых слов. Тамаз Энгури, главный герой, встал утром, «зажег примус и поставил на него кастрюлю с водой. Через несколько минут вода нагрелась, и он начал бриться. Бритвы, правда, сильно притупились, но других у него не было. К счастью, какой-то приезжий, с которым Тамаз познакомился в театре, подарил ему точильный аппарат. И Тамаз дорожил им теперь так же, как горец дорожит своим хорасанским кинжалом».

У Оруэлла в начале романа Уинстон Смит тоже днем один в своей комнате окружен столь же убогим бытом («крохотная кухонька», в подезде «пахло вареной капустой и старыми половниками» и т. д.), лицо героя «шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода», и выясняется, что в Океании «множество вещей, таких, как шнуры и бритвенные лезвия, раздобыть... было невозможно».

Тупые и дефицитные лезвия для бритвы там и тут (только «хорасанского кинжала» у Уинстона не было). И тот же повествовательный принцип: житейская мелочь подана в резко укрупненном значении, тупой бритвой прочерчен острый штрих в характеристике системы. Так и с какой-нибудь деталью биографии, чуть не с любым жестом или переживанием героя — все служит поводом для моментальной

демонстрации (в меняющихся ракурсах) жуткого зрелища общественного мироустройства в целом.

Уинстон Смит повернул ручку вделанного в стену аппарата — и после нескольких слов пояснений (это телекран, не только вещающий о выплавке чугуна, но слышащий и выдающий героя) сразу возникает общий план: «Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей — об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки... Приходилось жить — и ты жил, по привычке, которая превратилась в инстинкт, — с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают».

Тамаз Энгури со страхом задумывается, не сказал ли он на дискуссии в Госкинпроме чего лишнего, и тут же переход к обобщенной картине: «В мозгу. Тамаза вдруг всплыл «тайный стол». Любой орган власти имеет такой стол, который невидимыми нитями связан с ГПУ. Здесь собраны сведения обо всех сотрудниках того или иного учреждения... Все знают, что за каждым его шагом следят, что произнесенное им слово подслушивается... Соглядатай незримо присутствует везде, и тем он опаснее. Социалистический коллектив делает необходимым это соглядатайство, существование этого тайного ока. Бог умирает, и его место занимает это тайное око. Его действие обладает атмосферными свойствами. Уже лишь благодаря внутренней, почти мистической мимикрии многие люди обретают в этой атмосфере шестое чувство, помогающее уклониться от бдящего ока. Пробуждается какой-то странный инстинкт: разговор проходит таким образом, что из него нельзя ничего понять». В антиутопиях, как правило, символичен и род занятый героев. Вот еще пример знаменательной переключки. Уинстон служил в прославленном Министерстве правды в отделе документации, дено и ношно подгонял историческое прошлое под сегодняшний курс партии. Помните: если Океания в союзе с Евразией годами воевала с Остзией, а сегодня, наоборот, союзник вдруг стал врагом, а враг — союзником, в документах от вчерашних взаимоотношений держав, будьте уверены, не останется и следа — Министерство правды обеспечат. Ны и не ш и й враг всегда воплощает а б с о л ю т н о е зло. «Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией». Уинстон знал, конечно, что это не так, «но знал украдкой — и только потому, что его памятью не вполне управляли». Как партийному функционеру ему приходилось неустанно побеждать собственную память, что называлось покорением действительности, на новоязе —

двоемыслием, отсюда и парадоксы последнего: «...зная, не зная; верить в свою правдивость, излагая обдуманную ложь... логикой убивать логику; отвергать мораль, провозглашая ее; полагать, что демократия невозможна и что партия — божество демократии» — и т.д.

«Покорением действительности» за пятнадцать лет до Министерства правды занимался и Госкинпром, где в сценарном отделе (так, наверно, надо перевести, а не в «отделе рукописей») работал Тамаз, — оснащенный инструментом «покорения», аналогичным двоемыслию, — диалектикой. Подобно Уинстону он, естественно, тоже столкнулся с парадоксами и сложностями, понимал, как трудна его задача. «В тексте (сценариев. — А.А.) все должно было соответствовать диалектике. Вместе с тем все детали должны были компоноваться таким образом, чтобы содержание текста не вызывало ни малейшего сомнения в окончательной победе пролетариата». В этом-то была вся трудность. «Если рассматривать два каких-нибудь элемента с точки зрения диалектики... истина на стороне каждого, ибо лишь в борьбе между двумя элементами возникает третий, то есть то новое, что примиряет первые два элемента». Но для такого подхода надо быть «сторонним наблюдателем, относящимся нейтрально к обоим элементам. Как только он обратится в какой-нибудь из этих элементов, сразу же утратит свое диалектическое видение и будет искать истину лишь в этом одном элементе. Быть участником борьбы элементов и сохранить при этом диалектический подход удалось пока лишь Азефу, служившему, как известно, в довоенной России одновременно как царской охранке, так и революции». Подкупает сплав жгучего сарказма и лекторской невозможности в обрисовке ситуации. Получается, что «диалектический метод применим лишь по отношению к прошлому, в самой же борьбе элементов для него просто-напросто нет места», — как быть? Как раз в то время «эта проблема... обнаружилась повсеместно: в литературе, театре, но особенно в кино: ведь «в кино действительность изображается в самом что ни есть обнаженном виде», потому и «все проблемы, связанные с диалектической точкой зрения» (сиречь с «покорением действительности!»), встают здесь наиболее остро. Шли бесконечные дискуссии, но кинопродукция не ждет результатов дискуссий, «требовался опытный специалист, который был бы в состоянии быстро найти выход», таким «специалистом» и был Тамаз. Чем не Оруэлл до Оруэлла?

Но Океания с Евразией и Остзией, с телекраном-шпионом, Министерством правды, двоемыслием и т.п. — все же именно утопия, плод воображения. Советская же страна с «социалистическими коллективами», ГПУ, дискуссиями о «диалектическом методе» в Госкинпроме и т.д. — отнюдь не утопия, не «место, которого нет»

(от греческого *π* — нет, и *τοπος* — место). Так что «Убиенная душа» — антиутопия без «у», так сказать, антиутопия. Или, если угодно, говорим же мы «регулируемый рынок», «демократический социализм» («больше демократии, больше социализма!»), реалистическая антиутопия. Такой странный жанр.

Многое в своеобразии романа с этой странностью связано, ему подразумевается или из нее вытекает.

Одно дело судить тоталитарное общество внешне, прогнозировать и заострять его образ, чтобы оно в твоей части света как раз не возникло (что и сбудется), и совсем другое — писать о нем изнутри, на собственной шкуре зная, что это такое, быть его судьей и одновременно (или только вчера) его гражданином и его жертвой, еще и на воле не остывшей от его тяжелых объятий. Не случайно роман хранит горячий след текущих событий (возможно, шел в набор, что называется, с колес), не случайно и то, что, оказавшись на Западе, Робакидзе, я полагаю, действовал по принципу «дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке». Оттого в романе нельзя не ощутить непосредственного присутствия автора, всей многогранности его творческой личности. Для классических антиутопий XX века (Замятин, Хаксли, Оруэлл) это, как правило, нехарактерно, само их жанровое назначение требует, чтобы автор растворялся в объекте изображения. «Убиенная душа», напротив, проникнута напряженным лиризмом. Проблема, поставленная как центральная в книге, остро переживается автором. Сложному лиризму романа присуще метафизическое измерение (чего непосредственно у Оруэлла нет). «Обезбоживание мира — это основное течение в Советской стране» — духовная ось всего происходящего в романе.

Обезбоживание воспринимается в нем как космическая драма, современность глядится в вечные зеркала мифологии. Главные герои — писатель Тамаз (он не только сотрудник Госкинопрома) и машинистка Ната — сознают себя (всячески поддерживаемые автором) соответственно Таммузом и Иштар. Но рядом с вавилонской древностью в роли источника мифологии может, в сущности, выступить и Достоевский. (От древнего Востока до Достоевского — таков диапазон экзистенциальных увлечений Робакидзе, свидетельством чему и самый известный его роман «Змеиная рубашка», и его эссе о Достоевском.) За маргиналии к «Бесам» ГПУ, собственно, и арестовало Тамаза Энгури. Вот одна из его записей: шпигальщина у нас «осуществлена на практике. Шпионаж — это теперь атмосферная реальность; и не исключено, что уже и небесные тела начали шпионить друг за другом...». «Атмосфера» — любимое слово. В другом месте о герое сказано, что он «внутри своим воспринимал события, кожным покровом

нащупывал действительность, словно читая в атмосфере тайную, ненаписанную хронику». Затем следует глава, так и названная, — «Хроника Акаша»¹. Выдержки из этой хроники, лишь «атмосферно» связанной с сюжетом героя, позволяют почувствовать своеобразие романа. Тут и прямое объясняющее слово: «старые законы жизни» разрушены, от «действительности» остался «лишь призрак», «материалистическая догма». «Не было силы, на которую все могли бы опереться. Районный комитет ждал указов и генеральной линии от областного комитета, областной — от краевого, а последний — из Москвы. В конце концов оставался лишь Центральный Комитет, а здесь повторялось то же самое: один оглядывался на другого, этот на третьего, третий на четвертого, и так до высшей инстанции. Этот ряд кончался генеральным секретарем». Тут же — за геометрически наглядной (по сей день актуальной) демонстрацией секретарской цепочки — и общий план, вид сверху на идейную рябь общественных катаклизмов: «Словно чума, прокатилась по Советской стране волна саморазоблачения и самокритики. Какой-нибудь уклонист публично каялся и давал клятву, что никогда больше не поддастся искусшению» — и т.п.; а на соседних страницах — панорамный обзор событий с пунктирным вкраплением полуприщечных эпизодов в мифопоэтической ауре: «Крестьянин не мог приспособиться к колхозу, да и не только крестьянин — даже скот. Бык взламывал своими мощными рогами дверь коровника, покидая коллективные ясли, и рвался на свой привычный двор. Комсомольцы преследовали его, охаживали плетью. Вернувшихся домой животных дети встречали ласково, с сияющими от радости глазами. Глаза быка наполнялись слезами». Плачущий этот бык напоминает мне лермонтовских верблюдов из «Демона»: «На трупы всадников порой/Верблюды с ужасом глядели, или телят, осликов, волов немецкой средневековой религиозной живописи.

«В Африке, — читаем в романе, — бездетная супружеская чета совокупляется на цветущем поле, чтобы взять у земли ее плодотворящий дар, ибо там, в земле, или на земле, происходит нечто похожее на то, что совершается между мужчиной и женщиной». Колхозы несли земле «лишь насилие, но не оплодотворение», крестьянин «воспринимал это новое как умерщвление, как осквернение матери. Он видел, что земля принадлежала ему так же, как жена, что виноградник плоть от плоти его, как и его сын... «Нет, здесь творится что-то нечистое, несправедливое», — думал крестьянин». Обезбожива-

¹ А к а ш а, как раз атмосфера, пространство на санскрите, одно из понятий джайнизма (сообщено мне П.А.Григорьев), «неделимая и бесконечная нематериальная субстанция», хотя и «не-душа» (Философская энциклопедия. М., 1960, т. 1, стр. 469).

ние мира, «это основное течение в Советской стране», изливается в романе как бы по двум руслам. Комсомольцы, бывшие плетью несчастного-быка-беглеца, которым старый крестьянин сказал: «Дайте быку хоть сегодня переночевать в своем хлеве», олицетворяют одно из них. Другое русло обозначено замечательной историей с теми же участниками, вспомнившейся Тамазу в начале романа. «В каком-то местечке Грузии комсомольцы буквально напали на чудотворную икону... ворвались в маленькую церквушку. Один из нападавших бросил икону на пол и стал в слепом бешенстве топтать ее ногами. Застывшим и онемевшим от удивления крестьянам он бросил: «Пусть-ка ваша всемогущая икона меня покарает!» Наступившую тишину нарушил старый крестьянин, который тихо сказал: «Разве тебе мало того, что она с тобой сделала?»

В сущности, перед нами здесь та убиенная душа, о которой говорит заглавие, — роковой результат обезбоживания (впрочем, и предпосылка его — как тут разделить?). Но в первую очередь заглавие романа относится к главному герою Тамазу, и, надо заметить, рассказ об убиении его души на редкость удался писателю. Для антиутопий это опять же не очень характерно: у Оруэлла навсегда запоминается новояз, двусмыслие, Министерство правды, Министерство любви и т.п., но кто помнит судьбу Уинстона? Прочитавши «О дивный новый мир» Хаксли, все тем более помнят только «мир». Тамаз в романе Робакидзе движет сюжет, через него же в основном увидено и осмыслено все творящееся вокруг, сюжетная связь рвется от непомерной нагрузки, приходится скреплять ее «пометками» (на страницах «Бесов»), «заметками» (о «ненавистнике жизни» Сталине), «хроникой», воспринятой «кожным покровом», иногда кажется, что от героя остается лишь композиционная функция. Но нет. Герой живет, и линия его судьбы прослежена со впечатляющей убедительностью. Страх, колебания, попытка ухватиться «хоть за какой-нибудь корешок» революционной «правды» (должна же быть таковая в революции!?) то и дело небезуспешно толкают Тамаза, одного из «наиболее видных литераторов» Грузии, к гражданскому

конформизму, в глубоком изображении Робакидзе до боли знакомому. Наверное, внутренняя нерешенность вопроса об этой «правде» (за гранью саморазоблачаемого самообмана) и подрывает стойкость Тамаза на следствии в тюрьме ГПУ (сравнительно «вегетарианском» для него лично), где он выдает своего друга Левана, молодого человека с «типичным для грузина лицом», — был он «живой волной» радости жизни, воплощением самой души Грузии. Левана расстреляли, он тоже — убиенная душа.

Впрочем, в финале Тамаз на пути к *via puova*, у него с Натой будет сын Леван, ночью в горах под «замирающие звуки Гармонии» слышит Тамаз голос расстрелянного: «Успокойся!» — и взывает в ответ: «Леван! Леван! Прости меня!» — и т.д., но это уже эфирная патетика, не более.

Таммуз — умирающий и воскресающий бог: как Таммуз, герой, может быть, и воскрес, но его возрождение в человеческой ипостаси не состоялось.

Зато машинистка Ната силой искусства жива и реальна именно как Иштар; в великолепно написанных главах сюжетного ответвления «Ната — Берзин» она одолевает жестокий любовный искус и в лице вчерашнего чекиста, ныне заведомом культуры Закрайкома, сурово-вдохновенного партийца троцкистского закала, «холодного, точно нож гильотины», развенчивает «настоящий эпос» революции, верней (добавлю от себя) ее зрос (в духе «красный цвет моих республик...»).

Светлый финал воздушен, да и Леван почти бесплотен. Но тем грустнее дочитывать роман.

Многое из того, что еще можно и нужно было о нем сказать, здесь за недостатком места опущено. Я, в сущности, лишь попыталась определить верный (в моем, конечно, понимании) угол зрения на него.

Время сейчас трудноватое не только для пера, а и для восприятия написанного пером истинного художника. Но эта книга из тех, которые можно читать в самую трудную минуту.

Аида АБУАШВИЛИ

ВЫЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Н. Берберова. Железная женщина. Рассказ о жизни М.И.Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и о ее друзьях. «Дружба народов», 1989, № 8 — 12.

Н. Берберова. Курсив мой. Главы из книги. «Октябрь», 1988, № 10 — 12.

Н. Берберова. Курсив мой (Автобиография). «Вопросы литературы», 1988, № 9 — 11.

Нина Берберова. Аккомпаниаторша. Повесть. «Аврора», 1990, № 2.

Странное и жуткое преимущество предоставил XX век русской литературе: для того чтобы выразить предельное напряжение так называемой экзистенциальной проблематики, пи-

сателям необязательно было обращаться к вымыслу. Они вполне могли обойтись без мрачной фантазмагии «Замка» и тягучего кошмара «Процесса», им не нужно было выдумывать

город, отрезанный от мира чумой. Сюжеты и образы, поставляемые нашей действительностью, по своим художественным возможностям вполне способны конкурировать с фантазиями Кафки, Камю и Кортасара.

Это печальное — для нашей действительности — «преимущество», увы, нисколько не облегчало понимания литературных текстов. Слишком легко и естественно символика художественного образа переносится читательским сознанием в сугубо бытовую историко-хроникальный ряд. В качестве примера сошлюсь на одно из самых сложных произведений последнего времени — роман-притчу Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей», большинством просвещенных современников прочитанный как беллетризованная автобиография, обличающая сталинский террор, не более того.

Легко предположить, что подобная судьба может ожидать и книгу Нины Берберовой «Железная женщина» (1980). Повествование в ней опирается только на факты, свидетелем или участником которых был автор, на документы, мемуары и их анализ. Однако отнестись к этой книге только как к очередному свидетельству очевидца и хроникера означает, на мой взгляд, пройти мимо серьезного явления в русской литературе.

Нина Николаевна Берберова — в числе наиболее известных, но до последнего времени закрытых для нас писателей русской эмиграции. Она уверенно чувствует себя чуть ли не во всех жанрах — стихах, прозе, эссеистике, литературной критике и т.д. Но, похоже, самые важные и дорогие для себя мысли она прибегала для книг, написанных в виде документального повествования.

Читателя «Железной женщины» не должна обманывать скрупулезность Берберовой-документалиста, перед нами, по сути, роман. Здесь нет никакого противоречия, ибо факт сам по себе нем, внятним, осмысленным его делает только сопоставление, только сориентированность на ряд других фактов. Не факты выстраивают в документальном повествовании мысль, а скорее художественная мысль строит из фактов сюжет и образ.

«В 1938, в 1938, в 1978 годах я знала, что напишу о ней книгу», — сказано в авторском предисловии к «Железной женщине». И уже в этом замечании — подход романиста. Берберова рано почувствовала, какой подарок сделала ей судьба, сведя ее с М.И.Будберг. Она дала писателю образ, способный стать ключевым в художественном осмыслении, может быть, самых больших и сложных вопросов, поставленных перед русской (и не только русской) интеллигенцией XX веком. «Обстановка и эпоха — два главных героя моей книги», — утверждает автор.

«Железная женщина» — это рассказ об удивительнейшей женщине нашего века баронессе

Марии Игнатьевне Будберг (графиня Закревская — в девичестве, графиня Бенкендорф — по первому мужу, а для близких и автора — просто Мура), о ее судьбе и о судьбе ее друзей, в круг которых в разное время входили люди, определявшие лицо столетия. О многолетней подруге Локкарта, Горького, Уэллса. О женщине, которую одни считали английской шпионкой, другие — немецкой, третьи — сорудницей ВЧК. О женщине, пользовавшейся репутацией одной из самых блестящих, одной из самых обаятельных, умных, талантливых в своем времени. Лондонская «Таймс» почтила ее смерть в 1974 году некрологом, названным «Интеллектуальный вождь».

...Дочь сенатского чиновника, жена русского дипломата Мария Бенкендорф приезжает зимой 1917 года в уже революционный Петроград выяснить возможность переезда семьи из имения в Эстонии на городскую квартиру, и здесь настаивает ее известие о том, что мужиками убит в имении муж, дом подожжен, гувернантка с детьми скрывается. Вот с этого момента и начинается ее судьба «железной женщины». Мура вступает в борьбу за то, чтобы выжить. У нее нет ничего, кроме молодости, ума, воли, желаний и мужества жить. Трижды ее арестовывает ЧК, и конец обещает уже первый арест — она взята на квартире английского полудипломата, полуразведчика Локкарта как его подруга и как участница контрреволюционного заговора. Однако Мура смогла не только выбраться из тюрьмы, но и освободить обреченного Локкарта. И простившись с ним на вокзале, начать все сначала в пустом и враждебном для нее городе, без документов, жилья, средств к существованию. Через несколько месяцев она появляется в квартире Горького как литературный сотрудник, а чуть позже занимает за обеденным столом семьи Горького место хозяйки. Но время набирает обороты, и вот уже «буревестник революции» готовится к отъезду из России. Он больше не опора Мура. И она продолжает борьбу в одиночку: попытка перейти по льду Финский залив, закончившаяся арестом и тюрьмой ВЧК; с трудом добытые документы на выезд в Эстонию; снова арест и тюрьма, на этот раз эстонская; освобождение, фиктивный брак, смена имени и титула (теперь она баронесса Будберг), отъезд в Европу, возобновление жизни в семье Горького и одновременно скрытое и упорное налаживание собственных связей, постепенное вхождение в литературные, кинематографические, дипломатические круги Европы. В финале книги мы видим Муру одной из центральных фигур лондонского света, окруженную друзьями и почитателями.

Подобная судьба может принадлежать только женщине действительно незаурядной. В чем сила Муры? Прежде всего в отсутствии инфантильности, в умении трезво видеть и оценивать свои возможности и свое время, в умении не

питать на его счет никаких иллюзий и при этом не леденеть от ужаса, не «каменеть от облика грядущего», но — действовать.

Близкий по материалу и даже — отчасти — по замыслу воспринимается книга воспоминаний Берберовой «Курсив мой» (1960 — 1966), в центре которой образ другой женщины — самой повествовательницы. При значительной (я бы сказал, принципиальной) разнице этих образов сближает их вот это изначальное — как бы природное, а не приобретенное — знание и понимание своего времени. Черта, выделенная в «Курсиве» настолько резко, что поначалу способна даже шокировать читателя. Ибо в восприятии Берберовой инфантильностью отмечен чуть ли не весь сформированный XIX веком комплекс жизненных представлений и установок, с помощью которых человек определял формы и стиль своих взаимоотношений с миром, комплекс, традиционно считавшийся нормой поведения.

Берберова очень рано узнала «вкус пепла на губах». Переломным в ее духовной биографии стал день смерти Блока. В тот день она почувствовала, что «умер не только Блок, что умер город этот... кончается период, завершается круг российских судеб...», «тот август — рубеж. Началось «Одой на взятие Хотина» (1739), кончилось августом 1921 г., все, что было после (еще несколько лет), было только продолжением этого августа: отъезд Белого и Ремизова за границу, отъезд Горького, массовая высылка интеллигенции летом 1922 года, начало плановых репрессий, уничтожение двух поколений...». С первых же эпизодов «Курсива», повествующих о вхождении тогда еще молодой девушки и начинающей поэтессы в литературные круги Петрограда 1918 года, поражает жесткость и трезвость ее оценивающего взгляда. Молодой Берберовой, у которой начало сознательной жизни совпало с тяжелой повседневною русской революции, отбивавшей охоту к воспарениям, поза «победительного мужчины», конкистадора, выбранная Гумилевым для ухаживаний за нею, кажется безнадёжным анахронизмом, досадной слабостью умного и талантливого человека. Странности поведения, культивируемые Гумилевым, способны вызвать у нее только иронию. Переоценке подвергаются и его стихи: «...я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их искусственность для нашего времени». И даже гибель поэта имеет в глазах Берберовой некий досадный оттенок — слишком серьезные и суровые наступают времена, чтобы принимать романтические позы заговорщиков...

И М.Будберг и Н.Берберова избежали уготованной им «лагерной судьбы». Но утверждать, что, например, Берберова, выехавшая из России вместе с Ходасевичем, спряталась от русской истории в Париже, было бы несправед-

ливо. Эмигранты первой волны как бы несли в себе всю экстремальность русской истории. Никакие европейские мерки отверженности к ним не подходили. Вот классический вариант бедности по-европейски, запечатленный Хемингуэем: «...когда ты беден — а мы были по-настоящему бедны», вспоминает он, то ты живешь в двухкомнатной квартирке без теплового туалета и ванной, считаешь естественным «носить для тепла свитер вместо нижней рубашки», для работы снимаешь гостиничный номер под самой крышей или пинешь в кафе, где после завершения работы можно заказать дюжину дешевых устриц и полграфина сухого белого вина, а отдыхать на зимних курортах приходится тогда, когда там кончается сезон. И при этом у Хемингуэя и его окружения всегда была возможность вернуться домой, на родину, к друзьям и близким, к работе, обеспечивающей нормальную жизнь.

Русским эмигрантам возвращаться было куда, а быт их мало походил на «суровую бедность» артистической богемы Парижа. «У нас была кастрюля, — вспоминает Берберова в «Курсиве». — В маленькой кухне я стирала и развешивала четыре простыни. Смены постельного белья не было». «Денег не было вовсе. Когда кто-нибудь приходил, я бегала в булочную на угол, покупала два пирожка и разрезала их пополам. Гости из деликатности до них не дотрагивались».

Но над ними висела еще одна страшная тяжесть, неведомая Хемингуэю, — сознание гибели культуры, которая их взрастила и последними представителями которой они себя чувствовали. Они были беженцами в точном смысле слова, погорельцами, успевшими выскочить из горящего дома. Берберова не позволяла себе даже того утешения, которое поддерживало многих русских эмигрантов и которое сама она относала к проявлениям инфантильности, — утешения мыслью, что причина российских бед в злой воле чучки политиканов, захвативших власть. Берберова не могла не видеть в национально-исторической судьбе России глубинных корней происшедшего.

...И героиня «Железной женщины» и героиня «Курсива» боролись, но каждая за свое и посвоему.

Для Муры выжить означало не только остаться живой. Не погибнуть — «значит, не опуститься на дно жизни, не примириться с отсутствием книг, музыки, чистого белья, теплой одежды, с отсутствием вокруг знающих, способных, живых людей...», не превратиться в одну из женщин с «заскоруждыми ладонями от чистки чужих квартир, с мозгом, затвердевшим, как асфальт, от всего пережитого, которого они не могли ни осилить, ни осмыслить». Именно поэтому Мура выбирает вариант судьбы, позволяющий ей всегда «держаться лицо».

Стремление выжить и победить требовало от нее иногда такого, о чем, может, лучше бы и не знать читателям. Бестрепетность, с которой Берберова заглядывает в уголки биографии Будберг, всю жизнь охраняемые той от чужого глаза, рискует показаться даже аморальной. Но писательница прежде всего дает образ своего времени, и судьба Муры — всего лишь один из его знаков. Это огнюдь не разоблачительная книга, а коль считать ее таковой, то разоблачает она не героиню, а ее время. Сама Мура вызывает у Берберовой если и не восхищение, то искреннее сочувствие. И здесь неизбежно сомнение: достойно ли бороться за жизнь такими способами, к каким прибегает Мура, и можно ли при этом так откровенно сочувствовать героине, как это делает автор? Об этом ниже. Но на первый случай нельзя не признать, что в ситуациях, как теперь говорится, беспредела человек вынужден защищать последнее, что у него осталось, — право на жизнь. И возмущение должно быть адресовано прежде всего обществу людей, допускающему подобные непосильные ситуации, а не жертве этих ситуаций.

Эпоха, в которую жила Мура, ломала людей, защищенных, казалось бы, гораздо надежнее, чем она. Один из центральных в книге — портрет Горького. Берберова этап за этапом начиная с 1918 года анализирует трагедию этого человека. Существовал и увеличивался с годами разрыв между реальным Горьким и ролью, на которую он — отчасти добровольно, отчасти под давлением — согласился: ролью певца русской революции, чуть ли не символа ее в литературе. Уже на исходе 10-х годов Горький начинал смутно догадываться, что он не дотягивает до своей славы: он чувствовал, что время обходит его как писателя, раздражался, будучи не в силах понять новые литературные веяния, пытался в меру сил (а в 30-е годы силы эти удесятерились поддержкой карательных органов) подморозить литературное развитие в России. Явно не соответствовал он и выбранной роли как человек и как общественный деятель. Призывавший к ярким героическим деяниям, сам он быстро терял способность к ним. Между тем новой власти он оказался не ко двору. Открытая враждебность Зиновьева, а заодно и «дружеская забота о здоровье» самого Ленина («Уезжайте! а не то мы вас вышлем») вынудили Горького покинуть Россию. Жизнь в Европе, предоставлявшая широкие возможности для свободного творчества, оказалась Горькому опять-таки не под силу. Падение тиражей его книг, падение доходов, наметившееся падение популярности и влияния в России и на Западе угнетало его. К борьбе за то, чтобы утвердиться как писателю в своем новом положении, он готов не был. Берберова далека от того, чтобы преувеличивать разногласия Горького с новой властью России, но тем не менее возвращение

Горького в СССР изображено ею как сдача на милость победителю. Поставив свое имя под лозунгами классовой непримиримости, оправдывающими террор, став одним из оплотов диктатуры, он сам оказался раздавлен ею.

Мура видела и понимала Горького, может быть, лучше других в его окружении. И для Берберовой принципиально важно то, что точки, в которых пересекалась судьба ее героини с судьбой Горького, как, впрочем, и с судьбой Уэллса, а отчасти и Локкарта, были, как правило, точками их слабости. Всех этих ярких, сильных, знаменитых мужчин тянуло к Муре как к человеку, обладавшему тем, чего не хватало им, — умением жить в своем времени, умением не поддаваться его разрушительным силам. Умением бороться и побеждать.

Мура победила. Но какой ценой? Это, повторяю, один из центральных вопросов в «Железной женщине».

Личность для своего нормального, «развернутого» существования обыкновенно могла рассчитывать на определенное пространство, у нее было как бы несколько взаимосвязанных сфер обитания — страна, родина, призвание и профессия, круг друзей, круг родных и близких. Но для Муры действительность повернулась так, что пространство страны, родины заделено и пытаться жить в нем означало замерзнуть. Что касается призвания, то во многих сферах русской жизни в XX веке профессия под давлением так называемых государственных интересов начинает быстро фальсифицироваться (это коснулось не только областей, связанных с идеологией — истории, экономики, философии, культуры, — но и таких, казалось бы, нейтральных, как математика или биология). Иными словами, ж и т в профессией становится невозможно, профессией можно только зарабатывать. Поменял XX век и образ «круга друзей», он пополняется уже привычной для нас фигурой сексота, стукача (выразителен в этом отношении у Берберовой верный и бесценный секретарь Горького Крючков). От друзей Мура пряталась непрестанно, мало кто знал или даже догадывался о реальных обстоятельствах ее жизни, довольствуясь той легендой, тем мифом о себе, который Мура создавала и поддерживала. Зашаталась под натиском новых времен и традиционная опора человека — семья, круг родных («Мой дом — моя крепость»). Берберова показывает, например, какие страшные сквозняки выдували тепло и согласие из семьи Горького: бывшие жены, настаивающие на возвращении Горького в СССР (да и сама Мура, приложившая к этому руку), вмешательство в жизнь семьи всемогущего Ягоды, лишившее невестку доброго имени, а сына Горького — жизни. Мура же отказывается от семьи с самого начала. Ее семейная жизнь, с точки зрения человека XIX века, противостоит естественна и ужасна: откровенно фиктивное замужество (с баро-

ном Будбергом Мура расстается на следующий же день после свадьбы), устранение от воспитания собственных детей, самое большее, что она могла позволить себе, это оплачивать их содержание и образование. И вряд ли с Горьким или Уэллсом, чьей фактической женой она была в разное время, ее связывала внутренняя близость, здесь чувство смешивалось с расчетом. Ибо каким бы близким ни казался человек, подпускать его с л и ш к о м близко Мура считала опасным.

И наконец, последнее убежище человека — его интимные друзья. Но и здесь Мура прошла выучку у своего времени: в 1918 году на допросе в ЧК ей были показаны фотографии, запечатлевшие ее наедине с Локкартом. Это уже почти оруэлловский вариант тотального контроля над человеком.

Казалось бы, отнимая у человека все сферы его душевной жизни, время отнимает у него саму жизнь. Но Мура в ы ж и л а . Ч е м ? Где то неведомое пространство, в котором укрывалась ее душа? Какой источник питал ее энергию? Вот именно здесь, в этих вопросах, главная загадка образа Муры, а отнюдь не в темных, непроясненных фактах ее биографии. Может быть, для нас самое страшное как раз то, что Мура выжила. Самое страшное — в формуле, которую воплотил загадочный иероглиф этой судьбы: «жить, чтобы выжить».

Вспомним привычный ужас русских литераторов перед силой, которая воплощалась для них в образе железа, вторгающегося в теплую, трепетную ткань жизни («Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век»). И как непоправимо, казалось бы, поменялись времена, когда в нормативной лексике соцреализма торжествующе и пафосно зазвучало: «Железный поток», «Как закалялась сталь», «Гвозди бы делать из этих людей» и т.д. и т.д. В прозвище, данном когда-то Муре друзьями и повторенном Берберовой в названии, вместе с восхищением звучит содрогание перед противоестественностью железной силы.

Разумеется, старческие слабости и падения Горького и Уэллса, описанные Берберовой, могут внушать и жалость, и брезгливость, и отвращение, но как бы ни был ужасен распад живого человека, как бы ни было глубоко его падение, в самом этом падении, в самом распаде, быть может, больше признаков человеческого тепла, нежели в железной несокрушимости Муры. Странная, загадочная особенность этой личности: все, общавшиеся в последние годы с Мурой, с восторгом, абсолютно искренним, говорили об ее уме, обаянии, умении вести беседу, но вот вспомнить, о чем были эти беседы, в чем проявлялся блестящий ум «интеллектуального вождя», никто так и не смог. И был ли там ум? И была ли — жизнь? И является ли сила Муры действительно силой? А ее победы — действительно победами?

Важность этих вопросов Берберова почувствовала сразу, наблюдая за Мурой еще в 20-е годы, — «встретила я ее не для того, чтобы учиться у нее, а для того, чтобы, смотря на нее, выжить по-своему...». Для Берберовой вопрос «как выжить?» всегда включал еще и вопрос «ради чего?».

Выжить, спастись от террора для того, чтобы медленно агонизировать вместе с собратьями по несчастью? «„Погибнуть“ в те времена и в России, и в Европе не всегда значило умереть, это очень часто значило продолжать жить, но быть раздавленным войной, тюрьмой, ссылкой, отверженностью, нищетой, одиночеством, изгнанием». Что выбрать — внутреннюю зависимость от эмигрантского круга, во многом оттородившегося от живой жизни Запада своей болью, своим несчастьем? или отдаться тому чувству свободы, которое рождалось у повествователя «Курсива...» от «жизни в западном мире и... собственной молодости, от книг, которые... читала, от людей, с которыми встречалась и сближалась»? Что правильнее — хранить в себе убивающее тебя тоской и безысходностью прошлое или порвать с ним во имя его же самого? Может быть, отзвук этих размышлений Берберовой мы найдем в сюжете ее повести «Аккомпаниаторша», написанной в 1934 году. Это повесть о двух молодых русских женщинах, оказавшихся в эмиграции, — о вианистке Сонечке, всем своим обликом, своей судьбой как бы персонализирующей в повести драматизм положения русских эмигрантов, и о певице Марии Николаевне, женщине, богато одаренной талантом, работоспособностью, удачливостью, наконец — красотой и редким даром радоваться жизни: «Вот и смерть задела меня, а я все не могу утратить ощущения какого-то постоянного своего счастья». Происходящее в семье приносит страдания обеим женщинам, но если Мария Николаевна страдает от невозможности соединиться с любимым, если она страдает от з н и , то Сонечке приносит боль как раз отсутствие жизни и в ней и вокруг нее. И как бы ни сочувствовали мы Сонечке, повесть убеждает в праве Марии Николаевны на счастье, праве на жизнь, а не на умирание.

Среди образов русских писателей в эмиграции («Курсив мой» предлагает целую галерею их портретов — Бунин, Мережковский, Гиппиус, Ходасевич, Зайцев, Андрей Белый, Ремизов, и это еще далеко не все), принципиально важна для Берберовой фигура Набокова. Это писатель, как бы позволивший себе быть абсолютно независимым от коллективных чувствований его среды, позволивший себе полноценную жизнь в литературе уже не только русской, но европейской; и тем самым он не только не предал русскую литературу за рубежом, но напротив — дал ей новый жизненный импульс. Явлением Набокова, утверждает автор, «все мое поколение было оправдано».

«Жив Набоков, значит, жива и я!» Набоковский вариант поведения в выпавшем на их долю раскладе обстоятельств — это как раз то, на что ориентировалась Берберова. Этот вариант позволял не только выжить, но и не погибнуть. По Берберовой, в участи русских литераторов-эмигрантов уже заложена возможность выхода к универсальным проблемам столетия. Нужно только в новой жизни найти верное место своему уникальному опыту, а не отгораживаться от нее этим опытом.

Так, замкнутость только в своей узконациональной тематике, в традиционной эстетике (и даже языке) означала бы гибель набоковского таланта. «И языковые эффекты, и национальная психология в наше время как для автора, так и для читателя, не поддержанные ничем другим, перестали быть необходимостью». Вот это «другое» — экзистенциальная сущность пережитого русскими в начале XX века и перенесение этого опыта в русскую и мировую литературу — было у Набокова.

Подобный вариант противостояния своему времени, а точнее вариант жизни в своем времени, жизни со своим временем, парадоксальным образом опровергает «вариант Муры», выбор полной изолированности от всех и вся. Ибо у человека, в данном случае у Берберовой, через призвание обретается остальное — и родина, и друзья, и близкие, и право на свободу в новой жизни. Путь, найденный Берберовой, — не «жить, чтобы выжить», но «выжить, чтобы жить».

Конечно, у самой Берберовой такого лобового противопоставления нет. Берберова предложила свое понимание времени, а уж какие выводы, в том числе и практические, следуют отсюда, решать нам, читателям и жителям второй половины столетия, отнюдь не снявшей заданных в ее книге вопросов, но напротив — обострившей их.

Сергей КОСТЫРКО.



ТРАПЕЗА ЛЮБВИ

«Размышления о Божественной Литургии» Н. В. Гоголя.

Издание монастыря Оптиной пустынь. 1990. 47 стр.

Н. В. Гоголь. Размышления о божественной литургии. М.

«Художественная литература». 1990. 76 стр.

Не встанет свеча перед Богом, а встанет душа.

Русская пословица.

В знаменитом тихонравовском издании сочинений Гоголя (М. 1889) «Размышления о божественной литургии» стоят непосредственно после завершающих строк второго тома «Мертвых душ». Строки эти обрываются на речи генерал-губернатора, обращенной к чиновникам юдведомственной ему губернии. Что же говорит генерал-губернатор тем, кого он призван показать и наказать? «Я, может быть, больше всех иноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я своей стороны мог бы так же сделать...»

Перед героем Гоголя сидят не добродетельные луги престола, не примерные отцы семейств и раждане города, а плуты и лихоимцы, «бравные» и «дававшие», «кривившие душой» и «поукривившие». Есть среди них и честные, но их ничтожно мало. И не столько к честным, сколько к грешным обращается гоголевский князь, самого себя объявляя не менее грешным.

Эта речь человека, не желающего судить эдчиненных «военным быстрым судом» и предлагающего каждому встать перед судом собственной совести, предваряет переход от дожественной попытки Гоголя представить

христианский идеал во плоти к прямым размышлениям, связанным с той же темой, в «Божественной литургии». Да и писались второй том «Мертвых душ» и эта работа Гоголя одновременно, на что указывает связь в настроении, в идее, в языке и ритмике обоих текстов.

Один пример. Говоря о святости человека, который «стал свят... не своей святостью, но святостью самого Христа», Гоголь пишет: «Пребыванием во Христе святится человек и в такие минуты пребывания свят, как сам Христос, подобно, как железо, когда пребывает в огне, становится и само огнем и потухает вмиг, как только изымается из огня, и становится вновь темным железом». Это отрывок из «Размышления...». А вот пассаж о Чичикове из второго тома «Мертвых душ»: «Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейший из металлов, всех долее противящийся огню: когда усилить в горниле огонь, дуют мехи и восходит нестерпимый жар огня, — белеет упорный и превращается также в жидкость; подается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу...»

Родство этих отрывков очевидно. Оно лишь раз свидетельствует, что размышление о литургии надо читать в контексте всего Гоголя, главная тема которого — грехопадение и восстание человека, его просветление через обращение к Богу. Даже Чичиков, этот калека из калек, этот копеечник-миллионщик (начавший с копейки и закончивший ворованными миллионами), и тот в минуты откровения «потрясается» и, будучи лишь задет священным огнем, «что-то осязает» своей «полупробужденной душой».

Путь к Богу — долгий путь, и не случайно чин литургии делится на «литургию оглашенных» и «литургию верных». Первая, обращенная ко всем — и верующим и приближающимся к вере, — сменяется второй, где слово Божье обращено к истинно верующим, «верным».

Впрочем, между теми и другими нет строгого разделения, нет отчуждения, ибо и «верные», как считает Гоголь, всегда смогут найти в себе «оглашенного», то есть недостаточно верующего, неполного «верного».

Его толкование понятия «оглашенный» почти текстуально совпадает с характеристиками, которые он сам себе дает в письмах. «Оглашенный», как пишет он в своих «Размышлениях...», «только огласился Христом, но не внес Его в самую жизнь, только что слышит разум слов Его, но не приводит их в исполнение, и еще холодно его верованье...»

А вот слова Гоголя о себе из письма отцу Матвею Константиновскому: «Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе; признаю Христа богочеловеком только потому, что так велит мне ум мой, а не вера». Это замечательное свойство Гоголя — во все вносить свою личность, ничего не писать «мимо себя», — превращает «Размышления о божественной литургии» из богословского трактата в песнь песней души автора, страдающей от несовершенств и желающей достичь «благоухания духовного». На языке Гоголя это означает высшее состояние человека, высшую степень его приближения к Богу.

Но приближение это начинается издалека, с осознания человеком собственного «недостойства», с чувства вины перед Господом и перед людьми.

Какое бы действие литургии Гоголь ни объяснял, к какой бы заповеди Евангелия ни обращался, он толкует их именно с этой стороны, со стороны вины и греховности человека. «Блаженны плачущие, — цитирует он Нагорную проповедь и поясняет: — ...плачущие еще больше о собственных несовершенствах и прегрешениях, чем от оскорблений и обид, им наносимых». «Блаженны алчущие и жаждущие правды» — эта строка из Евангелия комментируется Гоголем так: «...алчущие небесной правды, жаждущие восстановить ее прежде в самих себе».

Тому, чему современный читатель (да и иной читатель XIX века) обязательно придаст бы социальный смысл, ища вину не в себе, а в обществе, Гоголь придает значение духовное. Он переносит тяжесть ответственности со среды на самого человека.

«Блаженны изгнанные правды ради» — эти слова Христа мы обычно относим к тем, кто пострадал за правду, высказанную в лицо сильному миру сего. У Гоголя насчет этого есть существенное дополнение: «...изгнанные за возвещенье правды не одними устами, но благоуханьем всей своей жизни».

Весь обряд литургии, метафорически повторяющий историю жизни, смерть и вознесение Христа, призван очистить молящегося, помочь ему «изгнать из храма своей души оглашенного». Вот почему так часто мелькают в гоголевском повествовании евангельские грешники: блудный сын, мытарь и разбойник. Последний поминается много раз, как и его просьба, обращенная к распятому рядом с ним Христу: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое».

Образ кающегося грешника, сознающего свое преступление преступным, чей предсмертный крик был услышан и принят, захватывает воображение Гоголя. Он является в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», в «Страшной мести» и «Вии», в «Портрете» и в «Записках сумасшедшего», в «Шинели» и даже в «Ревизоре» (покаянная речь Городничего, обращенная ко всему миру, ко «всему христианству»). Я уж не говорю о втором томе «Мертвых душ», «Выбранных местах из переписки с друзьями», «Авторской исповеди».

Чичиков, рвущий на себе фрак цвета наваринского дыма с пламенем, и Поприщин, взывающий к матушке в конце повести о сумасшедшем, одинаково страдают, и это есть страдание раскаяния — самого благодарного из страданий.

Тема раскаяния соседствует у Гоголя с темой суда, наказания. Есть Страшный суд (он судит в «Страшной мести» колдуна), есть суд государственный (над ним Гоголь по преимуществу смеется — вспомним Ляпкина-Тяпкина, судейских в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и есть суд, где человек ставит перед зеркалом своей совести самого себя — и отшатывается в ужасе.

Ужас — здесь не преувеличение. Всякое сильное чувство перерастает у Гоголя в ужас, в катаклизм, за которым следует падение или возвышение человека. «А потому, кто хочет укрепиться в любви, — пишет он о воздействии литургии, — должен, сколько можно, чаще присутствовать, со страхом, верою и любовью при священной трапезе любви».

Трижды повторенное в одном предложении слово «любовь» не смущает Гоголя. Это и

тавтология, а настаивание на коренной для него мысли. Ибо и Спаситель пришел в мир «не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! послышалось кроткое лобзание брата».

Лишь тогда, когда и судия и преступник увидят друг в друге брата, исчезнут, как считает Гоголь, сами преступления, исчезнут причины их (гордыня, зависть, сребролюбие) — и откроется каждому собственная «глубина сердечная», и сумеют люди «обратить свои сердца в согласно настроенные струны органа». Эти строки из «Размышлений о божественной литургии» заставляют вспомнить финал повести «Записки сумасшедшего», где несчастный Поприщин, возвращающийся в своем бреде из Испании в Россию, слышит, как «струна звенит в тумане». Это не что иное, как звук любви, звук сочувствия, по которому так исстрадалась его душа.

Любовь вырывает человека из темноты и влечет к свету. «Аще кто речет, — цитирует Гоголь слова Спасителя, — люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть: ибо не любяй брата своего, его же виде, како может любить Бога, его же не виде?»

Для Гоголя переход от неверия к вере, от эгоизма к братолюбию — не прогулка, а полная страхов и потрясений драма. «Служенье Тебе, — напоминает священник молящимся, — велико и страшно и самим силам небесным». Эти слова относят нас к признанию Гоголя в письме А.Данилевскому: «Тайное и страшное слово „Христос“». Страх здесь исходит не от самого Христа, не от кары, которая ждет грешника на Страшном суде. Это страх перед собственным неверием, перед неспособностью любить, перед властью «плотских вторжений», толкающих человека вниз, в пропасть. Это страх остаться одиноким и на пиру жизни, и перед лицом смерти.

«Любовь есть связь общества», — утверждает Гоголь и наделяет Христа в своем сочинении самыми нежными красками, призывая на помощь в разговоре о нем всю свою лирическую силу. Есть что-то неотвратимое в том, что мы познаем Бога (и его триединство) через Христа, через Богочеловека, через личность, подобную нам, — через Сына, у которого есть мать, который был младенцем и, зная о предстоящей ему казни, просил Отца пронести мимо чашу сияю.

Моление в Гефсиманском саду — вершина человечности Христа, с которой он протягивает всем нам руку, потому что и мы боимся пыток, и мы страшимся умереть.

В одной из молитв, читаемых священником в момент службы в храме, звучат такие слова (и Гоголь их цитирует): «Христос все собой исполняй, неописанный!» Их можно прочесть как упрек тем, кто пытался воссоздать в искусстве образ Христа.

Взявшись комментировать литургию, Гоголь хотел, во-первых, с «простотою и доступностью» донести до людей содержание службы, и, во-вторых, он искал прототип «прекрасного человека», которого намеревался показать во втором томе «Мертвых душ». И связь между таким человеком и Христом была неизбежна. Но, и что самое главное, это был поступок христианина, который веровал в лоне церкви и через это верование желал очиститься, встать над своими прегрешениями и получить право «прозрачно отразить жизнь в ее высшем достоинстве, в каком она должна быть и может быть на земле и в каком она есть покуда в немногих избранных и лучших».

Гоголя в те годы мучила еще одна вина. Он боялся, что зло, представленное им с несравненным искусством, перейдет в жизнь и произведет в ней разрушения, подобные тем, которые произвел в душе живописца Чарткова случайно купленный им портрет. И как автор портрета, искупая свой грех, ушел в монастырь и там создал образы Богоматери и Младенца, поместив их на стене храма, так и Гоголь, «как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле», чтоб создать вторую и третью части «Мертвых душ».

На пути к этой цели он и написал объяснение на божественную литургию. Он написал его, чтоб напомнить читателю о «великом подвиге любви, совершившемся в мире», и чтоб напомнить себе, что, не свершив такого же подвига, он недостоин возложенного на него назначения.

Как замечает в комментариях к гоголевскому тексту Н.Тихонравов, последняя редакция этой работы переписана в тетрадях у Гоголя «тщательным, как бы детским почерком». Именно таким почерком написаны и предсмертные записки Гоголя, которые он набрасывал, сидя в кресле и роняя их на пол. Содержание записок говорит о том, что мысли его в эти минуты были с Евангелием, с Христом.

Как ни старалось официальное советское литературоведение (и сейчас старается) отделить Гоголя-человека, Гоголя-христианина от Гоголя — автора «Ревизора» и «Мертвых душ», оно ничего не добилось. Оно лишь посрамило себя. Издание «Размышлений о божественной литургии»¹ после семи десятков лет замалчивания (они не вошли даже в полное собрание сочинений) еще раз убеждает нас в том, что свой подвиг жизни Гоголь совершил, что он духовно осуществил ту задачу, которую не успел поэтически претворить в продолжении и окончании «Мертвых душ».

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ.

¹ Я сознательно не упоминаю две другие публикации «Размышлений о божественной литургии» — в издательстве «Современник» (1990) и в журнале «Наше наследие» (1990, № 5), — где обнаругован текст работы Н.В.Гоголя, искаженный правкой духовной цензуры.



ПО ТУ СТОРОНУ ЯВНОГО

Густав Майринк. Голем. Вальпургиева ночь. («Мистическая традиция») М. «Прометей». 1990. 333 стр.

Густав Мейринк. Голем. Роман. («Библиотека иностранной литературы») М. «Известия». 1991. 288 стр.

По-разному бывает направлен духовный взор человека — одни сосредоточены на мелькающих деталях обстания, другие уперты в пружину констант. Взвизгивающим из подлунной выси кажется, что в мире нет и не может быть ничего нового, что жизнь, как слепой конь в шахте, ходит по кругу (можно и звучнее: ewige Wiederkehr, как у Ницше) и, положим, Розов и Рошин отличаются от Софокла и Еврипида разве что тонусом (на излете истории), но не тоном. А другие уверены: мир меняется непрерывно, каждые десять, много двадцать лет — иное поколение, иная судьба и совсем иные проблемы, и уж какие там антики (издаем для самообмана), нам и купцов-то своих родных, не столетней давности, нипочем не понять и никогда не настичь — так все безнадежно ушло-уехало, и от России самой остался один снег.

Писательское зрение тоже нередко смещено в сторону близорукости или дальзорукости. В случае литературных вершин, особенно самых высоких — Шекспир, Гете, Пушкин, — взгляд равно остер на обе дистанции, писателям же рангом пониже критики то и дело прописывают очки.

Австрийцу Густаву Майринку — от дальнорукости.

Майринк (Мейринк, 1868—1932) — фигура в австрийской литературе экзотическая и скорее маргинальная. Последнее, может быть, от богатства самой австрийской литературы нашего века. Рильке, Кафка, Музиль, Брех, Рот, Додерер — мало где найдешь эдакий ряд классиков мирового ранга. А ведь есть еще и претенденты: Шницлер, Гофмансталь, Краус, Тракль, Хорват, Зайко, Бернхард. Звучные имена и среди «третьей категории»: Верфель и Бахман, Брукнер и Хохвельдер, Гютерсло и Лернет-Холения, Хандке и именно у нас почему-то особенно популярный Стефан Цвейг. Где-то в этой компании должно отыскаться место и Майринку.

Критериев для такого оценочного различения литературоведением накоплено много, и все же самое убедительное опознавательное средство, пожалуй, язык. У настоящего, большого писателя каждая фраза (утверждал один из таких писателей — Додерер) — как вновь открытая химическая формула языка (судите сами, насколько литература богаче химии). А Майринк из авторов, фигурально говоря, бессловесных. Он, как и от века вменено «беллетристу», пользуется фразами готовыми, иной раз рас-

хожими до стертости, литературно опошленными. Он бессловеснее даже, чем его предшественник Э.Т.А. Гофман, которого никаким ценитель, чуткий к выразительным возможностям немецкой художественной речи, не отнесет к явлениям прозы. И это несмотря на прорывы подлинной поэтической энергии в «Кавалере Глюке», «Золотом горшке», «Житейских воззрениях кота Мурра». Но и там эти прорывы — как молнии, высвечивающие залежи рутины, рельефно подчеркивающие странность смеси.

В той же или схожей мере странным предстает и «Голем» — лучший, самый известный роман Майринка, написанный в 1915 году. Он странен, как всякая смесь подлинности и подделки, органики и синтетики. Завораживающие, иной раз не только рядающиеся под новизну, но и действительно новые ритмы, искры прозрачный — и рядом имитация «бездн», профанирующая безвкусица, какую сыщешь разве у тех, кто берет астральные ноты. У нас для характеристики этой безвкусицы принято кивать на Андрея Белого — не во всем справедливо, и сравнение с Майринком это особенно выявляет. При всех провалах в астральную скандалозность у Белого был редкостный, прямо звериный нюх на слово, и в ином его на ходу брошенном неологизме больше поэзии, чем у всех наших «орнаменталистов» 20-х годов. Не то Майринк. Он свой фантастический запредельный мир выстраивает из унифицированных деталей, из стерильнейшей обиходной речи, лишь вздернутой или развинченной в угоду экспрессионистскому поверию и собственному устремлению за пределы земной привычной яви. В его речи если и попадаетеся бриллиант (его собственным стилем отмеченное слово), то на уровне сравнения; то есть художественную, пусть и скудную, искру высекать столкновение не слов, а предметов.

Это словесное невзрачие в первом из рецензируемых изданий еще и усугублено старым переводом Д.Л.Выгодского, которым, несколько поторопившись, как это нередко теперь случается, решило воспользоваться издательство «Прометей». Справедливости ради надо сказать, что новый перевод «Голема», выполненный А.Соляновым и выходящий в приложении к журналу «Иностранная литература», исправляет многое, но не все.

Итак, маргинальность прозы Майринка — в ее бессловесности. (Что, кстати, поучительно.

Слово — то самое, которое было в начале, — как бы мстит за претензию на обладание потусторонним знанием.) Ну а экзотичность, помянутая выше?

К «экзотичности» тянется «эзотеричность», а Майринк и прославился прежде всего тем, что был сведущ в «тайных», оккультных знаниях, в наши дни не впервые входящих в моду. От каббалы до хатха-йоги, от гностицизма до дзэн-буддизма не было в вековых отложениях восточной мистики хотя бы и самого ветхого порошка в потустороннее, на который он не потщился бы ступить.

Частью — в основном каббалистической — этих представлений пронизан и «Голем». О чем этот роман? Если кратко — о гетто. Конкретно — о пражском гетто. Оно знакомо нам по многочисленным фотоальбомам из жизни Кафки и потому узнаваемо: сросшиеся груды вековых камней, глухие, узкие улицы, составленные из словно бы отвернувшихся друг от друга домов, темные, таинственные подворотни, склизкие ступени подземных витых лестниц, плесень, гниль, прах веков, тысячекратные ядовитые отложения интриг, ненависти, подозрительности, страха, зависти, козней, смыкающейся, как клещи, вражды...

В романе о еврейском гетто естественно быть темам сугубо еврейским — скажем, об особой спайке народа как принципе выживания, об «инстинктивной тревоге... расы» — умереть, «не исполнив забытой нами, но смутно продолжающей жить в нас миссии».

И все же идейный замах «Голема» значительно шире. Эта книга — о том, что каждый из нас лишь иероглиф, смысл которого никогда не откроется нашей умственной лени, для того нужно бы, чтобы каждый атом нашего существа проникся страстной жадью познания, как говорит мудрая девушка Мириам, одна из растворяющихся в мистической дымке героинь романа.

Эта книга — о том, что жизнь вовсе не одно лишь «существование белковых тел», как мнилось куцему позитивизму, натворившему столько бед. Что жизнь — земное пресуществление тайных замыслов, скрытой духовной борьбы. Что у каждого из живущих в этой борьбе своя — типичная или типовая — роль. Что не бывает бесследно, вне этой роли прожитой жизни, хотя, понятно, следы не равновелики: иные безмянные, тенями мелькнувшие, никем не опознанные люди весят на чаше тайной истории мира куда больше тех подставных фигур, что правят миром с марионеточной важностью на лицах, непрерывно запечатлеваемых то резцом, то кистью, то фотографическим аппаратом.

Эта книга — о загадках и тайнах, открывающихся избранникам судьбы.

Мы, садящиеся с болячками к телевизору внимать тяжковозрому исцелителю, мы, толпя-

щиеся в передних у экстрасенсов, зачитывающиеся сообщениями об очередных чудесах и о знаках явного присутствия в мире чего-то неясного, мы, возможно, схватимся и за «Голема». Вдруг откроется заодно и главная, сверлящая наши бедные головы загадка: как, каким дьявольским силам удалось превратить цветущую страну в мусорную свалку? Ведь не убогим марксизмом, в самом же деле, объяснять то страшное, что обрушилось в наш век на Россию. Лев Гумилев проясняет случившееся «пассионарностью»: находятся-де и среди саранчи такие магического воздействия особи, что поднимают миллиардные тучи себе подобных и увлекают их на верную гибель в пустыню. Майринк облакает эту слепую, всеразрушающую силу в форму глиняного мифического робота по имени Голем. Голем, гомункул, порождение абстрактного ума, раз в тридцать три года выбирается из своего неведомого укрытия в гетто, круша все вокруг без пощады. Нынешняя Россия с обезображенными храмами на опустелых, захламленных просторах и впрямь похожа на пространство, по которому прошелся такой Голем. Пространство восторжествовавших мертвых душ или бесов, если вспомнить классические поименования темной силы в отечественной литературе.

Всесокрушающий бесовской шабаш занимает автора и в другом романе — «Вальпургиева ночь» (1917). Его герой актер Цркадло — вариация Голема. Вариативность типа — не то чтобы прием, скорее мировоззренческое убеждение писателя. Недаром у героя говорящее имя (Цркадло звучит как русское «зеркало»). В зеркальных отражениях загадочного актера, заводилы и массовика, мелькают лики то Голема, то Яна Жижки, то Вельзевула. Лики-маски скрывают бесовскую пустоту, как скрывают ее и разные — актерские, бутафорские, случайные, случайностями истории подброшенные — костюмы, эти бытовые кажимости, плоские рационализации явлений.

Впрочем, линия противопоставления проходит у Майринка не между худосочным рационализмом и интуицией, напитанной тайнами, а между верхом и низом. Есть разум высокий и разум мелкий, есть иррациональные всплески, бессмысленные, гибельные и жестокие, а есть интуитивное постижение целостности Замысла и Мироздания. Разрушители-бесы становятся таковыми не потому, что они рационалисты или иррационалисты, а потому, что все их «измы» проистекают из мелкости, бездуховности, тьмы. Высокий разум, действующий в полном согласии с органикой природы и в ясном осознании иерархии ценностей, творит из хаоса стройность, он каменотес (вспомним те же мотивы тех же 10-х годов у Валери, Мандельштама и Рильке), он возводит прекрасные дворцы и храмы. Разум мелкий, возбуждаемый завистью, объявляет дворцам и храмам войну, орудя

простенькой, плоскостной идеей равенства, под которым понимает сведение или стаскивание высокого к низкому, а под горячую руку и вовсе уничтожение всего, что выше низа. Так подуженная Цркадло толпа устремляется снизу, с «подола» города, вверх — крушить прекрасные особняки и замки.

Исторические проекции «магических» творений Майринка, разумеется, не единственные. Обстоятельная расшифровка иных смысловых пластов обоих романов содержится в послесловии А.Дугина, дающем в связи с Майринком пропедевтический курс оккультной символики. Не будучи посвящен, не берусь его и оценивать. Как германист отмечу лишь, что с точки зрения правописания некоторых немецких имен и понятий (как в переводе, так и в отсылках к оригиналу) текст дурно вычитан. Есть и увесистый ляп: правильный перевод названия известного цикла Майринка, конечно, «Волшебный рог немецкого обывателя», а не «Волшебный рог

немецкого копыеносца», ведь тут нацеленный пародийный парафраз известного предприятия Арнима и Брентано (их романтического фольклорного сборника «Волшебный рог мальчика»).

Книгой Майринка открывается новая серия «Мистическая традиция», которой новый историко-философский центр «ЭОН» совместно с Философским обществом СССР намерен содействовать нашему просвещению. Начинание самое благое: ни в чем, пожалуй, не нуждается культура нашего времени так, как в отказе от многолетнего самоослепления, как в трезвом ликбезе, позволяющем выяснить, что есть что в вековых накоплениях мысли и в ее живых современных побегих. «Маргинальность» многих из них не должна быть препятствием: полнота — такое же требование культуры, как и иерархичность.

Юрий АРХИПОВ.

Политика и наука

КНИГА ТРЕВОГИ С ЛУКАВЫМ ПОДТЕКСТОМ

Г. Хефлинг. Тревога в 2000 году (Бомбы замедленного действия на нашей планете).

Перевод с немецкого М.Осиповой, Ю.Фролова. Предисловие и примечание С.Лаврова.

М. «Мысль». 1990. 271 стр.

Земная природа в опасности!

Увы, мы уже начинаем привыкать к подобным утверждениям. Да и как на них реагировать? Астронавты, узнав о неполадках в системе жизнеобеспечения космического корабля, тотчас приступают к их устранению. А что делать, когда звучат сигналы тревоги: разлаживается, отравляется, разрушается система жизнеобеспечения нашего общего космического обиталища — сотворившей и питающей нас биосферы, среды жизни! Быстро и конструктивно ничего предпринять невозможно даже в том случае, если все страны и народы сумели бы договориться (утопия!) о дружных совместных действиях по сохранению биосферы. Слишком велика инерция чудовищного маховика современной технической цивилизации. Да и о каком торможении может идти речь, если количество землян постоянно растет. Одновременно увеличиваются материальные потребности каждого человека. А единственный источник материальных благ — наша земная природа...

Впору бы отчаяться. Однако учтем, что, кроме всеобщей глобальной проблемы, существуют более конкретные региональные и частные. Каждый из нас имеет собственный дом, свой район обитания, свою родину. Те, кто увлечен глобалистикой, этого вроде бы и не замечают. А в действительности, пожалуй, не спастись нам, если не позаботимся прежде всего о состоянии крохотных ее клеточек — конкретных районов и государств.

Из такого принципа, видимо, исходил германский публицист Гельмут Хефлинг, размышляя о судьбе биосферы. Он выделил несколько экологических «бомб замедленного действия»: загрязнение воды и воздуха, шумы, накопление мусора и химикатов, строительство атомных электростанций. «Недостаточно просто реагировать на угрозы и опасности, уже ставшие явными, — утверждает он. — Сохранить и восстановить окружающую среду можно, только перестроив развитие промышленности и общества на экологических началах». Для этого требуется последовательно проводить экологическую политику: «Комплекс всех мероприятий, необходимых для обеспечения здоровой окружающей среды для человека, для его здоровой и достойной жизни. Эти меры должны также защитить растительный и животный мир, воду, воздух и почву от отрицательных последствий деятельности человека и устранить нежелательные последствия и нанесенный ими вред».

Автор не удовлетворяется общими сведениями и рекомендациями. Он приводит множество конкретных примеров больших и малых экологических катастроф, случившихся за последние десятилетия. В этой массе преобладают факты и проблемы, связанные с ФРГ. Ничего удивительного: каждый заботится о благосостоянии прежде всего родного дома.

Недоумение вызывают предисловие и подстрочные комментарии (назовем их подтекстом — в самом прямом смысле). Они обстоятельны,

доказательны, порою спорны, но безусловно принадлежат квалифицированному специалисту. Эти подстрочники призваны более полно и точно показать советскому читателю экологические трудности и беды, с которыми сталкиваются жители... нет, не нашей страны, а ФРГ. Стоило Г.Хефлингу упомянуть об уроне, наносимом кислотными дождями природе Швеции, как советский ученый — автор комментариев — тотчас отзывается: «Кислотные дожди являются бедствием и для ФРГ...» — приведя соответствующие цифры. Г.Хефлинг перечисляет некоторые случаи загрязнения и отравления окружающей среды в Германии, а комментатор добавляет: «Приведенный выше перечень аварий — далеко не полный... Только загрязнение воздуха обходится „рыночному хозяйству“ ФРГ ежегодно в 20 млрд. марок». Порой комментатор вспоминает и о нашей стране: «Мы хорошо знаем, что социализм и плановое хозяйство отнюдь не автоматически обеспечивают экологическое благополучие, знаем, что в Советском Союзе имеются серьезные очаги экологической напряженности. Но в условиях капиталистических стран создаются особые формы экологических катастроф, имеющие социально-экономические корни». С.Лавров даже готов признать, что наш отечественный «автотранспорт отнюдь не является экологически чистым». Но в странах «рыночной экономики», по словам комментатора, ситуация особенно драматична. Почему? «Механизм монополистического воздействия, он-то и является „бомбой замедленного действия“».

Что ж, в таком обвинении есть доля истины. Капиталистические монополии — зло немалое. А социалистические? За последние годы об их экологических преступлениях писалось в нашей прессе: Байкал, волжские водохранилища, Чернобыль, аральский регион, недавнее отравление фауны Белого моря сбросом в него ракетного топлива одной из советских подводных лодок... У нас счет пострадавших ведется не на десятки и сотни, как в западных странах, а на сотни тысяч, а то и миллионы! Как же научный комментатор смог умолчать об этом?

Судя по всему, срабатывает застарелый стереотип нашей пропаганды, для которой умозрительные возможности социалистической системы напрочь заслоняли ее реальные недостатки. Но за последние годы вовсе не обязательно повторять этот штамп. Зачем лукавить? К примеру, комментатор как бы всерьез сетует: «Автор здесь игнорирует различия между социалистическими и капиталистическими странами. „Социальный мир“ — неподходящее определение для последних... Об этом говорят хотя бы экологические выступления, принимающие зачастую весьма острый характер, не

говоря уже о других проблемах (безработица, возрастание доли населения, живущего ниже уровня бедности, и т.п.)».

Читаешь подобные рассуждения и диву даешься: книга Хефлинга, изданная в ФРГ десять лет назад, актуальна (значит, она правдива), а примечания, сделанные совсем недавно, оказались безнадежно устаревшими в основе своей, хотя некоторые факты они уточняют. Учтем: автор примечаний — доктор географических наук. Тут-то и вспомнишь, что в нашей стране большие группы солидных ученых — в числе их непременно и географы — услужливо давали «научные» обоснования «великим стройкам коммунизма», тотальному освоению целины, химизации сельского хозяйства, губительной мелиорации земель, опровергающей саму суть понятия мелиорации (улучшения)...

Надо отдать должное Гельмуту Хефлингу: он добросовестно ведет свое публицистическое расследование. Это еще не означает, что со всеми его выводами можно согласиться. Так, он повторяет расхожее мнение, будто в доисторические времена зависимость человека от природы была полной, а «в ходе истории человеку удалось в значительной степени освободиться от подчиненности факторам природной окружающей среды». Иллюзия освобождения! Современный человек — полностью зависим от искусственной (техногенной) среды, качество которой в конечном итоге определяется состоянием земной природы, биосферы. Говоря об использовании «чистой» электроэнергии, выработанной на ТЭС, автор напоминает, что и в этом случае происходит загрязнение воздуха и тепловое загрязнение среды. Но следовало бы еще учесть добычу угля с соответствующими потерями природных ресурсов. Вообще горная промышленность и первичная переработка сырья наносят одни из наиболее мощных ударов по биосфере. В книге об этом прямо не сказано.

«Наибольшую опасность, полагают ученые, — пишет Хефлинг, — в 2000 г. представит непрекращающийся рост населения на планете...» Такое мнение справедливо лишь отчасти. Не менее важно учитывать быстро растущие материальные потребности человека. В нашу демократическую эпоху миллиардам людей требуется не только пища и крыша над головой, но и различные блага технической цивилизации, начиная от водопровода и кончая автомашиной, электронными приборами и многим другим. Ради этого расширяют производство, добывают больше сырья, расходуют огромное количество энергии... Как не согласиться с автором: «Чистая вода для нас важнее самого быстрого авиалайнера». Однако к такому мнению приходят чаще всего граждане тех стран,

где большинству обеспечен техногенный комфорт. Представители отсталых стран мечтают прежде всего о подобном уровне благосостояния, мало заботясь о том, какой ценой это достается. Им приходится идти на избыточную химизацию сельского хозяйства, соглашаясь на размещение у них экологически вредного производства или кладбищ ядовитых отходов.

Как убедительно показано в книге, и жители экономически развитых стран вовсе не гарантированы от экологических бедствий. Так, в 1979 году в городке Рид (земля Гессен) возникла паника, когда в коровьем молоке были обнаружены следы очень ядовитого инсектицида. «Повидимому, коровы заплодучили яд с травой: они паслись на лугу, на месте засыпанной землей старой свалки. Здесь крупная химическая фирма когда-то зарыла 120 тыс. т. отходов...»

Так уж получается, что только страны с высоким жизненным уровнем населения, развитой культурой и надежным научно-техническим потенциалом имеют реальную возможность и непритворное желание (подстегнутое жестким экологическим законодательством и строгим контролем) заботиться о состоянии окружающей природной среды. Для бедных обществ подобное «роскошество» не по карману. Вот и происходит в мире все более отчетливая не только экономическая, но и экологическая поляризация. В развитых капиталистических государствах за последнее десятилетие началось снижение загрязнений, уменьшение давления на природу. В отстающих странах (и у нас в том числе) экологическая ситуация обостряется. Если так будет продолжаться дальше, то в ближайшие десятилетия в мире следует ожидать новых трагических конфликтов и между государствами, и между человечеством и природой.

На ряде примеров Хефлинг демонстрирует не только глобальный пессимизм («Окружающая среда превратилась в пороховую бочку»; «Наша природа как никогда в опасности»), но и своеобразный региональный оптимизм, когда ссылается на успехи промышленно развитых стран в борьбе за сохранность и чистоту природы. Действительно, новые технологии, рациональное использование энергии и природных ресурсов, экологическое просвещение и другие меры позволяют улучшать здоровье биосферы (всепланетного живого организма, частичками которого мы являемся), а значит, физическое и моральное состояние людей.

Казалось бы, нам остается только следовать примеру передовых стран, активно развивать рыночные отношения, поощрять конкуренцию, свободу предпринимательства — и экологическая обстановка в нашей стране начнет меняться к лучшему. Однако, как показывает горький опыт перестройки, такой идеальный вариант

вряд ли будет реализован в ближайшем будущем. Внедрить рыночные отношения в нашей стране можно. Но в результате получится не постиндустриальное общество материального благополучия, а диковатый вариант первобытного капитализма, когда именно те, кто пользовался благами социализма, захватившие власть и рычаги распределения общественных богатств (номенклатура, торговая братия и т. п.), — ныне владельцы капиталов (еще недавно общественных), приумножающие их любой ценой. А это значит — за счет трудящихся и природных богатств страны. Впрочем, и сами трудящиеся нередко готовы поступиться своим экологическим благополучием и родной природой ради благополучия экономического. И забывается при этом, что убогие материальные ценности добываются за счет собственного здоровья и — главное! — здоровья и нормальной жизни детей.

Чтобы естественно вжиться в биосферу, требуется прежде всего знать и чтить ее законы. Только как это сделать? Неведомо нам замысел природы, сотворившей человека. Неведомы суть человеческого бытия и суть космоса, который привычно видится вселенским механизмом (а тогда бессмысленна и трагична судьба человека). Или он является величайшим организмом, наделенным жизнью и сознанием?

Правда, подобные вопросы не тревожат комментатора книги Хефлинга: «Современное учение о биосфере, с которым, видимо, не знаком автор книги, разрабатывалось в трудах... В.И.Вернадского... Суть его в том, что существует постепенный переход из биосферы в ноосферу — область взаимодействия природы и общества, где разумная человеческая деятельность становится главным фактором развития». Пожалуй, Хефлинг все-таки знаком с современным учением о биосфере. Этому учению на Западе посвящено много специальных и популярных трудов, хороших учебников. А вот комментатор, профессиональный ученый, должен бы помнить, что основы учения В.И.Вернадского о биосфере изложены в его классическом труде «Биосфера» (Л. 1926), где нет даже упоминания о ноосфере. Речь там идет совершенно о другом. «...история биосферы, — пишет Вернадский, — резко отлична от истории других частей планеты... Она в такой же, если не в большей степени есть создание Солнца, как и явление процессов Земли... Твари Земли являются созданием сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет случайности» («Избранные сочинения». М. 1960, т.V, стр. 11). Идея же ноосферы имеет лишь косвенное отношение к учению Вернадского о биосфере.

...Спору нет, каждый имеет право и на собственное мнение и на заблуждение. Однако очень тревожно, когда специалист допускает принципиальные ошибки при непоколебимой

уверенности в своей правоте. Публицисты умеют ярко и доходчиво рассказать об экологических бедах. Квалифицированно поставить проблему и предложить путь ее решения — привилегия специалистов.

Пора бы, кажется, всем нам, а ученым в первую очередь, осознать бездну незнания, которая развернута перед нами, пытающимися постичь этот удивительный мир и свое предназ-

начение в нем. Не существует научного учения, предопределяющего гарантированный путь к земному раю. Наивны претензии на объяснение вечных тайн природы и человеческого бытия. И вряд ли имеются сугубо технологические панацеи от нынешних болезней биосферы. Мы имеем такую природную среду, которой достойны.

Р. БАЛАНДИН.

Забывтые книги*

НА ЗАРЕ «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ»

П. И. Л я щ е н к о . Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяйства. М. Издательство Коммунистической академии. 1927. 375 стр.

Существует несколько укоренившихся в нашем сознании мифов о большевистских успехах, которыми и сегодня все еще оправдывают наш «социалистический» выбор. Среди них одно из первых мест занимает миф о «лапотной» России, стране нищей, немощной и неимущей.

В конце XIX века, когда зарождалось на нашей земле революционное движение, простой люд действительно ходил в лаптях и ел белый пшеничный хлеб по большим праздникам. Но и Европа в те времена еще не блистала своими богатствами. Стартовые условия развития рыночных отношений и накопления капитала были практически одинаковыми, с той, правда, разницей, что Россия с ее необъятными просторами и природными и климатическими богатствами являла собой грозного соперника для маленьких европейских стран.

Сегодня, по прошествии многих десятилетий «соревнования двух систем», на закате кровавейшего в истории человечества века, очень важно правильно осмыслить свое прошлое. Не переосмыслить, не переписать, не выдумать заново, а именно — осмыслить. Ибо новое демократическое движение России, которому суждено будет играть главную партию в следующем, XXI столетии от Рождества Христова, не должно впасть в те тяжкие грехи, что принесли народам российским столько горя и крови.

На титульном листе книги П. Лященко стоит «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а издавна она Коммунистической академией и Институтом мирового хозяйства и мировой политики.

«Россия, — сообщает автор, — не только как ближайшая к Западной Европе, но и как старая земледельческая страна с крупным поместным крепостным хозяйством и со значительными накопившимися натуральными излишками, могла даже при крепостном своем хозяйстве поставлять большие количества зерна для запад-

ноевропейских рынков. Поэтому она первая, еще в 50-х годах прошлого столетия, начинает играть крупную роль в формирувавшемся тогда международном хлебном товарообороте, конкурируя с тогдашними главными экспортёрами — Францией и Германией — и притом, главным образом, преимущественно наиболее дорогим и поместичьим хлебом, пшеницей».

А вот цифры. В 1850 — 1855 годах Россия вывозит 53,7 миллиона пудов главных хлебов. В 1871 — 1875 годах — 194 миллиона пудов, из которых 92 миллиона — пшеница, а остальное — крестьянские хлеба, как их тогда называли, то есть рожь и овес.

И хотя в этот временной промежуток был осуществлен переход от крупного поместного производства к мелкому крестьянскому (реформа 1861 года), это никак не отразилось на связях с мировым рынком.

За период с 1870 по 1900 год из России было вывезено всех хлебов до 10,4 миллиарда пудов на сумму до 8,3 миллиарда рублей. Неизменно росла урожайность, быстро росла численность населения (что всегда является признаком благополучия).

Когда наши историки пытаются осудить российское правительство за то, что оно осуществляло торговлю хлебом в ущерб «товаро-производителю» — мужику, а также за порядки, при которых приходилось платить аренду землевладельцу и подати государству, они, как правило, упускают один наиважнейший факт: именно хлебный экспорт служил основой быстрого накопления капитала и промышленного развития России.

«Хлебный экспорт был самым могучим руслом, по которому масса зерна, выжатого из крестьянского хозяйства, превращалась в золотой поток, отвердевавший в виде торгового капитала. Но развиваясь и преобразуясь, этот торговый капитал одновременно с этим в условиях хозяйственной жизни создавал и все более крепкие основы индустриального капитализма. Гегемония в экономической жизни переходила от торгового к промышленному капиталу. Капи-

* Рецензией Л.Пияшевой мы открываем новый цикл публикаций в нашей традиционной рубрике «Книжное обозрение» — о забытых или как бы забытых книгах XIX — XX веков, представляющих, по нашему мнению, интерес для сегодняшнего читателя. (Ред.)

талистический «отбор» производил решающие перемены как в самом сельском хозяйстве, так и в отношениях его ко всему народному хозяйству».

С начала столетия начинается процесс как абсолютного, так и относительного расширения внутреннего рынка. Растущее городское население и развивающаяся промышленность требовали увеличения товарного зернового производства и стали направлять его в новое русло, чему способствовало развитие железнодорожного транспорта. «Таковы были непосредственные результаты быстрого роста индустриализации, урбанизации и капитализации нашей народнохозяйственной жизни к началу нового столетия, — читаем в книге. — Капитализм, вовлекши своими средствами капиталистического обращения русское зерновое хозяйство на мировой рынок, переживши кризис ценою разорения мелкого, не-капиталистического товаропроизводителя, одновременно с этим создавал новые стимулы внедрения в сельскохозяйственное производство уже элементов промышленного капитализма. И как торговый капитал в 1870 — 90 гг. в зерновом производстве и экспорте получал крупнейший золотой источник для своего развития и укрепления путем рыночной эксплуатации хлебного производителя, так и новые элементы развития промышленного капитализма и проникновение их в деревню создавались в значительной мере на почве того же зернового производства и благоприятной для него рыночной конъюнктуры... Если в прежние десятилетия, в период кризиса, торговый капитал в своей конкурентной борьбе на мировом рынке всю тяжесть ее переносил на товаропроизводителя, сельского хозяина, то в девятисотые годы совместное влияние хороших урожаев, развития внутреннего и внешнего рынков и повышения цен дает значительное увеличение притока капитала в сельское хозяйство». А это в свою очередь вело к расширению посевных площадей, росту урожайности и товарности зерновых.

В предвоенную пятилетку (1909 — 1913) на долю России приходится 26 процентов мирового вывоза хлеба, в военную (1914 — 1918) — уже только 5 процентов, а в первую послереволюционную (1919 — 1923) — 1,2 процента. Доля конкурентов — США и Канады — за этот промежуток времени поднимается с 16,5 до 53,5 процента, то есть в три с лишним раза по сравнению с довоенным уровнем. Сдав экспортные позиции, Россия на протяжении всей своей социалистической истории так и не смогла вернуться на мировой рынок. Более того, по мере упорочения наших «социалистических завоеваний» она наращивала импорт зерна.

Начавшееся со времен первой мировой войны и революции снижение посевных площадей и производства зерновых, в особенности экспортных культур, привело к огромным потерям для страны. «Понижение на 40 — 50% посевной площади под главными рыночными зерновыми хлебами в основных производящих районах, —

замечает П.Лященко, — означает понижение почти на такую же долю абсолютных размеров чистого дохода от земледелия, поскольку зерновые хлеба занимали в нем до 90% дохода и поскольку они лишь в очень незначительной доле заменены другими источниками дохода. А это в свою очередь приобретает решающее значение не только собственно для зернового хозяйства, но и для промышленности и ее рынка и для валюты, для финансов и для всей нашей экономики».

Помимо военных и транспортных стеснений, развитие хлебного товарооборота приостанавливается вследствие отлива капитала на другие, связанные с войной и более прибыльные цели. В хлебном снабжении вместо свободного торгового оборота получают все большую долю правительственные хлебозаготовки. В предреволюционном году они составляли почти две трети всего торгового зерна. Вначале эти заготовки не только не уничтожили хлебный рынок, но, наоборот, усилили его, так как осуществлялись через частный торговый аппарат. Но отрыв от мирового рынка и отсутствие внутреннего единого рынка сделали свое дело. В непродолжительный срок произошло значительное сокращение посевных площадей и падение урожайности. Одновременно началось сокращение продуктов индустрии, обслуживающей крестьянский рынок. Производство одежды и обуви к 1920 году сократилось против довоенного в 7,5 раза, сахара — в 35 раз, сельскохозяйственных машин — в 31 раз. Город перестал снабжать деревню, деревня перестала кормить город, производящий юг перестал снабжать потребляющий север.

1921 год — год стихийной катастрофы и 1922 год — год ее последствий были вместе с тем и годами перелома и восстановления. «Превышение (к 1925 г.) на 14% сравнительно с довоенными размерами посевной площади ржи, главного неторгового хлеба, при продолжающемся недосеве даже в наиболее благоприятном 1925 г., по пшенице и овсу — почти на 25% и ячменя — почти на 40%, представляется, конечно, наиболее неблагоприятным моментом в деле восстановления товарности нашего зернового хозяйства в целом... когда мы говорим о падении у нас товарного зернового производства, необходимо помнить, что в основе его лежит не только понижение общего зернового производства всех хлебов в размере 6 — 7%, но понижение главных товарных культур в размере 25 — 40% против довоенного. Этой приблизительно цифрой и должны измеряться те изменения в общем рыночном хлебном обороте, которые неизбежно вытекают из такого падения товарных культур».

Причины «падения товарных культур» П.Лященко объяснял несовершенством торгового аппарата, невозможностью овладеть рынком, «не всегда удачной» политикой цен и напряженностью внутреннего хлебного рынка. «Главную причину, по-видимому, следует искать не столь-

ко собственно в экономике зернового хозяйства, сколько в его политике и организации рынка».

В качестве причины убытков от внешней торговли называются высокие накладные и торговые расходы (составлявшие в среднем 50 — 63 процента от реализованной на внешнем рынке цены), что являлось «неизбежным следствием сущности торговой деятельности государственных хлеботоргующих органов. Обязанные публичной отчетностью, они должны содержать сложный учетный аппарат, что в сильной степени удорожает работу».

Не надо объяснять, что статья «накладные расходы» включала в себя те издержки, которые были привнесены в экономическую жизнь с изменением ее институциональных основ — переходом от частной коммерческой деятельности к всеобщему и полному огосударствлению. Одним из первых результатов этого стала убыточность внешней торговли. «...собственно производственные условия нашего зернового хозяйства последних лет были таковы, — признается автор, — что давали возможность более или менее рентабельного производства, сбыта и экспорта, по крайней мере, основных торговых зерновых культур. Но дефекты и высота расходов по товарному обращению приводили к тому, что из рыночной цены производителю оставалось не более 50 — 60%. При таких условиях стимулирующее влияние рынка вообще и внешнего в особенности сводилось на нет, а восстановление все еще значительного недосева главных торговых зерновых культур задерживалось». А далее читаем: «В наших производственных сельскохозяйственных условиях налицо все предпосылки для быстрого восстановления зернового производства, столь необходимого для осуществления общих задач восстановления и реконструкции всего народного хозяйства. Через зерновое производство и зерновой экспорт в первую очередь мы можем получить те новые производственные ценности, на базе которых может создаваться „первоначальное социалистическое накопление“ и расширенное социалистическое производство. Проблема зернового экспорта приобретает поэтому для нашего народного хозяйства решающее значение».

Наивные профессора! Они все еще не понимали, что «социалистическое накопление» пойдет по пути ликвидации не только «прибыли экспортера», но и «прибыли производителя» и доведения статьи «накладные расходы» до максимума, который не только поглотит прибыли, но и подорвет основы товарного производства. Более того, само слово «прибыль» запишут в разряд «буржуазных» и на долгие годы вычеркнут из экономического словаря.

Когда профессор П. Лященко писал свою книгу о русском зерновом хозяйстве, его еще не оставяла надежда на возможность восстановления утраченных позиций. Прделанный им тщательный анализ положения в сельском хозяйстве

стран — покупателей зерна (Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Голландии) и стран-продавцов, конкурентов (США, Канады, Аргентины, Австралии, Индии, балканских стран) позволил ему сделать оптимистический прогноз: «Указанные основные тенденции мирового рынка определяют вместе с тем и то положение, которое может занять на нем, в процессе своего восстановления и развития, русское зерновое хозяйство». Вывод был таков: «...зерновой экспорт в силу всей совокупности наших хозяйственных условий должен еще долгое время и в наибольшей степени, сравнительно с другими нашими экспортными продуктами, являться источником и руслом привлечения в страну тех капитальных ценностей, без которых невозможно восстановление и реконструкция всего нашего народного хозяйства. Наш национальный капитализм в недавнем прошлом был создан и окреп в громадной доле на основе того золотого потока, который возвращался к нам в обмен на нашу пшеницу, рожь и ячмень...»

Нельзя забывать, что «золото полей» и в настоящих условиях по-прежнему является и еще долго будет являться все же наиболее легким и простым, наиболее важным и наиболее широким руслом для притока к нам тех новых производительных ресурсов, которые необходимы для дальнейшей реконструкции нашего народного хозяйства и для социалистического накопления».

В 1925 году профессор Н. Д. Кондратьев (известный в мире как автор теории «больших кондратьевских циклов») был командирован Наркомземом в США, Канаду, Англию и Германию для изучения мирового сельскохозяйственного рынка и определения новых перспектив России в области экспортно-импортной торговли. В своем отчете о поездке он писал: «Мы стоим перед большими пертурбациями в мировом хозяйстве в смысле перераспределения производительных сил. Мы можем в ближайшее время ожидать сильного штурма индустриального экспорта и экспорта капиталов со стороны Америки, в частности на Дальний Восток. Мы можем ожидать ухода Америки с сельскохозяйственного рынка и благоприятных перспектив для нашей сельскохозяйственной продукции, если не будет климатических пертурбаций. Каковы же наши перспективы, учитывая претендентов и роль уходящей Америки? Прежде всего возьму рынок зерновых продуктов. Я думаю, что эти продукты мы будем иметь и на этом рынке наше положение благоприятно, потому что нет другой страны, производящей так дешево продукцию, как СССР. Качество нашего зерна и его авторитет, созданный исторически, чрезвычайно велики».

Но пертурбации, как известно, произошли. Правда, не климатические, а политические, институциональные и организационные. В Россию пришла коллективизация, и вместо фермеров с их «оптимальными» акрами и товарным хозяй-

ством были созданы колхозы и совхозы с общественной собственностью и коллективным «энтузиазмом». В ходе этой операции века с крестьянством как классом было покончено, а вместе с ним и с товарностью и производительностью. От созданного исторически бывшего авторитета русского зерна остались лишь далекие воспоминания. Знаменитая во времена помещичье-арендного землепользования формула «не додим, но вывезем» была переименована в принцип «умрем, но построим».

А строить следовало строго в соответствии с пятилетними планами развития, которые разрабатывал Госплан, возникший на месте диквидированного института конъюнктуры. Например, С.Г. Струмилин так определял задачи первого пятилетнего плана: «В наиболее общей форме задача построения перспективного плана народного хозяйства СССР в настоящий момент может быть сформулирована как задача такого перераспределения наличных производительных сил общества, включая сюда и рабочую силу и материальные ресурсы страны, которое в оптимальной степени обеспечивало бы бескризисное расширенное воспроизводство этих производительных сил возможно быстрым темпом в целях максимального удовлетворения текущих потребностей трудящихся масс и скорейшего приближения их к полному переустройству общества на началах социализма и коммунизма».

Проделанный Н. Д. Кондратьевым в 1927 году анализ плановых пропорций и показателей стал тревожным предупреждением: «В 1930/31 г. по плану СССР ставится в необходимость не только отказаться от увеличения положительного баланса во внешней торговле с.-х. продуктами, а даже перейти к отрицательному балансу, т. е. превратиться по существу в страну импортирующую, как с.-х. товары вообще, так и с.-х. предметы питания в частности. Очевидно также, что этот вывод... делает нереальными приведенные выше расчеты на развитие импорта промышленного оборудования и сырья, а следовательно, и на выполнение намеченной планом программы индустриального развития страны». Фактически речь шла об ошибочности как цифрового содержания плана, так и заложенной в нем модели переустройства общества. «Таким образом, — заключал Н.Д. Кондратьев,

— мы вскрыли, что намеченный план развития народного хозяйства оказывается нереальным и внутренне несогласованным при разборе его с двух чрезвычайно важных сторон: со стороны обеспечения необходимого накопления и необходимого развития с.-х. экспорта... Причины таких противоречий, по нашему мнению, очевидно, лежат, во-первых, в неправильном понимании соотношения индустрии и сельского хозяйства в их развитии, во-вторых, в неправильной проекции роста благосостояния населения, так как она не соответствует намеченному темпу роста продукции... Всю систему указанных построений в отношении сельского хозяйства при взятом курсе на индустриализацию мы считаем не только теоретически спорной, но и практически опасной. Опасность ее вытекает из того, что она обрекает народное хозяйство на путь явных и глубоких кризисов. Не обеспечивая программы накопления и вложений, не обеспечивая достаточного экспорта, а следовательно, и импорта, она не обеспечивает и принятой программы индустриализации и реконструкций» («Плановое хозяйство», 1927, № 4).

История распорядилась по-своему. Все те, кто полагал, что индустриализация России процесс медленный и постепенный, что он должен опираться на «золотые потоки» от продажи уже завоевавших внешний рынок российских хлебов, были объявлены «противниками индустриализации», «врагами народа» и расстреляны. Восторжествовал струмилинский план. Так и не сумев восстановить утраченных во время первой мировой войны и революции позиций на внешнем рынке, Россию повели по пути общинного нетоварного (конфискационного) землепользования, превратив крестьян вначале в приписанных к земле, а затем в получивших право передвижения наемных работников. Экспорт зерна был заменен экспортом нефти, на выручку от которого стали закупать хлеб в Канаде и крепить военную мощь для охраны «социалистических завоеваний», главными из которых были уничтожение свободных товарно-денежных отношений, обобществление земли и собственности и ликвидация крестьянства как класса.

Л. ПИЯШЕВА,
кандидат экономических наук.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» ЧИТАЮТ НА РОДИНЕ

Из писем в редакцию «Нового мира», 1989 — 1990.

Два года тому назад, выдержав долгую и изнурительную борьбу с цензурой всех уровней, «Новый мир» завершил публикацию глав из книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Имя и слово писателя, оболганного и насильственно лишённого родины в 1974 году, были возвращены народу. Со времени появления на страницах «Нового мира» в ноябре 1962 года рассказа А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» ни одна журнальная публикация не вызывала такой мощной и бурной читательской реакции. Весь минувший год в редакцию сплошным потоком шли и продолжают идти письма — потрясенные, восторженные, скорбные, иногда негодующие. В 60-е годы из таких же откликов на «Ивана Денисовича» начал расти и сам «Архипелаг». Но и сегодняшние читательские отзывы, дополнения, уточнения свидетельствуют о не умирающей в народе памяти о страшной эпохе ГУЛАГа, об идущем в общественном сознании и совести суде над ее творцами.

География приходящих к нам писем — во всю страну: от Магадана и Сахалина до Кишинева и Гродно, от Воркуты и Норильска до Ялты и Ташкента. Их авторы представляют все социальные и возрастные группы населения; большая часть принадлежит людям, впервые пишущим в журнал. В целом эти письма могли бы составить дополнительный том к книге А.И. Солженицына (такой том уже подготавливается нами к печати) и послужить бесценным материалом для суждения о нашей общественной психологии и историческом самосознании.

Сегодня редакция журнала знакомит читателей с наиболее характерными образцами этой громадной почты.

...наполненные ненавистью к нашей истории, политике, культуре сочинения Солженицына не будут издаваться и распространяться в нашей стране...

*Председатель Госкомиздата СССР М.Ф. Ненашев
(«Книжное обозрение», 30.10.87).*

... В декабре 1962 года, после годичных мытарств и только после разрешения ЦК КПСС, в журнале А.Т. Твардовского «Новый мир» был опубликован рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Событие, казалось бы, для мировой истории мелкое и заурядное. Однако, как показал дальнейший ход истории, последствия этой публикации оказались подобными атомному взрыву.

С этого рассказа, во-первых, начался необратимый процесс постепенного освобождения русской литературы из-под идеологических глыб, а во-вторых, на мировую арену вышел писатель, поставивший перед собой далеко идущие цели.

Он был уже не молод. В те самые дни, когда его рассказ увидел свет, ему исполнилось 44 года, возраст, в котором Чехов уже умер. У него за плечами была война, 8 лет лагерей, в которых он прошел через все круги ада, раковый корпус, из которого он чудом вышел живым, три года ссылки и работа в школе преподавателем физики.

Система позаботилась о том, чтобы будущий величайший гений русской литературы XX века имел много времени для размышлений, человеческого общения и осмысления своего собственного жизненного опыта, опыта других солагерников, исторического опыта, выстраданного страной, и смысла мировой истории...

Он вышел на свободу в марте 1953 года с ясной головой и твердо поставленной целью рассказать человечеству об Архипелаге ГУЛАГ и передать соотечественникам выстраданные им идеи о нашем прошлом и настоящем.

Он принял это как крест Божий и нес его вплоть до 13 февраля 1974 года, до объявления его Указом Президиума Верховного Совета СССР предателем родины и насильственной высылки на Запад.

12 с половиной лет продолжалась его публичная литературная деятельность в СССР...

За это время увидели свет у нас и на Западе следующие его произведения: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для

пользы дела», «Захар-Калита», «Раковый корпус», «В кругу первом», «Август Четырнадцатого» (первый узел «Красного колеса»), «Олень и шалашовка» («Республика труда»), «Свет, который в тебе», «Правая кисть», «Пасхальный крестный ход», серия «Крохоток» и, наконец, в декабре 1973-го «Архипелаг ГУЛАГ».

За эти годы он был принят в Союз писателей СССР, исключен из него в ноябре 1969-го... удостоен через год Нобелевской премии, всячески преследовался властями и подвергался тотальной слежке со стороны КГБ, который в 1966 году арестовал его архив.

Уже после его насильственной высылки на Запад он опубликовал автобиографически-мемуарную книгу «Бодальс теленок с дубом», в которой сам передал все перипетии своей борьбы с «дубом» — системой идеологического тоталитаризма, орудием которого является КГБ, законный наследник ВЧК — ОГПУ — НКВД.

Какое же влияние оказала деятельность Солженицына на ход мировой истории? Самое прямое и непосредственное. Он раскрыл глаза западному миру на СССР и навсегда похоронил миф о коммунизме как светлом будущем всего человечества... После произведений Солженицына не может остаться нормальный человек приверженцем коммунистической идеи.

Если мне скажут, что я преувеличиваю значение Солженицына для хода мировой истории, я укажу на тот общеизвестный факт, что Пражская весна началась летом 1967 года с обсуждения на съезде чехословацких писателей письма Солженицына 4-му съезду писателей СССР. Именно высылка Солженицына и травля Сахарова, наряду с Анголой и Кампучией, положили конец разрядке 70-х годов и одновременно подготовили крестовый поход против коммунизма... Последующий ход развития событий в социалистическом лагере блестяще подтвердил правильность прогнозов Солженицына... В 1989 году одновременно с возвращением имени и произведений Солженицына на родину и публикацией «Архипелага ГУЛАГ» «Новым миром» произошло крушение мировой социалистической системы...

Казань, январь 1990.

Н. Э. Бакиров,
канд. филол. наук, доцент.

Уважаемый Сергей Павлович!!! Вы, находясь во Франции, вскользь сказали о намерении печатать А.И. Солженицына. И выжидаете... А зря! Я читал «Архипелаг ГУЛАГ» (Самиздат), и то, что там написано, — все правда. Спросите фронтовиков. Ведь Солженицын — боевой офицер... А директива Сталина за № 227¹, а заградотряды Берии — разве этого не было: только вперед, сзади стреляют «свои»? И все другое — страшно вспоминать прошлое...

Новоднестровск, УССР, апрель 1989.

Мышковский В. П.

¹ Приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227 от 28 июля 1942 года см.: «Военно-исторический журнал», 1988, № 8.

...Поздравляю вас, редколлегия журнала «Н<овый> м<ир>», нашу литературу с опубликованием «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Это очень поучительное произведение. Любая его строчка стоит больше всех учебников по истории СССР. Наша история получила серийный учебник...

Дзержинск Горьковской обл., декабрь 1989.

Аминов.

...Большое вам спасибо, что вы печатаете «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Это, пожалуй, самая черная и страшная правда о нашем недавнем прошлом. Скрыть эту правду или умолчать о ней невозможно. Рано или поздно она была бы сказана. И хорошо, что эту правду сказал такой писатель, как А. Солженицын. Но что может один человек, даже такой, как Солженицын? Как утверждал Козьма Прутков — «нельзя объять необъятное». Назвав свою книгу «Архипелаг ГУЛАГ», Солженицын, в сущности, описывает только отдельные острова. В его «Архипелаге» очень много белых пятен. Ничего не известно о Сучане, Лобве, Диксоне, Новой Земле, Богословске, Сухобезводном и о многих других лагерях. Вскользь упоминаются такие системы, как Горлаг (Норильск), Озерлаг (Тайшет), Дубровлаг (Мордовия), Бодайбо, а о тех островах ГУЛАГа, которые ему известны, он пишет обобщенно, идентично тому, как арестовывали и расстреливали — скопом, по спискам, тысячами. В своей книге Солженицын констатирует многочисленные факты, каждый из которых нуждается в отдельном комментарии и пояснении. Это, по-видимому, понимает и сам Солженицын и в меру своих возможностей старается каждой такой факт аргументировать или ссылкой на документы, или пользуясь свидетельством очевидцев, и здесь он допускает массу неточностей и ошибок. Это, конечно, не вина Солженицына, а его беда. Архивы для него закрыты, а возможности встретиться с бывшими лагерниками были крайне ограничены. Людей, с которыми он встречался и свидетельства которых указаны в книге, можно по пальцам пересчитать¹.

К тому же не все лагерники, с которыми он встречался, были одинаково откровенны с ним и не все честны, в связи с чем и допущены им многочисленные неточности.

1. Так, упоминая соратников Димитрова по Лейпцигскому процессу Попова и Танева, Солженицын пишет, что они содержались в Краслаге. Это всего лишь маленькая толика правды. Попов и Танев содержались в Краслаге очень малое время. Из Краслага они были этапированы в Горлаг (Норильск), и там в 1949 году в 1-м отделении Горлага (на «Медвежке») Танев умер². Попов работал фельдшером в 5-м отд., а в 1952 году он был этапирован в Озерлаг. Мы делали все возможное, чтобы спасти Попова, но, по-видимому, не удалось. В 1954 году он был вызван к начальнику Озерлага полковнику Евстигнееву и более в лагерь не вернулся³. О его дальнейшей судьбе могут пояснить Евстигнеев и Терещенко⁴, которые недавно выступали по телевидению. К стати, неужели начальна Бухенвальда тоже выступает по телевидению в ФРГ? А ведь Озерлаг страшнее Бухенвальда.

2. Описывая восстание в Кенгире (Степлаг), Солженицын в числе руководителей этого восстания называет Кнопкуса, литовца по национальности. Это не так. Подлинная фамилия этого человека — Кнопмус Юрий Альфредович, уроженец гор. Ленинграда, русский. Кнопмус совершенно не знал литовского языка и замечательно владел русским. Он был удивительным рассказчиком. Он рассказывал так, будто читал книгу. Когда Кнопмус что-нибудь рассказывал, слушать его собирались все в бараке. А рассказывать Кнопмусу было о чем. Он был очень эрудированным, образованным человеком. Кнопмус — талантливый инженер. Я вместе с ним был в ИТЛ-100 (пос. Верх-Нейвинск), где Кнопмус монтировал шуховские котлы. Вместе с Кнопмусом в числе 100 человек был этапирован в Норильск, где Кнопмус работал старшим инженером ППЧ (планово-производственная часть). Я провожал Кнопмуса на этап в Кенгир. Помимо деловых качеств Кнопмус был очень принципиальным человеком. Он не терпел в людях фальши и безразличности и высоко ценил чувство собственного достоинства. Кнопмуса не судили. В последние минуты при подавлении восстания он бросился под танк. Прошу вас исправить эту ошибку Солженицына, не дожидаясь даже его согласия. Родственники Юрия Альфредовича должны знать правду о нем, он был замечательным человеком и стоит того, чтобы о нем помнили.

3. Находясь на крыше строящегося БУРа, Солженицын видит, как ведут четырех беглецов. Впереди идет, полный достоинства, Иван Воробьев. Более Солженицын о нем ничего не пишет. Очевидно, он его совсем не знает, иначе не смолчал бы. Иван Воробьев в прошлом офицер Советской Армии, Герой Советского Союза, волевой, принципиальный, мужественный человек⁶. Попад в лагерь, Воробьев пришел к заключению, что Сталин ревизует ленинизм и строит не социализм, а восточную деспотию. Увиденное потрясло его, и, как человек дела, он вместе с полковником Капитоном Кузнецовым приступил к организации партии прогрессистов-ленинцев, и уже в Степлаге ими была создана группа прогрессистов-ленинцев, в которую входили многие заключенные, и в частности — полковник Павел Фильнев, студент из Челябинска Володя Трофимов, учитель из пос. Чайковский Пермской обл. Володя Русинов. Очень тепло отзывается Солженицын о Капитоне Кузнецове. Но он его тоже не знает. Восхищаясь поведением Кузнецова, Солженицын пишет, что феномен Кузнецова еще ждет своего исследования. Он даже подозревает, что лучше его самого никто не сможет проследить трансформацию мышления Кузнецова. Кузнецова тоже не судили. В конце 1954 года все активные участники Кенгирского восстания были этапированы в Озерлаг, на 05 ОЛП (пос. Анзеба), где уже находились активные участники восстания в Горлаге (Норильск) и Речлаге (Воркута). Сюда были доставлены и Кузнецов с Воробьевым, но их поместили не в лагерь, а в изолятор, находившийся за пределами запретной полосы лагеря. С большим трудом нам удалось связаться с ними и получить от них ряд указаний о сопротивлении режиму. Отдавая должное организаторским способностям этих людей, Евстигнеев убрал их от нас и заключил в изолятор при 26-м лагпункте, но вскоре этапировал их оттуда в иркутскую тюрьму, где мне довелось встретиться с ними весной 1955 года. Куда их этапировали из Иркутска — неизвестно. Мы искали их в Дальлаге, на Колыме, в Краслаге, но на след напасть не удалось. И все же я считаю, что они выжили, и надеюсь, что отзовутся.

Описывая воровской произвол, творимый в лагерях с ведома и по указанию лагерной администрации, Солженицын признается, что он не располагает данными о сопротивлении этому произволу, а, между прочим, в Чурбайпуре (Степлаг) содержался Слава Нагуло — учитель из гор. Нежин Черниговской обл., который, будучи в Сиблаге и Маринских лагерях, сумел организовать мужиков и обуздать воровской произвол. Впредь в лагерь Востока и Сибири всякое выступление мужиков воры именовали «нагуловщина». Солженицыну ничего не известно о таких организациях мужиков, сидевших по 58-й статье, как «шпальники», «металлисты», «ломом подпопсаные», одному человеку объять необъятное невозможно.

Шаламов правильно замечает, что такой темы, как лагеря, хватит на 10 Толстых и 50 Солженициных. Здесь нужен труд сотен подвижников. Но кто возьмется объединить этих подвижников? Хорошо, если бы за такое дело взялся Солженицын. Я не думаю, что Солженицын считает, что он сказал о лагерях все или даже самое главное. Все еще предстоит сказать. Изложенные в «Архипелаге ГУЛАГ» факты нуждаются в пояснении. И плохо, если комментировать эти факты будет историк Рой Медведев, который не знает вкуса лагерной горбушки, а без такого знания правду восстановить невозможно. По моему мнению, в дополнение к «Архипелагу ГУЛАГ» должны быть изданы сборники воспоминаний бывших лагерников. И я очень прошу Солженицына оставить все другие работы и заняться Архипелагом. Мною написаны воспоминания о Горлаге (Норильск). Это свыше 300 тыс. погибших. Но мне некому предложить эти свои воспоминания. Я три письма написал обществу «Мемориал» и ни на одно не получил ответа. Посылать в журналы — напрасный труд. Где же выход? Или память о погибших в заключении никого не волнует? И не потому ли полковник Евстигнеев получает возможность выступать по телевидению? А что Союз писателей — Шанталинский, Муравьев? Так кто, кроме Солженицына, может взяться дописать «Архипелаг ГУЛАГ»?

...Дорогие товарищи! Кровь людская — не водица. Не забывайте об этом.

Гомель, январь 1990.

Климович Г. С.

¹ Тут неизбежно напомнить читателям строки из вступления к «Архипелагу ГУЛАГ»: «Эту книгу непосильно было бы создать одному человеку... материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — /перечень 227 имен/».

² Ошибка автора письма. Т а н е в Васил Константинович (1897 — 1941) — болгарский коммунист. В СССР приехал в 1935 году. В 1937-м арестован, в начале 1941-го освобожден, в октябре того же года вылетел в Болгарию для подпольной работы, но группа по ошибке приземлилась в Греции. Погиб в бою с фашистами.

³ П о п о в Благой Семенов (1902 — 1968) — болгарский коммунист с 1922 года. После освобождения в 1954 году из лагеря был реабилитирован, уехал в Болгарию, где последовательно занимал ответственные посты в Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры Народной Республики Болгарии. С 1964 года персональный пенсионер.

⁴ Е в с т и г н е в Сергей Кузьмич — полковник, бывший начальник Озерлага. В 1988 — 1990 годах неоднократно выступал в периодической печати и на телевидении. В одном из таких выступлений он заявил: «Я однозначно утверждаю — никто в Озерлаге не умер от голода, эпидемий, мучений» («Советская молодежь» (Иркутск), 21.7.90).

⁵ Т е р е щ е н к о Н.И. — бывший начальник политотдела Озерлага.

⁶ Автор письма судит о книге по тем главам, которые печатались в «Новом мире». Между тем в полном тексте «Архипелага» сказано об Иване Воробьеве: «Сидит здесь и Иван Воробьев, капитан, Герой Советского Союза. Во время войны он был партизаном в Псковской области» («Архипелаг ГУЛАГ», ч. 5, гл.6). Интересно, что в справочнике «Герои Советского Союза» (М. 1987 — 1988) названы три Ивана Воробьева — Иван Алексеевич, Иван Григорьевич и Иван Иванович. Все трое — летчики. Двое из них были репрессированы. Однако их биографии, приведенные в справочнике, делают маловероятным их участие в описываемых событиях. Но нельзя забывать, что по действующему негласному правилу в справочник не внесены те Герои Советского Союза, которые не восстановлены в этом звании к моменту его издания. Возможно, был и еще один Герой Советского Союза — Иван Воробьев. Может быть, читатели помогут его найти.

⁷ «Ломом подпоясанные» упомянуты в «Архипелаге» (ч.5, гл.10).

Многоуважаемая умная редакция журнала «Новый мир»!

...Спасибо за Солженицына. Все, что пока прочитали, — это потрясает. И поплачешь, и ужаснешься, где и посмеешься. Это и есть жизнь — без прикрас, но без нытья и ханжества. Удивителен дар писателя — такое обилие лиц и все запоминаемы. Есть над чем задуматься. Чего только стоит повествование о тюремной похлебке (баланде — какое емкое словечко) ... А с каким поистине щедринским сарказмом описывается обещание Сталина на слезную просьбу Абакумова ввести смертную казнь... «Архипелаг ГУЛАГ» — огромный фактический материал, труд великий. Низкий ему поклон! Я уж не говорю о массе философских мыслей и рассуждений...

Не хочу слушать никаких критиков, которые стараются выискать в его произведениях какие-то недостатки. Сразу приходит на ум известное со школьных лет — «а судьи кто?».

Калининград Моск. обл., апрель 1990.

В. Альтова.

...Зачем Вы взялись печатать Солженицына, ведь он пишет чепуху. Актуальная тема? Он заработает, а Вы проработаете. Ни одного конкретного лица не указал из чекистов, кроме Ягоды, Ежова, Вышинского, Ульриха. Мы и без него все это знаем.

Дьяков все описал, как было в лагерях¹. Солженицын даже с Лениным не посчитался и его чернит. Он всех огульно поносит. Хороших писателей, видимо, отвергли, а бузотера запустили в серийное производство...

Грозный, октябрь 1989.

Аноним.

¹ Имя Б. А. Дьякова (р. 1902) стало нарицательным после публикации в журнале «Огонек» (1988, № 20), разоблачающей этого литератора как давнего сексота НКВД — МГБ СССР. Аноним, видимо, имеет в виду книгу Дьякова «Повесть о пережитом» (М. 1966). О Б.А. Дьякове см. также «Архипелаг ГУЛАГ» (ч. 3, гл. 11; ч. 7, гл. 1).

...«Архипелаг ГУЛАГ» не пасквиль на советскую действительность, как это пытаются представить защитники палачей, а боль и гнев верного Родине гражданина. Боль за свой народ, попавший под гнет авторитарной, элитарно-бюрократической, террористической суперсистемы... Гнев к палачам, истинным антисоветчикам и врагам народа, узурпировавшим власть и уничтожившим миллионы наших соотечественников, ум, честь и совесть народа... Нам необходима как воздух правда о нашем недавнем историческом прошлом, какой бы горькой она ни была, и правда о нас нынешних. Нам нужно знать правду о людях, которые со спокойной совестью выполняли свою кровавую работу, убивали без вины, без угрызения совести, без чувства ответственности... а после окончания своего кровавого дела продолжают жить, не испытывая раскаяния в содеянных преступлениях, продолжают пользоваться «заслуженными» при «строительстве социализма» привилегиями, не сознавая, что строили они не социализм, а нечто близкое к фашизму.

Мы должны знать и тех, кто в литературе, искусстве, науке, периодической печати, по радио и телевидению служил не истине и правде, а, раболепствуя и пресмыкаясь, восхвалял и возвышал палачей своего народа, создавал культ личности Сталина, тем самым унижая народ, воспитывая в нем бездуховность, верноподданничество, безликость и равнодушие к творимым палачами бесчинствам.

Нам необходимо знать и тех, кто из низменных побуждений или по темноте своей и заботности писал по щелям доносы, требовал смерти «врагам народа» на собраниях, митингах и демонстрациях, клеймил «антисоветчиков», «вражеских наймитов», громил подлинных деятелей науки, культуры и искусства.

Наступило время покаяния и искупления вины перед народом... Публикация «Архипелага ГУЛАГ» — долг издателей народу, один из долгов. Никто не вправе лишить народ правды этого произведения.

Москва, октябрь 1988.

Коваленко М. С.

...Возможно, читателям журнала было бы любопытно, как процессы, отраженные в книге, освещались в официальной прессе, в частности в органе ЦК — журнале «Большевик». В № 20 за 1933 год была опубликована интересная статья С. Фирина «О великой победе», посвященная окончанию и итогам строительства БЕЛМОРСТРОЯ¹. Из этой статьи о тех деформациях нашего мышления, искорененной психике и извращенной системе нравственных ориентиров можно почерпнуть, пожалуй, не меньше, чем из «ГУЛАГа»...

Итак: «Исправительно-трудовые лагеря ОГПУ являются пионерами по культурному освоению наших отдаленных окраин» (имеется в виду Карелия). Работа лагерей «постепенно превращает ранее отсталые отдаленные места нашего Союза в культурно-индустриальные районы»... «Чекисты БЕЛМОРСТРОЯ знали, что инициатором и вдохновителем нашего канала является вождь нашей партии и мирового пролетариата тов. Сталин» (стр. 85)...

К каким же выводам пришел автор статьи о БЕЛМОРСТРОЕ? «Именно применяя такие методы, на примере ИТЛ БЕЛМОРСТРОЯ... можно осуществить задачу переделки человеческого сознания, даже элементов разложения (это о социальном чужды — автор), можно силами ЭТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» (стр. 79). Сегодня нам, знающим, что результаты процесса определяются не провозглашенными целями, а применяемыми средствами, понятно, что «построенный социализм» до жути в некоторых деталях напоминает описываемое строительство. Еще один вывод и одновременно призыв к тиражированию опыта: «БЕЛМОРСТРОЙ — не первая и не последняя крепость, взятая большевиками» (стр. 68). И действительно будущее доказало, что канал не стал единственным и уникальным экспериментом, а был одним из многих подобных объектов и тогда и впоследствии.

И последнее: «Политическое значение канала определяется самим фактом построения такого гиганта при помощи ГЕРОИЧЕСКОГО ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ, фактом, который не имеет примера в истории и КОТОРЫЙ НИГДЕ, КРОМЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ, НЕ МЫСЛИМ» (стр. 77). Тут ни убавить, ни прибавить. Невольно вспоминается: «Когда страна прикажет быть героем — у нас героем становится любой». Страшен, на мой взгляд, не только и не столько факт применения заключенных на стройке. Страшно то, что в нем видят специфику строя, называющего себя социалистическим.

Страшно в квадрате оттого, что этим г о р д я т с я , не замечая изуверской основы такой гордости в системе общечеловеческой морали. Страшно отсутствие у таких «винтиков» колебаний и сомнений. И особенно тревожно, что такие взгляды «образца 1933 года» не принадлежат только истории...

Москва, сентябрь 1989.

А. М. Юсуповский,
доцент МГУ, канд. филос. наук.

¹ Судьба Семена Григорьевича Ф и р и н а (настоящая фамилия Пупко; 1898 — 1937?), многократно упомянутого в «Архипелаге...», сложилась как у большинства заплочных дел мастеров. После Беломорканала он стал начальником Дмитлага НКВД СССР. Имел звание старшего майора госбезопасности (читай — генерал). В 1937 году его арестовали. Тогда же осужден Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания за то, что во время инспекционно-проверочной поездки на канал Москва — Волга наркома внутренних дел Ежова готовил с помощью 208 заключенных террористический акт против него. Удивительно, но факт: в 1956 году посмертно реабилитирован той же Военной коллегией, правда в ином составе. Видимо, теракт не готовил.

...При чтении «Архипелага ГУЛАГ», конечно же, возникает мысль: раньше бы это! раньше! Но и теперь — своевременно. Так, если огонь был дан людям для разума и света, «Архипелаг» — для сознания сути человеческого бытия! Простая, горькая, великая правда! В этом ужасе смертей, горя, бесчеловечья со стороны людоедов — одна утешительная мысль: Солженицын жив! Жив Александр Исаевич Солженицын! Подумать только! И мы, читатели, можем сказать: «Спасибо!»

В 7-летнем возрасте я «загемела» в ссылку вместе с родителями, сестрами, братьями, родственниками, которых разделили с нами, в разные места сослали! Наша земля обетованная — Богословские угольные копи, недалеко от Ивдельлага. Но перед ссылкой пьяные уполномоченные и активисты — что они творили над нами! На станции нас много лежало, сидело на земле, а это конец августа 1930 года. Ждали идущие составы — телятники. Вагоны просвечивали, грязь не убрана. Вот в них погрузили; до Нижн. Тагила везли закрытыми, а после — чуть открыли. Вдоль дороги леса Северн. Урала — елочки, а там, куда привезли, — тайга. Тайга и болота. Умерли там наши родители к концу 1932 года. Умерли сестра, брат, родственники. Детские дома Свердловской обл. переполнены: кормить и одевать нас нечем. Ходили в тайгу, помню эти пихты, ели, вот березок мало!

В Ирбитский детский дом в конце лета 1937 года привезли детей «врагов народа». В 1940 г. я видела под Ирбитом, в лесу, поселок ссыльных поляков из зап. областей Украины и Белоруссии. Туда мы ходили с девочками в гости, к этим полякам! В 1941 г. многие из них умерли! В 50-е годы видела здесь, в Кургане, ссыльных молдаван.

Курган, декабрь 1989.

Мочалова Н. К.

...Товарищи редакция, можно объяснить мне, как может существовать власть, которая превратила страну в один большой лагерь с бараками разного режима? Как может существовать власть, убившая 65.000.000 человек? Почему у органов госбезопасности хватает наглости говорить, что в их рядах нет людей, причастных к массовым расстрелам? Ряды-то остались те же, и равнение держали на ту же заветную цель.

Почему международный суд в Нюрнберге мог признать организацию СС преступной, и сам факт членства в ней делает человека преступником. Когда у нас можно будет открыто и гласно судить ЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ (а проче — органы), я думаю, что любой непредвзятый суд признал бы эти организации преступными объединениями, ставившими перед собой античеловеческие цели. Может, тогда бы исчезла невидимая колючка, вышки с бдительными дозорными, и взамен страха перед органами у поднявшихся людей заговорила снова бы совесть, и стало бы выгодно быть просто честным и порядочным человеком.

Златоуст, январь 1990.

Волков М. В.

...Что ж это вы делаете? Зачем печатаете этого хриstopродавца Солженицына? Ему наплевать на нашу родину, ему прекрасно в Америке. Какое он имеет право плевать на наш мир, нашу историю? Всех перепенил! До Ленина добрался. И все в шутилом тоне. Вроде книги «Забавное евангелие». Кстати, теперь уже не забавно. А мне и многим моим сверстникам не до шуток. Плакать хочется, и плачу над своей жизнью. Она у меня одна и Родина одна, плохая или хорошая, но она моя единственная и другой, лучшей, не надо. И больно, когда глумятся над тем, что было свято для нас. Еще ссылается на труды Ленина, странички указывает, докопался злопыхатель проклятый, чтоб он здох. И Дзержинский плохой, Лацис, Горький, Маяковский, а о Сталине я уж не говорю. Еще долго будете печатать этот Архипелаг. Он и до Горбачева доберется. Лишь бы ему карманы набивали долларами. Борзописец несчастный...

Желаю вам всяческих неудач.

Херсон, октябрь 1989.

Пенсионерка Киселева Е. В.

Уважаемый С.П. Залыгин! На прочтение Вашего журнала «Новый мир», где был опубликован роман А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», была очередь. Дошла она и до меня... Дай Бог Вам и всем, кто принимал участие в судьбе этой книги, крепкого здоровья и долгих лет жизни, особенно писателю, великому гуманисту А. Солженицыну... По-моему, надо бы наказать того, кто расправился с автором за правду, изгнать самих, а его вернуть с большой честью на Родину.

г. Устюжна Вологодской обл., май 1990.

Колосова Н. Г.

...Пасквильная писанина Солженицына вызывает возмущение, но содержит pro et contra. Махровый черносотенец, антисемит, ругатель, сквернослов, он кипит злобой и ненавистью к Советской стране. Сам трус и ничтожество, не способное ни к каким активным действиям, он шипит и смердит, нафаршированный и пропитанный содержимым «параша», ибо не видит и не хочет видеть ничего положительного в нашей стране! Воевать надо было с живым Сталиным, а не с мертвым!

Тбилиси, декабрь 1989.

Ветеран войны и труда Иванов И. И.

...Я рядовой участковый врач, мне 37 лет, из них 15 лет работаю в поликлинике...

Я потрясена «Архипелагом ГУЛАГ». Хотя в нашей семье есть расстрелянный в 37 г. мамин брат, есть мой родной дедушка, который был репрессирован, и только один Бог знает, как ему удалось выжить, бабушка была выслана из Николаева в Сибирь, для меня в этой книге было очень много такого, что перевернуло мои отношения ко многому, теперь я стараюсь собрать остатки доверия к источникам власти, и «классикам истор. марксизма», многое перечитала, но в моем возрасте уже очень трудно менять мировоззрение. Так вот, с кем бы я ни говорила об этой книге, а особенно в нашей сибирской деревне, очень многие мне говорят — «я ведь думал, что и правда — враги, ведь в газетах писали» — это старое поколение. «Ведь в учебниках» — это мое и моложе. Так вот, если бы у нас была «свобода печати», если бы вовремя были прочитаны и «Архипелаг», и «Один день...», и «Доктор Живаго», и др. книги, то, я уверена, жизнь была бы немного другая, люди были бы другие, не может человек не измениться, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ»...

PS. Очень прошу Вас, передайте Александру Исаевичу Солженицыну от имени сибиряков, что мы очень ждем его книг, пришедших к нам с таким опозданием. Пусть не все граждане Союза, но все думающие и любящие думать никогда не верили «общепринятому мнению», безнадежно надеялись когда-либо прочитать его произведения и наконец-то дождались торжества справедливости. Низкий ему поклон от моего поколения, Господи, почему не раньше нам Его дали прочитать. Дай Бог ему здоровья!

Барнаул, январь 1990.

С. Дудко.

...У меня есть предложения. Организовать чтение всего «Архипелага» по центральному телевидению. Кстати, такой опыт у нашего замечательного телевидения есть. Вспомните, с каким пафосом читал артист В. Тихонов брежневскую пустышку «Целина». У В. Тихонова есть сейчас возможность реабилитировать себя... Кстати сказать, элементарная порядочность требует, чтобы и Политбюро ЦК извинилось перед народом за миллионы трупов. Этот подарок народу преподнесла однопартийная система...

Весь народ должен в самое ближайшее время услышать «Архипелаг». Это — архиважное, архисрочное дело. Время не терпит. Гулаговское чудине все еще озорно, огромно, стозевно и лаяй. Отсечь чудишу все его ядовитые зевы — это веление времени.

Уральск Каз. ССР, январь 1990.

Бородин В. П.

...Да какой же он критик. Самый что ни на есть клеветник, он самый что ни на есть болтун, он самый отвратительный человек в мире. В нем ничего святого, в нем нет ничего доброго, в нем одна злость, ненависть к людям, к партии, ко всему народу всех времен... Кто выкормил и выучил эту мразь, которая льет теперь грязь на все доброе. Теперь много умников, которые критикуют и кланут все прошлое. Что этот умник не пришел к начальнику контрразведки «СМЕРШ» и не сказал: вы делаете неправильно, дай-ка я сделаю хорошо. Где же Солженицын был раньше, что молчал при Сталине, ничего не писал, а теперь он через 50 лет после смерти расписался, увидел, что было плохо...

Рубцовск, Алтайский край, декабрь 1989.

А. Н. Афанасьев, грузчик.

...Благодарю за Ваше решение начать публикацию произведений А.И. Солженицына!.. Хочется написать ему — выразить чувство восхищения его мужеством, стойкостью

к многочисленным невзгодам на родине и оптимизмом, чувство стыда за поступок моих земляков — «писателей»-троглодитов, опозоривших прежде всего самих себя, ССП и Рязань.

Рязань, сентябрь 1989.

Лидерман Н. С.

Против фальсификации ленинских цитат и идей. В ж. «Новый мир» № 9 — 89 г. в публикации А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» на стр. 85 приводится цитата из письма Ленина А.М. Горькому (ПСС, т. 51, стр. 48) об отношении Ленина к основной массе тогдашней русской интеллигенции («околокадетской»): «на деле это не мозг (нации), а говно». Приведенная цитата автором недопустимо искажена. Во-первых, последнее цитируемое слово Ленин обозначает лишь одной буквой. Возможно, это чисто формальное замечание. Во-вторых, и это г л а в н о е, автор самовольно включает в цитату в скобках слово, которого там нет, — «не мозг (нации)... что существенно искажает ленинскую мысль. В результате по Солженицыну получается, что мозг нации — это лишь «околокадетская» интеллигенция, а Ленин говорит об этой части интеллигенции как о пособниках буржуазии, интеллигентиках, лакеях буржуазии, мнящих себя мозгом нации. Таким образом, Ленин отказывает этой части интеллигенции в праве представлять всю русскую интеллигенцию как мозг нации и подчеркивает, что «интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно...

Наше письмо в редакцию журнала имеет единственную цель — обратить ее внимание на четкость идеологических позиций в рамках социалистического плюрализма.

Москва, октябрь 1989.

Белова Н. И.,
канд. филос. наук, доцент, пенсионер.

Глубокоуважаемые новоирицы! Низкий, низкий вам поклон за «Архипелаг» Солженицына, который наверняка поубавит спеси нашим ортодоксам с их единственно верным учением и позволит всем нам наконец-то трезво взглянуть правде в лицо...

Алма-Ата, декабрь 1989.

В. Мохначев, журналист.

...Чтобы критиковать эту книгу, нужно побывать на месте писателя. И грех тому, кто пытается это делать, кто бы он ни был, не испытав лично (и только лично) архипелаговских ужасов...

Харьков, январь 1990.

В. Н. Павленко.

...Я прочел роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Потрясающий роман. Когда читаешь, то мороз по коже проходит, и даже жутко себе представить, через какие муки ада, зверства и унижения проходили заключенные в родных советских лагерях... Мысленно я сравнил две системы геноцида, фашистскую и советскую, и сделал заключение, что они тождественны. Для немцев еще можно сделать и смягчение — они ведь были наши враги, а здесь ни за что мучили и уничтожали своих и считали, что все это делается для построения коммунизма во всем мире... После Нюрнбергского процесса мы заклеили фашизм и вынесли гуманное решение нюрнбергского суда — «срока давности фашистскому геноциду не существует», и фашистских палачей ищут десятилетиями во всех странах мира... Но кто же ответит за геноцид собственного народа в нашем государстве?.. Советскими лагерями ведь командовали идейные коммунисты. Вели аресты, делали следствия и сажали в тюрьмы тоже коммунисты. Это были зверолоды, но с партийными билетами. В лагерях были тоже они — мучили людей. И эти мучители по своим изощрениям издевательств превзошли даже гестаповских палачей. Они подобны фашистам, но никуда не выезжали и не удирали, а по «выслуге» лет все вышли на персональные пенсии со всеми льготами и живут себе припеваючи и в ус не дуют. К ним и закон о геноциде нельзя применить, потому что они стояли на страже построения коммунизма во всем мире. И все эти идейные коммунисты-палачи сидят под крылышком у своей же партии. Значит, социально близкие. Я еще нигде в газете не читал, чтобы было сказано, что такой-то и такой-то коммунист за геноцид в таком-то году в лагерях приговорен к какому-либо наказанию... У меня создается впечатление, что всю лагерную систему Гитлер перенял у Сталина. Ведь Гитлер пришел к власти в Германии в 1933 году, а у Сталина уже работала лагерная система по уничтожению людей...

Есть еще наивные люди, которые удивляются, почему партия потеряла авторитет. Пусть каждый прочтет «Архипелаг ГУЛАГ» и тогда поймет, какими методами стремились построить коммунизм... Началась перестройка. Партия начала каяться во всех своих грехах. Как выразился Горбачев, партия все взяла на свои плечи. А кто же должен был взять? Ведь у нас же руководила партия, она ведь была рулевым в государстве, а не

какой-нибудь иностранный агент — ставленник и марионетка. За все беды, за все ошибки партии народ рассчитывался своей головой, своей кровью...

Добрянка Черниговской обл., февраль 1990.

Кожевников В. А.

...Вот и прочитали мы великую, праведную книгу — «Архипелаг ГУЛАГ». Да, теперь понятно — великие создатели «светлого будущего» были правы: «Книгу держать и не пущать!..» Найдутся мужи, и таких немало, кто скажет: «пасквиль на наши великие достижения», клевета, осквернение светлого... Следы этой великой очистительной работы, по уничтожению и усмирению «насекомых» видны и сегодня! Тяжкие, горькие следы!.. Нет, не прошлым только стало наше великое прошлое! Оно — живет в нас, с нами! Живет и болеет — неустроенность наших жилищ, необеспечение питанием, нищета и полуничета...

Прав А.И. Солженицын! Великий гражданин и талантливый писатель! Жестокость и хамство порождены были системой вседозволенности, бесконтрольности, опьянения властью. Никогда не должна забыться история раскулачивания и высылка крестьянства! В тундру, в болота, в тайгу. Неграмотные и дикие активисты из местного батальона «марксистов» выбрасывали семьи на мороз, стреляли в непокорных, оставляли голодом, уводили голых и голодных на станции, к телячьим вагонам — на Север! На перевоспитание! Там, в ссылке, завершали «воспитание» десятники, бригадиры, коменданты!

Наследники великого созидания — не промолчать вам в ответ на эту книгу! Мертвые не говорят, а вы — живые! Со всех трибунов говорили, все — слушали! Теперь кричат: «Не давайте Солженицыным слова!» Надо дать! Пусть говорят Сахаровы, Солженицыны — народ рассудит!

Курган, октябрь 1989.

Колесникова А.

...Ныне редакция перекармливает нас Солженицыным. Но ведь ясно уже, что это далеко не Лев Толстой. Узок его взгляд на мир. Не вина, а беда писателя, что видит он его с лагерных нар, что желчь и злоба, накопившиеся за десять лет пребывания «в местах не столь отдаленных», мешают таланту сделать действительно крупные обобщения. Солженицын недемократичен, не любит он свой народ, свысока и пренебрежительно смотрит на исторический выбор, сделанный народом. Он таким был всегда...

Ленинград, июнь 1990.

Михайлов Д. С.

...Считаю своим долгом высказать кое-что об «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына. Чтобы было понятно, почему я беру на себя эту миссию, пару слов о себе: до 1937 года — сын большевика, партийного и государственного деятеля Украины; 1937 — 45 гг. — сын «врага народа»; 1945 — 56 гг. — «враг народа»; 1956 — 57 гг. — и я и отец реабилитированы. Отец был расстрелян в Киеве в августе 1938 года. Мне пришлось побывать в трех лагерях: Мослеслаг... Пошехоно-Володарский р-н Ярославской обл.; ...колония для «фитилей», дислокация — г. Рыбинск; Печорлаг — строительство ж.д. на Воркуту, дислокация — Коми АССР. Прошел пересылки — Краснопресненскую (Москва), Ярославскую, Рыбинскую, Печорскую...

Многое написанное Александром Солженицыным о лагерях и тюрьмах, этапах и пересылках я могу подтвердить как участник и свидетель этих событий. Но... Вот на этом я и хотел остановиться.

Какая бы ни была система, какие бы ни были указания сверху, исполнители — люди, и от них зависит очень многое. Мы знаем факты. Завенягин в Норильске отменял указания Москвы о «ликвидации» определенных контингентов².

Начальник одного из отделений Печорлага (я в этом отделении провел 5½ лет), И.И. Рубин (см. «Новый мир» № 9 — 89 г., стр. 125), сам побывавший в «зоне» в начале 30-х, очень строго следил, чтобы не было безобразий³. Солженицын один раз упоминает Печорлаг: перед войной было 50 тыс. зеков, а к концу 42 года осталось 10 тыс. Это — правда. Я лично засвидетельствовать этого не могу, но «старожилы» Печорлага об этом рассказывали. На грани 42 — 43 годов (примерно) начальником Печорлага становится полковник Барабанов... Он навел в Печорлаге порядок. За 5½ лет моего пребывания в Печорлаге я не могу засвидетельствовать случаев безнаказанного произвола со стороны охраны, оперативников, службы режима. Бывали редкие случаи злоупотреблений, но на них была очень крутая реакция со стороны руководства Печорлага, также и со стороны руководства отделения. Когда Барабанов был переведен на 501 (?) стройку (стр-во ж.д. до Лабитнанги — против Салехарда на Оби), а позже на Цымянское стр-во, в Печорлаге оставалась его школа⁴. Надо отметить, что в Печорлаге преобладала 58-я статья... Была, конечно, «сучья» война и др. лагерные «прелести», но не в такой концентрации, как у Солженицына. Кроме Печоры, были и др. места, где зло пребывало в «печорской концентрации».

Однако тюрьма есть тюрьма: были соответствующие режимные требования, были «шмоны» (без грабежа, как правило), были ШИЗО, были строгости в «женском» вопросе

и т.п. Да и нахождение рядом даже с «тихими» блатарями — не сахар. Постоянная вероятность этапирования неизвестно куда — не мед.

Но все же, как видите, были оазисы в Архипелаге...

Киев, февраль 1990.

Сидерский В. З.

¹ Отец автора Сидерский Зиновий Осипович (1897 — 1938) — партийный работник на Украине, занимал пост исполняющего обязанности наркома земледелия Украины. 26 ноября 1937 арестован, 12 августа 1938-го осужден к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР. Сам автор письма Сидерский Владимир Зиновьевич (р. 1926) арестован 25 апреля 1945 года, когда был студентом Электромеханического института железнодорожного транспорта в Москве. Осужден Военным трибуналом Московской окружной железной дороги на семь лет лагерей и три года поражения в правах. Освобожден в 1951 году по зачетам.

² Завенягин Авраамий Павлович (1901 — 1956), с 1933-го директор Магнитогорского металлургического комбината, с 1937-го заместитель наркома тяжелой промышленности СССР. Большинство сотрудников наркомата, работавших с ним, были в этом году арестованы. Из некоторых на следствии выбрали на него компромат. Однако арестован он не был. Завенягина решили «проверить» на выполнении особого задания, послав в Норильск руководить строительством горнометаллургического комбината в системе ГУЛАГа НКВД (1938). С проверкой он достойно справился, став впоследствии заместителем министра внутренних дел по строительству спецобъектов МВД, генерал-полковником МВД. Дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1954). Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

³ Возможно, речь идет об экономисте Исааке Ильиче Рубине (1886 — ?). Впервые осужден в 1931 году по делу Союзного бюро меньшевиков.

⁴ Речь идет о Василии Александровиче Барабанове (р. 1908). Одно время работал начальником управления в системе Воркутлага НКВД, затем стал начальником Печорлага. Проработал на этой должности до 1946 года.

...Лично мне в романе близок даже сам тон А. Солженицына, пронизанный ненавистью ко всему этому неокрепостническому ужасу, среди которого мы до сих пор живем и от которого можно, наверно, только уехать, но «перестроить» — невозможно.

Казань, ноябрь 1989.

С. К. Шмидт.

...Прочитал в Вашем журнале роман Солженицына. Я пытаюсь понять, почему в нашей прессе стремятся представить Солженицына «великим писателем». Ведь это же обольщивание людей! Если Солженицын — «великий писатель», то можно пожалеть Россию...

Москва, март 1990.

Авдеев Г. П.

...Многие сейчас печатают о нашей трагедии, выплескивают переполняющую их сердце боль. Но из всех, из всех самый выдающийся писатель — это Солженицын. И эта книга не просто повествование. Это глубокое, фундаментальное, историческое, научное исследование нашего прошлого. И все, все — истина. Ни одной неискренней строки. Все глубоко продумано, пережито и осмыслено. И сколько знания всего. Это энциклопедия. И какая боль, какая печаль! А страницы о добре и зле, о постижении нравственного закона жизни? Они звучат пророчески, библейски, хочется встать, когда слушаешь их. Это Бах. А полные страсти, неистовой кипящей страсти к свободе страницы о Кенгирском восстании. Они звучат как грандиозная симфония. А главы об истоках жестокости и террора в стране? А мысли о сущности человека? А беспощадная горькая ирония о лжи и трусости известных западных философов, писателей, Горького? И горечь, горечь, горечь.

И как все подлецы стали... применять этот подлый, беспроигрышный прием: естественный человеческий протест против ханжества, лжи, жестокости, бесчеловечности объявлять антисоветчиной и уничтожать человека.

«Архипелаг ГУЛАГ» — книга на века. К ней вновь и вновь будут обращаться все последующие поколения. Скажите, что надо сделать, чтобы великому гражданину страны вернули советское подданство?.. Но только не надо ему возвращаться в нашу страшную страну. Ведь по сути — ничего не изменилось и не изменится никогда. Кругом ложь, ложь, ложь! И это неизлечимо...

Челябинск, февраль 1990.

Фатеева Д. И., 56 лет.

Вывезена в ссылку с родителями в 1931 году на ст. Ляля, Северный Урал. Уроженка села Красный Шахтарь Изюмского района Харьковской области.

ПОСЛЕСЛОВИЕ к главе № 2 «Мужичья чума» части третьей «Архипелаг ГУЛАГ». Наша семья состояла из 6-ти человек, родители — отец Макуха Денис Захарович, мать Макуха Улита Егоровна, брат — Захар 1914 года рождения, сестра — Фрося 1916 года, Оля — 1918 года рождения. В 1929 году на свет появилась я, и никто не знает — для чего. В 1930 году наложили налог на хлеб, наш отец вывез все, когда наложили второй раз, то не только на вывоз, но и даже на еду семье ничего не было. Отца обвинили в

антиреволюционной пропаганде и забрали в тюрьму по ст. 58-10 (данные Харьковского КГБ — 1989 год). Но улик против него не было, и его отпустили. Но с арестом отца нашу семью выгнали из родного гнезда. Наша мама с 4-мя детьми была принята нашим дедушкой Буянским Егором Акимовичем, за что его со временем тоже выгнали из родного гнезда, и он умер голодной смертью. В 1931 году по решению Изюмской райтройки отец был признан кулаком, осужден по статье 58 — враг народа, и 13 июня 1931 года наша семья вторично была изгнана из Красного Шахтаря. Всех кулаков собирали в лагерь «Савинцы», пока формировался состав из теплушек, и повезли на поселение в Лялю, теперь Новая Ляля. Ехали целый месяц и приехали на мой день рождения 12-го июля 1931 года, мне исполнилось 2 года. Нас рассовали по спецучасткам, приставили уполномоченных и всех трудоспособных послали на лесоповал. Я была в январе 1989 года в Новой Ляле. Из всего эшелона там осталось две семьи, и поэтому пишу со слов участников этих давних событий. Строили в тайге, на ночь разжигали костры, разгребали угли и на этом месте ложились в 40° мороза спать. К утру — крайние были уже трупы, их грузили на розвальни, как дрова, по 10—12 человек и закапывали, места захоронения заравнивали... и каждый день уполномоченные производили проверку наличия ссыльных... Не буду описывать все бедствия спецпереселенцев, но скажу только одно, что А. Солженицын вроде бы выдал много хлеба для всех, а ведь давали намного меньше, я только запомнила из рассказов очевидцев, что муки давали по 150 гр. на месяц. Многие не выдерживали, да кроме всего прочего ведь еще и издевались. Кто умирал с голоду, кто весился, были случаи, что ели детей... Когда нас привезли в Лялю, то вскорости вышло постановление, что подростки могут вернуться на старое место жительства. И мои сестры вернулись. Меня же с родителями в 1933 году, как самую главную преступницу, отправили в Красный Вишер Пермской области. И я каким-то образом попала в детский дом. Где? Никто не знает. Не сохранились архивы тех лет. Я очутилась в Свердловской области. Везли нас часто и подолгу — и паромом, и поездом, и на розвальнях, и из одного детского дома в другой. Я заболела туберкулезом. Не знаю, кто меня выхаживал, часто болели глаза, перестала ходить. А потом выбралась из всех своих болезней и в 1934 году уже была в детском доме села Бобровка, Сысертского района, Свердловской области.

...Весной 1936 года нас перевезли в Нижний Исетск, что 8 километров от Свердловска, детдом, по-видимому, им. Дзержинского, стоял у нас в группе бюст Дзержинского. Решили нас, детей, очеловечить и дать фамилии. Мне дали фамилию — Закирова, в честь девочки-татарки Раи Закировой, у которой к тому времени нашлись родители. В этом же году нас, человек 20, перевезли в г. Ирбит в дошкольный детский дом. Уже в школьном детском доме № 2 в 1939 году мне дали отчество — Георгиевна и год рождения. В 1938 году я пошла в первый класс, но снова заболела и отстала от своей группы. В 1943 году окончила 5 классов, и нас, девочек из двух детских домов, отправили в г. Фурманов Ивановской области на прядильно-ткацкую фабрику, где проработала до 1945 года. К этому времени на фабрике детдомовских осталось очень мало, я тоже пустилась в путешествие по «Родному краю» и уже в Белоруссии попала снова в детский дом. В Гродно живу с 1946 года. В 1952 году решила поехать в Германию, прошла все комиссии, пришла в военкомат на собеседование, меня не взяли по той причине, что я из детского дома, что у меня нет родителей или же родственников. И вот с 1952 года я занялась писаниной и в 1968 году нашла себя. Оказалось, что я не Закирова, а Макуха...

Когда в 1989 году вышло постановление о возмещении ущерба, все думали, что уж наконец-то пришла справедливость! Но не тут-то было. Оказалось (данные Харьковского управления юстиции 1989 года), что лица, вывезенные в другие места жительства, под это постановление не подлежат. Спрашивается, выжили-то ведь единицы тех 15 миллионов семей, под что они подлежат? Снова под выселение? А вот лично я так и не знаю, и никто не может мне объяснить, «Я Гражданин Советского Союза или нет». Реабилитировали моих родителей, которым уже было бы под 100 лет, а я что, не реабилитирована, я же была с ними? И если разобратся логически, то и сейчас являюсь ссыльной. Я ничем, никакими льготами никогда не пользовалась. Да одна ли я такая? Прошла война, прошло землетрясение, прошел Чернобыль, об этих хоть что-то думает государство, ну а об нас?..

В Лялю же везли и А. Твардовского¹, только их семью в апреле, а наш эшелон прибыл туда в июле...

Гродно, январь 1990.

Макуха Р. Д.

¹ А. Т. Твардовского на станцию Ляля не выслали; туда были посланы его родители и братья (см.: Иван Твардовский, «Страницы пережитого». — «Юность», 1988, № 3).

Залыгину С. П. Дай Бог Вам мужества и силы... Спасибо за публикацию «Архипелага ГУЛАГ». За одну лишь главу «Мужичья чума» кланяюсь до земли Александру Солженицыну, преклоняюсь перед мужеством сына Земли Русской многострадальной...

Мое поколение родилось и жило в перевернутом, искаженном, противоестественном и страшном мире. Мы это знали (не спившиеся, не разложившиеся) и знаем. Но такую пронзительную правду пока мог сказать только А. Солженицын. Мой дед был великий труженик, и факты его раскулачивания и мученической смерти достойны продолжения

«Архипелага ГУЛАГ»... Думаю, что не стоит уже вопрос о руководящей и направляющей силе нашей «любимой» партии, пора ставить вопрос об ответственности за душегубное «Единственно правильное марксистско-ленинское учение». История показала, что самые изощренные издевательства над народом, самые кровавые расправы всегда оправдывались этим надуманным учением. Пора ставить вопрос об ответственности партии перед народом и ее упразднении.

Георгиевск, Ставропольского кр., декабрь 1989.

Милосердов В. Г.

Александр Солженицын. К лику СВЯТЫХ Вас причислят. Дядя мой (после репрессии вернулся еще до войны) говорил, что если тебя нарекут шпионом английским, отвечай — «Да!». Если нарекут японским: «Да!» Потому что все равно, поломав кости, они своего добьются. А валить лес лучше ведь здоровому...

Одесса, октябрь 1989.

Мартынов В. Н.,
участник Отечественной войны,
ранен, член подпольного райкома
КП(б) Украины 1942—1944.

...Мне 36 лет, из них почти 12 лет я проработал в шахте. Первые годы работал с энтузиазмом и даже гордился своей чисто мужской профессией. Но года через четыре энтузиазм понемногу начал иссякать и все чаще начал задавать себе вопрос, а ради чего я вкалываю в забое? Наверное, только ради своего с семьей жалкого существования. Изю дня в день работа, сон, и так до бесконечности...

Но как бороться с пороками общества, не зная даже вчерашнего дня, не говоря уж о позавчерашнем. Кое-что начало пугливо, на цыпочках прощиваться в прессе, но уж больно неуверенно. И тут «враг отечества» Солженицын и его «Архипелаг ГУЛАГ»...

До прочтения этого произведения в «Новом мире» у меня лично глаза только начали осторожно приоткрываться на нашу «главную историю» (хотя я был уверен в их полной открытости). Но ведь это только журнальный вариант, а если прочесть подлинники, тогда как они раскроются? Вот сейчас ломают головы многие наши ученые умы над тем, как преподавать современную историю школьникам и студентам? А загадки большой здесь нет. Просто говорить правду, а если духу не хватает у самих, пользуйтесь произведениями таких изгнанников, как Солженицын. Страшно... Ведь они написаны с язвительной иронией. Но ведь в них правда, а насчет язвительности, поставь себя на их место — и еще неизвестно, как язвиль бы мы. Самое главное, что там больше объективности и горькой правды, чем мести.

Если бы это все публиковалось, когда было написано, мы бы, наверное, в данный момент не топтались бы на месте и не шарахались из стороны в сторону, как слепые котята... Ведь народ понимал давно, что идем мы не туда и не так, как надо, но вследствие систематической дезинформации других путей и представить не мог. Ведь «партия — наш рулевой!». Да и сейчас до полной правды ох как далеко, и особенно заметна эта изворотливость партийных работников и аппаратчиков.

Когда читал Солженицына, испытывал чувство ошарашенности, шока. Хотя и до этого, кажется, имел представление о репрессиях, зверствах чекистов, но не до таких гигантских размеров. Такое с трудом укладывается в голове, кошмар какой-то.

Знаете, мой отец всегда восхищался Сталиным. Его портрет был на самом видном месте в его доме. Это меня, честно говоря, раздражало, но убедить я никак не мог отца в том, что его место не там. Мы часто на эту тему спорили. И вот после прочтения «Архипелага» я начал убеждать фактами. И что удивительно, портрет исчез.

...Огромнейшее Вам спасибо за Солженицына! И не только от себя, а от многих читателей. Мои журналы скоро зачитают до дыр в полном смысле этого слова. Это должен знать каждый.

Задумываешься, а стоило вообще делать революцию. Ведь она, кроме горя и страданий, народу ничего не принесла. И самое главное ее наследие — бездуховность... И Солженицын, когда все боился говорить правду, не молчал. Он все вытерпел и перенес ради того, чтобы донести до нас эту правду, рано или поздно. И что самое удивительное, верил в это. Низкий поклон этому мужественному человеку! Читаю я его, не отрываясь, и постоянно не покидает чувство, что это не только великий писатель-реалист, но и его единомышленником себя считаешь. Я вместе с ним испытал чувство боли, тревоги, безысходности и желания хоть как-то препятствовать такому ужасу в будущем. Правда хочется верить, что такое не повторится!

Кривой Рог, февраль 1990.

Беземольный А. И.

Прочитала главы «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына... Вас многотысячная армия работников культуры, только писателей и поэтов свыше 20 тыс., а где же культура? Не с вашей ли помощью и усилиями пионеры решают не носить красные галстуки, комсомольцы бросают билеты. На Пушкинской площади молодцы из «ДС» изрыгают солженицынскую «правду». Убивают, грабят, спекулируют, требуют — но не работают

(тоже на Арбате). Не с вашей ли «легкой» руки все наше поколение называют «сталинистами» (даже рисуют), считают неполноценными, жалеют нас, как нам невыносимо жилось. А мы и не замечали, да и некогда — учились, работали, растили детей. И вот только молодое поколение, не без вашей подсказки, просветило нас...

Какая гнусная писанина. После каждого прочтения стараемся мыть руки с мылом и мочалкой. Как бы хотелось прочитать объективное суждение об этом писании. Разъяснить правду молодежи.

Москва, ноябрь 1989.

В. П. Белина (совсем не сталинист).

...Прочла недавно «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эта вещь, конечно, потрясает... Но я бы вот о чем хотела спросить. О репрессированных, о незаконно осужденных я уже и много читала и много видела по телевидению, но я еще никогда не читала и не видела никого из тех, кто охранял, осуждал, конвоировал и т.д., т.е. по эту сторону колючей проволоки находился. Может, им нечего сказать? Их ведь было очень и очень много, и многие до сих пор живут. Солженицын даже адреса указывает и фамилии. Как они относились к происходящему? Для меня до недавнего времени чекисты — это соратники Дзержинского. И вот я все больше убеждаюсь в том, что настоящих-то людей среди них мало. Но не все же были скотами? Так что же это были за люди? Спали ли они спокойно по ночам? Неужели все они сейчас затаясь доживают жизнь и ничего в душе не дрогнет?..

пос. Манзя, Краснодарский кр., февраль 1990.

Платонова А. Л.

...Я, как и многие мои сверстники, прошедшие Отечественную войну, читал «Архипелаг», когда его читать было еще нельзя. Но тогда внимание привлекали главным образом факты, личность автора и его судьба. Сейчас благодаря Вашей публикации я впервые почувствовал, какое это большое произведение, какой прекрасный роман, оригинальный и ни на что ранее не похожий. Это — действительно «опыт художественного исследования» целой эпохи человеческих судеб, характеров, взаимоотношений, а также почти научный анализ причин и следствий. Большое спасибо за него автору. Как это ни покажется странным, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Доктор Живаго» — произведения столь разные — для меня сейчас стоят рядом, наверное, потому, что принадлежат к той настоящей литературе, которая способна говорить правду и помогает понять себя...

Москва, ноябрь 1989.

Погошев И. Б.,
доктор техн. наук, проф.,
член КПСС с 1943 г.,
участник Отечественной войны, пенсионер.

...Мой отец был арестован <в> 1937 г. <по> 58 ст. и не вернулся, теперь я представляю, какие муки ада он прошел и какой страшной смертью он погиб... 45 лет как закончилась война, где-нибудь да выкопают изменника родины и осудят жестоко, так почему не судят тех палачей, кто издевался <над> ни в чем не повинными людьми? А чем они отличаются от фашистов? И эти палачи спокойно живут и здравствуют, получают персональные пенсии и во всем благополучии читают «Новый мир», и совесть их не мучает, что у них руки в крови. Много еще заступников у Сталина, и портретики висят его, потому что люди не все знают правду, поэтому надо больше писать о прошлом, хоть некоторым и не нравятся...

Калининград, декабрь 1989.

Романова.

...Прочитал 1-ю часть «Арх. ГУЛАГа». Впечатление неоднозначное. С одной стороны в книге большой фактический материал об истории ГУЛАГа. Но есть 1 большой недостаток — здесь говорится только о преступлениях, расстрелах, которые совершались одной стороной — ВКП(б), ВЧК, ГПУ и т.д.

И совершенно ничего не говорится о зверствах других сторон! Разве Деникин, Колчак, Юденич, Махно, Петлюра, Семенов, басмачи и др. действовали иначе? Разве не было у них карательных органов? Они тоже брали заложников, расстреливали семьи коммунистов, не падали даже детей.

...Несомненно, публикация «Арх. ГУЛАГа» даст новые козыри врагам КПСС и социализма. Это усилит дестабилизацию в нашей стране. Хотелось бы, чтобы у вас печатались и сторонники социализма, а не только их противники (к ним явно принадлежит А. Солженицын).

Опубликуйте работы Р. Медведева. У него есть цикл статей, в которых он полемизирует с Солженицыным.

Черноголовка, октябрь 1989.

Дьячков А. Б.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОЧЕГО о рецензии Р. Медведева на книгу А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и вокруг него.

Публикация в «Правде» от 18.12.89 г. рецензии на «Архипелаг» вызвала у меня, человека из народа, ряд возражений, которые я попытаюсь изложить, придерживаясь Ваших подзаголовков. **ОБЩАЯ ОЦЕНКА КНИГИ.** Оценок было много. В основном отрицательных. Так, Ваш предшественник, некто И. Соловьев (очевидно, платный провокатор «из органов»), в своей рецензии откровенно обвинил в «Правде» 14.1.74 г. Солженицына во лжи и циничной фальсификации.

Ау, Соловьев, отзовись!

Вы другое дело. Вы, Рой Александрович, более тонко, «научно» пытаетесь опровергнуть самые главные мысли и выводы, написанные кровью десятков миллионов жертв, еще свято веривших в Передовое Учение.

Совершенно очевидна Ваша попытка увести от ответственности своего царя: единственно верное учение. Во что бы то ни стало! Эта мысль красной нитью проходит через всю Вашу рецензию.

Вот в этом я категорически с Вами не согласен: «Нельзя молиться за царя Ирода!» После «Архипелага» каждому честному советскому человеку станет ясно, что вся наша послеоктябрьская история, да и география во имя этого учения были залиты кроваво-красным цветом. И нет сомнений в том, что никакая переокраска, перелицовка или перестройка не изменят людоедскую суть этой теории, переполнившей страну тоталитаризмом и ложью, фарисейством и демагогией. Надоело! Не верим! С этой точки зрения я назвал бы «Архипелаг» — «энциклопедией советской власти» или «Айсбергом коммунизма», подводную большую часть которого так талантливо и беспощадно вскрыл скальпель Солженицына. А надводная часть? Верх же айсберга состоял из кумачовой показухи и ареста...

Москва, январь 1990.

Брыль В. В.,
бывший офицер-артиллерист, а ныне
электромонтажник МПО «Автомобор».

...Всех, а может, и не всех политзаключенных реабилитировали. Это важно. Но забыли писатели поднять вопрос о людях, миллионы которых погибли в лагерях в период 1932 — 1950 годов, осужденных по закону от 7 августа 1932 года и пресловутому Указу от 1947 г. за колоски, за невыполнение трудовой и т.д. ...О них мы молчим, а ведь и они требуют реабилитации...

Советск, январь 1990.

Коповалихин И.А.

Я бывший рабочий, ныне пенсионер, 62 лет, общее образование 7 кл. Прочитал наконец «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. Ничего удивительного — поражают лишь цифры. По такой классической схеме, описываемой Солженицыным, погибли мой дед, отец, т.е. с добавлением срока. Вначале моя мать потеряла отца, разоренного и сосланного на Урал с дочерью, потом мужа, тоже разоренного и сосланного в 1933 г., который, вернувшись в 1936 г., вновь был арестован в 1937 г. уже как «враг народа», больше о котором мы, пятеро детей, ничего уже не слышим. Солженицын описывает в основном страдание и гибель заключенных в Архипелаге, но кто и когда опишет страдания и гибель их семей? Ведь моя мать вынуждена была бросить отчий дом в Рязанской области и с нами скитаться — от позора, голода и унижения! Ведь я уже в 10 лет был назван «врагом народа»! Вспоминать о прошлом тяжело: мать умерла в 39 лет от голода и горя... Сейчас обо всем этом сказано лишь три слова: «Негативные явления и репрессии!» Да и это многим не по нутру — надоело слушать.

Все беды, как в прошлом, так и в настоящем, в духовном и нравственном падении людей, да и в обществе в целом!.. Так что пожинаем мы плоды 30-х годов, а точнее раньше, повествуемых Солженицыным... Вспомним, как рушили мы храмы, топтали иконы великих мастеров, как глухо стонали сбрасываемые с колоколен колокола, как глумились мы над верующими и служителями храмов и монастырей; в народе тогда говорили «восшествие на престол антихриста», и он оказался прав. Сейчас такими передачами, как футбол и хоккей, духовные и нравственные устои народу не вернешь...

Красноармейск, Московская обл., декабрь 1989.

Карпешин И. П.

...Вот как Вы можете печатать такую муть этого отщепенца Солженицына... И все это он видел, и все это он слышал, и все это он знает, да не обо всем правду пишет, если он сидел за решеткой, то умнее других, зря не сидел, зря не посадят, как бы он ни оправдывался и ни оправдывал себе подобных, как бы он ни чернил все и вся, он все равно в глазах советского человека был и останется виновным ээком, как он сам себя называет, озлобленный недописатель...

Ташкент, октябрь 1989.

Земсков И. Г.

...Александр Исаевич Солженицын — мой любимый писатель, мне нравится у него все: язык, стиль, полифонические сюжеты и, конечно, все его книги...

В своем предисловии, Сергей Павлович, к нескольким главам бессмертного «Архипелага» Вы пишете: «Пусть далеко не все, что высказано автором в его «Архипелаге», МЫ (выделено мною. — В.Б.) разделяем»... Вот я и хотел бы Вас, Сергей Павлович, спросить: кто дал Вам право говорить от имени ВСЕХ? Откуда, например, известно Вам, что разделяю, а что нет лично я в книге Солженицына?.. Солженицын фигура цельная. Таких, как он, надо либо принимать всего целиком, либо не принимать вообще — или, или... По всей видимости, Александру Солженицыну уготована у нас участь Льва Толстого в том смысле, что теперь в школах станут «компетентно» разъяснять старшеклассникам, в чем прав автор «Архипелага», а в чем нет. Вы ведь, вероятно, помните, как в школе объясняли, где Толстой «зеркало революции», а где он — такой-сякой! — пытался остановить эту самую революцию «непротивлением злу насильем»...

Солженицын Александр Исаевич прежде всего — АНТИКОММУНИСТ и давно уже и неоднократно выносил свой четкий вердикт относительно советской власти и коммунизма (речь в Гарварде 1977 г.; токийская речь 1982 г.; речь в Лондоне по поводу присуждения ему премии фонда Темплтона 1983 г. и т.д.). Сами того не сознавая, мы пришли к тому, что Солженицын в СССР принят (хоть и с оговорками) одновременно и как носитель Правды и как... а н т и к о м м у н и с т. И в этом тождестве заключена великая истина!..

Кто теперь из прочитавших «Архипелаг ГУЛАГ» будет думать, что сталинизм — деформация социализма, а потому-де необходимо вернуться к «ленинским нормам», если под заглавием солженицынского эпоса стоят даты «1918 — 1956»? А сила убеждения у наследника Толстого и Достоевского дай Бог каждому!..

Набережные Челны, октябрь 1989.

В. А. Балтийцев,
25 лет, рабочий,
10 классов.

...По пыльной, избитой дороге тащится старая клыча диссидентской породы, на ней восседает кумир антисоветской литературы — Солженицын. В окружении любителей его чтения видим знакомых — Латынина несет свитки так называемой литературы «Архипелаг ГУЛАГ», «Август четырнадцатого», «Раковый корпус». Закружились в порочном «Круге первом» почитатели Солженицына. Слабой, дряхлеющей рукой приветствует печальную процессию редактор «Нового мира» — Залыгин, с подобострастием просит отдать приоритет печатания клеветнических опусов только ему, так сказать, по благу, ибо еще в начале шестидесятых здесь, в «Н.м.», с благословения Н.С. Хрущева был издан «Иван Денисович».

Ах, как любят ущербную литературу писатели, откормленные русским хлебом, украинским салом, костромским маслом и волжской осетровой икрой, а после отрыжки сытых обедов изрекать: «Мы и наш народ голодные»...

Злоба, неугасимый огонь желчи, жгет душу Солженицына, изведавшего в послевоенное Победное время лагерей. На всю оставшуюся жизнь в душе осталась змея ненависти к народу, а паче всего к Иосифу Виссарионовичу, под знаменем которого мы победили коричневую чуму фашизма. Зато потешил своих хозяев за кордоном и чмокнул с благодарностью за сытую жизнь буржуазное рыло.

Невинномысск, март 1990.

Н. Крисанов,
ветеран войны и труда.

...Нужно срочно добиться печатания «основного материала» из «ГУЛАГа» в массовой газетной периодике, а также чтения по телевидению с самыми остроюжетными моментами, поражающими умы большинства зрителей, как друзей А. Солженицына, так и его врагов, и возможности показа документальных свидетельств, подтверждающих истину «Архипелага ГУЛАГа». Иначе это пройдет совершенно незамеченным для нашего Общества, а значит, не пойдет на пользу гласности, Демократии и Перестройке Общества!

Поручить чтение можно нашему испытанному чтецу — Вячеславу Тихонову, по-моему, у него имеется богатый опыт таких чтений!..

Киев, январь 1990.

Тарасов Ю. А.

...На вопрос, нужно ли читать «Архипелаг», ответ может быть только однозначным...

Прочту, прочту «Архипелаг»,
Чтоб знать про все у нас плохо,
Чтоб понимать, что красный флаг
В честь тех, чья кровь лилась рекою...
Возьму, возьму «Архипелаг»
И перечту с любой страницы.
Да, Слово правды моря врак
Сильней, товарищ Солженицын...

Украина, декабрь 1989.

В. Агулов.

...Все! Я только что закончила читать «Архипелаг ГУЛАГ»... Мы не из тех, кто ничего об этом не знал. Мы из тех, кто все это в той или иной форме пережил...

«Широка страна моя родная...» «Велика Россия», а в каком направлении искать могилы предков и в наступившем 1990 году, не знаем... А ведь прав Б.Н. Ельцин, говоря, что узнать-то не так уж и сложно, т.к. живы (живы!!) многие из палачей (жертв-то уж раз - два и обчелся!!), но они молчат, как в рот воды набрали. И дождемся ли мы их покаяния? — вряд ли...

Одно желание у меня осталось: чтобы на очередном Пленуме ЦК КПСС устроили громкую читку этого романа с последующим обсуждением, которое показать по телевидению. И не надо некоторым членам Политбюро примазываться к жертвам (дяди и тети тут ни при чем!)...

Я — дочь «врага народа».

Я — внучка «кулака».

До каких пор я должна нести этот тяжкий крест?! — если ни мой отец, ни мой дед ни в чем (!) не виноваты! Не виноваты! Не виноваты! Не виноваты! И я сама ни в чем не виновата!!! Так почему я должна ИСКАТЬ, ПРОСИТЬ, ЖДАТЬ ПРОЩЕНИЯ, а не Органы (МВД, КГБ) должны искать меня, просить у меня прощения за то, что ИХ (а не мой) предшественники по службе обидели меня, унижали полстолетия и больше мое достоинство, мою честь, мое доброе имя?! Почему?!!

Почему я должна обращаться к тт. Сухареву или Крючкову, а не они должны распорядиться так, чтобы их подчиненные сделали все, чтоб я больше не терзалась сомнениями, где же бранные останки отца и деда — в Соловках, на Колыме или в Рутченково (здесь рядом, в Донецке)?..

Макеевка, январь 1990.

М. С. Дранга
(кстати, гречанка),
мне 62, маме 85 лет.

Публикацию подготовили В. М. БОРИСОВ и Н. Г. ЛЕВИТСКАЯ.

Примечания Д. Г. ЮРАСОВА.

«КОНВОИР» П. П. ПАРАДИЗОВ

Уважаемая редакция!

В 1988 году Центральное телевидение показало книги, освобожденные из спецхрана главной библиотеки страны, а в прессе появились обнадеживающие интервью с одним из руководителей Главлита. Можно было думать, что советские граждане в скором времени получат свободный доступ ко всему объему информации, накопленному в секретных хранилищах тоталитарного режима.

Прошло два года. Мы видим: жив курилка! Спецхраны, хоть и похудевшие, продолжают существовать и даже пополняться. Два года назад А.П.Шикман в журнале «Советская библиография» сообщил: «...чиновниками, радеющими о нашей идейности, нравственности и безопасности, разрабатывается новая инструкция для нового спецхрана». Из публикации С.Джимбинова «Эпитафия спецхрану?...» («Новый мир», 1990, № 5) можно сделать вывод: она уже действует. Критерий отбора выработан: «Стараются помещать в спецхран все иностранные книги о нашей политической истории после апреля 1985 года». Но мы знаем: лиха беда начало.

Да, и сегодня разговор о спецхранах не утратил своей актуальности. Поэтому появление статьи С.Джимбинова можно только приветствовать. В ней поднята проблема десятилетиями продолжавшегося отторжения наших граждан от огромной части культурного наследия, отечественного и зарубежного, — большая проблема. Ее рассмотрение требует особого такта и предельной точности.

К сожалению, в публикации вкралась по крайней мере одна фактическая ошибка. С.Джимбинов, рассказывая об истории выхода (точнее, невыхода) в свет в издательстве «Academia» романа Ф.М.Достоевского «Бесы» и говоря о полемике в печати по этому поводу между Д.Заславским и Горьким, делает вывод: «Победил все-таки Заславский: в последний момент „дунул“ куда надо, и не посчитались ни с „Правдой“ (такая формулировка некорректна, так как в „Правде“ же, помимо статей Горького, печатались заметки Д.Заславского. — Е.Н.), ни с Горьким. На дворе стоял 1935 год. Что касается двойного предисловия к уничтоженной книге, тут тоже все знакомо и понятно: товарищ Парадизов конвоировал „беспартийного спеца“ Л.Гроссмана и давал четкую классовую оценку романа. И все-таки не спасло, все-таки чувствовали, что не справятся Парадизову с Достоевским».

По С.Джимбинову выходит, что благодаря критическим выступлениям в печати Д.Заславского и его же письменным или устным сигналам «куда надо» тираж романа Ф.М.Достоевского не был осуществлен. В действительности дело обстояло иначе. Первый том «Бесов» был подписан к печати 20 декабря 1934 года. 11 декабря 1934 года Д.Заславский писал в «Правде»: «В „Истории пролетариата СССР“, в сборнике „Истории заводов“, в книге „16 заводов“... напечатаны яркие, содержательные очерки о старой „Трехгорке“... В этой области работает ряд исследователей (т.т. Зельцер, Антошкин, Горожанкин), и надо в особенности отметить талантливые работы т. П.Парадизова». А в ночь со 2 на 3 февраля 1935 года арестовали автора предисловия Петра Павловича Парадизова (1906 — 1937). Печатание книги прекратили. Вот по какой причине ее тираж не был осуществлен.

Статья о Ф.М.Достоевском не единственная работа П.П.Парадизова, к началу 1935 года находившаяся в печати.

5 мая 1935 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР историк был приговорен к пяти годам лишения свободы и отправлен затем в челябинский политизолятор. П.П.Парадизову поставили в вину критические высказывания, сделанные им в кругу близких друзей, о политике партии в деревне в начале 30-х годов.

31 мая 1935 года Петр Павлович из Челябинска писал жене: «„История Трехгорной мануфактуры“ т. 1-й, о выходе которого в „скором времени“ дважды сообщалось в свое время в „Правде“, теперь, конечно, едва ли увидит свет. А, право, жаль: сняли бы мою фамилию из состава авторов (работа написана совместно с В.З.Зельцером. — Е.Н.) и редакторов — и можно было бы выпустить эту уже сверстанную книгу».

В издательстве не решились на такой шаг. История Трехгорки так и не увидела свет.

Более смелой оказалась редакция журнала «Историк-марксист», для которого П.П.Парадизов подготовил Докладную записку Витте Николаю II. Документ был обнародован в № 2 — 3 журнала за 1935 год, но без указания фамилии публикатора.

Как видим, «конвоир» П.П.Парадизов оказался подкованным. В 1937 году он был расстрелян по второму, лагерному, делу.

Евгений НИКИТИН.

¹ «Археографический ежегодник за 1988 год». М. 1989, стр. 240.

Уважаемый товарищ Никитин!

Ваши аргументы относительно причин невыхода отдельного издания романа «Бесы» показались мне не совсем убедительными, и вот почему. Прежде всего арест автора предисловия далеко не всегда приводил к запрету или невыходу книги. Как Вы сами же замечаете, можно было снять предисловие или оставить его, но снять фамилию. Приведу примеры того и другого. В 1937 году должна была выйти «Антология новой английской поэзии», составленная и снабженная предисловием Д.П.Святополка-Мирского (после возвращения в СССР в октябре 1932 года он подписывался Д.Мирский). Ни имени составителя, ни его предисловия в книге нет, но книга все-таки вышла: без составителя и с предисловием — М.Гутнера. А вот другой вариант — в следующем, 1938 году в том же издательстве «Художественная литература» вышел роман С.Батлера «Путь всякой плоти» (в русском переводе — С.Бетлер, «Жизненный путь»). В этой удивительной книге нет ни имени переводчика, ни имени автора обширной вступительной статьи с броским названием «Английский Стендаль». Предполагаю, что автором перевода был И.Романович, а автором предисловия — все тот же Д.П.Святополк-Мирский. Оба были арестованы в 1937 году, но на выходе книги это не отразилось. Как видите, даже арест двух авторов необязательно останавливал книгу. Но более существенным мне представляется другой аргумент: если издание 1935 года действительно не было выпущено из-за ареста автора предисловия П.Парадизова, то чем объяснить тот удивительный факт, что за все семьдесят три года — с 1917 по 1990 — вообще не вышло ни одного отдельного (вне собрания сочинений) издания романа «Бесы»? (Зато в 1990 году появилось сразу два.) Нет, П.Парадизов и его арест тут ни при чем, просто на дух не принимали самого этого романа, и нетрудно понять почему. В оттепель 1956 — 1963 годов вышли отдельными изданиями все романы Достоевского, даже «Идиот» и «Братья Карамазовы», но только не «Бесы». И в 1935 году могли бы напечатать «Бесов» без статьи Парадизова или снять подпись, оставив его вполне ортодоксальную статью без изменений. Дело не в Парадизове, а в общей литературной политике 30-х годов (да и не только 30-х). Что же касается отмеченного Вами парадокса: «конвоир» через год сам превратился в подконвойного, — то странного тут ничего нет. Революции меньше всего нужны пламенные идеалисты, не готовые «колебаться вместе с линией». Такие донкихоты марксизма неизбежно попадали под «красное колесо». Как только боец идеологического фронта П.Парадизов осудил жестокости и бесчеловечность коллективизации, он подписал себе смертный приговор. Наоборот, Л.П.Гроссман, никогда не игравший в «красные игры», несмотря на все жизненные передраги, по крайней мере остался на свободе. Всем было ясно, что он не марксист, и спрос с него был несколько иной. Железный закон: революция пожирает своих детей, — на него не распространялся.

Вот то немногое, что хотелось бы сказать по поводу Ваших замечаний.

С уважением,
С. ДЖИМБИНОВ.

НА КОГО ЖЕ СПИСАТЬ МИЛЛИОНЫ ГЕКТАРОВ?

Журнал «Мелиорация и водное хозяйство» («МиВХ») провел дискуссию о результативности мелиоративно-водохозяйственных работ. В дискуссии, как известно, участвуют по крайней мере две стороны, в чем-то не согласные друг с другом. Но в журнале была представлена только одна сторона, другая же представляла в образе «врага мелиорации». Вот что в адрес этой другой говорилось главным инженером «Союзводпроекта» Г.П.Фиалковским: «Что касается критики в адрес мелиорации — то это... односторонняя кампания... никаких вредных последствий улучшение (мелиорация. — Н.М.) не может иметь...» («МиВХ», 1989, № 8). От редакции же последовало такое утверждение: «Нельзя отрицать, что местами всплыла к поверхности и пена невежества и демагогии. Допустимо предположить, что за некоторыми яростными нападками на мелиорацию и мелиораторов скрывается групповой или даже личный интерес, стремление отвлечь внимание от собственной бесхозяйственности и беспринципности, нажать политический капитал. Одна из задач журнала — давать достойный отпор невежественным нападкам и заведомым искажениям истины» («МиВХ», 1989, № 4). Кто является носителем «группового» и «личного» интереса и в чем искажалась истина — осталось тайной.

В девятом номере этого журнала помещены сразу четыре статьи, в которых затронуты проблемы орошения черноземов и каштановых почв. Трудно понять, в обоснование или опровержение «полезны мелиорации» приведены эти материалы. Так, по данным Б.С.Носко и других (Украинский НИИ почвоведения и агрохимии), из 2,4 миллиона гектаров орошаемых земель 1,3 миллиона гектаров черноземы, и «на значительной площади черноземов (700 тыс. га) вторичная гидроморфность обусловлена подтоплением крупными водохранилищами, а также орошением». По данным Одесской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Минводхоза Украины (Р.А.Баер), орошаемые почвы Южной Украины повсеместно подвержены деградации. О списании орошаемых земель напоминал в дискуссии В.В.Егоров. Г.П.Фиалковский ему возразил: земля не списывают, «списывают оросительные системы, настолько безнадежно устаревшие, что их нет смысла восстанавливать. Земли же при этом из категории орошаемых переводятся в категорию богарных». В качестве примера названы земли, орошаемые с помощью передовых установок (никак не древних, а самых современных).

Следуя призыву редактора давать отпор невежественным нападкам и заведомым искажениям истины, можно представить «невежественными» и материалы сборников Госкомстата СССР «Народное хозяйство СССР»: с 1966 по 1988 год введено 15 миллионов гектаров новых земель под орошение, до этого орошалось 9,8 миллиона гектаров, в сумме должно быть 24,8 миллиона гектаров, в наличии же только 20,5 миллиона гектаров. Значит, 4,3 миллиона гектаров — списано? В справочниках указывается также: расхождение связано с тем, что часть мелиорированных земель переводят в немелиорированные (?). В РСФСР на 1988 год эта разница составляет 2,2 миллиона гектаров, на Украине — 0,44 миллиона гектаров. В 1988 году таким образом было переведено 904 тысячи гектаров. Как это происходило, видно из письма министра Н.Ф.Васильева Госагропрому и Совету Министров СССР от 22 августа 1988 года: «В результате инвентаризации 1987 года переведено в состав немелиорированных угодий 904 тыс. га орошаемых и 416 тыс. га осушенных... Основными причинами исключения из учета орошаемых земель являются: отсутствие и недостаток воды в источниках орошения — 412 тыс. га; полный износ оросительной сети и поливного оборудования — 179 тыс. га; заболачивание и засоление земель — 165 тыс. га; недопустимые уклоны и эрозия орошаемых земель — 46 тыс. га; высокая минерализация поливной воды — 25 тыс. га; отвод орошаемых земель под несельскохозяйственные нужды — 20 тыс. га; уточнение площади и другие причины — 57 тыс. га».

Спрашивается: о какой правильной мелиорации может идти речь, если только 8 процентов оросительных систем обеспечено водоизмерительной техникой, а 70 — 80 процентов поливов на черноземах и каштановых почвах даются не вовремя, даже тогда, когда они не нужны, а то и вредны. И эти факты мелиораторы считают нападками?

Кому же народ должен предъявить счет за потерю орошаемых земель? Тому, кто осуществлял мелиорацию (Минводхозу СССР), или тому, кто принимал соответствующие

постановления, давал деньги на мелиорацию (Совету Министров СССР), но не контролировал результаты? Согласно данным Госкомстата СССР с 1966 по 1989 год на мелиоративные цели израсходовано 157,5 миллиарда рублей.

Недостаток воды в источниках орошения и полный износ оросительной сети — вот главные причины списания земель. Возникает вопрос: когда строили оросительную сеть, разве они не знали, что в источниках недостает воды? Зачем же тогда строили? И уж совсем непонятно, как может полностью выйти из строя оросительная сеть в земляных руслах. По аналогии можно списать и город, где износился водопровод. Дело, очевидно, не в этом, просто почвы испорчены до такой степени, что реконструкция этой системы бессмысленна. Но об этом-то не хотят говорить.

Ну а вот земли списаны из-за недопустимых уклонов. И опять-таки — когда строили, то уклоны были допустимыми?

В настоящее время у нас в среднем на душу населения приходится 0,79 гектара пашни. Под орошение выбирали самые плодородные земли, после «мелиораций» их плодородие снизилось на две трети от исходного (иначе не списывают). Получается, что 6,1 миллиона человек лишились своей доли плодородной пашни. Орошаемые земли расположены преимущественно в теплых краях, где можно получать два - три урожая в год. Сами мелиораторы всегда твердили, что один гектар орошаемой земли здесь стоит трех неорошаемых. С этим нельзя не согласиться, если почвы правильно использовать. В нормативах стоимости освоения земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд (постановление Совета Министров РСФСР № 427 от 10 ноября 1987 года) разность в ценах между лучшими и худшими по плодородию почвами равна примерно 50 тысячам рублей за гектар. Значит, перевод 4,3 миллиона орошаемых гектаров в худшие равноценен потере 215 миллиардов рублей. Но это еще и потеря для будущих поколений, которую в деньгах оценить нельзя, она абсолютна, как потеря жизни.

Кроме того, по экспертной оценке, земли, подлежащие реконструкции, утратили от 25 до 50 процентов плодородия. Таких — 36 процентов от имеющихся в наличии орошаемых угодий. Это авария во всесоюзном масштабе. При подобных авариях полагается создавать правительственные комиссии с привлечением специалистов. Такая практика существует во всех других отраслях народного хозяйства. Здесь же решения принимаются иначе. На коллегии Госагропрома СССР (23 октября 1988 года, протокол 11) в узком кругу, без приглашения специалистов вынесли постановление — принять к сведению цифры потерь.

Тревогу по причине неправильных, безграмотных, расточительных, экологически опасных «мелиораций» бьют простые люди, некоторые специалисты и ученые. Только небольшая часть из этого потока писем и статей попала на страницы печати, но и их достаточно, чтобы понять, что разговор идет не о какой-то оплошности, отдельной ошибке, а о системе, которая губит целые регионы. Как это уже и произошло в Средней Азии. Очаги мелиоративно-экологического кризиса возникли на Северном Кавказе, юге Украины, в Поволжье, но это не мешает работникам водного хозяйства, допустившим столь грубые ошибки, выступать против «неспециалистов», к коим я никак не могу причислить себя: на орошаемых землях работаю более тридцати лет, была экспертом многих проектов, а мои прогнозы подтвердились на практике.

Ну а как же оценивает свою работу Минводхоз, поменявший вывеску на Минводстрой СССР, а ныне на концерн Водстрой? В нем остались те же проектировщики, те же строители. Они обещают расширить свою деятельность по созданию оросительных систем, работающих на сточных водах (бытовых, животноводческих, заводских и других). И это очень опасно. Уже обнаружены нормы проектирования, где сказано: «Использование сточных вод для орошения является комплексным природоохранным мероприятием, способствующим охране водоемов от загрязнения, повышению плодородия почвы и урожая». Но ведь при этом уже погублены сотни тысяч гектаров земель, орошаемых сточными водами, а могут быть угроблены еще миллионы гектаров.

Мелиораторы по-прежнему полны оптимизма. 28 октября 1988 года была подана записка министра Н.Ф.Васильева «О дополнительных мерах по развитию мелиорации в целях кардинального решения продовольственной проблемы и обеспечения устойчивого

развития агропромышленного комплекса». В этой записке ни слова о переводе мелиорированных земель в немелиорированные, хотя написана она вскоре после того, как были приняты к сведению результаты инвентаризации орошаемых земель».

По-прежнему ориентация на расширение площадей орошения. К 2005 — 2010 годам намечается довести площадь орошаемых земель до 40 миллионов гектаров, для этого надо в год вводить по 1,5 миллиона гектаров. Не учитывается, однако, что при растущих затратах ввод в последние годы уменьшился до 300 — 400 тысяч гектаров. Получается так: то, что строят, через несколько лет реконструируют. Некоторые системы реконструировались уже по 3 — 4 раза. А оросительная сеть должна создаваться на века!

На реконструкцию направляются огромные средства, в среднем по 7 тысяч рублей на гектар. Одна из причин неэффективности предстоящих реконструкций та, что работники водного хозяйства оросительные системы видят в отрыве от самого объекта орошения — земель, почв. Этот разрыв еще и еще увеличивается с реорганизацией Минводхоза в строительный концерн.

Все это показывает, насколько глубок кризис в мелиорации и как трудно его преодолевать. Надежда и нынче на науку, но отнюдь не на ту, которая развилась в сфере самой мелиоративной практики и в ведомственных институтах, финансировавшихся Минводхозом (концерном). Нам нужны новые идеи и современная экспериментальная база. Ее нет. Поэтому предпочтение и отдается поиску все новых земель под орошение, новых источников воды вплоть до высокоминерализованных. К счастью, около 20 — 30 процентов земельного фонда ныне орошаемых земель еще не утратили плодородия. Как бы после реконструкции не лишиться и их.

Общий вывод: в мелиорации и орошаемом земледелии больше, чем в других сферах народного хозяйства, необходима радикальная перестройка земледельческой, ирригационной, проектно-изыскательской, строительной, социальной и хозяйственной практики, а для этого надо развивать подлинную науку.

Н.Г. МИНАШИНА,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

От редакции

Наш журнал систематически поднимает вопрос об использовании земель, об экологии в районах мелиорации. Письмо Н.Г.Минашиной — в ряду тех же материалов. Обещаем, что так оно и будет дальше: мы будем сообщать читателям о тех страшных потерях, которые имели, имеют и еще будут иметь место, судя по упорству и негибкости водохозяйственников, еще долгое время. Разумеется, это упорство и порочная практика должны быть пресечены правительством, Верховными Советами СССР и союзных республик. Должны... Но воз не только и ныне там — воз катится назад.

С. ЗАЛЫГИН.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

I. ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ. Процесс исключения. М. Международная ассоциация деятелей культуры «Новое время» и журнал «Горизонт». 1990. 349 стр.

Замечено: содержание книги диктует манеру обращения с ней. Жадно, взалев и без лишних церемоний проглатываешь истрепанные книжки бестселлеров, с прохладной вежливостью листаешь научные труды, а вот на полях библиотечных томов классиков марксизма, например, нет-нет да и мелькнет крепкое словцо инвакомыслящего...

Книгу Лидии Чуковской «Процесс исключения» страшно поранить даже неосторожным, грубым прикосновением. И такая читательская реакция не только естественная дань уважения к личности автора, но еще и невольный отклик на то почтение к родной речи в целом и ко всякому отдельному явлению словесной культуры в частности, которое источают эти страницы.

Сколько бы ни пытались мы определить, о чем эта книга, как обстоятельно ни пересказывали бы сюжеты включенных в нее произведений, мы неизбежно рисковали бы упустить главное. Ибо и две уже знакомые читателю повести — «Софья Петровна» и «Спуск под воду», — и впервые опубликованный на родине автора очерк «Процесс исключения», давший название всему сборнику, и открытые письма Лидии Чуковской связывают общий внутренний сюжет, общая тема. Тема, самое точное и краткое название которой — с л о в о. Помещенные в книгу вещи, внешне не слишком похожие, по сути, об одном — о нем, о русском слове, о его мученической судьбе в последнее семидесятилетие нашей истории.

Постепенно разворачивается перед нами это печальное, как бы подспудно ведущее повествование. Уже в «Софье Петровне», где несчастная мать разрывается между официальными сообщениями газет и опровергающим их письмом арестованного сына, намечен общий контур конфликта, в подлинной глубине развившегося в «Спуске под воду», повести, целиком построенной на напряженном противостоянии, с одной стороны, слова газетного, безликого, пустого, отполированного ложью («буквы складываются в слова, слова в строки, строки в абзацы, абзацы в статьи, но ничто — в мысли, чувства и образы»), с другой — гибкого, свежего, звонкого слова русской поэзии, обладающего животворящей способностью озвучивать и обращать в плоть даже обычные сочетания букв. Так, цити-

руя пушкинское «Мороз и солнце», Л. Чуковская отмечает: «Эти *ск* и *ст* и *сн* — это скользкий блеск санного пути, пересекающий поле. Сверканье полозьев».

Каждого своего героя (послабление сделано лишь для тех, кто профессионально не связан с литературой) автор ставит перед очень конкретным и очень жестким выбором. С кем ты? С мертвым словом лжи, клеймящим Пастернака и прочих «последней буржуазного эстетства», но обеспечивающим его носителю выживание? Или с живым словом истины, грозящим, однако, прямой гибелью? Главная героиня повести, персонаж, почти совпадающий с образом автора, остается на полюсе правды — но, увы, и в одиночестве. Очерк «Процесс исключения» и открытые письма, завершающие книгу, документально доказывают, что автобиографическая основа «Спуска под воду» гораздо шире, чем представляется вначале, а бескомпромиссная позиция его героини — жизненная реальность и для самой Лидии Корнеевны.

Подзаголовок «Процесса исключения» — «Очерк литературных нравов» — говорит сам за себя: перед нами менее всего рассказ о горьких изломах собственного пути в литературе. Насильственное исключение из литературной жизни для Л. Чуковской — только частное проявление более обширного, захлестнувшего всю страну «процесса», в одном из открытых писем именуемого писательницей «убийством правдивого слова». И вот парадоксальная закономерность: ложь, допущенная как будто лишь на смысловом, фактическом уровне, проливается сквозь все ярусы языка и оборачивается стилистической, синтаксической безграмотностью. Так что даже писатели, члены Союза, не брезгают выражениями типа «откровенно неприкрытая антисоветская сущность», «нужным должным образом» и т.д. С болью приводит автор эти и многие, многие другие примеры «отступничества от родного языка». С болью и ревностью человека, для которого жизнь литературы никогда не была чем-то посторонним, далеким; не без грусти вспоминает, например, Л. Чуковская о том, как девочкой бывала на собраниях «Серapiоновых братьев», где люди «умели вышучивать друг друга, а вот ставить друг друга «на вид» — не умели». И это-то с детства воспитанное представление о норме, о братстве как единственно возможной форме отношений литераторов, эта с юных лет впитанная отзывчивость к слову художника раз и навсегда заразили автора «Процесса исключения» «высо-

кой болезнью» верности отечественной словесности. Верности, теперь уже выстраданной всею жизнью.

Нам, подчас словно оглохшим, говорящим безвкусно и неряшливо, стоит прислушаться к звенящей в этой книге тревоге, к напоминанию о такой простой, но, похоже, многими забытой истине: состоянии языка — прямой показатель уровня нравственного бытия общества. Запущенность, запутанность языковой ситуации — свидетельство нашего нравственного неблагополучия.

П. ПЕТРО ГРИГОРЕНКО. Воспоминания. «Звезда», 1990, № 1 — 12.

«Главный узелок нашей жизни, все будущее ядро ее и смысл, у людей целеустремленных завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определенно и верно», — пишет А.И.Солженицын в «Августе Четырнадцатого». А через полторы сотни страниц тот же журнал предоставляет нам возможность въяве убедиться в проницательности этого наблюдения.

«Воспоминания» генерала Григоренко, известного деятеля правозащиты, вполне традиционно начинаются с рассказа о детстве, трудовом, скудном радостями детстве украинского деревенского мальчишки. И лишь прочитав «Воспоминания» целиком, до конца осознаешь истинное место этих глав, которые оказываются не просто самыми прозрачными, чистыми по тону и, как это ни неожиданно для книги о зверствах режима, самыми ранящими, берущими за живое. Главы о детстве — ключевые, в них действительно сокрыты ключи от некоторых тайн жизненного пути Петра Григоренко, непростого и исполненного внутренней цельности. Но как случилось, что даже ошибки, заблуждения становились не отклонениями, не потерями, а приобретениями, толчками в одном, верном направлении? Возможно ли, чтобы коммунист, сталинист, атеист переродился в антикоммуниста, врага сталинизма, в глубоко верующего?

Невозможно. Если бы у генерала Григоренко не было его детства. Описание детских впечатлений сообщает нам какую-то совершенно особую правду о душе этого человека, в выкриках ложных догм и идей сумевшей сохранить доверие к своим детским переживаниям. Только два штриха. Узнав о том, что Петро в пылу комсомольской активности позволял себе святотатственную брань, священник местной сельской церкви, отец Владимир Донской, останавливает подростка на улице. «Однажды, Петя, я тебе сказал, что Бог тебе не нянька. Теперь добавлю: Он и не мальчишка, что откликнется на глупые

обиды... — Я бросился от него. Больше никуда уже идти я не мог. Вернулся домой, залез среди овец и долго беззвучно плакал». Второй случай связан с расстрелом дроздовцами членов Совета города Ногайска. Учитель истории Новицкий, успев упасть за мгновение до того, как его настигла пуля, избег смерти. Выбравшись из-под трупов, он возвращается домой, надевает парадную форму капитана русской армии с чепухой Георгиями на груди и, чеканя шаг, идет к стрелявшим в него офицерам, чтобы «обжаловать беззаконный террор». Его расстреливают вторично и на этот раз убивают.

На наш взгляд, именно два этих человека — сухонький, как лунь седой священник и чеканящий шаг капитан в орденах — сыграли решающую роль в душевной биографии Петра Григоренко. Первый заронил семя веры, заложил основы христианского мироощущения, которое хотя и неброско, но явственно проявляется у автора «Воспоминаний» прежде всего в постоянном памятовании о глубокой неслучайности и промыслительности всего происходящего с ним, каждой встречи, каждого даже небольшого события. Поступок второго указал на добродетель гражданского достоинства, отстаиваемого в любых обстоятельствах, доходящего до святости юродства, однако хранящего совесть в чистоте.

«Воспоминания» переполнены людьми, беглыми и пространными портретными зарисовками — родные, соседи по квартире, товарищи по учебе, службе, однополчане, друзья-правозащитники. И почти к каждому из близких Григоренко обращается со словами благодарности. Это тоже отличительная черта автора — дар благодарить и у всякого учиться. Как знать: не будь его, может, никогда не прозвучало бы и поворотное, первое правозащитное выступление на партконференции, когда было Григоренко без малого пятьдесят четыре года, возраст, в котором, кажется, поздно что-то менять и отказываться от жизненного благополучия.

Генерал Григоренко отказался, обрек себя на унизительную нищету, на работу грузчиком, вахтером, на тюрьмы и спецбольницы, а затем и на изгнание с родины. «Я не верю, что человек безвольно движется по твердо указанному Богом пути, как записано в Книге Судеб. Человеку все время приходится делать выбор, решать, куда пойти и какие действия предпринять» — и в этих словах окончательная разгадка этой удивительной истории освобождения человеческого духа. Все, оказывается, просто. Жизнь человека зависит от него самого: проживет ли он ее счастливо — дело Божие, а вот проживет ли он ее достойно — плод его собственных усилий.

Майя Кучерская.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

*

МИХАИЛ ВОСЛЕНСКИЙ. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Предисловие Милована Джиласа. 2-е изд., испр. и доп. London. «Overseas Publications Interchange Ltd». 1990. 671 стр.

Фундаментальное исследование о судьбах привилегированного властвующего слоя советского общества, основанное на исторических, теоретических и статистических данных и личном опыте автора, длительное время работавшего в ЦК КПСС. По словам Милована Джиласа, «книга особенно ценна своим аналитическим характером и пропитывающим ее духом объективности (хотя и не бесстрастия)». М.С.Восленский не ненавидит, не обвиняет и уж тем более не проклинает и не пророчесствует. Он описывает и анализирует просто, ясно, документированно...».

МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Вып. 10. Париж. ATHENEUM. 1990. 512 стр.

В настоящий выпуск, посвященный в основном начальному периоду советской истории, включены: воспоминания крупного железнодорожного инженера Ю.В.Ломоносова о работе Народного комиссариата путей сообщения (ноябрь 1919 — январь 1920), воспоминания И.М.Гронского и К.Л.Зелинского о встречах и беседах с М.Горьким, исследование М.С.Агурского «Горький и еврейские писатели», автобиографическая проза советского литературоведа М.С.Альтмана, а также материалы по истории театра и кино в России и в СССР.

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. Взвихренная Русь. 3-е изд. Предисловие и комментарии (именной указатель)

Андрея Козина (Бориса Филиппова). London. «Overseas Publications Interchange Ltd». 1990. 708 стр.

Пронизанное неизбывной болью и отчаянием горестное повествование о гибели России в огненной стихии революции 1917 года. Особую ценность придает изданию детально разработанный, подробнейший именной указатель, составленный Борисом Филипповым.

НТС. Мысль и дело. Франкфурт-на-Майне. «Посев». 1990. 48 стр.

Издание призвано, по словам составителей, ознакомить читателей с общественно-политической организацией Народно-Трудовой Союз российских солидаристов, обрисовать идейный облик НТС; показать веки его исторического пути и требования его политической программы; объяснить, как построена организация и как включиться в ее работу».

ЭСТЕР ФАЙН. По дорогам, не нами выбранным. London. «Overseas Publications Interchange Ltd». 1990. 296 стр.

Яркое свидетельство о судьбе девушки, покинувшей Латвию накануне нацистского вторжения в 1941 году, эвакуированной в глубь России, затем попавшей на фронт и после окончания войны бежавшей из СССР.

ДОРОГОЙ ДЯДЯ ВОЛОДЯ... Переписка В.Маяковского и Эльзы Триоле. 1915 — 1917. Составление, подготовка текста, предисловие и комментарии Бенгта Янгфельда. Stockholm/Sweden. «Almqvist wiksell International» 1990. 78 стр.

Составитель А.Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), А. В. Василевский (ответственный секретарь), Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров (зам. главного редактора), Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 26.02.91. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в СП «АСКАД». Подписано к печати 05.07.91

Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п.л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 28,01 уч.-изд. л.

Тираж 897.000 экз. (2-й завод 100001 — 612 000 экз.) Зак. 01420091. Цена 2 р. 10 к.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва, К-6. Пушкинская пл., 5.

Набрано и изготовлены диапозитивы в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». 103798. Москва. Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев. Анри Барбюса, 51/2.

**«Новый мир» до конца текущего и
в 1992 году предполагает опубликовать:**

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты (роман);
ПЕТР БАЛАКШИН. Финал в Китае (фрагменты книги);
ЛЕОНИД БЕЖИН. Калоши счастья (записки случайного философа);
АНДРЕЙ БИТОВ. Япония как она есть (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Кудыч (повесть);
В. ГАВРИЛИН. Мысли о музыке;
В. ДОМОГАЦКИЙ. Кладовка (попытка консервации);
И. А. ИЛЬИН. О сопротивлении злу (из философского наследия);
АНАТОЛИЙ КИМ. Кентавр (роман); Рассказы;
М. КУРАЕВ. Зеркало Монгачки (повесть);
АЛЛА ЛАТЫНИНА. Что разрушать и что консервировать?
ЛЕВ ЛОСЕВ. Новые стихи;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. И Аз воздам (роман);
ФРАНСУА МОРИАК. Во что я верю (перевод с французского);
П. И. НОВГОРОДЦЕВ. Из философского наследия;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Рассказы;
**ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА
С ЖАКЛИН ДЕ ПРУАЙАР;**
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Время ночь (повесть); Рассказы;
МИХАИЛ РОЩИН. Америка (фрагменты книги);
Н. САРРОТ. Дар речи (перевод с французского);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. Отверзи ми двери (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Бодался телёнок с дубом (новые главы «очерков литературной жизни»); Апрель Семнадцатого (ключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. Из философского и поэтического наследия;
ПИТИРИМ СОРОКИН. Современное состояние России (из наследия);
ДАНИИЛ ХАРМС. Дневники;
ИГОРЬ ЧИННОВ. Заморские земли (стихи);
а также другие произведения.
Следите за нашими анонсами.

В 1992 году в журнале появится новый цикл «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ XX ВЕКА: ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ГУМАНИТАРНАЯ МЫСЛЬ»; будут продолжены публикации под рубрикой «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР».